

*Фина Катерли*



# ЗЕМЛЯ БЕДОВАННАЯ





ИЗДАТЕЛЬСТВО  
**ГЕЛИКОН ПЛЮС**

[www.heliconplus.ru](http://www.heliconplus.ru)



*Людям,  
без которых не было бы этой книги:*

— *моему самому близкому человеку,  
мужу и соавтору*

*Михаилу Эфросу,*

— *моим учителям:*

*Давиду Яковлевичу Дару,  
Вениамину Александровичу Каверину  
и Даниилу Александровичу Гранину,*

— *моему первому редактору*

*Фриде Германовне Кацас,*

— *друзьям-писателям:*

*Руфи зерновой, Александру Житинскому,  
Якову Гордину и Самуилу Лурье.*

*Нина Катерли*



*Фина Катерли*

ЗЕМЛЯ  
БЕДОВАННАЯ

Союз писателей Санкт-Петербурга  
«Геликон Плюс»  
Санкт-Петербург  
2014

УДК 833.161.1  
ББК 84(Рос=Рус)6  
К 29

**Катерли Н.**

Земля бедованная: Повести, рассказы. — Санкт-Петербург  
СПб ОО «Союз писателей Санкт-Петербурга»/«Геликон Плюс»,  
2014. — 544 с.

ISBN 978-5-93682-932-1

Сборник «Земля бедованная» известной санкт-петербургской писательницы Нины Катерли представляет прозу, относящуюся к семидесятым-восемьдесятым годам XX века.

В книге собраны как произведения фантастического реализма — жанра, который принес автору известность, так и традиционные реалистические рассказы. В сборник вошла написанная в 1983 году и нигде ранее не публиковавшаяся фантастическая повесть «Костылев».

По словам Нины Катерли, общая тема книги «Земля бедованная» — живая человеческая душа в условиях абсурдной и деформирующей советской действительности.

Книга содержит реальный комментарий, который поможет ввести молодого читателя в общественно-политический, культурный и бытовой контекст позднесоветского времени.

*При оформлении обложки использованы фотографии  
Л. С. Берковича и А. В. Опритова*

***Издание выпущено при поддержке Комитета по печати  
и взаимодействию со средствами массовой информации  
Санкт-Петербурга***

ISBN 978-5-93682-932-1

- © Катерли Н., текст, 2014
- © Эфрос Е. М., составление, примечания, 2014
- © Опритов А. В., оформление, макет, 2014

## *О прозе Нины Катерли*

Современники Толстой и Достоевский, Тургенев и Лесков, Чехов и Куприн, Булгаков и Платонов часто описывали одну и ту же окружающую их реальность, но при этом создавали принципиально разные миры.

Повременим ставить Нину Катерли в этот ряд. В конце концов история литературы рассудит и всех расставит по своим местам.

Но одним своим фундаментальным качеством писательница принадлежит к избранному кругу: она — создательница своего мира. А это дано не всякому, и именно это отличает писателя от человека с той или иной степенью ловкости сочиняющего различные тексты.

Советский мир, в котором сформировалась Нина Катерли, будучи многообразно абсурдным, давал талантливому человеку заманчивые возможности — воспроизводить те аспекты этого гигантского сюжета, которые видел и осознавал только он. И «Треугольник Барсукова» и «Червеца» с их безумной, но абсолютно соответствующей советской жизни логикой могла написать только Нина Катерли.

Советский мир с его брезгливой жестокостью к людям давал талантливому человеку благородную возможность противопоставить ему горькое сострадание. «Землю бедованную» и «Старушка, не спеша...» могла написать только Нина Катерли. И смысл ее сочинений выходил далеко за пределы изучения конкретного советского быта.

Читая Нину Катерли мы получаем урок высокой значимости: да, мир бывает жесток и абсурден, но жить надо так, как будто он разумен и добр.

И особое место в книге, придавая ей дополнительную значимость, занимает реальный комментарий Елены Эфрос, делающий «дела минувших дней» осязаемыми и абсолютно понятными.

*Яков Гордин*



*Посвящается М. Эфросу<sup>1</sup>*

*Треугольник Барсукова  
(Сенная площадь)*

«Это ведь родина. Что же ты плачешь, дурак!»

Дмитрий Бобышев<sup>2</sup>



## *Часть первая*

### УЖАСНЫЕ НОВОСТИ

#### 1

Марья Сидоровна Тютиня по обыкновению встала в восемь, позавтракала геркулесовой кашей, вымыла посуду за собой и мужем и отправилась в угловой «низок», где накануне определенно обещали с утра давать тресковое филе<sup>3</sup>.

Марья Сидоровна заранее чек выбивать не стала, а заняла очередь, чтобы сперва взвесить<sup>4</sup>. Отстояв полдня, уж полчаса всяко, она оказалась, наконец, у прилавка, и тут эта ей сказала, что без чеков не отпускаем. Марья Сидоровна убедительно просила все же взвесить полкило для больного, потому что она здесь с утра занимала, а к кассе полно народу, но продавщица даже не стала разговаривать, взяла чек у мужчины и повернулась задом. Из очереди на Марью Сидоровну закричали, чтоб не задерживала — всем на работу, и тогда она пошла к кассе, сказала, что ей только доплатить и выбила семьдесят копеек. Но к прилавку ее, несмотря на чек, не пропустили, потому что ее очередь уже прошла, а филе идет к концу.

Когда Марья Сидоровна сказала, что она здесь стояла, то одна заявила, что лично она никого не видела.

Бывают же люди на свете! Марья Сидоровна связываться не стала, а пошла в хвост очереди и отстояла еще двадцать минут, а за три человека до нее треска кончилась.

## 2

Петр Васильевич Тютин, муж Марьи Сидоровны, пенсионер, любит читать газеты и общественно-политические журналы, потому что он ветеран и член партийного бюро ЖЭКа<sup>5</sup>. Выходя в среду утром из дому, он взял с собой мелкие деньги в сумке, требуемые для покупки «Недели» и «Крокодила»<sup>6</sup>, плюс две копейки, чтобы позвонить в квартирную помощь и вызвать врача жене, заболевшей нервным потрясением от вчерашнего. В телефонной будке Петр Васильевич частично по рассеянности, а отчасти в расстройстве бросил в щель таксофона вместо двух копеек гривенник<sup>7</sup>. В поликлинике ему грубо сказали, что невропатологи на дом не ходят, а к старше шестидесяти так уж просто смешно, хоть стой хоть падай, а когда Петр Васильевич потом пришел к газетному ларьку, то ему, естественно, не хватило восьми копеек, и пришлось остаться без «Крокодила».

## 3

Тютин Анна после окончания восьмилетки прошла по конкурсу в газотопливный техникум, где на танцах познакомилась с волосатым Андреем<sup>8</sup>, сыном профессора из интеллигентной семьи. Непонятно, кстати, что это такое за интеллигенты в кавычках, если сыновья у них не могут постричься, как люди, а ходят, похожие на первобытного человека.

На последнем курсе Анна с Андреем поженились, после чего он пошел учиться дальше, в Технологический институт, к папе, Анна же была вынуждена работать по распределению на абразивном заводе в три смены, чтобы

содержать семью, а стипендии охломон не получал из-за успеваемости, которая, несмотря на блат<sup>9</sup>, была намного ниже средней.

Родители Анны, Петр Васильевич и Марья Сидоровна, в качестве пенсионеров не могли все время помогать молодым материально, а отец Андрея оказался подлецом и, будучи профессором химии, не давал сыну ни копейки, якобы из принципа: раз женился, потрудись сам себя содержать, а на самом-то деле, потому что ненавидел невестку, считая ее и ее родителей ниже себя. И, наверное, имел две семьи, как они все.

Закончив институт, Андрей при помощи отца все же устроился в аспирантуру, а Анна продолжала ломить сменным мастером термического цеха, имея к этому времени уже двух детей от трех до пяти лет.

Еще через четыре года Андрей защитил кандидатскую и стал получать двести пятьдесят рублей в месяц, у Анны же как раз в это время от недоедания и нервов открылся миокардит, и тут случайно выяснилось, что этот мерзавец встречается с другой женщиной, аферисткой и «сотрудницей отца», то есть дочерью другого богатого профессора, такого же прохиндея, как они все.

Марья Сидоровна и Петр Васильевич имели все основания обратиться к руководству, чтобы сохранить семью<sup>10</sup>, но у них-то блата нигде не было, и они считали это ниже достоинства. Теперь Андрей живет в новой квартире на Типанова с новой бабой, похожей на селедку в шубе, оба профессора сами не свои от радости, а, между прочим, кандидатского жалования ему бы сроду не видать, если бы Анна не отдала за это всю свою молодость и здоровье.

Сама Анна, оставшись с миокардитом и двумя детьми, теперь правильно думает, что, как говорят родители, лучше вырастить детей одной, чем жить с подлецом, недалеко укатившимся от своей яблони.

4

Антонина Бодрова, соседка стариков Тютиных по дому, сказала своему Анатолию, что если он с ней зарегистрируется, то она пропишет его постоянно к себе на восемнадцать метров. Анатолий на это ей возразил, что поскольку она старше его на четырнадцать лет, то он поставит свои условия, а именно, что сына Антонины Валерика он кормить не собирается и считает выbledком с еврейской кровью.

Антонина давно догадывалась, что Валерик, возможно, родился у нее от заведующего винным отделом Марка Ильича, но уверена не была, а уточнить не могла, так как Марк Ильич отбывал срок в колонии усиленного режима за растрату и дачу взятки должностному лицу.

Лично сама Антонина к Валерику ничего не имела — ребенок не виноват, хотя цвет глаз и нос ребенка намекали на его происхождение. Под давлением Анатолия Антонина пообещала ему устроить Валерика в круглосуточный садик, но вскоре Анатолий раздумал, согласия на это не дал и сказал, что детский дом — это его последнее слово как гражданина и патриота своей страны.

Антонина трижды обращалась в райисполком и различные комиссии по делам несовершеннолетних, но ей везде указали, что это ни на что не похоже, когда мать так поступает. Антонина сутки плакала и побила Валерика, а Анатолий велел ей поторапливаться с решением вопроса и пригрозил, что его обещала прописать дворник Полина, женщина хоть и совсем в годах, но полная и без всякого потомства.

Тогда Антонина выпила натошак «маленькую», отвела Валерика на Московский вокзал, взяла ему детский билет в один конец — до Любани, посадила в электричку, купила эскимо и сказала, что в Любани его встретит бабушка по матери Евдокия Григорьевна. Мальчик поверил родному человеку, хотя и помнил, что бабушка в прошлом году

умерла в Ленинграде от паралича и лежит на кладбище, где растут цветы.

Когда поезд с Валериком ушел, Антонина вернулась домой и сказала Анатолию, что можно идти в загс. Они выпили пол-литра и еще «маленькую» за все хорошее, легли на тахту и уснули в обнимку, а Валерик в это время плакал в детской комнате милиции в Любани и никак не мог вспомнить свой домашний адрес, и только говорил, что ехал к бабушке, которая закопана в земле.

К вечеру следующего дня, а это был четверг, ребенок был все же доставлен к матери сержантом линейной милиции, но Антонина, находясь в нетрезвом состоянии, заявила, что видит этого жиденка в первый и последний раз, в то время как Валерик протягивал к ней худенькие ручки и кричал: «Мама! Мама! Это же я!»

Присутствовавший при этом Анатолий плюнул на пол, обозвал Антонину сукой и ушел навсегда к дворничихе Полине на ее четырнадцать метров.

По приказу милиции Антонина вынуждена была принять Валерика. Весь дом ее осуждает, а Тютини даже с ней не здороваются, причем Марья Сидоровна при всех сказала, что когда ребенок вырастет и поймет, он не простит.

## 5

Наталья Ивановна Копейкина вырастила сына одна. Являясь медсестрой, всю жизнь она работала на полторы ставки и часто брала за отпуск деньгами, чтобы у мальчика все было не хуже других детей, которые растут в благополучных семьях с отцами.

Таким образом Наталья Ивановна себе во всем отказывала, десять лет ходила в одном пальто, и к сорока годам ей давали за пятьдесят и называли на улице «мамашей». Сына же звали Олегом и, когда он вырос, то получил образование и хорошую специальность шофера

такси<sup>11</sup>. Одевался Олег Копейкин всегда во все импортное<sup>12</sup>, и однажды Наталья Ивановна заметила, что сын как будто стесняется матери. Например, когда она попросила Олега сходить с ней в овощной за капустой для квашения, он сказал: я и один могу сходить. А в другой раз посмотрел на ее пальтишко и говорит: «Ты в этом балахоне на чудище огородное похожа, не следишь за собой, даже люди смеются».

Наталья Ивановна, услышав про людей, так сразу и поняла, что сына ее забрала в руки какая-нибудь. И, действительно, буквально через два дня зашла соседка Тютина из восьмого номера и рассказала, что видела Олега около кинотеатра «Искра» с девицей в такой юбочке, что ни стыда, ни совести — все наружу.

Наталья Ивановна в тот же вечер строго предупредила сына, что или мать — или эта. Но для него, видно, мать была хуже не знаю кого, и он на ее слова закричал, что в таком случае уходит из дому, сложил свои вещи в два чемодана и рюкзак, сказал, что за проигрывателем и пластинками зайдет завтра, и ушел, а наутро явился вместе со своей прости-господи и, даже не поздоровавшись, сказал, чтобы Наталья Ивановна дала согласие на размен площади, не то он подаст на принудительный раздел ордера по суду.

Наталья Ивановна заплакала и напомнила сыну, что растила его без отца, ничего не жалела, что пусть они с лахудрой сдадут ее лучше в дом хроников, а себе забирают всю комнату с обстановкой. Олег на это взял проигрыватель и пошел к дверям, а своей сказал, что с Натальей Ивановной хорошо вместе только дерьмо есть. Тогда Наталья Ивановна разнервничалась, подбежала и плюнула потаскухе прямо в намалеванные глаза, та заревела, села у дверей на табурет и велела Олегу убираться на четыре стороны, потому что ей не нужен мужчина, у которого мать плюется и обзывается, и, что кто предал мать, тот и с женой не считается.

Теперь эта девушка, ее зовут Людмилой, и Наталья Ивановна лежат в одной палате в больнице Коняшина. У Натальи Ивановны травма черепа, а у Людмилы сломана ключица и укус плеча.

**6**

Почему-то в семнадцатой квартире на четвертом этаже, как раз над Тютиными, всегда живут нерусские жильцы. Конечно, евреи евреям рознь, есть люди, а есть с позволения сказать, вроде Фрейдкиных, которые предали Родину, уехали за легкой наживой в государство Израиль. Говорили, что эти Фрейдкины вывезли десять килограммов чистого золота, и это вполне похоже, иначе зачем бы они потащили с собой своего облезлого кота Фоньку. Антонина Бодрова, хоть и сволочная баба, правдоподобно сказала, что кота, небось, полгода перед отъездом силком заставляли глотать золотые царские монеты<sup>13</sup>, а потом повезли, изображая, будто они такие любители живой природы.

Черт с ними, с Фрейдкиными, зато семья Кац, которую почему-то поселили в их квартиру, очень умные и культурные люди. Особенно сам Кац, Лазарь Моисеевич, кандидат технических наук. Да и жена его Фира, зубной врач-техник, — очень приличная женщина, не говоря уж о матери, Розе Львовне, которая после того, как потеряла на войне мужа, сумела воспитать сына, получить хорошую пенсию и до сих пор работает в библиотеке.

Жизнь складывается у разных людей по-разному: взять двух женщин. Наталья Ивановна, кажется, ничем не хуже Розы Львовны, а вот почему-то одной повезло с сыном, а про другую говорить — только расстраиваться. Видно и правда: евреи и сыновья, и мужья хорошие, все в дом.

После Фрейдкиных семье Кац пришлось вынести горы грязи и сделать дезинфекцию — клопов те в Израиль почему-то не взяли, наверное, там и своих достаточно.

А через неделю после дезинфекции Лазарь Моисеевич мыл во дворе свою машину «Жигули» и вдруг обратил внимание, что на скамейке сидит и смотрит на него оборванный и грязный старик с очень знакомой внешностью. Лазарь Моисеевич, не прекращая мыть, стал вспоминать, где же он встречал этого старика, но не вспомнил, а старик тем временем встал со скамейки, подошел к нему и спросил: «Это ваша машина?» Лазарь Моисеевич подтвердил, что да, но спросил старика, в чем дело. Тогда старик разрыдался как ребенок, что он как раз Кац Моисей Гиршевич 1901 года рождения, по национальности еврей, то есть родной отец Лазаря Моисеевича, якобы погибший во время войны. Правда, как потом выяснилось, «похоронки» Роза Львовна не получила, а значит, не получала никогда помощи на сына. Есть такие бестолковые женщины. Лазарь всем говорил, что еще в детстве видел письмо фронтового друга отца, где сообщалось, что рядовой Моисей Кац героически пал смертью храбрых, что буквально на глазах этого друга бесстрашного Моисея разорвало вражеским снарядом на куски, и, так как вместе с ним, скорее всего, разорвало и его документы, вдове нет смысла наводить справки. Так что Лазарь Моисеевич всегда считал отца погибшим и только теперь, через тридцать с лишним лет, вдруг узнает, что, оказывается, Моисей жив и здоров и вспомнил, что у него есть сын, как две капли, кстати сказать, на него похожий. Старик собрался было броситься Лазарю на шею, но тот аккуратно отстранил его и отвернулся, хотя надо было не отворачиваться, а задать вопрос: «А где вы были, так называемый папа, когда мы с матерью сидели в Горьком в эвакуации в качестве семьи без вести пропавшего? И где вы были потом, когда мать выбивалась из сил, чтобы дать мне высшее образование? А теперь, когда я стал человеком, вы являетесь и протягиваете мне документ. Вы мне не отец, я вам — не сын, и кроме матери, у меня нет и не будет никаких родителей».

И, хотя Лазарь по бесхарактерности ничего этого старику, к сожалению, не сказал, тот все равно зарыдал еще громче и попросил, раз уж так получилось, дать ему три рубля на дорогу не то в Шапки, не то в Тосно, где он живет с детьми от второго брака, а у них зимой снегу не выпросишь. Лазарь Моисеевич дал ему два рубля, хотя по роже этого старика было ясно, что он тут же их пропьет, и намекнул забыть дорогу к этому дому и не травмировать мать.

И, действительно, хотя сам он матери ни слова не сказал, Марья Сидоровна Тютина, которая слышала весь разговор, стоя с помойным ведром возле бака, на другой же день все сообщила Розе Львовне, слово в слово, вследствие чего Роза Львовна слегла, но теперь уже поправляется. Петр Васильевич выругал жену: зачем сказала, а та ответила: как это — «зачем»? А чтоб знала...

## 7

Петуховы живут на четвертом этаже в квартире № 18, рядом с семейством Кац. Еще три года назад Саня Петухов был обыкновенным молодым человеком, имел мотоцикл с коляской и в один прекрасный день привез в этой коляске из Дворца бракосочетаний жену Татьяну. А потом что-то такое случилось, куда-то его выбрали, назначили, а может, повысили, неважно, зато теперь, вместо мотоцикла, Александр Николаевич ездит на службу на черной машине<sup>14</sup>, и часто шофер носит за ним на четвертый этаж большую картонную коробку<sup>15</sup>. Никого не касается, что в этой коробке, и потому, когда Александр Николаевич в сопровождении шофера проходит от автомобиля к лифту, никто, встретившись с ним в подъезде, естественно, глупых вопросов не задает. Зато в прошлую пятницу Антонина, которую давно бы пора лишить материнских прав, да жалко ребенка, поймав во дворе Танечку Петухову, нахально спросила: «Я вот уже который раз

смотрю, ты банки из-под кофе растворимого выносишь и коробки из-под лосося в собственном жиру. Где это ты достаемшь? Мне что-то, кроме хека с бельдюгой, ничего не попадается!»

Танечка даже растерялась, но тут, на счастье, мимо проходила Роза Львовна. Роза Львовна посмотрела на Антонину и сказала, что интересоваться, Тоня, надо не пустыми консервными банками, а тем, какому делу служит человек. Александр Николаевич — большой работник, с него много спрашивается, поэтому ему и дано больше, чем нам с вами. Вы знаете, какая ответственность лежит на этих людях? Его могут в любой момент вызвать, и он будет решать вопросы...

Зря Роза Львовна связывалась с Антониной, потому что та сразу же заорала: «Воп-хо-сы! Имеет «Жигуля», так думает — и она туда же! Да вас таких — хоть бей, хоть «Жигули», все равно будете задницы лизать и улыбаться, как кошка перед сраньем! Фрейдкины, и те лучше были, уехали по-честному. И кота увезли. А вот возьмем хворостину и погоним жидов в Палестину!»

Роза Львовна, бедная, вся покраснела, руки затряслись, повернулась к Танечке за сочувствием, а та боком-боком — и в парадную. Кому охота участвовать в таком скандале, да еще когда муж занимает пост. А когда дверь за Татьяной захлопнулась, хулиганка сказала Розе Львовне, что вот, то-то и оно, а вы чего думали? Так они и за всех нас заступаются: напьются кофе растворимого с лососем, сядут в черную «Волгу» — и пошли заступаться! Зла не хватает от вашей наивности, ну пока — мне в детсад за Валеркой.

И ушла.

## 8

Дуся и Семенов, проживающие в одной квартире с Тютиными, не ответственные работники, не кандидаты наук, не грузины с рынка и не лица еврейской национальности, однако у них все есть не хуже кого, а сами простые

люди: Семенов работает на производстве слесарем, Дуся там же кладовщиком.

Непьющий Семенов работает не тят-ляп, вкальвает, как надо — и сверхурочные, и по выходным за двойной тариф, и в праздники. Халтуру, понятно, тоже берет, потому что все умеет, руки есть и разряд высокий. Вообще, Семенов молодец, другого про него не скажешь: на производстве уважают, как собрание — он в президиуме, как выборы — его в райсовет депутатом, с начальником цеха — за ручку, да и сам директор всегда поздоровается: «Как дела, Семенов?» — «Да что — дела? Порядку мало». — «Это вы правы, наведем порядок, товарищ Семенов. Как там у вас с квартирой?» — «Завком решает»<sup>16</sup>. — «Думаю, решат положительно, товарищ Семенов».

Так что недолго осталось Семеновым мыкаться в коммуналке.

А про Дусю сказать: как у нее на работе — ее дело, на складе многое можно взять для семьи, мыло, допустим, перчатки резиновые посуду мыть и другие мелочи, воровать Люся не станет, они с мужем люди порядочные, оба не пьют, и Семенов на высоком счету, но смешно ведь идти в магазин за куском мыла, когда у тебя в кладовой полный ящик стоит. А дома Дуся хозяйка, каких поискать, ломовая лошадь. День и ночь она что-то моет, чистит, скребет, таскает в скупку ношенные вещи, в макулатуру — бумагу за талоны<sup>17</sup>: библиотеку надо собирать для сына. Главный принцип у нее, как она сама сказала Марье Сидоровне: хоть тряпка, хоть корка — все в дело, обратите внимание — вы мусор каждый день выносите, а я — два раза в неделю. Поэтому Семеновы имеют обстановку не беднее, чем у тех же Кац: телевизор «Рубин-205»<sup>18</sup>, пианино, и недавно купили «Москвича» подержанного, но будьте уверены, Семенов с его руками приведет машину в такой божеский вид, которого Лазарю Моисеевичу ни-почем не добиться при всех его деньгах и ученой степени кандидата технических наук.

И вот — этот случай: буквально на днях Семеновы достали для своего Славика в комиссионке письменный стол. Раньше Славик готовил уроки за обеденным, но теперь он перешел в английскую школу и неудобно. Стол купили старинный и недорогой, что говорить — Семеновы барахла не возьмут, но только зеленый материал на крышке кое-где уже обтерся и Семенов, конечно, решил подреставрировать вещь своими руками: поменять сукно, покрыть дерево лаком. Вместо зеленой Дуся купила в «Пассаже» полтора метра голубой, в цвет к обивке кресла-кровати, костюмной шерсти с синтетикой. В воскресенье Семенов аккуратно снял сукно — Дуся собиралась сделать из него стельки в резиновые сапоги — и обнаружила под ним заклеенный конверт.

Когда Семенов при жене вскрыл конверт, то оказалось, что в нем лежат четыре пятидесятирублевые бумажки. Кто их туда запрятал — разные могут быть предположения и варианты: прежний хозяин был старик и отложил «на черный день», родным не сказал, чтоб не отняли, а сам внезапно умер. Родные, ничего не зная, сдали стол на комиссию и наказали себя на две сотни. А может, кто по пьянке запихнул от себя самого, а, проспавшись, забыл. Много возможностей, теперь не узнаешь. Тютиним Дуся сказала, что представьте, мы могли бы еще пять лет не собратсья менять сукно, а тут вдруг раз — и реформа. Представляете? На что Семенов возразил, что этого быть не могло<sup>19</sup>. И он прав. Не могло. Но самое интересное, что Семеновым этот стол вместе с перевозкой и голубым материалом обошелся в сто двадцать рублей. Представляете?

Нет, это верно: деньги идут к деньгам.

## 9

А у Барсукова, старого пьяницы, негодного человека, когда он спал на автовокзале в день получки, вытащили, конечно, все до последней копейки. Это сам Гришка так думает, что вытащили, а скорее всего его же собствен-

ные дружки и взяли, когда распивали бормотуху где-нибудь в парадной. Потому что документы и ключи у него остались, а воры разбираться бы не стали, где деньги, а где документы с ключами. Так, например, считает Наталья Ивановна Копейкина, и с ней согласны все — и Семеновы, и Тютинь, и Фира Кац. Танечка Петухова сказала, что, главное, противно, что теперь Григорий Иванович начнет звонить по квартирам и у всех клянчить деньги и одеколон, лично она не даст, а Роза Львовна, к сожалению, даст, да и Антонина тоже, эта пьяниц любит, сама такая. Что же, Танечка совершенно права, жалеть людей надо с умом и смыслом, а у такого забулдыги, как этот Барсуков, никогда не будет ни денег, ни здоровья.

## 10

Копейкина Наталья Ивановна после больницы стала совсем другим человеком. Во-первых, живет теперь одна, Олег после товарищеского суда<sup>20</sup> у себя в автопарке сразу завербовался куда-то на Север и уехал за длинным рублем, даже мать из больницы не встретил.

Во-вторых, раньше Наталья Ивановна была полная и выглядела старше своих лет, а теперь — на французской диете, похудела, сделала укладку в салоне причесок и ходит в импортном плаще. Людмила — помните? — та самая взяла над Натальей Ивановной шефство, навещает почти ежедневно, вместе в кино, вместе — в Пушкин, в лицей, — в общем, подруги — не разлей вода. Людмила оказалась очень и очень порядочной девушкой, раздувать дальше скандал из-за полученной травмы не стала, сама служит в автопарке диспетчером, сутки работает, три выходных, и учится в вечернем техникуме. Родители, оказывается, тоже очень культурные люди, а не, как предполагали Тютинь, тунейдцы, вроде ихнего бывшего свата-профессора. Отец служит в речном пароходстве, а мать учительница. И брат в армии. А модные эти юбочки

Людмила шьет сама, они ей копейки стоят, а одета всегда, точно из телевизора вышла. Таковую невестку днем с огнем не сыщешь, и Наталья Ивановна всем сказала, что Люда ей, как родная дочь, а если Олег там, на Севере, найдет какую-нибудь гулящую старше себя, Наталья Ивановна спустит ее с лестницы.

## 11

Было лето. Палила жара, и взрывались ливни, тяжело тащились по пыльным, засыпанным тополиным пухом улицам беременные поливальные машины, налетал ветер, то душный и жгучий, то тяжелый и мокрый, будто скрученный холодным жгутом. Давно ли из Таврического сада сладковато пахло сиренью, а потом — липовым цветом, а в начале сентября — отцветающими флоксами? Но вот запах флоксов сменился запахом прелых листьев и мокрой земли, выше и отчужденное стало небо, природа, летом нахлынувшая на город всеми своими красками, звуками и запахами, теперь отступила. Как отлив, ушла далеко за окраины и будет существовать там до весны отдельно и замкнуто, когда в пустых лесах сыплются с деревьев и летят день за днем сухие листья. Наступает ночь, а листья все равно падают, шуршат в глухой темноте, а потом принимается дождь, суровый, бескомпромиссный, и сутками хлещет по окоченевшим стволам и сутулым черным корягам.

...Ноябрь. Самое городское время. Господствуют только камни домов и парапетов, решетки оград, высокомерные памятники и колонны. Прямые линии, треугольники, правильные окружности, черно-белые тона. Торжество геометрии.

Ноябрь. Прошли праздники.

Ноябрь. Александр Петухов гостит в далекой дружественной Болгарии<sup>21</sup> у все еще теплого Черного моря, где расхаживают по солнечному берегу громадные серебристые чайки и прогуливаются западные туристы в белых брюках и кожаных в талию пиджаках.

Ноябрь. Темное утро. Дождь со снегом. В доме около Таврического сада все еще спят, ни одно окно не горит.

Антонина во сне пытается натянуть одеяло на острые плечи чернявого Валерика — кашлял с вечера, вот и положила вместе с собой.

Наталья Ивановна Копейкина всхлипывает, потому что видит странный сон, будто вернулся беглый сын ее Олег и стоит в дверях почему-то босой и без шапки, а пальто все мокрое, аж вода течет на натертый пол.

Роза Львовна Кац тоже плачет во сне, плачет тихо, с удовольствием, кого-то прощает за все свое вдовье одиночество, за чертову жизнь эвакуированной с ребенком и без аттестата<sup>22</sup> у прижимистой Пани в Горьком, за то, что теперь уже старуха, а, если вдуматься, что она видела в жизни? Завтра Роза Львовна и не вспомнит, что видела во сне, встанет в хорошем настроении и по дороге к себе в библиотеку сочинит стихи для стенгазеты: «...но было то не по нутру злomu недругу-врагу, и задумал он войной разрушить мир наш и покой». Лазарь, конечно, опять начнет смеяться, так ему ведь все смешно — такой человек.

Весь дом спит. Кроме Григория Барсукова. Тот лежит в темной комнате, тарашится в пустоту, думает. Как ему уснуть, когда он один в городе, да что — в городе, может, в целом мире, знает то, что никому еще пока узнать не дано.

Все мы, безусловно, правы: нет у бедняги Барсукова ни денег, ни здоровья. А вот насчет ума — это, уважаемые, извините-подвиньтесь со своими дипломами и кандидатскими степенями, это еще поглядим. Потому что, если бы кто-нибудь из нас с вами обнаружил такое, то, возможно, не только бы запил, а сбежал бы прочь, в другое место. Или руки на себя наложил со страху.

## *Часть вторая*

### ТРЕУГОЛЬНИК БАРСУКОВА

#### 1

Этот треугольник расположен в центре города, а именно на Сенной площади под названием площадь Мира. Вершина его приходится как раз на специализированный рыбный магазин «Океан»<sup>23</sup>, где каждое утро толкуются доверчивые любители селедки, не ведающие, где они стоят. Другие углы такие: здание станции метро, воздвигнутое на месте упраздненной с лица земли церкви Успения Пресвятой Богородицы<sup>24</sup>, — раз, и автобусный вокзал<sup>25</sup> — два. Там еще летом, наверное помните? — у Барсукова будто бы пропала вся получка до последнего рубля. Но только по наивности можно предположить вот это, первое попавшееся: что деньги были пропиты либо украдены. Только по наивности! И теперь Барсуков это знал.

Никто из нас с вами, слава Богу, не был и, будем надеяться, не окажется в Бермудском треугольнике, в этой мутной части Атлантики, где согласно источникам гибнут без вести, начисто пропадают среди ясного дня самолеты, где слепо дрейфуют покинутые мертвые суда, причем никто не знает, куда девались с них люди. Как-то на одном из таких судов была обнаружена воющая собака, но — что собака, она ведь только понимает, а сказать не может,

а вот, кто мог сказать, то есть говорящий попугай — тоже пропал совершенно бесследно.

Бермудский треугольник, по счастью, от нас далеко, тысячи миль до него и десятки надежных границ, и поэтому нам на него наплевать, он для нас вроде бабы Яги или как космические пришельцы, про которых мы ничего не знаем<sup>26</sup>.

Нам и без Бермудского треугольника есть чего бояться: войны с Китаем<sup>27</sup>, тяжелой продолжительной болезни, бандитов, отпущенных по амнистии, своего непосредственного начальника и еще кого-то неведомого, кто не ест и не спит, а денно и нощно дежурит у нашего телефонного провода<sup>28</sup>, чтобы узнать, что же мы говорим о погоде.

А ведь наверняка те, кто живут рядом с Бермудским треугольником или имеют с ним дело по работе, тоже боятся войны с Китаем и бешеных собак, а также своих бермудских гангстеров и начальников. И, уж конечно, рака. А про истории с самолетами и кораблями думают редко и неохотно.

Барсукову же и думать было нечего, чего тут думать, тут не думать надо, а меры принимать, и потому Григорий Барсуков, человек, за пятьдесят лет свой жизни поменявший столько мест работы, что уже из-за одного этого плюс внешний вид мог считаться «бомжем и з», то есть лицом без определенного места жительства и занятий, так вот этот субъект ранним ноябрьским утром подстерег во дворе кандидата технических наук Лазаря Каца и обратился к нему с антинаучным заявлением. Он сообщил Кацу, что на Сенной площади Мира якобы безвозвратно пропадают вещи и деньги, люди и даже автомобили с шоферами, и, что лично он, Барсуков, был свидетелем этого явления многократно.

— Могу привести ряд примеров,— заявил Барсуков.

— Приведите, прошу вас,— поощрил его Кац, который потому и стал кандидатом наук, что всю жизнь отличался любознательностью к явлениям природы.— Приведите,

приведите, — повторил он и вынул из кармана пачку сигарет, но, взглянув на свои окна, тотчас спрятал ее обратно и предложил Григорию Ивановичу лучше прогуляться через сад.

Небо над Таврическим садом сплошь было залеплено толстыми и белесыми тучами. Из разрывов этих туч нет-нет, да и выскакивало солнце, ошалело плюхалось в пруд, секунду трепыхалось в холодной воде, как блесна, и тут же исчезало.

— ...и равнодушная природа красую вечною сиять, — вдруг ни с того ни с сего назидательно сказал Барсуков и твердо посмотрел в глаза Лазарю Моисеевичу. Тот, являясь человеком тактичным, никакого недоумения не проявил, как будто так оно и следует, что необразованный «бомж и з» цитирует бессмертные строки.

— Красую. Вечною! — злобно настаивал Барсуков и, когда Лазарь наконец кивнул, добавил: — Природа вечна, а человек в ней ничто. Сегодня он есть, а завтра нету.

— Люди, безусловно, смертны, — согласился Кац.

Барсуков посмотрел на него с жалостью, махнул рукой, снял с головы кепочку и принялся яростно трясти ее, точно ботинок, в который набрался песок. Ничего не вытряс и деловито сказал:

— Привожу примеры исчезновения людей и предметов: сорок рублей восемьдесят четыре копейки, принадлежавшие лично мне. Так? Теперь: Виталий Матвеевич, старик...

— Какой Виталий Матвеевич? — спросил дотошный Кац.

— Какой он был, точно не знаю, — задумчиво ответил Барсуков, — но, полагаю, дерьмо... А как исчез — это видел сам: в прошлую среду около автовокзала попросил рубль, я ему: только, мол, трешка, он взял, говорит: ничего, разменяю. Пошел к ларьку, через улицу шел, я видел, а потом вылез трамвай — и с концами. Пропал человек.

— Ясно, — сказал Кац. — Еще какие были явления?

— Еще явление с синей машиной. Пустая, без людей, с горящими фарами днем.

— Стояла?

— Ага. Хрен тебе в зубы. Прямо с Московского по середине площади как вжарит. И на Садовую. Милицционер еще свистел.

— Я думаю,— сказал Кац, закуривая,— что все это просто цепь совпадений.

— Тебе хорошо,— Барсуков снова тряс свою кепку,— тебе хорошо — ты дурак...

Он пожал руку ошеломленного Лазаря, который тут уж не сумел захлопнуть рта, и удалился величественной походкой человека, который знает, что ему делать. А кандидат технических наук долго еще стоял на пустой аллее у пруда с глупым выражением на интеллигентном лице.

Вечером того же дня, когда семья Кац сидела за чаем, а по телевизору показывали фигурное катание, раздался телефонный звонок.

— Лелик, тебя,— позвала Лазаря мать.— Ты бы все-таки объяснил им, что беспокоить человека после работы — не дело.

— Олег, может быть, я подойду? — сказала Фира.— А ты ушел и будешь поздно. Ага?

— Во-первых, я просил больше не называть меня Олегом...

— Ах, прости, пожалуйста, забыла о твоём гражданском мужестве в кругу семьи,— сразу же надулась Фира,— между прочим, пока ты тут произносишь декларации о правах человека, человек ждет.

Человек, действительно, терпеливо ждал, хотя времени, как потом выяснится, у него было в обрез.

— Алло,— раздался далекий голос Барсукова, когда Лазарь наконец подошел к телефону.— Алло! Слушайте и записывайте для науки. Говорит Барсуков из треугольника. Я гибну. Сос. Местоположения в пространстве определить не могу. Сколько времени — тоже не знаю. Выхода отсюда нету и мгла.

— Где вы? Какая мгла? — Закричал Лазарь, глядя в окно, где с ясного черного неба иронически смотрели звезды.

— Мгла обыкновенная. Сплошная. Бело-зеленая. Видимости никакой. Гибну.

— Вы не пьяны? Слышите, Григорий Иванович, я спрашиваю — вы пьяны?

— В самую меру. Записывайте для науки: «Барсуков Григорий вышел из метро в 19.03...» — голос становился все глуше и гас, точно «бомжа и з» уносило куда-то прочь от земли.

— Темно и выхода нет. Гибну смертью храбрых во славу... — это были последние слова, услышанные Лазарем.

— Барсуков! Барсуков! — кричал он в опустевшую трубку.

Ни звука.

Никто, ни один человек на Земле, никогда больше не видел Григория Ивановича Барсукова.

## 2

После возвращения из Болгарии Александр Николаевич Петухов начал задумываться. А задумавшись, замирает на кухне с горячей спичкой в руке или чашку с черным кофе поднесет ко рту, а пить забудет. И Танечка, видя все это, очень переживала. Как-то раз зашла к соседке Марье Сидоровне за рецептом печенья на майонезе и вдруг внезапно и неожиданно расплакалась. Получилось это совсем некстати, Марья Сидоровна была не одна и к тому же больная. У нее сидели Дуся Семенова и Наталья Ивановна, так что слезы Танечки, хоть она и объяснила их зубной болью, конечно, стали обсуждаться.

— Гуляет он, — сказала Дуся про Петухова, как только Танечка ушла, — а чего не гулять? Ездит по Европам за казенный счет, кожаный пиджак себе купил.

— Татьяне тоже замшевую юбку привез, — вступилась справедливая Наталья Ивановна.

— Гуляет, это точно, — несмотря на юбку, стояла на своем Семенова, — вчера смотрю: идет домой в восьмом часу вместо шести, глазки, как у кота, так и глядит туда-сюда, туда-сюда. А как увидит Кац Фирочку, так уж вообще... Вчера вышагивают через двор, он ее сумочку несет.

— Фира интересная, — согласилась Наталья Ивановна, — полная и одевается.

— Это верно, жить они умеют, этого от них не отнимешь. Марья Сидоровна, корвалольчику еще накапать?

— Не надо, — тихо сказала Тютинна. И все замолчали.

У Марьи Сидоровны было свое горе, и все из-за мужа. Конечно, старик Тютин кожаных пиджаков сроду не носил и глазами не зыркал, зато последнее время все его разговоры непременно сводились к близкой смерти, даже про бывшего зятя что-то стал забывать. То начнет распорядиться, как поступить после похорон с его старым костюмом (слава Богу, еще Марье Сидоровне удалось уговорить его надеть в гроб выходной серый, а то заладил: синий да синий, а серый импортный, дескать, в комиссионку, ну не срам?), то решает вопрос, съезжаться ли Марье Сидоровне с дочерью и внуками, и приходит к выводу, что — не сметь! Анна выскочит замуж за какого-нибудь прощелыгу, а мать окажется без своего угла. Марья Сидоровна ему и так, и сяк: «Петя! Зачем, скажи, эти разговоры? Травмировать меня? Поднимать давление?»

А он опять:

— Окончание жизни — это финал. Смерть тебя не спросит, когда ей прийти. Вон, Барсуков: был и нету.

Она ему:

— Так Барсуков же пьяница! Неизвестно, куда девался, может, в тюрьме сидит, может, в психбольнице на принудительном лечении.

— Это брось! Гришку искала милиция, они дело знают. Нигде не нашла, и комнату опечатали, а ты — «неизвестно»! Если неизвестно, закон опечатать не даст. Нет

Барсукова. И меня не будет, — твердит Тютин, а сегодня и вообще заявил, что настоятельно желает, чтобы на его похоронах обошлись без рыданий и кислых слов, потому что в таком возрасте смерть — дело житейское, вполне естественное и даже нужное, вроде свадьбы, например, или проводов в армию на действительную службу.

— У гроба моего завещаю петь песни, — велел он жене.

— Какие? — шепотом спросила Марья Сидоровна и присела на диван.

Петр Васильевич долго думал, глядел в окно, потом сказал:

— Солдатские. Поняла, мать? Я — ветеран. Солдатские песни, запомни.

— Господи помилуй! — заплакала Марья Сидоровна, — Дай ты мне, Христа ради, первой помереть!

Тютин плюнул, покачал головой и отправился в киоск покупать «Неделю», а Марье Сидоровне пришлось звать Дусю, не могла уже сама накапать лекарство — руки тряслись.

Так что вполне понятно — не до Танечки Петуховой было в тот день Марье Сидоровне Тютиной.

К сожалению, и Петухову было теперь не до жены. Уже две недели прошло после возвращения его из Болгарии на родную землю, а он, как был в первый день не в себе, так и остался.

Точно яркие цветные слайды вспыхивали в его мозгу разные картины: ночной бар, тихая музыка, притушенный свет, сигареты «Честерфилд», коктейль «Мартини», элегантный бармен — друг, не лакей и не хам — нагнулся к Петухову, щелкает американской зажигалкой: курите. Холл отеля «Амбассадор» на международном курорте «Златы Пясы», где Александр Николаевич прожил три последних дня своей первой заграничной поездки, — так было предусмотрено программой: после заседаний, встреч и приемов — отдых у моря. Здание казино, вдоль которого всю ночь стоит вереница машин. И каких! Мерседесы, шевроле,

фольксвагены, тойоты, форды... Огни, огни, огни... Толпа западных людей в зале казино около игральных автоматов — это рулетка такая, называется «Однорукий бандит». Петухов сам был свидетелем, как какой-то джентльмен с бешеными глазами и голубыми ввалившимися щеками бросил в щель «бандита» серебристый жетон, дернул ручку — и целая груда этих жетонов со звоном высыпалась в лоток. А мистер Петухов, профсоюзная шишка, в только что купленном черном кожаном пиджаке и белых брюках, в одном кармане которых лежали американские сигареты, а в другом турецкая жевательная резинка, он, причесанный на косо́й пробор в лучшем салоне Варны, он, к которому здесь, за границей, все обращались только по-немецки, мялся в углу, не смея подойти к автомату, поминутно оглядываясь на дверь: не войдет ли Павлов, руководитель их группы<sup>29</sup>. А уж о том, чтобы самому сыграть в рулетку, и речи быть не могло. А почему? И ведь им, павловым, все равно, — что Петухов, человек с высшим профсоюзным образованием, знающий два языка со словарем, что это быдло из их так называемой делегации, жлобы, уроженцы города Саратова или какого-нибудь Минска, которые в варьете, в варьете! — только и выжидали, когда замолчит наконец оркестр, чтобы грянуть свои «Подмосковные вечера»<sup>30</sup>. Зачем их возят по заграницам, позорище одно! И изволь сидеть с ними у всех на виду в ресторане, среди немыслимых двубортных пиджаков или жутких синтетических платьев с блестками! Изволь улыбаться, пить за то, что хороша, дескать, страна Болгария, а Россия лучше всех<sup>31</sup>. Ну и сидели бы в своей России, в грязи и серости по уши! Так нет — им подавай Европу, а ты, как дурак, веселись тут с ними, лови на себе презрительные взгляды западных немцев, сидящих напротив. Немцы, кстати, и сидят иначе, и сигарету держат как-то красиво, и лица у всех культурные. Ведь вот — выпили, а никто не красный, не потный, не орет и руками не машет.

И, главное, не встанешь, не закричишь: «Товарищи!» то есть, конечно: «Господа! Я не такой, как эти! Я все понимаю, мне смешно и противно смотреть на них, так же, как и вам! Это, ей-богу, не я покупаю в аптеке медицинский спирт и напиваюсь, как свинья, у себя в номере, а потом начинаю горланить на весь отель! Не я с утра до вечера дуюсь в холле в подкидного дурака! Не я под джазовую музыку пляшу в ресторане «цыганочку» или топчусь в медленном танго, как допотопный сервант. Не я это! Не я!»

Тонко улыбаются нарядные западные люди, кажется, если бы можно, вынули бы сейчас фотоаппараты и кинокамеры, запечатлели бы на память дикарей. Но — нельзя, неприлично.

А наши и понятия-то такого не имеют — «неприлично», им все прилично, вопят на весь зал, пялятся по сторонам и еще шуточки отпускают — у нас, мол, танцуют лучше и одеваются наряднее. Кретины! Неандертальцы! Толпа!

Так они сводили его с ума там, в Болгарии. А теперь — вот она Родина. Родина — мать. Перемать. Россия, сплошь состоящая из них, из этих...

На второй день после приезда зашел днем в «Север» пообедать<sup>32</sup>, и сразу: «Глаза есть? Не видите — стол не убран? Ах, видите. Так чего садитесь?.. Мест нет? А у нас — людей нет. Вы к нам работать пойдете?» Сервис!

Можно было, конечно, показать ей кузькину мать, чтобы знала, с кем имеет дело, хамка, да связываться противно, тем более, был не один, с начальством. Еще, слава богу, ему, Петухову, теперь не нужно стоять по очередям за продуктами, на дом возят...

...Ах, скажите пожалуйста: на дом! Благодетели. Купили за банку паршивого кофе! Да если уж на то пошло, насрать ему на их растворимый кофе и лососину! Да и на икру, если на то пошло! Не хлебом единым! Орут везде, что у нас — права человека, а в городе ни одного ночью

го бара. Только на валюту<sup>33</sup>, на доллары. В занюханной Болгарии, тоже мне еще — Запад, сколько угодно этих баров! И девочки! Только не для нашего брата девочки, для нашего брата — руководитель Павлов, он тебя и...

...Болгария... А где-то есть еще и Париж. Есть и Швейцария. И Штаты...

В гробу я видал ваш вонючий кофе!

— Сашенька, почему так поздно? — робко спросила Таня, когда Петухов в третий раз явился домой в половине восьмого.

— Автобус сломался, — с горделивой скорбью отрезал он.

— Автобус? Почему — автобус? А где Василий Ильич?

— А пускай твой Василий Ильич другую жопу возит! Ясно?! — заорал Петухов. — Сдалась мне их поганая «Волга»! И пайков больше не будет, поняла? Попили кофеев, хватит! Обойдешься чаем «Краснодарским» сорт второй<sup>34</sup> и городской колбасой<sup>35</sup>!

— Что случилось, Саша? У тебя неприятности? — Танечка уже плакала.

— Приведи в порядок лицо! — завизжал Петухов. — Не женщина, а чучело! Плевал я! Принципы надо иметь! Дешево купить хотите, граждане-товарищи!

Долго еще бушевал Александр Николаевич, хлопая дверью, выкрикивал лозунги о демократических свободах, о том, что никому не позволит душить и попирать. Потом улегся на диван с транзистором и на всю квартиру включил «Голос Америки»<sup>36</sup>.

### 3

В середине декабря месяца Наталья Ивановна Копейкина случайно узнала, что в субботу в магазине «Океан» с утра будут давать баночную селедку. Новый год был уже вот-вот, и поэтому Наталья Ивановна с Дусей Семеновой и недавно прощенной Тоней Бодровой за час до открытия отправились занимать очередь. Марья Сидоровна,

которой тоже предложили, сказала, что ей не до селедки, плохо себя чувствует, и женщины решили взять две банки и разделить: полбанки Тютиным, они старые люди, надо помочь, и полбанки Дусе. Антонине хорошая селедка очень бы кстати, так как Анатолий все же обещал первого зайти. Это надо: с лета ни разу не вспомнил, а тут... нет слов, одни буквы. А Валерку тогда заберут к себе с ночевкой Семеновы.

Селедку, действительно, отпускали, очередь шла быстро, так что к десяти часам все трое, довольные, стояли с банками на трамвайной остановке напротив метро «Площадь Мира». Погода была ясная, светило солнце.

Трамваи не шли, на остановке собралась огромная толпа, говорили: кто-то должен проехать из аэропорта, не то король, не то кто из наших, и движение перекрыто. Минут через десять появилась милицейская машина, принялась кричать в мегафон, загнала всех на тротуар, давка началась невероятная. И в этой давке Антонина внезапно почувствовала, что в глазах у нее темнеет, ноги отнимаются, кругом зеленая мгла, как с хорошей поддачи, и, что она не соображает, где находится и зачем.

Сколько времени продолжалось такое состояние, Антонина никогда потом сказать не могла, но, когда очнулась, увидела, что сидит на скамейке около автобусного вокзала, а рядом с ней сидят и Наталья Ивановна, и Дуся, обе бледные, не в себе и без сумок.

— Чего со мной? — спросила Антонина слабым голосом, но ей не ответили. Как выяснилось, ответить ей и не могли, потому что ни Семенова, ни Копейкина не знали, что и с ними-то произошло, как, например, попали они с остановки на эту скамейку, а главное, где их сумки с деньгами и банки с селедками. Обе они, как и Антонина, оказывается, видели только зеленую мглу и туман среди ясного дня.

— Несомненно — вредительство, — предположила Наталья Ивановна, и женщины с ней согласились.

Посидев с полчаса, придя в себя и переговорив, они решили все же ничего никому не рассказывать, все равно не поверят и еще засмеют, а деньги, которые дала им на селедку Тютин, собрать между собой и вернуть. Про банки же сказать, что их не давали, а была мороженная треска с головами.

**4**

А ведь и верно: совсем скоро Новый год. Кажется, только что прошли ноябрьские, а через неделю опять праздник. Все скоро в этой жизни, так что и уследить не успеешь.

Петр Васильевич Тютин праздник Новый год любил и всякий раз радовался: смотри, пожалуйста, опять дожил — и ничего, сам, вон, с Некрасовского рынка (придумал какой-то болван назвать рынок именем великого писателя!) — с Мальцевского рынка елку приволок. Приволок, украсил, подарки разложил, а как же — придут внуки, Даниил и Тимофей.

Нравился Петру Васильевичу Новый год, а все-таки главными праздниками у него были другие. День Советской Армии и самый важный — это, конечно, Праздник Победы. Новый год — больше для внуков, для жены с дочерью, а это — собственные его.

В эти дни Петр Васильевич надевал на серый костюм орден Красной Звезды и Отечественной второй степени, прикалывал медали и шел к Петру Самохину, тезке, другу и однополчанину. У Самохина была большая квартира, и это уж, как говорится, создалась такая хорошая традиция — по праздникам собираться у него. Приходили ребята без жен, выпивали умеренно, пели, вспоминали. И если кто в десятый раз принимался рассказывать один и тот же случай, никогда не одергивали и не поправляли, мол, не так было, путаешь, старый хрен; этого у всех дома хватало, наслушались от родных деток, которым, что ни скажи — в глазах тоска — скоро ли он кончит, надоел, все одно и то же, да одно и то же. А товарищи, те

и послушают, а если у кого слезы, дело-то стариковское, не заметят, виду не подадут, а не то, что сразу охать да бегать с валидолами. Одно слово: мужская дружба фронтовиков.

Интересное дело, сколько времени прошло после войны, больше двадцати лет Тютин отработал на заводе мастеров, на отдых вышел, как полагается, с почестями, никто не гнал, сам захотел, и друзья были, а вот, пожалуйста, остались от этих заводских друзей только поздравительные открытки к календарным датам. И от завкома — открытки, и от партбюро. А эти парни, с которыми в войну самое большее три года вместе был, да что — три года, некоторых и года не знал, — эти мужики до самой, видно, смерти, до последнего дня. Почему так?

Встречи с фронтовыми товарищами считал теперь Петр Васильевич единственным и главным делом своей жизни, только с ними, с ребятами, чувствовал, кто он такой, что сделал, какие дороги прошел, потому что личное — это личное, это для женщин, а мужчина для другого живет. Но все меньше, с каждым разом меньше народу собиралось у Петьки Самохина на праздники. В прошлый день Победы только трое пришли, остальные — кто болел... Встречались вообще-то в последнее время довольно часто, но те встречи были далеко не праздничные, да и какие это встречи, это проводы...

Так что не от злобы или плохого характера, не от жестокости Петр Васильевич мучил жену похоронными разговорами, а потому что видел: подходит время, и смерть представлялась ему последним заданием, которое скромно и с достоинством предстоит ему выполнить на земле. А только дурак полагает, будто умереть можно кое-как и безответственно. Пускай, дескать, родственники беспокоятся и хлопочут, а мне что — лег себе в гроб, руки крест-накрест и спи, дорогой товарищ.

Петр Васильевич недаром был ветераном и солдатом, он, может, потому и войну без ранений прошел, с одной

контузией, что все умел и привык делать, как следует, хоть окоп вырыть, хоть автомат смазать. А теперь — это тебе не окоп, тут надо решить ряд важных вопросов: материальное обеспечение жены, то есть, конечно, вдовы, распорядок ее дальнейшей жизни, организация похорон. Естественно, и в этих делах не на родственников рассчитывал Тютин, а на боевых товарищей, знал, что помогут Марье Сидоровне и внуков не оставят, но надо же и самому руки приложить. Как раз сегодня утром он принялся составлять список: фамилии и адреса тех, кого обязательно надо пригласить, чтобы проводили его в последний путь, но жена, увидев этот список, ударилась в такой рев, дуря старая, что Тютин разозлился, скомкал бумагу, сунул в карман и ушел, хлопнув дверью, в сад на прогулку. Вот ведь, ей-богу, бабий ум! Курица и курица. Будет потом метаться, кудахтать, кого позвать, как сообщить, где найти. Самой же приятно: пришли проститься с мужем хорошие люди, никто не побрезговал, вот, пожалуйста, фронтовые друзья, а это — рабочий класс, товарищи, ученики — смена, то есть. А тут — руководство... Ладно... Допишет он свой список потом, без нее, Допишет и спрячет в стол, в тот ящик, где ордена и документы. Понадобятся когда ордена, начнет искать, найдет и список.

...Петр Васильевич Тютин шел себе воскресным утром в валенках по узкой дорожке среди сугробов, смотрел на белые патлатые деревья, на простецкое, светленькое небо, на глупую мордастую снежную бабу с палочкой от мороженого вместо носа, шуршал в кармане мятым списком, думал, и вдруг так расхотелось ему помирать, так стало страшно и неохота провалиться из этого уютного обжитого мира куда-то во тьму, где наверняка ничего хорошего нету, что вытащил он скомканную бумажку с фамилиями, торопясь, бросил в мусорную урну и, как мог быстро, подволакивая ноги, — чертовы валенки по пуду весят! — пошел прочь. Надо еще конфет купить, а то в магазинах уже завтра будут очереди — жуткое дело.

5

В ночь под Новый год Фира сказала мужу, что она его больше не любит. Это же надо еще суметь — выбрать такой день для подобного разговора! Вообще-то Лазарь уже давно, с месяц, наверное, чувствовал: что-то не то. Фира постоянно где-то задерживалась, у нее невесть отку-да завелось огромное количество дел, а так бывает всегда, когда человеку плохо у себя дома. Все ее раздража-ло и выводило из себя, а особенно, почему-то, невинная просьба Лазаря не звать его больше никакими Олержка-ми, Леликами и Ляликами. Раньше и внимания бы не обратила, может быть, даже с уважением бы отнеслась, а теперь:

— Ах, Лазарь? Понимаю... Это у тебя такая форма протеста. Мол, ничего не скрываю и даже горжусь. Очень, о-очень смело, ты у нас прямо какой-то Жанна д'Арк.

— Ты чего это?

— Потому что противно! Кукиш в кармане. Герой — борец за идею. Ты бы еще магеновид надел.

— Надо будет — и надену, вон, датский король с ко-ролевой, когда немцы...

— Слыхала. Ты мне про этот случай рассказывал раза три... позволь, четыре раза. Но ты, к сожалению не ко-роль, тебе ничего надевать не надо, у тебя, как говорит-ся, факт на лице.

— Я не понимаю, — вконец растерялся Лазарь, — ты что, антисемиткой сделалась?

— Просто, миленький, дешевки не люблю. Лазарь ты? Великолепно! Гордишься своим еврейством? Bravo-браво-бис! Не нравится, когда кривят рожу на твой пятый пункт? Противно, что любой скобарь в трамвае может, если по-желает, обозвать жидовской мордой, и ничего ему за это не будет? И мне, представь, противно. Только причем же здесь «Лазарь»? Будь последовательным. Уезжай!

— Ты что это, Фирка, обалдела?

— Испугался. Вот она, цена твоего гражданского мужества.

— Подожди, ты что, серьезно?

— Я-то серьезно, я о-очень даже серьезно, а вот ты со своими твяканьем из подворотни, с вечным «я бы в морду...».

— Ты действительно хочешь уехать? В Израиль?

— А это уже второй вопрос: куда? Важно, что отсюда. Ясно?

— Ладно, Фира, давай поговорим... хотя я не представляю себе, чтоб ты... У тебя что-то случилось?

— Ну, знаешь, это уж вообще! «Случилось»! А у тебя ничего не случилось, ни разу, Лелик, то есть, тьфу! Лазарь Моисеевич? Это не тебя ли как-то не приняли на филфак с золотой медалью<sup>37</sup>? И не ты ли тут вечно рвешь и мечешь, когда твой доклад читает на каком-нибудь симпозиуме в Лондоне ариец с партийным билетом<sup>38</sup>?

— Тише ты.

— Тише?! Вот-вот. Надоело! Их — по морде, а они — тише! Чего ж не врезать? Да брось ты сигарету, мать увидит, будет орать!

— Не увидит. А меня ты напрасно агитируешь, я тебе могу привести и не такие примеры.

— Ну так что ж?

— А.. таки плохо. Как в том анекдоте. Плохо, Фирочка. И все-таки я не уеду.

— Боишься? Мол, подам заявление, с работы выгонят, а разрешения не дадут<sup>39</sup>. Так?

— Если уж честно,— и это. Но не во-первых, даже не во-вторых. А во-первых то, что здесь, видишь ли, моя родина. Мелочь, конечно.

— Родина-мать?

— Да, уж как тебе угодно: мать, мачеха, тетя, а только — родина, и никуда от этого не деться.

— Какая там тетя? Какое отношение имеешь к России ты, Лазарь Моисеевич, еврей, место рождения — черта

оседлости? Нужен ты ей, со своей сыновней любовью, как Тоньке Бодровой ее незаконный Валерик!

— Это черт знает что! Мне дико, что это мы, ты и я, ведем такой разговор. Лично я не верю в генетическую любовь к земле предков, может быть, потому не верю, что сам ее не чувствую. Конечно, кто чувствует, пускай едет, всех ему благ...

— ...А тебе и здесь хорошо.

— Нет. Не хорошо. Но боюсь, что лучше нигде не будет. И — почему такой издевательский тон? Неужели я должен объяснять тебе, что я тут вырос, что я, прости за пошлость, люблю русскую землю, русскую литературу, а еврейской просто не знаю. Кто там у вас главный еврейский классик?

— У нас? Ну вот, что, — Фира стояла посреди комнаты, сложив руки на груди, — мне этот разговор противен. И ты сам, прости, пожалуйста, тоже. Это психология раба и труса.

— А катись ты... знаешь куда! — разозлился Лазарь, — подумаешь, диссидентка! Противен — и иди себе, держать не стану!

Фира тут же оделась и ушла на весь вечер. Может быть, у нее на работе завелся какой-нибудь сионист? Их теперь полно, героев с комплексом неполноценности и длинными языками.

Лазарь долго стоял на кухне у окна и курил в форточку. Наконец он решил, что, скорее всего, Фирку кто-нибудь обругал в автобусе или в магазине, у нее-то внешность — клейма негде ставить, прямо Рахиль какая-то. Конечно противно! Только нет из этого положения выхода, как она, глупая, не понимает? Евреям всегда было плохо и должно быть плохо.

«Успокойтесь, тогда и поговорим», — решил Лазарь.

Но Фира не успокоилась. И вот в новогоднюю ночь, сидя за накрытым столом, она при свекрови официально заявила мужу, что намерена с ним развес-

тись из-за несходства характеров и политических убеждений.

Роза Львовна сразу сказала, что у нее болит голова, и она идет спать. А Лазарь выслушал следующее:

— Это счастье, что у нас нет детей, хотя я знаю, что вы с матерью за глаза всегда меня за это осуждали. Развод мне нужен немедленно. Мы с тобой чужие люди. Слабых не ругают, их жалеют, но мне жалости недостаточно, мне для того, чтобы жить с человеком, нужно еще и уважение, а его нет.

Тут Лазарь тихо спросил:

— Ты меня больше не любишь? У тебя кто-то другой?

— Не люблю,— отрезала Фира,— а есть другой, или нету — в этом случае, какая разница? Твоя приспособленческая позиция мне не подходит. Я считаю: кто не хочет ехать домой, тот пусть идет работать в ГБ!

— Можно утром? А то сейчас ГБ, наверно, закрыто,— спросил Лазарь, машинально откусывая от куриной ноги.

— Вытри подбородок, он у тебя в жиру,— с отвращением сказала Фира.— Я ухожу. Возьму пока самое необходимое.

Она вышла из-за стола, и через пять минут Лазарь услышал, как хлопнула дверь — видно, самое необходимое было собрано заблаговременно.

Лазарь подвинул к себе фужер с недопитым шампанским, налил туда водки и медленно, не чувствуя вкуса, выпил. Выпил, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на часы.

«Полвторого. Куда она? Впрочем, транспорт работает всю ночь».

## 6

Бодрова Тоня Новый год, почитай, и не встретила: забежала в одиннадцать часов к Семеновым, посидела, поздравила всех с наступающим, оставила Валерку, как договаривались, до второго,— и домой. Дуся: останься да останься, а Антонине ну, ей-богу, неохота, не почему-либо,

а такое настроение, решила спать лечь не поздно, чтобы утром выглядеть, как человек. Потому что Анатолий точно сказал: зайду первого днем. Ему вообще-то верить не больно можно, бывало и раньше, обещает: жди, а сам не явится, но в этот раз другое дело, в этот раз чего ему врать, как ушел тогда, еще в августе, она за ним не бегала, не звала, хотя и знала: с Полиной живут плохо — пьянка каждый день, а после пьянки — драка.

Тридцатого вечером встретились в булочной, Антонина сделала вид, будто не признала, отвернулась, берет «городскую»<sup>40</sup>, а руки, как не свои, уронила булку на пол, пришлось платить — кассирша там вредная, разорется, а булка вся в грязи. Только вышла на улицу, Анатолий тут как тут, за ней.

— Гражданочка, извиняюсь, не знаете, сколько время?

Больше четырех месяцев Антонина каждый день, да не по одному разу, все представляла себе, как это будет, как они увидятся, и решила вести себя не грубо, но так, чтоб он понял — гордость и у нее есть. И, если она тогда была, как ненормальная, и чуть не за ноги его хватала, только чтоб не уходил, то теперь с этим уже все, и перед ним, как говорят, другой человек. Пусть подозревает, что у нее кто-то есть, пусть не думает.

Но получилось по-другому. Про гордость она забыла, стала болтать какие-то глупости, мол, как живешь, а он — нерегулярно, — говорит. — Что же нерегулярно-то? У тебя жена молодая. А он: — Во-первых, она мне жена только для прописки, а во-вторых, ты на ее рожу погляди, одно слово сзади пионерка, спереди пенсионерка. Антонине бы сказать, что некрасиво так — о женщине, а она наоборот: лицо, — говорит, — можно и полотенцем прикрыть, а дальше такое сказала, что и вспоминать неудобно. Главное, говорит, сама чувствует — не то, не так надо с ним разговаривать, а остановиться не может, вот и верно, что язык без костей. А Анатолию, кобелю, нравится, хохочет, доволен, боялся, небось, что Антонина будет скандалить,

а чего ей скандалить, хотела бы, еще летом морду бы Полине начистила, далеко ходить не надо, в одном дворе живут.

Что-то еще говорил Анатолий — хорошо, дескать, выглядеть стала, поправилась, Антонина, вроде бы, отвечала, что надо, а сама только думала — сейчас ведь уйдет, вот сейчас — попрощается и все, и опять только жди, да гляди в окно — не идет ли мимо, и опять жди, и ночи эти проклятые, когда такое, бывает, приснится, что утром вспомнишь, и в жар кидает.

А он вдруг: чего же на Новый год не приглашаешь?

— Так ведь, Толя, Новый год — семейный праздник, в кругу семьи. Как тебя Полина отпустит? Или ты с ней вместе ко мне собираешься?

«И что это я говорю? Вот теперь-то он и скажет — шутка, мол, привет семье, до новых встреч, чаю, бомбина!»<sup>41</sup>

— Нет, конечно, смотри сам. Если хочешь, заходи. Хоть в Новый год, хоть первого.

— Первого? Порядок. Если не прогонишь, приду в два часа, готовь полбанки.

Вот так и договорились. Придет. Чего ему врать, сам предложил, не напрашивалась. Придет.

Комнату свою Антонина, конечно, вылизала, себе купила новое платье цвета морской волны и приталенное. Это ведь еще надо найти — пятьдесят второй размер и по фигуре, у нас на полных шьют, как на старух, мешки, а не платья, даже обидно.

Тридцать первого сбегала к знакомой парикмахерше, сразу после гимна. Зато первого к часу дня была уже готова — платье, как влитое, на груди кулон, колготки, правда, порвала, когда натягивала, потому что импортные. У заграничных баб не ноги, а палки, а у нас ноги фигуральные, вот и тесно. Ну да ничего, подняла петлю, сойдет.

Потом накрыла на стол. Скромненько, не очень, чтобы очень, потому что не покупать она мужика собирается за какую-то ветчину или икру. Поставила огурчики соленые,

шпроты, еврейский салат (Роза Львовна научила: творог, чеснок мелко порубить, зелень — можно укроп, можно петрушку), ну и там сыр, колбасы «Советской» твердокопченной триста грамм, у себя в магазине выпросила. Сволочи все же Катька с Валентиной, как надо что из бакалеи, так «Тося» да «Тося», и она им, конечно, все оставляет, а у них вечно по сто раз проси, унижайся...

Короче говоря, стол получился не то, что богатый, но приличный. А водки, как просил, купила пол-литра. И хватит. Это с Полиной они пускай пьянствуют, Тоня не Полина, что раньше было, то прошло, и вспоминать нечего.

В холодильнике, конечно, была еще «маленькая» и две бутылки пива на запас, но это — как получится.

Анатолий пришел точно в два. Снял в передней пальто, и Антонина даже обалдела, никогда таким его не видела. Костюм цвета беж, галстук весь переливается, волосы курчавые, а она уж забыть, оказывается, успела, какие у него красивые волосы.

Пошли в комнату. Антонина говорит:

— Ну, ты даешь. Прямо, как из загранки.

А он хохочет:

— Это ты прямо в точку, костюм у меня импортный, маде ин Поланд. Ну что, видела костюмчик? Больше не увидишь.

Снимает пиджак, вешает на стул, галстук туда же, и — за брюки. Антонина села на оттоманку и молчит, что говорить, не знает. Он брюки снял, хохочет, как чокнутый:

— Чего рот раззявила, деревня? Надо быть современной женщиной, к тебе не кто-нибудь, а любовник пришел. Раздевайся.

Антонина встала и опять стоит, молчит. С одной стороны, конечно, приятно, что он считает ее за современную женщину и не просто выпить пришел, но с другой стороны, у них, может, это и принято, а у нас не привыкли еще.

А он стоит, в чем мать родила, одни носки оставил с полуботинками, и ухмыляется.

— Ну чего? Раздевайся, да побыстрее!

Антонина смотрит — он берет со стола бутылку, нали-  
вает ей стопку, себе стопку, и говорит:

— Пей, давай, тогда, может, смелее станешь, а то, как  
все равно дурочка. Французские кинофильмы смотрела?

Не ругаться же с ним, не для того полгода жда-  
ла. Антонина взяла стопку, выпила. Ладно. Французская  
жизнь, так французская, хорошо хоть сорочку новую на-  
дела, нейлоновую. Сняла свое платье морской волны,  
а он: все снимай, тут тебе не ателье мод и не поликлиника.  
А сам еще наливает. Антонина хотела погасить лампочку,  
а он: еще чего? Дикость, — говорит, — или может, ты у нас  
с браком? Не помню, чего у тебя там не хватает, вроде,  
всего полно и все на месте. Ну, что с ним поделаешь, —  
шутник!

В общем, она разделась, стоит, а что дальше — не знает.

Но Анатолий на кровать даже не посмотрел, сел  
к столу, ну, и она напротив, живот скатертью прикрыла.  
Холодно все же. А Толька:

— Чего прячешься? Тело женщины, это, во-первых,  
красиво. В Русском музее была? И ты интересная, как  
Венера. А я — смеется — как этот... Ганнибал.

Может, со стыда или от волнения, а может, потому,  
что со вчерашнего дня крошки во рту не было, Антонина  
сразу опьянела. И стало ей плевать, что сидит тут, как  
дура, голая, и что тело-то уж не то, и что от окна так  
и свищет. Весело ей сделалось и хорошо, потому что вот  
он, Анатолий, пришел все-таки, сам пришел, сидит, точ-  
но фон-барон, а на плечах веснушки, как у маленького...

— Толик, тебе не холодно? Я платок принесу.

— Иди ты с платком! Налей лучше! А потом погреемся.  
...а плечи-то широкие, красивый до чего! Ну прямо  
в точности Ганнибал, или какой-нибудь Юлий Цезарь.

По-французски — так уж пускай на всю катушку! Ан-  
тонина встала, прошла на каблучках через всю комна-  
ту и включила телевизор. Как раз показывали концерт

артистов эстрады. И — черт с ним! — достала из холодильника «маленькую» и пиво.

Еще выпили, за любовь. Антонина чувствует — опьянела, закусить надо, а не лезет кусок в горло, да и все. А тут еще Майя Кристалинская как запоет: «Я давно уж не катаюсь, только саночки вожу»<sup>42</sup>, ничего, вроде, особенного, а у Антонины слезы.

— Толечка, миленький, я для тебя, что хочешь, сделаю! Что скажешь, то и сделаю!

— Да не могу я с тобой расписаться, Тонька, пойми ты это, чудачка!

— Не надо мне. Зачем? Я и так для тебя — что хочешь... Я бы и стирала, и обшила, а денег — на что мне деньги, я сама зарабатываю, я бы у тебя зарплату не брала... и какой хочешь можешь приходить, хоть и пьяный, хоть какой...

— Кончай реветь. Ты — баба хорошая, лучше Польки. Но расписываться — это нет.

— Толик, я, когда мимо ресторана «Чайка» прохожу, где мы с тобой тогда, так всегда плачу, как ненормальная...

— Я — мужчина... Поняла? Ты — баба, а я мужчина... И все... Еще керосин есть, нет?

— Меня все тут за последнюю, за не знаю кого считают, что я тогда так с Валериком... ты пойми, я же мать! Я ребенка своего люблю, ребенок не виноват... Но тебя я больше своей всей жизни!.. Если б ты заболел, я бы кровь дала...

— Это лимонад? Лимонад, да?! Не могла две поллитры взять, говорил ведь: жди!.. Я мужчина... бля... с-сука! И — все!.. Поняла?! Не распишусь. И — все!

— Толик, ты кушай, вон огурчики солененькие...

— Отстань! Сказал — от-стань!.. И все... Одну бутылку... Пожалела... сука... Я мужчина! Титьки развесила, корова... Я — мужчина, а ты — сука... И все... И все...

— Толик, если что, я сбегаю, ты успокойся, миленький! Толенька!..

— Убери руки! Руки убери! Не трогай, б...! Убью суку! Убью!!!

— Толик! Не надо! Не надо! Прошу! Вот — на коленях прошу... Толечка! О-ой! Ногами — не надо! Толечка! Толечка-а!..

— Молчи, курва! Получила?.. Вставай! Разлеглась тут... сука! На тебе! На! Заткнись, убью! Заткнись!!!

Хорошо еще — в квартире никого не было, жиличка в гости ушла.

## 7

А Роза Львовна собирается на свидание. Лазаря зачем волновать, ни слова вчера ему не сказала, хватит парню и своей беды. Матери — все парень, а ему сорок лет, возраст, кстати, для мужчины самый опасный, если уж в этом возрасте случится инфаркт, то это очень и очень плохо. Говорят, беречь надо мужчин именно сейчас, следить, чтобы укрепляли сердечную мышцу, спортом занимались, легкой атлетикой, только судьба не спрашивает, сколько кому лет.

Каждому когда-нибудь достается настоящее страдание, вот и Лелику пришла очередь. В Горьком, в эвакуации, в самые страшные годы был счастливым — маленький, ничего не понимал, мать рядом, а отцов тогда ни у кого не было. Голодать Роза Львовна ему не давала, не допустила, устроилась на макаронную фабрику, дали рабочую карточку, а по вечерам шила. Ведь смешно сказать: до войны ничего не умела, а заставила нужда, научилась и кроить, и шить, и вязать, даже подметки ставить.

А потом пошло легче: учился Лазарь хорошо, товарищи его любили, очень способный был мальчик и общительный. Не приняли в Университет — это, конечно, был удар, но он не растерялся, поступил в технический вуз, хотя мечтал стать журналистом. Способный человек — всегда и везде способный, вот и в технике всего добился, кандидат наук,

физик! Такая — сама и так воспитала — не ныть, не жаловаться, что есть — есть, а чего нет — и не надо.

Любой пример: разве кто-нибудь в семье, она или Лелик, сказал одно слово, что нет у Фиры детей? Вообщем никогда Лазарь не жаловался на жену, молодец, но и Роза Львовна ни разу себе не позволила; они друг друга нашли, им и жить...

...Как она могла бросить Лазаря, чем он ей не угодил? Не рахмонес<sup>43</sup>, просто выдержанный и тактичный. Не слишком красивый? В мужчине не красота главное, и пятнадцать лет назад Фира это понимала.

Любовь... Сердцу не прикажешь, и, хоть этот Петухов ничем не лучше Лелика, а гораздо хуже, что тут подедаешь, когда любовь? А что у Фиры любовь, это давно заметила Роза Львовна, видела, вся обмирая, как та ничего не ест за обедом, отвечает невпопад и точно прислушивается к чему-то, что одна она только слышит. То ни с того, ни с сего вся вспыхнет, то улыбнется. А глаза! Какие у нее были глаза, боже ты мой! Я сперва даже подумала, что Фирочка в положении, но тогда она была бы мягче, ласковее с мужем...

Лазарь ничего не рассказал матери о том вечере, когда Фирочка оставила их дом. Сама Роза Львовна ушла тогда в начале разговора, не хотела мешать, может быть, неумно поступила. А потом Лелик только и сказал: «Мы с Фирой решили разойтись». «Мы». И — больше ни звука об этом, а в душу лезть — не в характере Розы Львовны, не умеет.

А другие умеют. В доме всегда все известно, сперва смотрели такими глазами; Антонина, на что уж распущенная женщина, и та: Розочка Львовна, Розочка Львовна, как же у вас, а? А потом зашла Наталья Ивановна Копейкина, да все и выложила — про Петухова, про Израиль, про несчастную Танечку.

Фира просто сумасшедшая, что решила ехать, но можно и понять — кто решил разрушить, идет до конца, а где

жить с любимым человеком, это не имеет значения, ничто не имеет значения, лишь бы вместе. Разве сама Роза Львовна после известия о гибели мужа все годы тысячу тысяч раз бессонными ночами не думала: а вдруг ошибка? Вдруг живой? Пусть калека, пусть контуженный, душевно-больной, пусть — что хочешь, только бы вернулся! Даже если попал в плен и наказан — все равно счастье, они с Леликом поедут к отцу в любую даль, хоть на Сахалин. Только вряд ли. Немцы не оставили бы в живых пленного еврея, да и не сдался бы Моисей — такой человек, в этом Роза Львовна была уверена, тем более, письмо фронтового друга... Но бывают же и ошибки!

И вот вам парадокс: теперь, через столько лет, Роза Львовна вдруг узнает, что Моисей жив, и это для нее удар! И горе, и боль, и обида. Ты его любишь, так радоваться должна, кто это молил Бога: «Пусть какой угодно, только живой»? Вот — он живой, и что же? И оказывается: лучше калека, лучше преступник, лучше... страшно сказать... мертвый. Но — мой.

Ничего не объяснишь, ничего не поймешь, так не тебе и судить других за любовь к Петухову. Хотя наверняка будут еще у Фиры большие страдания — такой Петухов, чего доброго, и пьяница, и антисемит. Ни в чем не нуждался, занимал большой пост и вдруг — Израиль! Предательство, если разобраться. Он же русский человек.

...А Лелик на руках ее носил...

Обо всем этом думает Роза Львовна, рассуждает сама с собой, хочет быть справедливой, а сама, между тем, собирается.

Главное свидание в жизни женщины бывает иногда и в шестьдесят лет. Конечно, что там прическа или наряды, но новое демисезонное пальто, купленное в декабре, сегодня оказалось очень кстати. Март на дворе.

Роза Львовна аккуратно укладывает в сумку фотографии: Лелика принимают в пионеры, Лелик с классом

в день окончания школы, а это — она сама, с Доски Почета, 1950 год, молодая, с медалью...

...Свадебные снимки, Фира, как ангел, это — в сторону, вообще надо спрятать подальше. А его кандидатский диплом возьму, и все авторские свидетельства, восемь штук. Восемь изобретений — не шуточное дело, один даже есть заграничный патент. Вот какого сына вырастила Роза. Одна вырастила, выучила и вывела в люди.

Роза Львовна защелкивает сумку, раздувшуюся от бумаг, и все-таки идет к зеркалу. Губы надо подмазать, платок — к черту! Надену вязаную шапочку. И никто этой женщине больше пятидесяти не даст! Потому что не расплылась, не опустила. А седые волосы — это благородно, сейчас модно, даже девочки носят седые парики.

...Почему она выбрала местом встречи Юсуповский сад? Наверное, можно догадаться: потому что последний раз в жизни они гуляли все втроем — она, четырехлетний Лазарь и Моисей. Было это в субботу вечером, двадцать первого июня. А жили тогда рядом, на Екатерингофском. Но, конечно, когда Моисей вчера позвонил, она ничего в виду не имела, сказала первое, что в голову пришло, а пришел в голову Юсупов сад.

— Здравствуйте, Роза Львовна, говорит Кац по вашей открытке, — начал свой телефонный разговор Моисей, — я получил открытку и решил сразу позвонить.

Голос его оказался удивительно похожим на голос сына, только акцент, а Лелик говорит чисто, как диктор.

Старалась разговаривать достойно, без волнения:

— Здравствуй, Моисей. Так как теперь выяснилось, что все эти годы ты был жив, моему сыну необходимо уточнить свои анкетные данные. На случай заграничной командировки<sup>44</sup>.

Никакой командировки не предвиделось, особенно теперь, после истории с Фирой, но Роза Львовна продолжала:

— Раньше он писал: отец погиб на фронте, теперь же необходимо указать место жительства и работы.

— Я на пенсии,— грустно сказал Моисей.

— Тогда последнее место и должность.

— Если надо, я могу сейчас приехать,— предложил он,— адрес я знаю, выяснил в справочном...

— Поздно тебе понадобился адрес сына,— сказала Роза Львовна заранее приготовленную фразу,— приезжать незачем, у тебя своя жизнь, у нас своя. Если ты очень хочешь, можно встретиться. Завтра. Часа в четыре. В Юсуповском саду у входа.

— Хорошо. Я приду в четыре,— покорно согласился Моисей.

На двадцать минут раньше он явился, а возможно, и больше. Роза Львовна сама почему-то оказалась около сада без четверти четыре, и издали, с противоположной стороны Садовой, сразу увидела: уже стоит. С Лазарем, кроме голоса, у этого гопника ничего общего не оказалось, разве что цвет глаз, но выражение совсем другое, как у старой клячи. Какой-то маленький, худенький... Эх, Моисей, Моисей, разве так выглядел бы ты сейчас, если бы не совершил предательства к жене и сыну!

— А ты, Роза, совсем не изменилась,— сказал Моисей, когда она подошла,— все такая же, я просто поражен.

Ну что, сказать ему все, что думаешь, что он заслуживает услышать?.. Зачем?

— Пойдем, сядем,— предложила Роза Львовна, внимательно оглядев ношенные-переносные ботинки Моисея и его куцее пальтишко без двух пуговиц, первой и четвертой,— или, может быть, ты замерз? Так я могу пригласить тебя в кафе.

Не ответив, он по грязной, раскисшей дорожке потащился к лавочке и сел, подернув на коленях брюки, на которых, кроме пузырей, ничего не было. Роза Львовна не торопясь достала из сумки газету, постелила и аккуратно села, чтобы не запачкать новое пальто.

— Ну, говори,— сказала она.

— Что я могу сказать? Когда я решил... я встретил ту женщину... ну, когда мы написали тебе то письмо... я подумал: так будет лучше, ты гордая, и тебе будет легче оплакать мертвого, чем узнать...— забормотал Моисей.

— Это меня не интересует: женщина, твоя ложь,— перебила его Роза Львовна,— сообщи последнее место работы и с какого года на пенсии. Адрес я знаю. Тоже нашла в справочном.

— На пенсии я с января 1965 года, а работал в торговой сети.

— Должность?

— Продавцом.

— Ты же имел образование? Специальность техника!

— Ну, так получилось. Семья...

— Можно содержать семью и при этом работать честно<sup>45</sup>. Да... Значит, продавец... А я вот еще не на пенсии. Старший библиотекарь. А Лазарь кандидат. Скоро поедет в Москву, вызвали в Министерство.

Моисей молчал. Она ждала, что сейчас он начнет спрашивать о сыне, но он молчал. И в это время вдруг начался дождь. Сразу стемнело, мелкие капли сыпались на скамейку.

— Пойду,— угрюмо сказал Моисей и поднялся,— поезд у меня в 16.50, а еще купить надо, в Шапках с продуктами плохо.

И тут Роза Львовна не выдержала:

— Поезд у тебя? — закричала она, вскакивая.— А совесть у тебя есть? Как у сына дела, чего он добился в жизни — это тебя интересует?

— Интересует,— буркнул Моисей, переступая своими дырявыми ботинками в луже,— ты же сказала — кандидат. И соседей спрашивал. Квартира у вас и машина. Кандидаты. В Министерство! Библиотекари! «Имел специальность техника!» А — когда трое детей и жена большая? Когда жрать нечего? «Содержать семью и работать честно!» Спасибо за науку, гражданин началь-

ник! Конечно, тогда я пришел нетрезвый, это безусловно. Но зачем он от меня, как от заразного? Он же сын... Вот... — грязными, негнушимися пальцами он шарил по карманам, полез в пальто, потом в пиджак, — вот, отдай, скажи спасибо от родного отца! Он мне тогда дал, так это я долг возвращаю! Я брал в долг! — Он совал в руки изумленной Розы Львовне смятый рубль и какую-то мелочь.

— Да что ты... — говорила она, отступая, — зачем? У нас есть, мы ни в чем не нуждаемся...

— Есть — и на здоровье! — кричал Моисей. — Не нуждаетесь, и прекрасно! Мне вашего не надо, я пенсию имею, за работу! Всем, чем обеспечен!

Внезапно он выхватил у Розы Львовны сумочку, открыл ее, высыпал туда деньги, повернулся и чуть ли не бегом направился к воротам. Роза Львовна, вконец растерянная, нерешительно пошла за ним. У ворот он замедлил шаг, видно, запыхался, но продолжал уходить, не оборачиваясь.

Так они и двигались к Сенной площади друг за другом. Роза Львовна в каких-нибудь десяти шагах видела впереди старческую спину, сутулые узкие плечи, обтянутые старым пальто, желтую сетку с какими-то кулками — откуда он ее вытащил? В кармане была, наверное так.

Моисей не оглядывался.

Они миновали рыбный магазин, перешли Московский проспект, теперь Роза Львовна почти догнала его. Куда он? К метро, конечно. На вокзал лучше всего — на метро.

Вот и состоялось их последнее свидание...

— Моисей! — крикнула Роза Львовна. — Моисей, стой!

Голос ее неожиданно пресекся, густой зеленоватый туман застлал глаза, ноги ослабели...

— Что с вами, мамаша? — участливо спросил молодой голос, и Роза Львовна почувствовала, что ее крепко взяли под руку. — Вам плохо?

— Ничего... остановите его... гражданина, — еле выдохнула она, пытаясь поднять руку, — вон тот, пожилой, с сеткой...

— Нету там никого, мамаша, вам почудилось. Вы не нервничайте. Можете стоять?

— Я стою. Все уже проходит. Прошло. Спасибо.

Зеленая мгла рассеялась, и Роза Львовна увидела рядом встревоженное лицо в очках. Совсем мальчик, студент, наверное.

— Все прошло, вы идите, молодой человек, спасибо вам, я сама.

Она освободила руку и шагнула вперед. Моисей исчез. Народу поблизости было немного, она внимательно взгляделась — нету. У входа в метро нет, и на трамвайной остановке, и у магазина. У Розы Львовны зоркие глаза, очков не носит, не могла она ошибиться. Моисей Кац пропал, как провалился.

В последний раз Роза Львовна медленно и тщательно оглядела Сенную площадь. Что ж... Нет так нет. Сорок лет почти не было — и опять нету. Значит, так оно и правильно, что ни делается — все к лучшему. Роза Львовна крепко прижала к себе сумочку и пошла на остановку.

## 8

Наконец-то подошла очередь поговорить о Семеновых. А то уж так, по правде сказать, надоели все эти драмы и трагедии, пьяная Антонина с распухшим глазом и синяками по всему телу, заплаканная Роза Львовна, молчаливый и похудевший Лазарь. Да что их всех перечислять, бумаги не хватит, а мы с вами — тоже люди, у нас и дома хватает неприятностей, и на работе, а тут еще — видели? — сел человек раз в жизни, в свободное от дел, хозяйства и телевизора время почитать книжку — и опять ужасы, разводы, слезы, треугольники какие-то... И все герои, как один, или сволочи или вовсе — аморальные уроды. Остается только окончательно решить, что это так называе-

мое «сочинение» — просто клевета на нашу действительность. А как вы думали? Как будто нет вокруг здоровых, веселых, румяных людей, спортсменов, как будто никто не едет на БАМ и КамАЗ<sup>46</sup>, будто не ходит по нашему городу умная интеллигенция с портфелями, этюдниками и творческими замыслами... И погода — всегда плохая. И в магазинах — очереди.

Все. Передых. Расслабились.

Мы у Семеновых. Семья у них крепкая, дружная, здоровье отличное, и это не случайное везение, просто никто не пьет и не валяется по диванам с книгами, а все работают, так что болеть и ныть тут некогда. В комнате тепло и чисто, все блестит — от пола, покрытого лаком, до мебели и окон. Сын — отличник английской школы, председатель совета отряда<sup>47</sup>, глава семьи Семенов — передовик производства, портрет его висит во дворе завода. Не фотокарточка какая-нибудь, а настоящий портрет, нарисованный настоящим художником. И характеры у всех спокойные и уживчивые, с соседями никогда никаких ссор. Вот, Тютины, старики уже, Марья Сидоровна, когда ее уборка, бывает, и пыль в коридоре в углу оставит, и плитку плохо моет. Но разве ей когда слово сказали? Ни разу. Наоборот, всегда: «Марья Сидоровна, я в молочный, вам кефиру взять?»

Счастливые люди редко бывают злыми, это известный, проверенный факт, а Семеновы со всех точек зрения имеют право называться счастливыми людьми.

Вот только, что такое счастье?

Один не очень уважаемый человек говорил, что счастье, мол, это максимальное соответствие действительно-го желаемому. Если отбросить наши с ним личные счета, то, может быть, он и прав? Все дело в том, что для кого — желаемое. Какая цель? А если не дублинка, а Коммунизм?<sup>48</sup> То-то.

Но с другой стороны есть мнение, что цель — ничто, а движение — все, и это уже не кто попало придумал,

а какой-то классик, чуть ли не теоретик перманентной революции<sup>49</sup>.

Есть еще люди, которые утверждают, что счастье, это когда нет неприятностей. Что-то в этом есть, и как-то, лежа бесплатно в больнице «25 Октября»<sup>50</sup>... Ладно. А вот счастье Семеновых как раз заключается в том, что они не ищут этому состоянию никаких определений или — себе оправданий: почему, дескать, нам хорошо, когда другому, той же Розе Львовне, плохо. Вообще они не занимаются решением проблем, а просто живут. На вопросы знают ответы, знают, чего хотят и что надо сделать, чтобы их мечты стали явью. И делают дело, а не ждут, когда придет дядя или детский волшебник Хоттабыч. Поэтому я считаю, что, если уж где и отдохнуть нам с вами, так только у Семеновых, где в настоящее время хозяин дома, сидя за столом, ест борщ. Восемь часов утра. Семенов пришел с ночной смены, сын уже в школе: сегодня сбор металлолома<sup>51</sup>, а Дуся на больничном. Вот тоже повезло, всего день была температура, а врач уже неделю не выписывает, но платят сто процентов.

Чистая клеенка. Тарелка с золотым ободком. Борщ украинский с чесноком и сметаной. Свет горит еще, темно на улице.

— На Пасху буду две смены работать, в ночь и в день, — говорит Семенов, откусывая хлеб.

— Чего?

— Мастер сказал: двойной средний и к майским премию выпишет. А может, и живыми деньгами. Четвертной. Никто не хочет выходить, все верующими заделались.

— Еще не скоро Пасха...

— Доживем. Парню, если перейдет с пятерками, велосипед надо покупать, обещались. Ты-то тоже, небось, пойдешь куличи святить?

— Пойду. А что мы, не люди?

— Верующая, значит?

— Ладно тебе.

— Если богомольная, то где твоя икона?

— С ума сошел! Сын же у нас. Пионер! Ребята из класса придут, потом Майе Сергеевне скажут — у ихнего председателя дома религиозная пропаганда<sup>52</sup>.

— Ишь ты, «пропаганда»! Пошутил я. И куда их нам, эти иконы, всю комнату портить. Только тогда скажи дру-гое: как вам Христос велел, «не воруй»?

— Не укради.

— А из чего ты пододеяльник вчера строчила?

— Ой, да отвяжись ты с глупостями!

— Нет, а все же: купила бязь на свои или все-таки с завода приволокла?

— Это не воровство. Воровство, это если у людей, а я со склада. Там этой бязи знаешь, сколько валяется? Де-вятый год работаю, все валяется, скоро в утиль спишут. Не я возьму, другие в два раза больше утащат. Не обед-неет твое государство, все берут — и ничего. Хоть ваш начальник цеха, а хоть и замдиректора.

— По-твоему, честно?

— А на улице если нашел, поднять — честно? Да хватит тебе болтать лишь бы что! Не на собрании. Доедай и ложись, я уже постелилась. Разговорился тут, депутат!

— Дуська, не нервничай, я так. Тебя дразню. Борщ вкусный, будь здоров! Хорошо, когда жена дома.

— Ясное дело, гулять — не работать! Ой, чуть не за-была! Эти-то в Израиль собрались.

— Кто?

— Лазаря жена с Петуховым, ну, с начальником-то. Чего делаешь квадратные глаза? К Петухову она ушла, уезжают в Израиль.

— Ну?!

— Вот и «ну». Татьяна в нервную больницу попала.

— Ну, дают. Не ожидал от Петухова. Все было: маши-на казенная, по заграницам бесплатно ездил. У кого все есть, всегда мало.

— Я вот думаю, а может, он еврей? Похож.

— Ладно, Евдокия, я спать пошел. Хрен с ними со всеми, нас, слава Богу, не касается, я с этим Петуховым и знаком, считай, не был — «здрасте-досвиданья».

И верно, — прав Семенов, не касается. И пусть он спит, слесарь шестого разряда, золотые руки, ударник труда. Он не после гулянки спит, а после смены.

А мы посидим еще немного около батареи парового отопления, неделю назад выкрашенной масляной краской в голубой цвет. Молча посидим, чтоб не мешать, только отодвинем жесткую, накрахмаленную занавеску и поглядим за окно, где среди темного, осевшего снега раскинули ветки мокрые деревья.

Тает, со вчерашнего дня тает, с крыш вода течет, и капли стучат по железному карнизу.

## *Часть третья*

### ПРАЗДНИК

#### 1

Если в первомайский день посмотреть с вертолета, праздничная площадь похожа на лохань, в которой стирают белье. Колышется, плывет многоцветная пена, лопаются в воздухе пузыри воздушных шаров, ручьями стекает в улицы толпа, устало опустив свернутые отслужившие знамена, волоча по земле тяжелые портреты.

Если же посмотреть с вертолета на Марсово поле — это тоже очень внушительное зрелище: точно факелы, поднялись над ним обернутые красными полотнищами фонари<sup>53</sup>, расставленные какими-то особыми геометрическими фигурами, только с высоты различимыми и понятными. А в самом центре днем и ночью вечным пламенем полыхает желтый костер.

Красные флаги хлопочут на ветру вдоль решетки Кировского моста, красные флаги свисают со стен домов, красные флаги в руках тысяч людей, заполнивших в это праздничное утро улицы, набережные, переулки и скверы. Красные улицы, красные набережные, красные переулки и скверы. Красный город, если смотреть с вертолета.

И красные повязки на рукавах румяных дружинников, спорящих с женщиной в несвежем белом халате около белой машины с крестом во лбу.

— Проезд закрыт. Прохода нет, нельзя здесь<sup>54</sup>, — устало повторяет и повторяет один из дружинников, главный, не в первый раз произносит он эти слова и давно бы надо гаркнуть, но он говорит так тихо, только потому что воспитанный человек не может грубить пожилой женщине, да и неохота портить настроение в такой день. Но, наверное, тоже не в первый, похоже, в десятый раз твердит свое бестолковая и настырная докторша, талдычит охрипшим сломанным голосом:

— Там возможен инфаркт, вы что, не слышите? Там инфаркт, понимаете, нет?

— Проезд закрыт, — из последних сил говорит дружинник, даже и теперь не повышая голоса. — Видите, грузовики? Ваша машина просто не пройдет, что я могу сделать?

Грузовики стоят сомкнутым жестоким строем, перегордив улицу. Врачиха замолкает — дошло, наконец. Секунду она бессмысленно топчется, уставившись на широкий, неумолимый зад грузовика, потом мрачно лезет в свою машину и громко хлопает дверцей. Взрывает мотор, и, медленно развернувшись, Скорая уезжает искать объезд.

А на Марсовом Поле уже толпа — флаги, портреты, шары — хлынула демонстрация.

## 2

Приглашение на трибуну Петру Васильевичу Тютину прислал Совет ветеранов. Помнят, черти, ценят, уважают старого солдата, опять, смотрите, солдата — не мастера, тем более, не пенсионера, а именно солдата!

Получив пригласительный билет, старик долго ходил с ним по квартире, показал жене и Дусе Семеновой, потом пошел во двор, тоже показал кое-кому, а еще позволил на работу Anne и торжественно объявил, что берет

с собой на площадь обоих внуков, Тимофея и Даниила. Дочь однако сказала, что долгосрочный прогноз обещал холодную погоду и осадки, а мальчики оба кашляют, пусть лучше посидят дома. Ну что ты скажешь! Обычная женская глупость, как будто не ясно — для любого мальчишки пойти с дедом-фронтовиком на трибуну в сто раз полезнее любых горчичников с микстурами! Петр Васильевич крикнул, выгреб из кармана груды двухкопеечных и принялся названивать друзьям: поздравлял с наступающим, спрашивал, как в части здоровья, встретимся ли на День Победы, а в конце, между прочим, сообщал, что, вот, хочешь — не хочешь, а Первого мая придется идти на трибуну, Совет ветеранов требует, билет на дом принесли, так что болен — здоров, никого не касается, будь любезен явиться в 10.00 и принимать парад трудящихся, товарищ Тютин.

В день праздника с утра хлестал дождь, ползали по небу мордастые и злобные тучи, похожие на армии Антанты со старого плаката, и в груди жало, в силу чего Петр Васильевич тайком от жены принял нитроглицерин.

Марья Сидоровна несколько раз с тревогой поглядывала на мужа, но сказать ему, чтоб остался дома, не смела, да и правильно: что без толку раздражать старика?

До Дворцовой Тютин добрался быстро и хорошо, дождь как раз попритих, по звенящим от репродукторов улицам бежали опаздывающие на демонстрацию, многие, конечно, уже хвативши, нехорошо, вообще-то, с утра, да у кого язык повернется осудить — такой день! Еще во дворе Петр Васильевич столкнулся с Анатолием. Тот был в сбитой на затылок кожаной шляпе, в расстегнутой нейлоновой куртке, с распахнутым воротом белой рубахи.

— С праздничком, Петр Васильевич! — рявкнул Анатолий, и на Тютина понесло сивухой.

— Тебя также, — сдержанно отозвался Петр Васильевич. Анатолий ему не нравился.

— Демонстрировать идете? — не отставал тот. — А и я тоже. Знамя до Дворцовой понесу, у нас за знамя два отгула обещали<sup>55</sup>.

— Постеснялся бы ты, Анатолий! — все же не выдержал Тютин. — Кто это у вас придумал такой цинизм? Вот напишу в райком. И ты — хорош! Это же честь — нести заводское знамя!

— Не смейши человека в нерабочий день, папуля! «Честь»! Это все словечки из до нашей эры. Вы уж их забирайте с собой на заслуженный отдых, а нам давай деньгами.

Тютин больше не стал разговаривать с дураком, ушел, но настроение все-таки подпортил, паршивец, и сердце опять засосало. Как у них все просто, черт его знает! Такой за целковый будет тебе крест вокруг церкви на Пасху таскать, ничем не побрезгует, лишь бы платили, беспринципность полная. Это поколение такое — горя не знали. Черт с ним, паршивая овца, хороших людей у нас намного больше.

...Что там ни говори, а приятно стоять на трибуне среди заслуженных людей, почти рядом с руководителями города, приветствовать — руку к шляпе — проходящие мимо мокрые, но все равно веселые, гулкие колонны. Демонстрация только еще вступила на площадь.

— Слава советским женщинам!

— Ур-р-а-а!

Это уж верно, слава, сколько они на своих плечах вытащили, наши бабенки, и до сих пор тащат. А вон идут — нарядные, красивые, точно не они — и у станков, и на машинах, и в поле. Нету в мире красивей наших женщин, знаю, Европу прошел, повидал. Нету!

— Слава советской науке!

...и в космосе мы первые, Саяно-Шушенскую, вон, сдаем<sup>56</sup>...

— Ур-а-а-а! — ревет площадь.

Что-то в груди как будто стало тесно, как будто сердце там не помещается, жмет на ребра, подпирает под горло. Петр Васильевич вынул нитроглицерин, пальцы пло-

хо слушались, и уже чувствовал — надо уходить, быстрее уходить, не хватало еще грохнуть тут в обморок, чтобы сказали: приглашают на трибуну старья, а они и стоять уже не могут... И в глазах смутно... наверное, упало атмосферное давление, для гипертоников последнее дело. Торопясь, стараясь не думать про тупую боль в груди, не думать про нее и не бояться, Тютин спустился с трибуны и пошел к выходу, к улице Халтурина.

Боль в груди однако не утихла, она была другой, не такой, как обычно, была незнакомой и грозной, росла. Но сейчас-то не страшно, вон уже и Марсово Поле, добраться бы как-нибудь до Литейного, а там автобусы, да и машину какую-нибудь можно остановить... только бы домой, скорее бы домой... темнеет, дождь, что ли, опять собирается, воздух, как мокрая вата, дышишь, дышишь, а все без толку...

Боль сделалась громадной и красной. И захлестнула весь город.

На Марсовом Поле веселье. Докатилась сюда разжеванная и исторгнутая площадью людская масса, повсюду — на скамейках, на дорожках, на газонах обрывки расчлененной толпы. Прямо на мокрой земле, на только что продравшейся траве расстелен кумачовый плакат. Вдоль белой надписи «МИР И СОЦИАЛИЗМ НЕРАЗДЕЛЬНЫ» — батарея пивных бутылок, две «маленькие», груда пирожков, бутерброды с сыром.

— С праздником, старики!

— Будьте здоровы!

Подняты бумажные стаканчики и сдвинуты.

— Ура, ребята. Вздрогнули.

— Смотрите, дед-то как накирялся. Вон, на скамейке. Лежит, как труп. Когда успел?

— Долго ли умеючи.

— Умеючи-то долго!

— Ну ты, Валера, даешь! Специалист... Не шевелится. А вдруг ему плохо?

- Ага. Сейчас. Ему-то как раз хорошо.
- Пойти поглядеть....
- Иди, иди, Галочка, протрясись, человек человеку друг, товарищ и волк.
- Гражданин! Гражданин!.. Пальто расстегнул, как будто лето. А медалей сколько, и ордена... Гражданин! Эй!.. Колька! Колька! Валерка! Ребята, надо Скорую! Валерка!..

### 3

...Совсем уже синее, пронзительно яркое небо над Марсовым Полем. Из кустов, из-за голых веток сумрачно и с обидой глядит розовощекий нарисованный на фанере портретный лик. Косой пробор в гладких волосах, темный пиджак, звездочка на груди<sup>57</sup>. И у Петра Васильевича на груди — тоже звездочка, орден Красной Звезды, приколот по случаю праздника.

Смотрит из кустов брошенный кем-то приколоченный к палке портрет. Смотрят в празднично-синее небо застывшие глаза ветерана Тютиня. И уже не видят, как далеко в космической высоте пролетают над городом и лопаются радужные пузыри детских воздушных шаров.

### 4

Наталья Ивановна Копейкина на демонстрацию не ходила. В семь часов утра сорвался с цепи будильник, долго радостно трезвонил, но иссяк. За окном лило, кричали мокрые репродукторы, и она подумала, что в праздник человеку должно быть хорошо, а это — когда живешь, как хочешь. И, виновато посмотрев на поджавший губы будильник, она повернулась к стене и с головой залезла под одеяло.

Оттого, что все должны вставать и тащиться куда-то по дождю, а она лежит себе в теплой постели, как королева, Наталье Ивановне сделалось совсем уютно, и она заснула под марши, несущиеся из-за окна.

В пол-одиннадцатого, открыв глаза, подумала, что — хорошо, чисто, вчера полы натерла, в серванте посуда блестит. И пирог. А впереди целый день, который можно провести, как хочешь. Потом вспомнила, что позавчера было письмо от сына, он здоров, работает механиком. Может, и станет еще человеком? Правда, Людмила последнее время стала редко заходить, как бы не любовь у нее, как же тогда Олег?

Не спеша, Наталья Ивановна попила чаю с пирогом, оделась и пошла гулять. Потому что, сколько она себя помнила взрослой, никогда не ходила просто так, без дела, по улицам. Гуляли в садике с маленьким сыном, а как вырос, только: купить, отнести, к врачу, на родительское собрание, на работу, с работы, на работу, с работы... Этой зимой, правда, грех жаловаться, Людмила где ни таскала, и в музеи, и в Музкомедию, и в Пушкин, в лицей. Но это все равно дела для повышения культуры, тоже заботы: прийти, что положено — увидеть и запомнить, сколько положено — отбыть. Нет. Сегодня она пойдет одна, куда захочет.

— ...С праздником, Марья Сидоровна! Здоровья и долгих лет жизни! Петру Васильевичу тоже.

— Спасибо, Наташенька, тебя также. А Петр Васильевич на трибуну пошел, рукой махать. Не слышала по радио: кончилась демонстрация?

— Еще идет. Рано ведь.

...Наверное, сегодня весь город на улицах, идут, взявшись под руки по трое, а то и пятеро... Почему так: человеку хорошо, когда можно делать, что хочешь, а делать, что хочешь, можно только, если ты один?.. Много все же у нас одиноких женщин, и сразу их узнаешь — семейная идет и по сторонам не смотрит, а вон те три, здоровые, на всех мужчин заглядывают, улыбки, как ненастоящие, и лица незамужние... Смешные бабы, вцепились друг в друга, как три богатыря с той картины, самая полная — Илья Муромец... Нет, все-таки обязательно надо иногда походить одной...

Мимо старухи, торгующей «раскидаями», мимо пьяненького инвалида со связкой дряблых воздушных шаров Наталья Ивановна подошла к лотку и купила себе шоколадный батончик за тридцать три копейки с коричневой начинкой. Давно она не ела шоколада, ну как это ни с того, ни с сего взять да и купить себе шоколад?.. А народу на улице все больше, наверное, кончилась уже демонстрация.

...А вон рыжая собака фотографируется с флажком в зубах, встала, как будто понимает: голова набок, хвост кверху, парень, совсем еще мальчишка, щелкает аппаратом, сам без шапки — вот простудится, а мать крутись, с работы отпрашивайся. Девчонки стоят рядом и хохочут, а флажок весь в грязи, полощется в луже. Вот ведь молодежь, додумались! Мы бы никогда не посмели... больно тихие мы были, смиренные, эти не такие... Господи, что это? Крик. Да страшный какой, точно кого убивают.

У входа в гастроном толпа. И, ударяясь о стены, о лица, мечется ржавый, хриплый, отчаянный женский крик. Драка.

— Чего они?

— А пьяные...

— Милицию надо, вечно их нет, когда что...

— Побежали за милицией.

Наклонив вспотевшие лбы, набывчив шеи, они наступают друг на друга. Медленно, как в кино. Наталья Ивановна конечно уж протиснулась в первый ряд. В руках — это ж с ума сойти! — знамена. Наперевес, как ружья. Блестят на солнце медные острые наконечники, похожие на школьные перышки № 86, теперь такими не пишут, теперь авторучки...

— Стойте! Ребята, стойте!

Наталья Ивановна вцепилась в рукав одному из дерущихся, тащит:

— Брось! Слышишь? Брось! С ума сошел?

— Отойди... с-сука... сука... убью! Уй-ди!

...Батюшки! Толька! Зверюга пьяная...

— Сука!

Здорово бы Наталья Ивановна расшиблась об асфальт, да воткнулась в толпу, подхватили.

— Ах ты, гад! Ну погоди же...

— Куда вы, женщина, обалдели? Такой зарежет и не охнет!

— Две собаки дерутся, третья не приставай!

Вот идиот какой, еще в очках! Вцепился в рукав и не выпускает.

— Пусти! Твое какое дело? Пусти, говорю! Чего пристал, очкарик, тоже мне еще!..

— Женщина, вы что, выпили?

— А ты чего лезешь?! Сам пьяный, дурак чертов! Пусти, сволочь, как дам вот по очкам...

А Анатолий и тот, второй, поменьше, точно сигнал получили, кинулись, матерятся, целят друг в друга своими копыями.

И опять кричит от страха, визжит в толпе какая-то женщина.

Два наконечника — перышки. Два дровца. Две пары побелевших от напряжения рук. Да где же эта милиция?!

А из серебристого репродуктора над головами толпы вдруг посыпался вальс. Точно летний, грибной, солнечный дождь. Зазвенел, заглушая крики, а дерущиеся все ближе друг к другу, лица все темнее, уже глаза...

— Гражданка, прекратите хулиганить! Хотите, чтобы и вас укокошили?

— Пусти, идиот!!!

— Совсем одурела, чего руки распускаешь? По очкам? Дружинников надо! Тут баба пьяная дерется!

...Вывавшись, выставив вперед руки с растопыренными пальцами, раздирая толпу, вслепую, по чьим-то ногам Наталья Ивановна уходит прочь. Скорее отсюда, скорее домой... домой! А сзади музыка, рояль... И — вопль! Это уже не женщина кричит. Скорее, скорее, наступая на

бумажные цветы, на мертвые комочки лопнувших шариков... скорее... только подальше от этой толпы, от того места, где наверно стекает сейчас по каменной шершавой стене густая красная кровь.

**5**

Вечер. Зажглись над накрытыми столами, над белыми скатертями праздничные теплые огни, свет во всех окнах. С праздником!

— С праздником!

— С праздником!

— С праздником!

— Ах, дед у нас. Вот дед, безобразник! Все собрались давно, все его ждут: и дочь, и внуки Тимофей и Даниил. А он... Отправился, не иначе, к своему дружку Самохину, встретил, небось, на трибуне. Ну, я ему...

— Да ладно тебе, мамаша, придет. Не трогай старика, пусть гуляет, ветеран.

...Ярко горят разноцветные фонарики, высвечивают контуры военных кораблей.

— Линкор. Вот, самый большой — это линкор. Видишь, Славик?

— Да ты чего, папа! Не линкор, а ракетносец, линкоров сейчас не строят.

— Дожили: яйца курицу... Слышишь, Дуся?

Ну, это надо же, какие дети стали, больше нас разбираются!

— ...Лелик, ну что ты — как пришибленный? «Плечи вниз, дугою ноги и как будто стоя спит»<sup>58</sup>. Никакой выправки. Пошел бы куда-нибудь, к товарищам. Ведь ты же совсем еще молодой человек, а киснешь в праздник около телевизора. Надо быть мужественнее, мальчик, я вот — одна тебя растила, сколько перенесла, а духом никогда не падала. Ты наоборот докажи, что ты сильный...

— Хорошо, мама, сейчас я докажу. Хочешь, подниму тебя вместе со стулом?

— Все твои хохмы! Лучше подойди к окну, посмотри, какая красота.

...И верно: красота. Багровое зарево огней полыхает над городом, разливается по светлому весеннему небу.

Грохочет салют, рассыпаются над Невой ракеты.

— Ой, как здорово! Раньше я внимания не обращала. Саш, я не знаю, мы там с ума сойдем, такого второго города нет!

— Лирика, Фирочка. Салют — зрелище довольно варварское, особенно в сочетании с пьяной толпой приматов. Уверяю тебя: карнавал в Венеции ничуть не хуже.

— Я понимаю... но все же, если знаешь, что ни-ко-гда...

— ...Ур-р-а-а!!! — кричит набережная.

— Вот сейчас они кричат ура, а завтра им велют кричать: «Бей жидов!», и они, все, как один...

— Саша, ты прав! Ты всегда прав, а я сентиментальная, глупая дура.

— А то еще не поздно, можешь вернуться к своему патриоту-Лелику, к его маме и «Жигулям»...

— Не надо, Саша. Давай лучше посидим, вон скамеечка. Как тут мрачно, фонарики в каких-то красных саванах.

— В саванах — это точно. А что же — Марсово Поле, это ведь, если разобраться, кладбище.

— Ой!

— Ну что «ой»? Обыкновенный портрет. Кому-то из трудящихся было лень нести, и бросил.

Еще залп. И ракеты. И — снова залп.

— Ура-а-а-а! — со звоном встречаются над столами, ударяются друг о друга рюмки, бокалы, стаканы, жестяные кружки.

Праздник. Хорошо, когда праздник. Весело людям — и слава Богу. Ура.

## ЭПИЛОГ

Что ждет нас там, куда мы все попадем, когда наши дела здесь кончатся? Никто ни разу не дал окончательно ответа на этот вечный вопрос. Мог бы теперь в качестве очевидца ответить на него Петр Васильевич Тютин, но молчит. Не потому ли молчит, что знает такое, чего живым знать раньше времени не положено? И не потому ли, не затем ли, чтоб поставить на место тех, кому постоянно не терпится, всегда так надменно-загадочны отрешенные лица мертвых?

Чужой и строгий лежит, сложив на груди руки, Петр Васильевич. Одет он в старый свой синий костюм — все-таки по-его получилось, серый оказался весь в масляной краске.

Пахнут новогодним праздником венки из еловых веток, пахнут летом, сырым тенистым оврагом, букетики ландышей. Похоронный автобус движется сквозь дождливый полдень, капли стекают по запотевшим изнутри стеклам, молча сидят провожающие — родственники и близкие соседи.

Фронтвики поехали в другом, обычном, автобусе и правильно поступили, старые все люди, для каждого похороны друга — репетиция, пусть себе едут отдельно и даже разговаривают на посторонние темы, пускай, успеют еще...

Марья Сидоровна молчит, вздрагивая от толчков на переднем сиденье, дочь, распухшая от плача так, что и не

узнать, обнимает ее за плечи, вдоль стен неудобно выпрямились Роза Львовна, Лазарь Моисеевич, Семенов — вот кто помог с организацией похорон, золотой мужик! — Дуся, Наталья Ивановна. Антонины нет, сама не своя с того дня, как забрали Анатолия, ничего не понимает, никого не слушает, бегаёт где-то целыми днями, говорят, нашла ему какого-то особенного адвоката. Роза Львовна ее уговаривала: таких бандитов, Тоня, надо, извините, расстреливать на месте, он же человека инвалидом сделал, а мог и убить.

Куда! Наберет продуктов — и в «Кресты», а подследственным передачи не положены, вот и тащит со слезами обратно, а назавтра — опять. Похудела, глаза, как фонари, живот уже торчит — на пятом месяце, о чем только такие бабы думают! Второго хочет рожать, и снова без отца, а самой сорок с лишком. Подумала бы лучше о Валерке, мальчишка хилый, слабенький, как картофельный росток, а она убивается по этому бандюге, сына от него, видите ли, ждёт.

Зато Полине, той хоть бы что. Так, — говорит, — паразиту и надо. Осудят, возьму развод, отмечу заразу на хрен<sup>59</sup> к такой-то матери! Пьяная всегда, ему, Анатолию, самая пара.

Ехать еще далеко, — по Садовой, по Стачкам, к Красненькому кладбищу, где с большим трудом — фронтовые друзья в больших чинах хлопотали — удалось добиться разрешения похоронить. В могилу к отцу, скончавшемуся сорок с лишним лет назад, положат теперь Петра Тютюна, это называется «подхоронить», но пока выколотишь нужные бумаги, все ноги сносишь.

Марья Сидоровна не плачет, отплакалась. Да еще утром дочка дала выпить какую-то таблетку, от которой все внутри задеревенело, и руки, как чужие, и мысли в голове, как не свои. Что-то силится вспомнить вдова Тютюна, а никак не может, что-то важное, неотложное, долг, будто, какой.

Мелькают за дождем дома, трамваи, чужие люди едут в них, небось, многие еще недовольны: что за черт, приходится в такую погоду куда-то тащиться. Не понимают, какие они счастливые, раз не пришел пока к ним день, когда и они поедут в таком вот автобусе — провожать...

Не отстает, мучает Марью Сидоровну тень какой-то мысли, треть пути проехали, а она все не вспомнит, что же это такое. Вот и Сенная площадь, автобусный вокзал, отсюда они с Петром прошлое лето ездили в Волосово... А вон метро, а была когда-то церковь... Церковь Успения Богородицы... И вдруг поплыло в глазах, разъехалось, стало мутным, грязно-зеленым, черным...

...Да где же это она? Так спокойно, тихо, не хочу просыпаться, не трогайте, что они будят, трясут за плечо?..

Не хотелось Марье Сидоровне возвращаться, остаться бы там — в темноте и покое, где нет похоронного автобуса, нет тяжелого запаха вянущих ландышей, нет гроба, где это ведь вовсе не он лежит, не он, вчера кричала, звала, по всякому упрашивала — не отозвался.

...Но пришлось ей вернуться, заставили. Лили в рот какое-то лекарство, плакала дочь, говорила что-то про внуков, Наталья Ивановна растирала руки.

...Автобус остановился перед светофором.

И тут зеленая мгла совсем рассеялась, ясно стало в памяти, и Марья Сидоровна строго и громко сказала:

— Надо петь. Он велел: у гроба чтоб песня была.

— Мамоchка, успокойся, мамочка, не надо... — запричитала дочь и полезла с каким-то пузырьком.

— Молчи, — Марья Сидоровна отвела ее руку, — я не с ума сошла, я тебе говорю — он велел. И надо выполнить. Больше никогда ни о чем не попросит, сказал, чтоб была песня, военная, потому что — солдат.

— Мамоchка, — опять попробовала дочь, — как же, на похоронах — и петь?

— Дикость! — ужаснулась Дуся Семенова.

— А когда живой человек умирает — не дикость?! — закричала Марья Сидоровна.

— Ладно,— решил Семенов,— чего спорить, когда покойный сам распорядился. Какую петь?

— Солдатскую,— стояла на своем Марья Сидоровна.

Все молчали. Роза Львовна смотрела в окно, точно происходящее ее не касается, да и не знала она подходящих песен. Лазарь во время войны был маленьким, а на действительной не служил, тоже не знал. Наталья Ивановна, посматривая на вдову, вытирала слезы — пожилой человек, а до чего додумалась... Дуся только покачала головой, пожала плечами и откинулась к спинке сиденья.

— «Землянку»<sup>60</sup>, что ли? — предложил Семенов, но жена гневно взглянула на него, и он замолчал. Замолчал и виновато посмотрел на Марию Сидоровну, сперва виновато, а потом даже испуганно, потому что она опять побледнела, глаза громадные, губы трясутся.

— Марья Сидоровна, вы не волнуйтесь... а ты, Евдокия, помолчи, решается Семенов.— Сейчас, Марья Сидоровна. Сообразим.

...Письма добрые очень мне нужны,  
Я их выучу наизусть,  
Через две зимы, через две весны  
Отслужу, как надо и вернусь...

Молодец Семенов, хорошо поет, ему бы в театре выступать!

...Через две, через две зимы,  
Через две, через две весны,  
Отслужу, отслужу, как надо и вернусь...<sup>61</sup>

Ох, если бы так! Пусть — не через две, пусть через пять, хоть через десять зим, только бы вернулся живой! Пусть раненый, больной, виноватый, пусть старый и беспомощный, а — живой!

Вы ведь тоже это понимаете, правда, Роза Львовна? И вы, Наталья Ивановна, потому что сын ваш сейчас далеко, кто знает, как он там, и ничего вам не надо — пусть плохой сын, эгоист, пусть грубый, пусть даже хулиган и бездельник, а пусть вернется, пусть вернется!

Ну, а вы, вы-то что сцепили зубы, Лазарь Моисеевич? Песня наша не нравится или переживаете? Чего вам переживать? Отца вы знать не знали, а ее, глупую, разлюбившую, ту, что даже сына вам родить не удосужилась, стоит ли жалеть? Да, не стоит. Да, глупая. Разлюбила, променяла на подонка, карьериста, на беспринципную сволочь, потеряла рассудок, не видит, что не она вовсе нужна Петухову, а виза в Израиль, а останься он тут, на своем руководящем посту, он на нее, на евреечку, и плюнуть бы побрезговал. Дура сумасшедшая, но... пусть вернется!

Пусть они все вернуться, все, кого мы потеряли по собственной вине, по легкомыслию, слепоте, трусости или равнодушию, кого не захотели вовремя понять, не сумели защитить, простить, не смогли удержать, и вот уже подхватила их и, крутя, всосала черная воронка — прошлое.

Сколько таких «черных дыр» на пути, пройденном каждым из нас? Они не зарастают травой, их не заносит песком, не засыпает снегом, они не заживают, становясь рубцами. А между тем, и старость недалеко. Все быстрее проходят долгие зимы и мелькают короткие весны, все чаще и длиннее бессонные ночи. Скоро будет поздно.

Пусть они вернуться, мы ждем, мы не забыли и уже никогда не сумеем забыть их. Пусть вернуться!

Анна плачет, ревет в голос, Дуся скупно и вороватенько крестится, с опаской поглядывая на мужа, а Семенов — тот всю разошелся. Голос у него громкий, он везде хорошо поет, хоть на сцене, хоть в строю. И Наталья Ивановна подпевает, выводит тоненько и чисто, с переливами.

Застыла с сухими глазами вдова Марья Сидоровна Тютина. Нет, не может быть того, чтобы так все и кончилось — этим гробом и дождем за окнами. Ведь не для

холодного глухого мертвеца, чужого и молчаливо-враждебного, поют сейчас Семенов с Натальей. Он их и не слышит. А Петр Васильевич Тютин обязательно слышит.

Марья Сидоровна не плакала. Теперь она наверняка знала: в этом страшном ящике Петра нет.

Проехали Сенную площадь.

...Сколько жить-то осталось? Ну, год еще, ну — два...

Через две зимы... Ничего, она подождет, потерпит, в войну больше ждали. Ничего... А пока все правильно. Так он хотел.

Так велел. Все сделала. Выполнила.

«...Через две, через две весны...»



## Червец

Да, для нас это грязь на калошах,  
Да, для нас это хруст на зубах.  
И мы мелем, и месим, и крошим  
Тот ни в чем не замешанный прах.  
Но ложимся в нее и становимся ею,  
Оттого и зовем так свободно — своею.

Анна Ахматова <sup>1</sup>



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### *Ленточное существо*

Утром четвертого января 197... года где-то перед рассветом Павел Иванович Смирнов увидел в своей комнате гигантского ленточного червя, точь-в-точь такого, какой однажды приснился ему в детстве в страшном сне.

В полной тишине и темноте, кое-как нарушаемой только слабым отсветом, падающим из окна, белый, как вафельное полотенце, и такой же широкий червяк неожиданно появился из-под плинтуса и, извиваясь согласно своей природе, потянулся через всю комнату к обеденному столу. Он тянулся, тянулся и тянулся, а Павел Иванович замирал и ждал, когда же и чем он кончится, точнее, когда прервется этот дурной угнетающий сон, потому что Павел Иванович точно знал: это сон.

Однако червяк определенно существовал. Павел Иванович успел осознать, что сам он — все-таки бодрствует, сесть на тахте, поджать ноги, посмотреть на часы, вспомнить в подробностях свой детский ночной кошмар и то, что за ним последовало в жизни, — а между тем все новые и новые метры «полотенца» непреклонно лезли из-под плинтуса. Нет, иначе не скажешь: и шириной, и толщиной червь был самоходным вафельным полотенцем, и, тем не менее, это был живой червяк, потому что, хотя пока и неизвестно было, чем он когда-нибудь кончится, начинался

он, несомненно, головой: утолщение вроде кабачка было прикреплено к широкому туловищу беззащитно тоненькой шеей. Эта же самая или очень похожая голова была, помнится, и в детском кошмаре.

Достигнув стола и безо всякого затруднения вполз на него первыми метрами тела, в то время, как последние все еще оставались под плинтусом, червяк начал рыскать безобразным своим кабачком вправо и влево и, обнаружив масленку, принялся вылизывать ее длинным, раздвоенным, как у змеи, языком. Впрочем, не будучи силен в биологии, Павел Иванович не взялся бы с уверенностью утверждать, что это — язык, зуб, или вообще жало. Сидя на диване, он смотрел на животное, и ощущение нереальности происходящего не давало ему окончательно испугаться или даже как следует удивиться.

Между тем, покончив с масленкой, червяк потянулся к хлебнице, и Павел Иванович совершенно некстати с раздражением подумал, что ведь сто раз обещал себе убирать после еды продукты, мать терпеть не могла сохнувших корок, она бы... но тут червяк неожиданно дернулся и съехал со стола, громко стукнув головой об пол. Как будто его тянули где-то за хвост, он начал укорачиваться, метр за метром уезжая обратно под плинтус, пока дело не дошло до головы, которая не пролезала в щель, однако в конце концов, неожиданно сдавшись, сделалась абсолютно плоской, как лопнувшая футбольная камера. И исчезла.

Пожалуй, только тут Павел Иванович окончательно понял, что не спит. Он встал с дивана и босиком подошел к окну, несмотря ни на что, уверенный: увидит только темный, засыпанный снегом, пустой двор. Однако увидел дворника, который, стоя под самым его окном, сноровисто наматывал на какой-то барабан нечто, похожее на необычной ширины белый пожарный шланг. Закончив работу, дворник с трудом поднял барабан на плечо и зашагал прочь, глубоко проваливаясь в нерасчищенные сугробы.

*Временно направлен*

В полдень по двору, как обычно, мотались три омерзительных черных кота. То и дело перебегая узенькую тропинку, протоптанную в нападавшем за ночь снегу, они топорщили шерсть и мерцали желтыми глазами. Дворник Максим этих котов игнорировал, так же как и подведомственные ему сугробы. Повернувшись ко двору спиной, он сидел ватным задом на ледяных ступеньках, скользящих вниз, в подвал, курил сигарету и слушал транзистор. В настоящий момент приемник быстро лопотал на английском языке, дворник же время от времени покатывался со смеху. В это время снова пошел снег, нарочито падая мокрыми хлопьями на плечи Максима. Падал он и на тропинку, по которой, путаясь в котах, осторожно пробирался Павел Иванович с жухлым портфелем.

Привлеченный голосом транзистора, он разглядел за неразберихой хлопьев неподвижного дворника и приблизился.

— Здравствуйте,— сказал он ватной спине, подойдя вплотную.

Дворник тотчас поднялся и повернул к Павлу Ивановичу свое красивое, породистое лицо, на котором обозначилось вежливое недоумение, что-то вроде «чем могу служить, милостивый государь?»

Интеллигентность дворника обескуражила Павла Ивановича, и, оробев, он некоторое время молча смотрел в черные, подернутые тоской глаза. Потом все же спросил:

— Вы мне не скажете, что это было? Ночью? А то у меня такое ощущение, будто я... видел галлюцинацию. Я имею в виду червяка, которого вы потом...

Дворник иронически усмехнулся:

— Можете считать, что вам приснился научно-фантастический сон. Science fiction. Не более того. Вы меня поняли?

Павел Иванович понял. Понять было не трудно. Он знал, что дворником сидящий перед ним человек работает временно, а постоянное место его работы — научно-исследовательский институт, расположенный в соседнем здании<sup>2</sup>. О том, чем там занимаются, ходили разные слухи, но сотрудники, многие из которых жили с Павлом Ивановичем в одном доме, хранили многозначительное молчание, имея при этом весьма достойный вид, что говорило само за себя. Поэтому никаких вопросов Павел Иванович ученому дворнику задавать не стал, но и уходить тоже не хотелось, — этот парень чем-то ему нравился, ужасно был симпатичен, и Павел Иванович сказал:

— Вас понял. Разумеется, это был сон. Но знаете, что удивительно: ведь я и в самом деле однажды видел точно такой же сон. В детстве. Это было в самом начале войны, накануне того дня, когда мой младший брат...

«Боже мой, — с грустью думал Максим, слушавший Павла Ивановича вполуха, так как мысли его были заняты совершенно другими проблемами, — Боже мой! Зачем мне все это знать? Для чего он силком пихает мне в башку ненужную информацию? Детские сны, младшие братишки... Чисто российская наша черта — сентиментальность. И убежденность в том, что тебе — до всех дело и всем — сплошной кайф обсуждать твои семейные обстоятельства...»

По-видимому, эти соображения довольно четко проявились на выразительном лице дворника, потому что Павел Иванович, споткнувшись на слове «бомбоубежище», краснея, пробормотал:

— Впрочем, это неинтересно. Да мне и пора. Так что всего наилучшего.

Снег продолжал валиться с вызывающей настырностью. Максим опять включил приемник и стал под музыку размышлять о том, что если сегодня к вечеру не будет оттепели, завтра ему, пожалуй, влепят выговор.

Временно направлен... Конечно, дворников в городе пока еще недостаточно<sup>3</sup>. Пока... Рост духовных запросов

с неизбежностью привел к тому, что никто на эту работу идти не желает, считая ее недостаточно творческой. По мнению же институтского начальства, ситуация наблюдается такая: по чистым улицам ходить хотят все, а работать — никто. Примерно в этом духе высказался заведующий лабораторией профессор Кашуба Евдоким Никитич, когда Максим заявил ему:

— Сколько можно? Почему опять я? В августе кто в колхоз ездил?

— Стыдно, Лихтенштейн, сколько можно выкручиваться? Скверная это у вас у всех привычка. Ведь знаете, что Гаврилов сейчас оформляет документы в Брюссель на конгресс.

— Да при чем здесь Гаврилов?

— А Лыков болен... Что же вы хотите, чтобы я сам?.. — И пошел, и пошел. Говорил пятнадцать минут, после чего, изобразив на лице невероятную скорбь, удалился, и в тот же вечер улетел во Францию, куда был командирован, чтобы сделать сообщение на тему «К вопросу о червях как объектах бионики».

Автор текста этого доклада, ответственный исполнитель важной для престижа института работы по проблеме «Червец» старший научный сотрудник Максим Лихтенштейн после короткой, но громкой беседы в отделе кадров дал добровольное согласие отработать месяц на уборке снега в институтском дворе и — обязательно! — во дворе соседнего жилого дома («мы должны помочь городу»). В этом доме, как уже говорилось, в большом количестве проживали сотрудники института, в том числе сам профессор Кашуба с женой, разведенной дочерью Верой и двумя внуками.

Ввиду того, что все без исключения сколько-нибудь квалифицированные научные работники из лаборатории Кашубы, не считая больных, действительно разъехались собирать материалы, выслушивать доклады, заимствовать опыт, словом, делать все возможное, чтобы в короткий срок

ликвидировать свою неосведомленность в вопросах червей, громадный белый червяк, из-за которого разгорелся сыр-бор, остался на руках Максима. В порядке исследования тот должен был утром и вечером питать животное различными смесями, а раз в сутки производить кое-какие замеры, совмещая научную деятельность с уборкой снега и льда. За это профессор Кашуба обещал Максиму отпуск в летнее время.

*Лихтенштейн?..*

Кандидат наук Максим Ильич Лихтенштейн давно уже не удивлялся и привык почти не огорчаться по поводу того, что другие ездят по границам, а он — нет<sup>4</sup>. Максим Ильич был не идиот. И уже целых тридцать семь лет — не грудной младенец. Тем не менее, согласитесь, слегка тоскливо собираться в четвертый раз «на картошку», зная, что тот же Гаврилов опять оформляется в Брайтон, а Лыков нехотя разъезжает в гондоле по каналам Венеции. Максим согласен был бы еще все то время, которое коллеги с несомненной пользой для дела проводят за рубежом, отдать науке, но где там! Именно ему, как наиболее свободному, почему-то всякий раз напоминали, что он ест капусту, лопает брюкву, жрет в громадных количествах картошку и другие корнеплоды, да теперь вот еще и разводит во дворах сугробы и культивирует обледенение тротуаров.

Максим знал, что теоретически он имеет возможность совершить заграничную поездку, но — увы — только в один конец<sup>5</sup>. Там уж будет все — Плас Пигаль и статуя Свободы, и Колизей, и Стена Плача — выбирай на вкус. Зато там не будет многого другого, без чего, как это ни странно, Максим Ильич Лихтенштейн плохо мог представить свое существование: вот этого насупленного города или даже — можете смеяться! — деревеньки с некрасивым названием Смердовицы, куда он в течение нескольких лет

постоянно выезжал на полевые работы. Какое, казалось бы, Лихтенштейну дело до Смердовиц? А вот поди ж ты, замирало и вздрагивало что-то в душе, когда, выйдя с рюкзаком из автобуса, он видел мягкую, поросшую муравьей тропинку, протоптанную вдоль улицы, и кривые черные домики, и поля.

Эту свою способность мгновенно раскисать при виде стога сена или покосившейся избы, крытой дранкой, Максим считал слабостью и прятал от посторонних глаз, однако отдавал себе отчет в том, что такому, как он, нечего и думать о переезде в другие места, даже если эти места — Плас Пигаль или, допустим, Бронкс.

А между тем вот, что забавно: он ведь, вполне вероятно, мог бы гулять с советским паспортом среди Елисейских полей ничуть не хуже Лыкова с Гавриловым, или даже самого Кашубы. Мог бы... Если бы знал то, чего по воле судьбы ему узнать не удалось.

Дело в том, что двусмысленная для некоторых и кристально ясная для людей, специально, по долгу или в качестве хобби занимающихся этим вопросом, фамилия Лихтенштейн, исключаящая, по мнению замдиректора по кадрам Пузырева<sup>6</sup>, командировки за границу и высокие посты, а также делающая нелепыми слезы, вызываемые видом колодца-журавля, эта фамилия досталась Максиму совершенно случайно.

Как часто происходит в фильмах и книгах про войну, а впрочем, не раз бывало и в жизни, Максим в первых числах июля сорок первого года в возрасте восьми месяцев оказался один на пустой улице города Минска, где был подобран неизвестным солдатом и сдан в детский дом, который сразу эвакуировался за Урал. Само собой, ни имени, ни фамилии ребенка солдат знать не мог. И вот неизвестный солдат принес неизвестного младенца в некий детский дом и сдал, заявив незнакомой женщине, заполнявшей какой-то журнал, что мальчика, дескать, зовут Максимом, фамилия Лихтенштейн, а его, солдата,

имя — Илья. Почему он так поступил, остается только гадать. Скорее всего, думал, что Максим — хорошее имя, а война скоро кончится, он заберет мальчика из детдома и уж как-нибудь отыщет его родителей, и те пускай называют своего ребенка, как положено. Но почему — Лихтенштейн, а не, скажем, Иванов или Ухов? Возможно, этот солдат Илья был любознательным чудаком, и его манили дальние страны — княжества Монако, Андорра, Лихтенштейн? А скорее всего, он просто решил, что второго младенца с такой примечательной фамилией на всей территории Советского Союза не окажется и, следовательно, найти его по окончании войны будет делом несложным. Все возможно... Но правды теперь не узнать: солдат Илья с войны не вернулся, неизвестный же мальчик проживает на свете в качестве Максима Ильича Лихтенштейна, бывшего детдомовца, а ныне старшего научного сотрудника, кандидата технических наук. Проживает он, в общем, совсем неплохо, многого, как видите, достиг, а если по кому иногда и тоскует, о ком думает, сидя вечером один в кооперативной однокомнатной квартире, так это о своих потерянных родных, которых много лет безуспешно искал с помощью милиции, радио, газет, военкоматов, но, конечно же, не нашел.

Впрочем, с каждым годом тоска по родным приобретает все более абстрактно-безнадежный характер, гораздо актуальнее другие проблемы, например, хотя бы женитьба, ибо, как любит повторять Ирина Трофимовна Гольдина: «Двадцать лет — ума нет и не будет, тридцать лет — жены нет и не будет». А Максиму Ильичу, как мы уже здесь обмолвились, — тридцать семь<sup>7</sup>.

### *Совершенно секретный*

Когда Максим велел этому интеллигенту считать ночную встречу с червяком страшным сном и не задавать вопросов, он поступил совершенно правильно. И строго по инструкции. Пресмыкающийся объект был строго засекречен,

и всякие разговоры о нем с посторонними грозили Лихтенштейну неприятностями. Да что разговоры! Сам факт бесконтрольного ползания объекта по чужому двору был достаточен, чтобы Максима как минимум отстранили от научной работы по проблеме «Червец» и вклеили «строга-ча». С одной стороны — это было бы к лучшему, с другой же... Все-таки обидно, так как Максим Ильич с полным правом считал себя основоположником этой проблемы.

Однажды у него «убежали» часы, и он явился на работу на полчаса раньше, чем нужно. Проходя по пустому институтскому двору, он сперва удивился, а потом испугался. Удивился, что не встречает никого из сотрудников, а испугался, так как решил, что сильно опоздал, а это сулило тошнотворную беседу с профессором Кашубой о трудовой дисциплине, которая обязательна для всех, начиная с уборщицы и кончая директором. Однако вскоре Максим удивился и испугался одновременно: он увидел, что в углу двора, где была сделана выгородка для выбрасывания отходов, что-то интенсивно шевелится. Взлетали блестящие кудри металлической стружки, какие-то колбы со звоном ударялись об асфальт и раскалывались в мелкие дребезги — свалка буквально ходила ходуном.

«Крысы», — догадался Максим. Крыс он боялся панически, и это было еще одной его постыдной слабостью.

Однако, взглядевшись, он увидел не крыс, а увидел он нечто белое и плоское, похожее по виду на длиннущее полотенце, которое вдруг ожило под мусором и хочет выбраться на волю. Полотенце извивалось с невероятной энергией и активностью. Максим подошел к помойке вплотную и, не будучи от природы брезгливым и трусливым (если дело не касалось крыс!), протянул руку и прикоснулся к извивающемуся предмету.

Предмет был теплым. От прикосновения он мгновенно замер, и тут Максим увидел, что из кучи мусора пристально смотрят два живых блестящих глаза, близко посаженных на округлой голове, похожей на крупного

размера кабачок. И в то же мгновение голова вдруг сделалась плоской, глаза исчезли,— полотенце и полотенце, хоть вытирайся.

Дальше события развивались следующим образом: во дворе появился Евдоким Никитич Кашуба. Он всегда приходил на работу на десять минут раньше всех, чтобы иметь возможность в любое время сказать подчиненным: «Вот оно, ваше рвение в кавычках,— в институт прибегаете со звонком, по звонку же и выбегаете. А я почему-то прихожу за полчаса и ухожу на час позже. Почему, как вы думаете?..»

Итак, следовавший с портфелем мимо свалки профессор Кашуба был остановлен Лихтенштейном, который показал ему невероятный феномен, деловито роющийся в отходах производства. Лихтенштейн сказал, что, мол, надо бы сейчас же позвонить в зоопарк и вызвать оттуда спецтранспорт, пускай забирают. Но заведующий лабораторией, подумав всего секунду, дал команду не звонить и не вызывать. Дело в том, что как раз сегодня на Ученом совете должен был обсуждаться план исследований лаборатории на будущий год, а старых заделов, равно как и новых идей, во вверенном профессору подразделении, к сожалению, не было. В перерывах между поездками в колхоз и командировками по внедрению давнишних разработок сотрудники едва-едва успевали писать научные отчеты, для чего постоянно использовался один и тот же универсальный фолиант, составленный лет шесть назад. Автором этого шедевра являлся некий Гольдин, теперь уже силком отправленный на заслуженный отдых, и — зря, потому что он обладал уникальным талантом облекать в научную форму любую чепуху, будучи искренне убежден, что приносит пользу.

Одним взмахом красной шариковой ручки Гольдин умел изобразить великолепный график — кривую, идущую неуклонно вверх, и тут же придумать к этому графику серьезное научное обоснование. Составленный им толстый отчет сотрудники называли «гробом», что не мешало им

в конце каждого квартала буквально драться из-за него. Профессору Кашубе Гольдина очень недоставало, он никогда в жизни не расстался бы с ним, да что поделаешь, — подоспела кампания по отправке на пенсию, а Евдоким Никитич давно усвоил, что в каждой кампании очень важно быть первым. Хочешь — не хочешь, а пришлось уволить старика Гольдина и вместе с ним еще троих вполне дееспособных работников...

Так вот, на сегодняшний день с тематикой было неважно, как говорила лаборантка Люся, — «полный завал», и, увидев червяка, Кашуба послал Лихтенштейна за слесарем. Слесарь Денисюк Анатолий был человеком неопределенного возраста и неопределенного внешнего вида, но вполне ясных и отчетливых убеждений. Явившись на зов начальства, он кинул беглый взгляд на червя и, не выразив ни малейшего удивления, расплывчатым голосом сказал, что так — не получится, — надо, на хрен, звать такелажников, а они, на хрен, не пойдут.

— Пойдут, — успокоил его Максим и через три минуты сам привел двоих такелажников, в пути пообещав им по сто граммов спирта<sup>8</sup>.

Оживившись при виде рабочей силы, Кашуба приосанился и скомандовал:

— Отловить... м-м... объект. Доставить в зал Ученого совета.

Что и было исполнено, но количество спирта пришлось удвоить.

— Обидим людей — в другой раз ни хрена не отловят, — пригрозил Денисюк, явившись к Кашубе от имени такелажников с пустой молочной бутылкой, — они, на хрен, так и сказали: по сто грамм, это, извиняюсь, только курей щекотать. Можно гидролизный, хрен с ним.

Кашуба налил четыреста граммов, и Денисюк молча удалился.

До конца рабочего дня ни его, ни такелажников никто нигде больше не видел.

Когда открылось заседание Ученого совета, профессор Кашуба сделал краткое сообщение о том, что во вверенной ему лаборатории впервые в мире синтезировано из отечественных материалов и теперь всесторонне исследуется квазиживое существо — червяк ленточный теплокровный, ориентировочная длина — 14 600 миллиметров, ширина около трехсот, толщина два и четыре десятых; до сих пор лаборатория, как известно, занималась исключительно вопросами применения пластмасс для изготовления деталей машиностроения, но возросшее значение проблемы охраны окружающей среды<sup>9</sup>, подчеркнутое в директивных документах, заставило коллектив встречно взять на себя большую и ответственную задачу и, как показывают факты, — не напрасно: налицо приоритет, а высокий научно-технический уровень наших сотрудников позволит нам и впредь смело и своевременно браться за любые проблемы, поставленные соответствующими Решениями<sup>10</sup>, учитывая вышеизложенное, а также особую важность и чрезвычайную ожидаемую полезность предлагаемой работы для нужд народного хозяйства в целом, а возможно, и для оборонной промышленности, следует настаивать на ее немедленном включении в план и финансировании, на выделении для лаборатории двух дополнительных штатных единиц и помещения, короче, на создании условий для эффективной и бесперебойной работы, спасибо за внимание.

Правду сказать, поначалу далеко не все члены совета слушали профессора Кашубу с должным рвением — взгляды их были гипнотически прикованы к столу, на котором слабо шевелилось сложенное в несколько раз и упакованное в полиэтиленовый мешок упомянутое синтетическое как бы живое существо.

Директор же института, которому надлежало сидеть за этим столом в качестве председателя, предусмотрительно ушел во второй ряд и устроился там, открыв форточку: ему, дескать, жарко и нечем дышать.

Когда профессор Кашуба изложил все, что хотел, в зале на некоторое время воцарилось ошарашенное молчание. Сотрудники недоуменно переглядывались. Затем один до крайности въедливый старичок, профессор Лукницкий из конкурирующего отдела, спросил, какое все же отношение имеет к полимерам и машиностроению эта... м-м... словом, то, что шевелится сейчас в мешке.

В ответ докладчик повернулся к директору и веско заявил, что давно собирался обратить внимание руководства на тот факт, что личная неприязнь, доходящая до неприличия, и даже законная ревность к успехам коллег никак не должны бы мешать работе, что склоки, как известно, погубили не одно ценное начинание, в то время как... и пошел, и пошел...

— Понесло... — тоскливо зашущукались в рядах.

Лукницкий был вынужден нехотя сесть и затаиться.

Когда шум в зале стих, а Кашуба завершил свою речь словами «положить окончательный конец», директор постучал своим «Паркером» по стеклу форточки и попросил профессора рассказать, по какой технологии и за сколько времени удалось создать этот... уникальный образец. Кашуба приосанился и не моргнув глазом доложил: работы ведутся уже достаточно давно, однако, заметьте, — без финансирования, на сэкономленном сырье и за счет личного времени сотрудников. Вот хотя бы товарища Лихтенштейн.

При этих словах молодые кандидаты наук супруги Валерий и Алла Антохины, сидящие в пятом ряду, переглянулись, и Валерий сказал жене, что вот, обрати внимание, Макс вечно ходит в ущемленных, а Кашуба, между прочим, его везде выпячивает, обрати внимание.

— Обратила, — сказала Алла, — особенно он его выпячивает, когда надо ехать в колхоз или на овощебазу. А что в ущемленных — это верно, только они ведь все на этом зациклены, помнишь Гольдина?

Еще бы Валерию не помнить старика Гольдина! Такой скандал учинил, когда провожали на пенсию, орал

езде, что — из-за пятого пункта<sup>11</sup>, а то, что в шестьдесят шесть лет пора освободить место молодым, ему в голову не приходило.

Пока Антохины обменивались мнениями, Кашуба сообщил: да, пришлось повозиться, применить кибернетику, а что касается технологии, то, хотя перед Ученым советом сейчас находится всего лишь опытный образец, нуждающийся в существенной доработке по результатам стендовых и эксплуатационных испытаний, для проведения которых требуется время, время и время, и конечно же...

— Деньги, деньги, деньги, — тоненьким голоском добавил Лукницкий.

Кашуба слегка посуровел и сказал, что делать сообщение по технологическим параметрам процесса он пока считает преждевременным, так как эту работу, ввиду ее исключительного значения — вы понимаете? — следовало бы засекретить и проводить обсуждение технологических тонкостей и результатов испытаний только в присутствии товарищей, имеющих к ней прямое отношение.

Зал притих, и тут, грохнув откидным сиденьем, из рядов вылез заместитель директора Василий Петрович Пузырев. На протяжении всего заседания он оставался невидимым (была у него эта скверная привычка — время от времени исчезать), но теперь внезапно обнаружился. Он молча прошел к стене, где висели плакаты, приколотые Аллой Антохиной, руководитель которой должен был делать сообщение сразу после Кашубы. В полной тишине Пузырев сорвал один из плакатов, потом, подумав, — еще два и заботливо прикрыл ими заветный мешок. Подумав еще, вынул из кармана зеленый фломастер и вывел поперек одного из плакатов «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, экз. № 1». Потом внимательно оглядел присутствующих (в результате чего несколько человек на цыпочках вышли из зала) и, так и не проронив ни слова, вернулся на свое место. Скрипнул стулом. И исчез.

*Гора*

Заседание Ученого совета продолжалось в тот день до четырех часов с перерывом на обед. Работу над пресмыкающимся единогласно решили включить в план под кодовым названием проблема «Червец». Почему — «Червец»? Неизвестно. Да и не все ли равно?..

Максим Лихтенштейн, не являясь членом совета, участия в голосовании не принимал, а профессор Лукницкий руки не поднял из принципиальных соображений, но это никого не смутило, кроме разве что Василия Петровича Пузырева. Скрипнув стулом, Василий Петрович сделал соответствующую пометку в своем блокноте, держа его на коленях, что — неудобно, но он привык записывать не только сидя в зале. Он умел записывать и стоя, и лежа, и в всяком положении, и в прыжке.

Короче говоря, решение по проблеме «Червец» было принято единогласно.

Максим сидел в последнем ряду, и настроение его по мере хода заседания менялось. Эх, и отличный же график мог бы получиться, если бы, наблюдая за Лихтенштейном, некто откладывал на оси абсцисс время, прошедшее от начала заседания, а на оси ординат — степень возбуждения, охватившего Максима Ильича! Получилась бы вполне наукообразная кривая, сразу стремительно скакнувшая вверх до экстремальной точки, затем образовавшая горизонтальную площадку, начинавшуюся в тот момент, когда слово взял профессор Кашуба, и кончавшуюся падением где-то перед началом голосования, то есть, когда результат всем уже ясен.

Назвать состояние Максима просто возбуждением недостаточно. Это на первых порах было изумление, крайняя его степень. Казалось бы, прожив на белом свете тридцать семь лет, из которых последние тринадцать были отданы научной работе под руководством профессора

Кашубы, Лихтенштейн ко всему бы должен привыкнуть, ан нет — дебаты по поводу червяка, найденного им на свалке, прямо-таки потрясли его и заставили некоторое время просидеть с оцепенелым лицом. Вид у него был странноватый, так что потом, в перерыве, к нему подошла Алла Антохина и сказала, что, конечно, рада за него, но зачем уж так балдеть от гордости, можно бы и поскромней.

Алла была известной физиономисткой.

Пока Максим «балдел», в голову ему приходили разные мысли, вплоть до самосожжения: встать, например, и заявить, что все это — липа, червяк найден на свалке, и лично он, Максим Лихтенштейн, никогда не примет участия в таком циничном надувательстве и залепухе.

Но зачем понапрасну дразнить собак? Чего бы он этим добился? Допустим невероятное: Кашуба посрамлен. И дальше что? А дальше то, что, вполне вероятно, научному работнику со звучной фамилией Лихтенштейн придется искать новое место службы, что в наше время не так-то просто, а гарантии, что на новом месте, будь это хоть артель «Химчистка», не найдется точь-в-точь такого же «Червеца», — ни малейшей.

Черт с ним! В конце концов, «у каждого Абрама — своя программа», — подумал Максим, имея в виду своего руководителя. — И хуже ли исследовать безобидного червяка, чем, выбрав себе в жертву какое-нибудь наивное провинциальное предприятие, доить его под предлогом совместной работы по хоздоговору? Пускай болтают, вон Кашуба — аж раскраснелся, а директор, вдруг осмелев, подошел к столу поглядеть на «опытный образец». Ладно. Посмотрим, как они потом выкрутятся, выкручиваться, между прочим, придется им, а не исполнителю. Не впервой.

Тут кривая Максимовых эмоций стала падать и быстро дошла до нуля, то есть до абсциссы. Ему сделалось не-

интересно, он опустил голову на грудь, что было тут же отмечено Аллой: «Делает вид, что ему безразлично, нет, я так не умею!» — и отключился.

У Максима был давно отработан способ отключаться в любой обстановке, он изобрел его еще в детдоме и использовал особенно эффективно, когда его вызывал тамошний директор и, усадив на стул, начинал заунывно выговаривать по поводу курения или драки. Слова про государство, которое «все сделало для таких, как ты», про неоплатный долг, про младших товарищей, берущих дурной пример, эти неплохие, но очень обкатанные, звучные слова, булыжниками бросаемые в большую бритую голову воспитанника Лихтенштейна, меняли траекторию, не долетев до его слегка оттопыренных ушей. И уносились прочь. Они уносились далеко-далеко, за поля и леса, и там со всего размаху падали. Громадная гора, вся состоящая из таких вот словесных булыганов, уходила высоко в небо, а на самом верху ее сидел черный ворон и кричал каждому вновь поступившему камню: «Вр-р-решь! Вр-р-решь! Вр-р-решь!»

Эту гору, изобретенную в детстве, Максим использовал до сих пор: представлял себе в нужных случаях, а нужный случай возникал каждый раз, как только приходилось беседовать с уважаемым Евдокимом Никитичем. Профессор Кашуба обладал примерно тем же словарным запасом, что и детдомовский директор, и одним из любимейших мотивов его речи был неоплатный долг. Слушая профессора много лет подряд, Лихтенштейн постепенно пришел к выводу, что гора, пожалуй, состоит не из одних булыжников — еще из комьев давно засохшей глины, а то и еще чего... похуже.

«...Таким образом, согласно программы, согласованной с согласующими организациями...» Гора росла и росла. Новые комья мягко валились на нее с грязного низкого неба. Растрепанный ворон издевательски разевал клюв и выкрикивал «Вр-р-решь!» так, словно матерился.

*Павел Иванович и его соседи*

Отгульный день, начавшийся встречей с секретным га-дом, продолжался. Павлу Ивановичу сегодня, слава Богу, некуда было торопиться, никаких дел он себе не наметил, поэтому не спеша, как говорится, нога за ногу, брел кружным путем к булочной, не столько по необходимости купить хлеб, сколько из желания прогуляться.

День сегодня был странный — казалось, что-то произошло со временем. Конечно, оно двигалось, и будто даже в правильном направлении, но чрезвычайно медленно, нехотя. День ковылял на отечных ногах, поминутно делая остановки, чтобы отдышаться, поглазеть по сторонам, одним словом, не спешил. Не спешил и Павел Иванович, пробираясь сквозь снежный туман, туго забивший плотной сырой массой улицы и переулки, впадающие во Владимирский проспект, где находилась булочная. Фокусы времени абсолютно устраивали Павла Ивановича — вечер ему был не нужен, поскольку вечером вернутся с работы его квартирные соседи Антохины, а встречаться с ними Павлу Ивановичу было неприятно — он их ненавидел.

Ненависть — совсем не обязательно оглушительно жгучее чувство, от которого замирает в груди, в то время как взор застилает белое пламя. С Павлом Ивановичем, во всяком случае, все происходило иначе. Когда он видел кого-нибудь из Антохиных, то не вздрагивал, не кричал, и в глазах у него не белело... Но каждый раз ноги делались неподъемными, как сырые дрова, в плечах начинало мозжить, во рту пересыхало, а душа наполнялась невероятным омерзением ко всему живому и в первую очередь — к себе самому. Это было очень тягостное чувство, и оно, к несчастью, делалось все сильнее, все отчетливее по мере того, как уходил в прошлое день, когда Павел Иванович проводил свою мать в психиатрическую больницу.

Жизнь в одной комнате коммунальной квартиры с больной, потерявшей рассудок, но сохранившей много физических сил старухой была, разумеется, довольно сложной. Полгода назад после очередного гипертонического криза мать внезапно перестала его узнавать; когда он приходил с работы, кричала: «Ты — кто? Где Павел? Когда вернется?» Потом начала отказываться от еды, заявив, что ее хотят отравить. Прятала под матрацем какие-то куски и тайком съедала их по ночам. Все это было так страшно и так на нее не похоже, что Павел Иванович совершенно растерялся. Еще позднее начались крики по ночам — матери казалось, что ее пытаются задушить, она вскакивала с постели, в одной рубашке бегала по квартире и рвалась к соседям. Было многое еще, чего не хочется вспоминать, но Павел Иванович готов был терпеть все: это была его мать, все свои сорок с лишним лет он прожил с ней вдвоем, ближе для него человека на свете не было.

Но Антохиным она матерью не приходилась. И вот после очередной бессонной ночи они объявили Павлу Ивановичу, что больше выносить этого не могут, они все понимают и даже сочувствуют, но хотят жить в нормальной обстановке и ночью спать, а не слушать дикие вопли. Антисанитария в туалете и в ванной их также крайне не устраивает, и вообще от такой жизни они сами скоро попадут в психушку, а у них — ответственная научная работа. Павел Иванович растерянно их выслушал и сказал, что приносит свои извинения, но... как же ему-то быть? Он ведь вызывал к матери врачей, все в один голос говорят: помочь тут ничем нельзя — склероз.

— А вот моей маме за шестьдесят, а она в поле работает. И довольна, — задумчиво сказала Алла.

Павлу Ивановичу возразить было нечего, и он опять беспомощно и виновато спросил, что же они ему посоветуют.

Антохины переглянулись, потом Валерий, слегка замявшись, произнес:

— Понимаете... конечно, все это тяжело, но... нам кажется, что правильнее всего было бы поместить Татьяну Васильевну в... больницу.

— В какую больницу? — поразился Павел Иванович. — Вы же знаете: стариков в больницы не берут, тем более таких — хроников.

— Это в обыкновенные не берут, а есть специальные. Ну... когда такое... с рассудком... — шепотом сказала Алла.

— Вы имеете в виду сумасшедший дом? — осведомился Павел Иванович. — А интересно, свою мать вы бы отдали в сумасшедший дом?

— Конечно, — убежденно ответил за жену Валерий. — Для ее же пользы.

— А вот я, представьте себе, свою мать не отдам. И давайте кончим этот разговор, — с этими словами Павел Иванович вышел из кухни, и недели две никаких разговоров действительно не было. Если ночью случался шум, на следующий день соседи ходили с мрачными лицами и здоровались с особой церемонностью. А Татьяне Васильевне между тем на глазах становилось все хуже. Она почти перестала членораздельно говорить, но оставалась очень живой и подвижной. Могла без передышки снова по квартире, оставляла открытыми водопроводные краны и, что гораздо хуже, несколько раз — газовые.

Павел Иванович взял две недели за свой счет и занялся обменом. Доплатив и потеряв метраж, он надеялся обменять свою комнату в центре на любую однокомнатную квартиру в любом районе. Пусть без ванны, без телефона, пусть шестой этаж без лифта, пусть далеко от работы, только — отдельно. Он развесил по всему городу объявления, но скоро стало ясно: затея обречена на провал — никто не хочет ехать в коммуналку, да еще — в первый этаж. А отпуск кончился, и тут в один прекрасный день в квартире появилась молоденькая медсестра из психдиспансера. Пришла она в отсутствие Павла Ивановича, и он, вернувшись, застал ее уже в передней ожив-

ленно беседующей с соседями. Когда Павел Иванович вошел, все замолчали, потом сестра, глядя на него почему-то с осуждением, сказала:

— Больная дементна, это — очевидный факт.

Ничего не ответив, он прошел мимо, и с того дня посетители являлись друг за другом. То — из райздравотдела, то жильцы-общественники, наконец, пожаловал представитель института, где работали Антохины, и, качая лысой головой, долго объяснял Павлу Ивановичу, что дом, по существу, ведомственный, что уже давно стоит вопрос о переселении всех, кто, проживая тут, не служит в институте, Антохины — научные работники, кандидаты наук, так что, товарищ, послушайте доброго совета: устройте матушку в лечебницу для душевнобольных, институт поможет, туда берут престарелых, если они... социально опасны, а думать нужно не только о себе, но и о людях, которые живут рядом с тобой и своим трудом приносят немалую пользу государству, перед которым мы все в неоплатном долгу... Павел Иванович выставил представителя за дверь, а еще через день мать, оставшись дома одна, распахнула окно во двор, кричала, собрала толпу и пыталась выброситься с первого этажа. В общем, все кончилось именно так, как мечтали Антохины, — Скорой помощью, подоспевшей одновременно с Павлом Ивановичем, возвращавшимся с работы, и санитарями, связавшими Татьяне Васильевне руки, поскольку она дралась с ними, как говорится, до последнего, и только уже в больнице вдруг затихла и внятно произнесла:

— Павлик, я не хочу. Не надо. Пойдем домой, лучше умереть.

Больше после этого она ему уже ни одного слова не сказала, хотя он навещал ее каждую неделю. Не жаловалась, не плакала, только худела и слабела. Врачи Татьяну Васильевну хвалили: тихая старушка, никаких хлопот. Ясно — никаких, если три раза в день — лошадиные дозы лекарства...

Вот так все и получилось. Может, и правы были соседи, когда говорили, что это — единственный выход, но видеть их Павел Иванович теперь не мог. Поэтому очень любил по субботам работать, а отгулы брать на неделе, когда никого нет дома. По воскресеньям же дома не бывало его самого: ездил к матери, а это занимало почти весь день — больница находилась в шестидесяти километрах от города.

Так вот, сегодня как раз и был отгул и, совмещая поход за хлебом с прогулкой, Павел Иванович шел, пытаясь объяснить себе, что же это все-таки был за червяк ночью у него в комнате. И быстро пришел к такому выводу: зверь явно научный и секретный. А раз научный, то ничего невероятного и противоестественного в нем нет. Почему, в конце концов, можно запускать людей на Луну, менять русла рек и затапливать целые города, а разводить гигантских червяков — нельзя? Понадобился — и вывели. Покончив таким образом с червяком, Павел Иванович принял решение вечером пойти в кино. При этом желательно, чтобы фильм был двухсерийным.

В тот же день, возвращаясь под руку с мужем с работы, Алла Антохина страстно говорила:

— Господи, Валерка, да когда же мы, наконец, получим кооператив, не могу я больше!

— Чего не можешь, Алена?

— Видеть его, видеть — вот чего! Ведь домой идти тошно. «Добрый день», «добрый вечер», а в голосе одно презрение. Будто мы не люди, а... с его подметки грязь. Он же нас за людей не считает, не спорь! И не только сейчас, а всегда так было. Ведь обидно: сам-то кто такой, если уж разобраться? В комнате пылица... Я, например, убеждена: человек не может называться культурным, если у него такой пол!

— Ну, ты уж... При чем здесь пол?

— Потому что противно! Скажите, пожалуйста, — барин какой. Я помню, еще маленькой была, так его мамаша

тоже никогда сама полов не мыла, мы не бедней их жили, а мама за нее всегда общее пользование убирала. Заплатит — она и моет. Это такая психология, понимаешь? Последнюю копейку отдадут, без штанов останутся, а только чтобы самим не делать, руки не пачкать!

— Да. Здесь ты права, есть еще такие. Я даже как-то думал, в чем разница. Кажется, вот мы — интеллигенция, действительно, ничем не хуже его, даже в чем-то обогнали...

— «В чем-то»!

— Кстати, это нормально, что обогнали: у нас больше стимулов и жизненных сил — интеллигенты в первом поколении. У нас в генах заложено — никакой работы не бояться. В этом все дело. Тебя вот, небось, мать с таких лет приучала полы мыть, а его мамаша и бабушка, и прабабушка, поди, ни разу в руки тряпки не взяли, вот он ничего и не умеет. Не сможет, даже если очень будет стараться. Такой генетический код.

— Что значит — «не сможет»? А он хочет? Нет, ты скажи — хочет? Не хочет он, я тебе говорю! Он физический труд презирает, считает ниже своего достоинства, а какой он, если уж на то пошло, интеллигент? Интеллигент — это прежде всего человек, обладающий знаниями. А он что знает? В филармонии ты его видел хоть раз? Или на выставке? Обломов он!

— Уж и Обломов! Много чести. Васисуалий Лоханкин — это да. И вообще, я не понимаю, что тебе за дело, как он с тобой здороваётся. Мне, например, наплевать, меня такие, как он, не интересуют. Ну сама подумай: мужику за сорок, а он ничего, абсолютно ничего не добился, хотя дано ему было все. О чем это говорит? О том, что в нем есть какой-то дефект.

— Ну знаешь, судить о людях только по тому, чего они добились, — тоже мещанство. Главное не в этом, а в том, как кто себя ведет. Вот Павел ведет себя так, будто все кругом — ничто, а он — кто-то...

— Совершенно верно. А на самом деле он... ну, вроде инертной примеси, понимаешь? В реакции не участвует. Может только валяться на койке и решать «мировые проблемы». Погоди, еще два-три поколения, и таких не будет, выродятся...

— ...Нет, представляешь: возьмет с полки, что попало, и вот — лежит, перелистывает в сотый раз. Что это дает? Лишь бы дела не делать! Даже противно, что у него такая библиотека, зачем она ему? Пыль собирать? А потом ходит, нос воротит. Тебе наплевать, а мне обидно! Не могу, нервы не выдерживают, пойдем в кафе обедать, не хочу домой!

### *К вопросу...*

Мрачные мысли толпились в голове Лихтенштейна, который проводил свой обеденный перерыв в пивном баре неподалеку от института. Червяк... В настоящий момент червяк сидел в сейфе, куда Максим запихнул его после недавнего ночного происшествия и где ему, по распоряжению Пузырева, полагалось храниться постоянно. Но Максим был уверен: если держать червя там всегда, то очень скоро он непременно подохнет, да и кто бы из нас не подох, если бы его заперли в душный железный ящик, где нельзя распрямиться и как следует вытянуть хвост? Поэтому Лихтенштейн на свой страх и риск каждую ночь выпускал червяка ползать во дворе дома, где сам в это время с грехом пополам сгребал снег. Только во дворе жилого дома, но ни в коем случае не в институтском дворе, там бы сразу увидела охрана и обязательно донесла Пузыреву. И тут выяснилось бы, что старший научный сотрудник Лихтенштейн в нарушение всех инструкций систематически выкрадывает образец и выпускает в неохраняемом месте, где его кто попало может увидеть, услышать, сфотографировать или похитить. Максим понимал, что рискует не просто карьерой — головой, ибо нетрудно

было себе представить, что произойдет, если этот ползучий как-нибудь смоеется. А ведь вчера положение было уже на грани: плоскобрюхая скотина пыталась скрыться в доме, хорошо, что Максим вовремя заметил хвост, торчащий из щели в стене. Уж то-то ликовал бы профессор Лукницкий! Он и так достаточно нагадил, когда три недели назад на очередном Ученом совете обсуждался отчет кандидата технических наук Лихтенштейна по первому этапу работ проблемы «Червец». Максим трудился над отчетом целую неделю и выдал-таки шедевр.

Отчет был на первое. А на второе — коронное блюдо: программа и методика экспериментальных исследований, составленная лично товарищем Кашубой.

Отчет утвердили,— он был написан по всем правилам: Введение — задачи, стоящие перед животноводством. Литературный обзор: 1. Выдающиеся достижения сельского хозяйства в области создания новых пород высокопродуктивного скота. 2. Выдающиеся достижения бесплатной отечественной медицины в борьбе с ленточными червями-паразитами. 3. Зарубежный опыт. 4. Задачи, которые предстоит решать в свете Решений... А что? И не такие отчеты писали, пишут и будут писать во все времена.

Максим докладывал. Все дремали, а кто и спал. Но не спал коварный Лукницкий.

— Интересно, интересно. М-м... Максим... Ильич? — если не ошибаюсь? Так скажите нам, Максим Ильич, может, я чего недопонял,— почему нигде не указано, как и когда удалось вырастить червяку рога, а это очевидно так, поскольку в литературном обзоре вашего отчета, который пришлось, к сожалению, тщательнейшим образом изучить, множество страниц почему-то посвящено именно крупному рогатому скоту?..

Профессор Кашуба немедленно попросил у председательствующего (директора) разрешения ответить на этот вопрос, но — в рабочем порядке, потом, отдельно, и, если

нужно, на партийном бюро. Беспартийный Лукницкий принял поражение: молча сел. И тут же началось рассмотрение программы-методики.

Но не успел руководитель темы д. т. н. профессор Кашуба закончить сообщение, как неумейный Лукницкий опять потребовал слова и, еще не успев его получить, уже вскочил, и, мелко трясясь от возбуждения, визгливо прокричал, что не понимает, каким это образом коллега Кашуба собирается определить: а) прочность на разрыв, сжатие и изгиб, а также на удар и кручение! исследуемого живого, подчеркиваю — живого! — существа, а также, страшно подумать: б) действие высоких температур, агрессивных сред, в том числе концентрированных соляной и азотной кислот, и в) абразивный износ и различные антифрикционные свойства!

— Это ведь живой червяк, откуда бы он там у вас ни взялся, а не бесчувственный пластмассовый образец, чтобы так издеваться! — верещал он.

«Слава Богу, хоть один нашелся, пожалел моего несчастного червяка», — подумал Максим Лихтенштейн.

— Чем без конца определять физико-механические свойства (а вы только их определять и умеете!), установили бы пол и возраст животного, класс, к какому оно относится, способ его размножения, наконец, а то вот сдохнет он у вас, кого тогда будете исследовать? — продолжал Лукницкий. — А ведь взяли, стыдно сказать, обязательства перед министерством! Ладно, профессора Кашубу я еще понимаю, представляю себе движущие пружины, но вы-то, вы, Лихтенштейн? — Тут голос Лукницкого мгновенно пресекся, да и зал тоже затих. За спиной профессора Кашубы, до того хоть и грозно, но одиноко стоявшего около стола с указкой в руке, медленно возникал Василий Петрович Пузырев. Он материализовался, проявляясь, точно фотоснимок в пластмассовой ванне, и, наконец, предстал во всем своем величии — со стальным взглядом и неизменным блокнотом. Взгляд был устремлен на ди-

ректора, который сразу заерзал на председательском месте, с досадой посмотрел в зал, точно ожидая разъяснений, и промямлил:

— Ввиду недостаточной подготовленности вопроса, предлагаю отложить рассмотрение программы-методики до следующего заседания совета, — директор взглянул на то место, где возникло изображение Пузырева, но оно не померкло, а даже как будто стало отчетливее. — Еще я хочу сказать, товарищи, — добавил директор с некоторым раздражением, — нельзя забывать — тема эта закрытая, так что надо усилить бдительность и не вести лишних разговоров ни в стенах института, ни, в особенности, за его пределами.

После этих слов призрак за спиной Кашубы мгновенно растаял, а через пару секунд в зале скрипнул стул.

— Заседание Ученого совета считаю закрытым, — объявил директор. Все помчались к дверям, и на следующий день сотрудники лаборатории Кашубы, все, кроме, естественно, Лихтенштейна, бросились оформлять командировки, а Лихтенштейн остался думать, скалывать лед и следить за червяком, чтобы, и верно, не сдох ненароком или, как очень опасался Кашуба, не пал жертвой агрессии проворного Лукницкого.

И вот... некоторое время все шло спокойно, а прошлой ночью червяк сделал первую попытку улизнуть. Было ли это случайностью или результатом чьего-то коварного замысла? В этом сумасшедшем мире все возможно. Лихтенштейн взглянул на часы — половина второго, в лаборатории обед, девчонки-лаборантки бегают по магазинам или изготавливают в термостате топленое молоко. Червяк один...

Он отсчитал деньги за три выпитые кружки пива, положил их на стол и быстро пошел к выходу.

...Где-то далеко-далеко, за полями и лесами, высилась хорошо видная отовсюду голая гора. Сунув под крыло голову и нахохлясь, черный ворон дремал на ее вершине.

Плыли мимо низкие, отечные облака, роняя свой медленный снег на пустые склоны, на спящего ворона, на плоские поля вокруг. Снег шел везде; и тут, на Владимирском, он тихо ложился на тротуар, прямо под ноги Максиму. Завтра будет скандал за сугробы и несколотый лед. Плевать! Хорошо, когда снег. Максим любил, когда снег и зима, всегда любил, с самого детства.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### *Личная жизнь*

Как все-таки правильно говорит Гольдин: если ты пессимист, то имеешь полную гарантию от разочарований, ошибиться можно только в хорошую сторону. Вот ждал Максим неприятностей из-за гада, но прошло полтора месяца, а все еще в порядке. И червяк никуда не девался, хотя Максим продолжал выгуливать его ежедневно. Теперь он делал это легально в институтском дворе, ибо профессор Кашуба вернулся из Парижа размягченный, просветленный и полный заботы об охране живой природы, — вернулся, на следующий же день пошел к Пузыреву и добился — это надо же! — официального разрешения на выгул животного. А Максиму, с которым они накануне отъезда крупно поругались, этому негодяю Максиму привез в подарок роскошный галстук. Наконец, третьего дня закончился срок, на который Лихтенштейн был командирован в дворники, на смену ему направили Гаврилова, и Максим имел теперь возможность все свои знания и силы отдать научным исследованиям по проблеме «Червец». Сам же профессор не покладая рук трудился над созданием новой программы-методики. В обязанности Максима по-прежнему входило кормление червяка капустой и уход за ним, а именно: прогулки в специальной выгородке, оборудованной во дворе, определение (по указанию руководителя)

длины, ширины и толщины опытного образца и, главное, температуры его тела. Замеры производились каждый час в течение рабочего дня, что всегда полезно, — по результатам таких замеров получаются весьма убедительные графики и таблицы. А если обработать данные с применением математической статистики, да еще на ЭВМ, так просто пальчики оближешь.

Словом, пока все шло нормально. И, хотя параметры животного в течение дня менялись незначительно, все же некоторые предварительные выводы можно было сделать уже сейчас: после каждого кормления, например, толщина тела образца увеличивалась в целом на 6,704%, ширина — на 1,005%, температура — на 3,42 °С (Цельсия), длина же сокращалась на 0,008%. Поразительно!

В четверг, заглянув в журнал, куда заносились результаты исследований, профессор собрал на совещание весь состав лаборатории и объявил, что Максимом Ильичом, безусловно, проделана большая и важная работа, что в настоящее время проблема охраны окружающей среды приобретает все большее и большее значение, и прямой долг каждого из нас... тут Максим слегка отвлекся и некоторое время перемигивался с вороном, который, схватившись лапами за живот и прижав к нему оба крыла, разинул клюв и катался по склону горы, что у него, видимо, обозначало восторг. Комья, валившиеся с небосклона, ворона ничуть не пугали, они ему, похоже, нравились, и, отвеселившись, он затеял с ними игру — пытался подхватить на лету клювом и подкинуть вверх. Это напоминало выступление морских львов в цирке и быстро надоело Максиму Ильичу. Он включился и с изумлением услышал, что Кашубу несет уже в совершенно непонятном направлении — в сторону охраны памятников старины. Научные работники сидели с терпеливыми лицами, они ко всему привыкли.

— Таким образом, — вещал Кашуба, — наш долг делать все возможное и даже больше для сохранения

и умножения того, что является гордостью нации и достоинством нашей родной природы!

— Любопытно,— сказал Максим на ухо Лыкову,— мой червяк — гордость нации или достояние природы?

— Этот вопрос выше моей зарплаты,— сонно откликнулся Лыков.

А профессор продолжал, еще более воодушевляясь:

— Для того чтобы в короткий срок проделать максимальный объем работ, замеры следует производить круглосуточно! И не только в рабочие дни. Нет, не только. Но и в выходные! И в праздничные! Пос-то-ян-но. А это одному человеку не под силу, товарищи. Так что включиться следует всему коллективу, сегодня же составить и дать мне на утверждение график дежурств. И никаких отговорок, справок от врачей и разговоров о детях. Дело государственное, тут — как на фронте!

Быстро выяснив, что за работу в вечер, ночь, а также по субботам и воскресеньям будут давать по два отгула, как за дружину, сотрудники единодушно поддержали профессора.

— Ну, как тебе нравится эта грандиозная залепуха? — спросил Максим Гаврилова после совещания.

— Дежурства, что ли? — зевнул тот.— А что, меня вполне устраивает, возьму потом дни к отпуску.

— Да нет, я — в целом, вообще весь этот «Червец»?

Гаврилов подумал, оттопырив губу и приподняв левую бровь, пожал плечами и задумчиво ответил:

— Да не знаю... Как-то не вникал. Может, вообще-то и залепуха, да где ее нет? Вон я снег гребу — это что? А я гребу себе и очень рад — приятно физически поработать на воздухе. Да еще вот по червяку дежурить собираюсь. Брось ты, Макс! Вечно у тебя какие-то глобальные проблемы, а для меня сейчас главная проблема — где дачу на лето снять... Я тебе, между прочим, давно хотел сказать: не бери в голову. Нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли...

— Золотые слова, — сказал подошедший Лыков. — Это все — матата. Меня вот подняли, и я пошел в буфет, кому пирожков?

— Слушай, Макс! — продолжал Гаврилов, пока Максим отсчитывал в протянутую ладонь Лыкова мелочь. — Совсем забыл: я ведь тебе хотел предложить свитер, отличный свитер — чистая вул<sup>12</sup>, но, представляешь, узок в плечах. Людка говорит: поставим в комиссионку, а я подумал — у нас с тобой один размер, но в плечах ты уже. Как?

— Цвет?

— Мокрый асфальт.

— Надо брать<sup>13</sup>.

И вот сегодня в новом свитере, который очень ему шел, Максим отправился в гости к старику Гольдину, у того жена была именинница.

В тесной, заставленной старыми вещами двухкомнатной квартире, где бывший сотрудник института Григорий Маркович Гольдин жил вдвоем с женой, толстой, добродушной и еще совсем не старой Ириной Трофимовной, Максим всегда чувствовал себя уютно и свободно. Единственная дочь Гольдиных Элла вместе с мужем — полковником и сыном Игорем вечно переезжала с Крайнего Севера на Дальний Восток, с Дальнего Востока — в Молдавию, а сейчас вообще жила в Ташкенте, так что Григорий Маркович с Ириной Трофимовной по сути дела были одинокими стариками, хотя и получали довольно часто посылки то с рыбой, то с южными фруктами. К Максиму они относились, как к сыну, да и он к ним уже настолько привык, что, когда старики однажды улетели на неопределенное время в Ташкент, вдруг таким почувствовал себя неприкаянным и несчастным, что даже разозлился: взрослый мужик с суровым детдомовским прошлым — и так раскиснуть! Ты еще запей, как Денисюк. Малытку бросили в лесу, азохэн вей!

Кстати, разным «азохэнвеем», а также «вейзмирам»<sup>14</sup> и прочим словам и выражениям Максима научили как раз

у Гольдиных, и не кто-нибудь, а вологодская Ирина Трофимовна. Это она в свое время, лет этак семь назад, ни за что ни про что нарекла Аллу Антохину, носившую в то время фамилию Филимонова, — «шиксой»<sup>15</sup>, что означало: «простая девчонка, ничего особенного, крутить роман — пожалуйста, но жениться, да еще такому хорошему парню из наших, — ни боже мой!» А «хороший парень» и сам колебался: с одной стороны, Алла тогда была очень недурна, хорошо одевалась, бойко лепетала на разные темы, а с другой стороны — черт ее знает — какая-то была уж очень правильная, здравомыслящая, удивительно для своего тогда еще очень юного возраста положительная, на все вопросы знала ответы, и все — верные, и, похоже, свою будущую жизнь просчитывала вплоть до выхода на пенсию. В ней проступало то, что называют «сильным характером», и когда она однажды подробно и жестко объяснила Максиму, как следует вести себя с начальством: «Начальников надо любить, понимаешь? Только по-настоящему, искренне», — после этого его увлечение стремительно пошло на спад. Он еще сам толком ничего не понял, Алла же, отстрадав неделю, начала демонстративно поглядывать на нового сотрудника Антохина. Ну — не компьютер?

Через некоторое время Максим (возможно, в отместку) получил приглашение на свадьбу, но не пошел, чем дал Алле повод думать, что уязвлен и ревнует, поэтому она до сих пор разговаривала с ним участливым тоном.

У Гольдиных было давно решено, что Макс женится только на девушке из приличной еврейской семьи, и совсем не обязательно, чтобы она была семи пядей, главное, была бы домовитая, хорошая хозяйка («мальчик и так настрадался без домашнего тепла»).

— А как все-таки с внешним видом? — волновался Максим. — Что, если ваша «домовитая» окажется вот с таким шнобелем?

— Красота — до свадьбы, — утверждала Ирина Трофимовна. — Лишь бы человек!

— Э-э, тут я, как говорится, имею свое собственное мнение, — вступал Григорий Маркович. — Женщина — это вам такой предмет, который должен украшать дом своего мужа, лично я так считаю.

— Ну ладно, ладно, — сразу соглашалась жена. — Пусть еще и красавица, кто спорит? За нашего Макса любая пойдет, только свистни. Лишь бы побыстрее, а то носится, как куцый бык по просу.

— Ирочка, — говорил Григорий Маркович укоризненно. — Зачем эти намеки? Должен молодой человек немало погулять?

— Прогоулки себе нашел! Тридцать лет жены нет — и не будет, а тебе к сорока идет, помни! — И, погрозив Максиму пальцем, Ирина Трофимовна шла на кухню.

### Осюнчик

Стол был роскошный — Ирина Трофимовна готовила отменно: фаршированная рыба с хреном, традиционный салат из рубленых яиц с гусиным жиром и жареным луком, куриный бульон с шарами, изготовленными по специальному рецепту — из мацы, на второе — жареная курица и картофель с черносливом. И еще компот! А позже — чай с лэках<sup>16</sup>. В результате Максим объелся, как всегда объедался в этом доме.

— Вот вам иллюстрация справедливости генетики, — заявил Григорий Маркович, показав на Макса, поглощавшего фаршированного леща. — Человек вырос в приюте, с детства приучен к казенному, а любит не что-нибудь, а фаршфиш. Наследственность — это наследственность, и никакое влияние среды ее не заменит.

— А также — влияние четверга, — сострил тучный Ося, племянник Григория Марковича, — и понедельника!

Сперва пили «за нашу дорогую Ирину Трофимовну, чтоб она была всегда такой, как сейчас: молодой, веселой, красивой и всеми любимой». Этот тост предложил

Максим, а про себя добавил: «Пусть, главное, будет здоровой», — но вслух этого не сказал. Полгода назад Ирину Трофимовну оперировали в онкологическом институте, опухоль оказалась как будто доброкачественной, все, вроде, обошлось, но... пусть она будет здоровой, это главное, все остальное — веники.

Гости еще не успели дотпить шампанское, как встал Ося и поднял рюмку, куда был налит кагор.

— Тетечка, — проникновенно начал он рыхлым голосом, — я хочу предложить этот тост за ваше здоровье. Здоровье, как известно, дороже десяти и даже ста рублей, а, как говорится, — тут Ося сделал паузу, — не имей сто рублей, а имей?.. М-м... двести!

«Почему наши еврейские дураки всегда такие активные?» — с горечью подумал Максим.

— Тетечка, — продолжал между тем Ося. — Все мы хорошо помним, что мы пережили, когда вас положили на операцию. Конечно, думать надо только о хорошем и надеяться на лучшее, но место, где вы лежали, это, я вам скажу... Так что давайте, тетечка и все присутствующие — родные и гости, выпьем, чтобы ни вам, ни кому-либо из нас не пришлось переживать того, что вы и мы все пережили.

Холодея, Максим взглянул на Ирину Трофимовну, но увидел на ее лице добродушную и веселую, как всегда, улыбку.

— Спасибо, Осюничик! — сказала она. — Но за меня уже пили, так что давайте лучше выпьем за тебя, чтобы Фира принесла еще одного парня. Или, в крайнем случае, девуку.

Осюничик хотел что-то возразить, но Григорий Маркович поднял рюмку и встал:

— Чтобы все были живы-здоровы! — торопливо объявил он и сразу выпил.

После этого тоста Гольдин стал непривычно болтливым — изредка поглядывая на жену, не закрывая рта,

рассказывал старые анекдоты, громко хохотал, потом затеял разговор о политике: что вы думаете, с Израилем все так просто? Вы еще увидите — очень и очень непросто, попомните мое слово. Это, безусловно, милитаристское государство, и американские империалисты тут приложили руку, что говорить.

— Позвольте мне сказать еще один тост,— вдруг канючливо влез Ося,— всего несколько слов. Ровно год назад мы похоронили дядю Изю. Я до сих пор не могу без слез...

Скотина, он ведь, и верно, плакал — крупная слеза ползла по толстой щеке.

— У тебя сигарет нету? — громко спросил Максим Осюнчика через стол.

— Не употребляю,— солидно ответил тот.

— У меня английские, пошли покурим,— Максим вышел из-за стола.

— Так я же...— сопротивлялся Ося, но Макс взял его за плечо и потащил к двери.

— Расскажу анекдот, здесь неудобно, пошли, очень смешно — ухочешься,— приговаривал Максим.

В коридоре он загнал Осюнчика в угол рядом с вешалкой и, понизив голос, спросил:

— Что есть самое печальное зрелище на свете?

— Уже смешно,— одобрил Ося.

— Будет еще смешнее,— пообещал Максим.— О'Генри считал, что это — дырка на конце чужого пистолета. А я вот думаю — дебильный еврей.

— Как?

— Я говорю: тебя ударили или ты от рождения такой? Ты куда пришел, сукин сын? На день рождения или поминки праздновать? «Тетечка! Дядя Изя...»

Большие выпуклые глаза Осюнчика полезли из орбит.

— Ой, что ты говоришь! Так ты думаешь, тетя расстроилась? Так ты думаешь? Хорошо. Я сейчас все сделаю. Я пойду и скажу...

— Сказал уже. Сиди тихо, понял?

После этого Осюнчик, и верно, притих. Сидел и надсадно улыбался каждой шутке. А Максима Григорий Маркович вскоре утащил в соседнюю комнату — поговорить.

...Жуткая все же штука — старость. Максим думал об этом каждый раз, как Гольдин жадно и ревниво набрасывался на него с расспросами о работе. Старик скучал, не знал, куда себя девать, тосковал по... было бы по чему! — по Кашубиной лаборатории. Все ему было интересно, каждый пустяк, и, конечно, в глубине души хотелось, чтобы без него дела пошли куда как худо, чтобы все поняли, какую свалили глупость, отправив на пенсию Григория Марковича!

Желая доставить Гольдину удовольствие, Максим совершенно искренне сказал, что в настоящее время лаборатория и он сам лично заняты грандиознейшей залепухой, залепухой из залепух, такой, что уж — ни в какие ворота, что ему, Максиму, конечно, стыдно, но, видимо, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. «Нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли», как сказал Гаврилов.

— Не говори мне про Гаврилова! — сразу рассвирепел Гольдин. — Это, я вам доложу, типичнейший обыватель. Заботится только о собственном благополучии, за дело не болеет. Между прочим, злопыхать легко, а работать...

— Да Бог с вами, Григорий Маркович! Какое там «дело»!

— А это не торопись судить со своей колокольни! Есть государственный интерес! — духарился Гольдин. — Вы все думаете: там — он указал на потолок — дураки сидят. Все дураки, а вы очень умные! Для тебя залепуха, а для дела — престиж!

— Но ведь это обман. Вы понимаете — вранье! — сказал Максим и тут же мысленно себя обругал: ведь сто раз давал себе слово не спорить со стариком на эти темы. Тот мог сколько угодно возмущаться отдельными

недостатками, которые пока еще кое-где... Но — Государственные Интересы!..

— Чистоплюйство! — закричал Гольдин. — Подумаешь, «обман». Моралисты на мою голову! Ты читал, что такое буржуазная пропаганда? Они нас будут поливать помоями на всех перекрестках, а мы — молчать в тряпочку? Ишь, какой грех — если немножко преувеличить кое-какие наши достижения. Пустяк дело! У нас есть такие штуки, про которые никто не знает, да у нас...

...Ворон плакал. Он неряшливо распустил перья, нахохлился, скорбно повесил клюв. Мелкие комки валились на него вместе с частым, беспросветным, безнадежным дождем. Дождю не предвиделось конца, белесые холодные потоки мчались с горы, размывая тропинки, обнажая корни чахлах кустиков, кое-как прилепившихся к склонам...

— Молчание — знак согласия! — услышал Максим. Старик торжествующе смотрел на него. — Или, может, имеются возражения?

Возражений, увы, не имелось, и вообще, наверное, пора было возвращаться за стол, но Гольдину было мало:

— Расскажи, — вдруг по-детски попросил он, — ну как там все? Ребята? Какие события, и вообще...

И Максим зачем-то рассказал про юбилей Денисюка, которому подарили польскую рубашку и польский же галстук. Вручали в торжественной обстановке в кабинете Кашубы. Сперва тот зачитал выписку из приказа директора, откуда все с изумлением узнали, что товарищ Денисюк Анатолий Егорович вот уже более тридцати лет упорно и плодотворно трудится на благо отечественной науки, а молодежь и среднее поколение в неоплатном долгу перед ветеранами. Юбиляр слушал хмуро, переминаясь возле двери. Был он в выходном костюме, причесанный и необычно тихий.

Максим взял слово сразу после Кашубы, зачитал стихотворное приветствие, потом обнял ветерана за тощие плечи и немного потряс. Денисюк застенчиво вздохнул. Вздохнул и Максим.

Вслед за этим лаборантка Люся вручила нашему дорогому Анатолию Егоровичу скромный подарок: «Галстук мы выбрали светло-голубой — к глазам. И разрешите, я вас поцелую от лица женщин».

Тут все дружно зааплодировали, отчего юбиляр, сохраняя на лице хмурое выражение, стал озираться по сторонам, но, не найдя ничего достойного внимания, два раза неуверенно хлопнул в ладоши.

Когда овации стихли, возникло некоторое замешательство: повестка дня как будто была исчерпана, а между тем герой торжества, не произнося ни слова, продолжал топтаться у двери, причем выражение его лица из просто хмурого сделалось раздраженным.

Видимо, начальство решило ободрить Денисюка, растерявшегося от нахлынувших чувств, и ласково произнесло: «Анатолий Егорович, вероятно, хочет поблагодарить товарищей за теплые... э-э... слова, высказанные в его адрес. Не робейте, Анатолий Егорович, здесь все свои». — «А чего робеть? — исподлобья спросил юбиляр. — Никто ни хрена не робеет. Мы — рабочие... Галстук! Лучше бы ректификату налили... Э-эх!»

...Но нашлись люди. Не то, что эти падлы с «гаврилкой», — после работы Анатолия Егоровича задержали в проходной — не мог выйти, не попадал в турникет...

— Ну и как же? — строго спросил Максима Гольдин, хмуря брови.

— Кашуба ходил, чего-то объяснял. Пропустили.

— Очень смешно, — старик поджал губы. — Прямо хохма: пожилой человек немного выпил лишнего. Между прочим, этот Денисюк работал, когда ты еще... Есть же пределы! Тоже мне — повод для иронии. Завтра же поздравь Анатолия от меня. Нет! Я ему позвоню.

С минуту Григорий Маркович бросал на Максима гневные взгляды, потом отвернулся, помолчал и вдруг жалобно произнес:

— Черт его знает, Макс... До чего надоело дома, ну сил никаких... Нет, ты не подумай, я понимаю: государство совершенно право, надо выдвигать молодые кадры, а по отношению к нам, старикам, сделано все возможное, у кого же еще в мире такая обеспеченная старость? Разве я могу жаловаться? А только... седьмой десяток — это вам не фестиваль искусств...

...Когда Максим с Гольдиным вернулись к столу, гости уже посматривали на часы и поговаривали, что пора.

— Да, товарищи, завтра нам рано вставать, — вдруг сказал Ося. — Кто был ничем, тот встанет в семь. Ха. Но на прощанье я все же позволю себе... — Поймав пристальный взгляд Максима, он сделал успокаивающий жест рукой, глазами и щеками: «В чем дело? Как договорились. Я все понимаю, можешь не волноваться». — ...Я позволю себе рассказать одну смешную историю. Как бы анекдот. Жил однажды капитан...

— Он объездил много стран? — мрачно спросил Максим.

— Если ты знаешь этот случай, тогда — пожалуйста, я не буду рассказывать, — обиженно забухтел Ося.

— Говори, Осюнчик. Так что там было с этим капитаном? — вмешалась Ирина Трофимовна, бросив на Макса свирепый взгляд.

— Так этот капитан, — продолжал Ося, — он был просто мастер своего дела, водил пароходы лучше всех. Никогда никаких аварий или чтобы посадить на мель. Или перевернуть. И ведь что главное: всегда заглянет в какой-то блокнотик — и идет к себе на мостик давать указания. А как чуть что — опять смотрит в блокнот. Все другие капитаны помирали от зависти... А потом этот капитан умер, и сразу все его заместители и... эти... помощники бросили свои дела и побежали к нему в каюту, чтобы захватить блокнот. Просто передрались между собой. Схватили блокнот, открыли, а там... — Ося сделал торжествующую паузу. — А там написано... Слушайте! «Спереди у корабля — нос, сзади — корма...» — Ося колыхался от хохота,

но вдруг посерьезнел: — Этот случай мне рассказал дядя Изя, ведь он же в молодости был моряк.

Воцарилась могильная тишина, а Осюнчик наклонился к Максиму:

— Проводи меня. Есть разговор.

### *Вера*

Максим ехал от Гольдиных последним поездом метро. В вагоне было пусто, только немолодая супружеская пара дремала напротив. Худенькая, бедно одетая женщина положила голову на плечо мужа, а он, сидя с закрытыми глазами, придерживал ее, обняв за плечи...

Сегодня Ирина Трофимовна успела попилить Максима: нет бы прийти с барышней, так он опять один да один. Имелась в виду, конечно, все та же хорошая девушка из еврейской семьи. Однажды Максим спросил, почему именно из еврейской, а не из русской или, допустим, грузинской?

— Ты думаешь, мы сионисты? — возмутился тогда Григорий Маркович. — Можешь не рассказывать! Есть, конечно, плохие русские и сколько угодно скверных евреев. Но скажи, зачем, чтобы твоя жена в злую минуту назвала тебя жидом? Ну пусть не жена, так теща. Что? Что ты смотришь? Ирина Трофимовна не пример, таких женщин больше нет и не будет.

Ося собрался уезжать... Не знает, как сказать старикам; боится Григория Марковича, тот не раз говорил: уезжают предатели Родины... Все, конечно, гораздо сложнее, но старики — народ упрямый.

Поезд остановился. Женщина, дремавшая напротив, вздрогнула, открыла глаза, испуганно осмотрелась, но, увидев рядом мужа, вдруг заулыбалась блаженной девчоночьей улыбкой.

...Нет и не будет... Весной позапрошлого года... Максим защитил тогда кандидатскую и устроил в ресторане «Астория» грандиозный банкет. Поскольку официально такого

рода мероприятия строго запрещены, объявил, что празднует день своего рождения, который, правда, уже был в ноябре, а сейчас апрель, но тогда он не мог из-за диссертации, а теперь вот освободился и на радостях приглашает в ресторан всех, присутствующих на его защите, а главное, руководителя и оппонентов. Старик Гольдин, получив приглашение, страшно изругал Максима: в погоне за дешевыми эффектами залез в невероятные долги, и — кому нужна, скажите на милость, эта Астория-шмастория? Гостей можно было позвать к нам и отметить, как полагается, в кругу семьи! У тебя, позволь тебе напомнить, есть семья! — а Ирина Трофимовна, что ты думаешь? — сготовила бы хуже, чем в ресторане, где все жарят на машинном масле? Но уж если непременно нужно было приглашать тысячу человек, так ведь существуют, как пишут в газетах, и иногда это правда, — вполне приличные молодежные кафе... «Мир», «Дружок», этот... «Аленький венок», я знаю? «Астория» — для гешефтмахеров<sup>17</sup> и пижонов.

Максим сказал, что насчет долгов Григорий Маркович не прав: на долги плевать, одна живем, зато вот свадьбу он обязуется справлять только у Гольдиных, под их руководством и на чистом сливочном масле.

Тысяча — не тысяча, а человек сорок на банкет пришло.

Как они выглядели, во что были одеты и какие тосты произносили — ничего этого Максим не заметил и не запомнил. Помнил только, как первым в зал ресторана, где он тупо стоял около накрытого стола, вошел его руководитель Евдоким Никитич Кашуба. Помолодевший, подтянутый, он ступал по ковровой дорожке, бережно ведя за руку существо женского пола, при виде которого Максим обомлел, обалдел и отключился от внешнего мира.

Веру Евдокимовну он раньше видел мельком и толком не разглядел. Сейчас она была похожа на героинь легенд про рыцарей Круглого Стола и скандинавских саг, какими Макс их себе представлял: надменная северная

красавица — стройная, высокая, величавая, с широко расставленными серыми глазами, коротким прямым носом, светлыми волосами, подстриженными, правда, не совсем как в легендах, а как в последнем французском фильме. Одета тоже, как в кинокартине про «красивую жизнь», — в какое-то немислимое вечернее платье, но держалась при этом так, точно платья этого не замечает, сколько оно стоит — не интересовалась, и вообще на эти дела ей наплевать. Алла Антохина неделю потом объясняла всем желающим, что в платье от Диора любая жердь будет иметь вид. Хорошо, когда твой папочка без передыху гоняет по заграницам!

Максим Вериного платья не разглядел — все обрушилось на него целиком, как тропический ливень, — где уж там разглядывать каждую дождинку! Протянув ему прохладную, узкую руку, Вера без улыбки негромко сказала: «Здравствуйте, именинник. Поздравляю».

За столом диссертанту, слава Богу, полагается сидеть около своего научного руководителя. Максим и сел — между профессором и Верой, которая весь вечер почти не ела и совсем не пила. Она сидела очень прямо, чуть приподняв подбородок, сдержанно улыбалась шуткам Максима и решительно отказывалась от вина. Отец почему-то время от времени бросал на нее вопросительные взгляды, она отвечала надменным поднятием брови.

Максима неприлично много хвалили, предлагали за него тосты, Гаврилов что-то кричал ему через стол, — он ничего не понимал, не слышал и не видел. Видел только поднятый профиль и узкую руку, играющую вилкой. Както незаметно роль главного за столом перешла к Кашубе: тот отвечал на поздравления, поднимал бокалы за оппонентов, даже, к удивлению Максима, один раз, по видимому довольно удачно, сострил. Что именно он сказал, Лихтенштейн опять-таки не слышал, чистил для Веры апельсин, но на мгновение очнулся от громкого хохота и увидел, что профессор стоит с рюмкой в руке и, скром-

но потупаясь, ждет, когда присутствующие отсмеются его шутке.

Потом Максим танцевал с Верой, и на них смотрел весь зал. Оно и понятно: красивей ее во всем ресторане не было никого, даже иностранки, плясавшие как бешеные, выглядели рядом с Верой, несмотря на свои хипповые наряды, провинциальными кривляками. Вера танцевала очень спокойно, как-то даже вроде нехотя, но, когда Максим спросил: «Вы не устали?» — она ответила: «Нет, нисколько».

Объявили так называемый «белый танец», и тут откуда ни возьмись возникла Алла, схватила Максима за руку и потащила за собой. Он растерянно взглянул на Веру, и та чуть заметно ему кивнула — ради Бога, мол. К ней тотчас подскочил некто роскошный, похоже, итальянец, хотя вполне возможно, что и грузин, но она что-то коротко ему ответила, пошла к столу, где Максим и застал ее, вернувшись. Вера сидела одна и курила. А на противоположном конце стола бушевало невероятное оживление: там прямо-таки царил папа. И вдруг Максиму захотелось немедленно встать и уйти. С ней вдвоем. Он сегодня был именинником, ему было позволено все, и он сказал очень легким тоном, глядя прямо в серые серьезные глаза:

— Давайте возьмем вон тот коньяк и удалимся отсюда. По-английски. С обслугой я расплатился заранее, а здесь очень душно.

— Душно? — внимательно спросила она. — Мне не кажется. Но если хотите, можно уйти.

И встала.

Через много лет Максим будет вспоминать, что пришло ему в голову, когда они с Верой шли той ночью по городу. Он смотрел тогда по сторонам и думал: «А ведь это запомнится на всю жизнь», — светлое ночное небо в воде Мойки, старые тополя, совершенно пустая, настороженная Дворцовая площадь, и, главное, никогда раньше не испытанное ощущение тихого восторга.

Максим угадал: действительно, запомнилось. Запомнилось и чувство изумления от того, что все это происходит именно с ним, Максимом Лихтенштейном, детдомовцем, про которого всегда говорили: «С этого толку не будет — шпана. Драка за дракой, отец, не иначе, был бандит, хоть и еврейчик».

Максим не знал тогда только одного: эта ночь окажется самой счастливой в его жизни.

Они ни слова друг другу не сказали о том, куда идут, но, когда пересекли площадь, Вера взяла Максима под руку.

— Устала. Далеко еще? Может — такси?

Дома он суетился, накрывал на стол, разливал коньяк. Вера подняла рюмку, чокнулась с ним, сказала «за вас». И поставила рюмку на стол.

— Ни капли? — поразился Максим.

— Ни единой, — ответила она с улыбкой.

— Зачем же я украл со стола две бутылки? Берегись — напьюсь.

Выпил один почти бутылку и не опьянел...

Он запомнил эту длинную ночь до самого конца, до утра.

..Вера спала, а он слонялся по квартире: сидел за стол, вставал, подходил к окну, глядел на далекий красный огонек подъемного крана, почти неразличимый на посветлевшем небе, на обычно раздражавшие его груды новостроек, — сейчас они казались беспомощно-трогательными.

Утром он должен был идти на работу, а Вера сказала, что днем свободна, будет спать и дождетя его.

Столкнувшись в институте с профессором Кашубой, Максим замялся и начал было краснеть, но Кашуба скользнул взглядом мимо и, только пройдя, задал в спину странный и даже двусмысленный вопрос:

— Все в порядке?

— Ага, — глупо ответил Максим. Профессор ушел, а он еще долго остолбенело смотрел ему вслед: «Ну, что

это, Господи, ведь болван же, хоть и Верин отец. Что — «в порядке»?! А, черт с ним, кто их знает, какие у них там, дома, дела, Вера — взрослый человек, мать двух пятилетних сыновей...»

Максим брел по коридору и с нежностью думал об этих близнецах, которых ни разу не видел и которые, как он, росли без отца. Вера вчера по дороге рассказала ему, что ее родители совершенно узурпировали права на детей.

...Ни с того ни с сего Максим вдруг очень ярко увидел: июльский пляж в Гаграх, озверевшее солнце, зеленые душные горы, Вера, загорелая, в белом почему-то купальнике, рядом — двое пацанов. И он, Максим, — покупает у грузинки виноград. Черный, «Изабеллу»... Да... Сентиментальный вы, однако же, тип, Максим Ильич, прямо уездная барышня, а не железный потомок воинственных иудеев. Вон Гольдин: прочел Библию от корки до корки и утверждает, не без кровожадной гордости, будто путь еврейского народа усеян трупами врагов... Да... Не мешало бы поработать... А может, смыться? Сколько сейчас времени? Всего два?

До трех Максим кое-как продержался, а потом Кашуба куда-то исчез, так что спрашивать разрешения стало не у кого, и с. н. с. Лихтенштейн покинул институт со спокойной совестью.

...Наверное, надо купить какие-нибудь продукты, может быть — торт? Но тогда — потерять время? Плевать. В холодильнике еще остался харч, а кроме того, интуиция подсказывала, что Вера к его приходу что-нибудь приготовит: утром сквозь сон спросила, где тут поблизости гастроном.

Максим забежал только на Кузнечный рынок, купил цветы и килограмм помидоров, за которые пришлось отдать десятку. На «остатнюю» пятерку взял такси и помчался домой.

Он не стал открывать дверь ключом. Всю жизнь, с тех пор как у него появился собственный дом, сам отпирал

свою дверь, но сегодня он шел не в пустую квартиру, сегодня его ждали, и он нажал на звонок.

Раздались шаги. Стоя вплотную к двери, Максим слышал, как Верина рука неумело возится с замком.

«Чего я дрожу, как гимназистка?» — подумал он. Тут дверь распахнулась, и он шагнул, выставив вперед букет.

Застывшие, очень светлые, почти белые глаза смотрели из-под красных век, не узнавая. Совершенно мокрые (почему?) волосы прядями падали на лоб, и вода с них текла по лицу на грудь. На Вере был старый Максимов махровый халат, брошенный на голое тело и не застегнутый. Одна нога была в туфельке на высоком каблуке, вторую, босую, она поджала. Вера стояла в дверях, держась за косяк, и исподлобья разглядывала Максима.

— Ты... Я тебя вытащил из ванны?

Она не ответила, поправила халат на груди и, с трудом разлепив запекшиеся губы, медленно выговорила:

— А-а... Пришел, значит...

— Что случилось? Ты... — начал Максим и тут же уловил отчетливый, резкий спиртной запах.

— Чего уставился? — спросила Вера враждебно. — Давно не видел?

Она сделала какое-то движение, покачнулась и наверняка упала бы, если бы Максим не успел подхватить. Тут она сразу обмякла и покорно позволила отвести себя в комнату, при этом пыталась прыгать на одной ноге, отчего свалилась и вторая туфля.

В комнате запах был еще сильнее. На неубранной постели Максим увидел пустую бутылку из-под коньяка, неизвестно откуда взявшуюся банку шпрот и несколько окурков. Окурки валялись и на полу рядом с диваном.

Сев на стул, отчего халат совсем распахнулся, Вера положила руки на голое колено и, сведя брови, опять принялась рассматривать Максима. Взгляд ее при этом оставался неподвижно-тяжелым. Максим в растерянности стоял посреди комнаты.

— Ты думаешь,— ты — что? Мне нравишься? — вдруг злобно спросила она.— Ни капли... Понял? Что, съел? — и неожиданно тонко захихикала.

Говорить с ней сейчас было бессмысленно, и Максим вышел в кухню, где из незавернутого крана с шумом хлестала холодная вода. В раковине плавали окурки.

— Приготовь мне покушать! Я кушать хочу! — капризным голосом крикнула Вера из комнаты.

Пьяный, да еще, если с непривычки, за свои поступки, как известно, отвечает не вполне. Максим закрыл кран, выкинул окурки, взял сковородку и стал жарить яичницу. Руки его не слушались, одно яйцо выскользнуло и упало на пол.

— Разбилось...— услышал он за спиной Верин голос и обернулся.

По бледному, даже как будто синеватому лицу дорожкой бежали слезы.

— Чего глядишь? Я кушать хочу! — закричала она истерически.— Ты что делаешь? Не трогай солонку! Со-ле-на-я пища... вредна! — тут Вера пошатнулась и рухнула на пол.

...Максим возился с ней до самого вечера. То она засыпала, то открывала глаза и требовала, чтобы он немедленно отправлялся за бутылкой. «Денег нет? Бедный? Да? Бедный? Возьми у меня в сумке, купишь водки и сухого, ясно тебе?»

Он отказывался, уговаривал ее; понимая полную бессмысленность вопросов, все же спрашивал, что случилось, в чем дело? Вопросы приводили ее в ярость. После того, как он принялся их задавать в третий раз, Вера вскочила с дивана, заметалась по комнате, потом бросилась к книжной полке и начала швырять на пол подряд книги и фотографии, бросила фарфоровый бюст Маяковского. Потом вдруг замерла, некоторое время стояла, глядя на разбитый бюст, медленно и очень тщательно собрала осколки, вынесла на кухню, вернулась, легла на диван лицом к стене и стала жалобно плакать.

Максим слышал тоненькие всхлипывания и видел, как вздрагивают ее плечи, но, когда он подошел, начались такие рыдания и вопли, что он перепугался — бегал за водой, капал валерьянку. А Вера кричала:

— Выгони ты меня! Вышвырни на улицу! Я же мразь! Мерзкая падаль! Дерьмо! Шлюха!

— Неправда,— бормотал он и гладил ее волосы.— Успокойся! Сейчас пройдет, пройдет...

...А что пройдет-то? Что это вообще такое? Реакция на выпивку? С непривычки? Или приступ какой-то болезни?..

Когда поздно вечером Вера задремала, Максим вышел из дому и направился к телефону-автомату. Звонить Кашубе было противно, да что поделаешь: все же отец, должен знать, если она чем-то больна. Приползла мысль, что, конечно, лучше всего было бы сейчас взять такси и отвезти ее домой... Ну уж нет, это не по-мужски! Гнусно!

— Евдоким Никитич,— начал он,— понимаете... тут такое дело... Вере плохо...

Кашуба молчал.

— Я думал, может, вызвать «неотложку»... — промямлил Максим.

— Ни в коем случае,— сказал профессор голосом, лишенным всякого выражения.— Назовите ваш адрес, я сейчас приеду и заберу.

Максим на секунду почувствовал облегчение, но — только на секунду.

— Нет, нет! Ей сейчас нельзя, она же... Я сам... Но, может, вы... может, какое-то лекарство?..

— Обычно в таких случаях помогает нашатырный спирт,— тускло сказал Кашуба и тотчас положил трубку.

...Максим вернулся домой. Вера спала. Дышала ровно, и лицо ее при неярком свете настольной лампы опять было лицом героини скандинавских саг. Максим выключил лампу, прилег не раздеваясь рядом и, сам не ожидая этого, внезапно и крепко заснул.

Проснулся он от того, что в окно светило раннее солнце, и сразу встал, разминая затекшее тело.

— Я не сплю, Макс, я уже давно не сплю, — тихо сказала Вера. — Принеси, пожалуйста, сигарету.

Максим принес сигареты, зажигалку, дал Вере прикурить и закурил сам. Половину шестого показывал будильник, идти на работу ему надо было в восемь...

...Вера просила прощения — у нее был нервный срыв, который никогда, никогда больше не повторится! Максима, конечно, это не касается, он для нее вообще ничего не обязан делать, но пусть знает, тогда скорее поймет. Тошно, ох, до чего тошно! — жизнь осточертела, на работу не устроиться. Я ведь художница, Мухинское кончала, работала в издательстве, а там — сплошные бабы, такие сволочи, завистливые, злобные! Что человек один воспитывает двоих детей — на это им плевать, что нет у меня никого — не верят, а вот что хожу в импортных шмотках и мужики глаза пялят, а на них, на куриц, не смотрят, — этого они пережить не могут. Прямо съедали. И съели. А теперь этот проклятый оформительский комбинат, где обещали жалкое место, и все тянут и тянут, а дома родители тянут душу, дома вообще жить невозможно, папаша хоть из кого кишки вымотает: «В наше время каждый человек обязан быть полезным обществу, дети должны видеть перед собой положительные примеры, надо быть хорошим и честным, а плохим и нечестным быть нехорошо. Все мы в неоплатном долгу...» Вера так похоже изобразила Кашубу, что Максим на мгновение увидел свою гору и ехидную рожу ворона.

Что там говорить — конечно же, иметь под боком такого родителя далеко не сахар, тут, пожалуй, и в самом деле запьешь или повесишься. Другой бы на Верином месте давно сбежал из дому, а куда бежать одинокой бабе с двумя ребятишками?

— Наш профессор, — рассказывала Вера, — он ведь, знаешь, что больше всего обожает? Кампании. Не, не то!

Не собраться — выпить-посидеть, а общественные кампании, ну там — приоритеты, космополиты, а теперь вот за охрану природы или «химия — в жизнь»...

— Это мы знаем, — усмехнулся Максим.

— На работе, наверное, еще можно как-то выдерживать, а вот когда тебя дома с детства все время окунают из холодной воды в горячую.... То — ходи, как чучело, — «девочку украшает скромность», то — слава Богу! — «у Запада тоже можно кое-чему поучиться, а эстетика должна быть во всем». И — тебе привозят из Парижа тряпки, а в доме меняют мебель. То... Да ладно — я, а дети? Он ведь замучил мальчишек. И маму замучил. Как же — трудовое воспитание! «Человек должен все уметь делать собственными руками! Откуда у вас это барское пренебрежение к физическому труду? Вот и «Литературка» пишет...<sup>18</sup> Что? Ремонт? Никаких маляров! Прекрасно оклеим своими силами...» И — что ты думаешь? Ободрал, собственными-таки руками, все обои, купил пять килограммов сухого клея, и на этом все кончилось, — улетел куда-то на конференцию, потом уехал в другую командировку, месяц жили в хлеву, а потом мать позвала мастеров из «Невских зорь»<sup>19</sup>... А на той неделе приказал ребятам каждое утро мести лестничную площадку: «У нас в стране прислуги нет, дворников мало, никто не желает работать. Вот ваша мама — не идет ведь в дворники, хотя сидит без дела...» А им — по пять лет... Потом еще является бывший супруг и тоже лезет со своими амбициями, взглядами на воспитание и правами на мальчишек...

— А он кто?

— Он? Большой человек. Начальник! На черной «Волге» ездит. Разглагольствует не хуже моего папаши. ...Господи, хоть бы сдохнуть, что ли? Ты меня извини, я тебе говорю, — это был нервный срыв, больше никогда... вспомнить страшно... и стыд-то, стыд... Спасибо тебе, ведь посторонний человек... Ну, прости, прости! Не посторонний, нет...

...Потом она опять объясняла и объясняла. Максим соглашался — конечно, унижительно, когда тебе не доверяют, грозят, вмешиваются, конечно, хоть кому осточертело бы изо дня в день — и дома! — слушать демагогическую трепотню. Вера благодарно обнимала его и все повторяла:

— Ты хороший, ты добрый, Господи, какой же ты хороший!

...На работу в тот день Максим не пошел...

А назавтра, тихим и скромным утром, он приближался к институту и думал — надо бы поговорить с Кашубой с глаза на глаз, начистоту. Что, в самом деле, за пироги: доводить человека до такого? Тут ведь и до дурдома недалеко. Женщина — на грани, а он: «нашатырный спирт»! Скотина.

Максим даже придумал предлог, по которому ему надо обратиться к Кашубе, но не получилось никакого «мужского» разговора — тот выглядел таким пришибленным, старым и больным, что не повернулся язык. Да и вообще, честно говоря, как-то вдруг неловко стало вторгаться в чужие дела, — он Кашубе не сват и не брат. И не зять. Пока еще. А профессор... что с него возьмешь? Максим вспомнил вчерашние Верины рассказы. Всю жизнь только тем и занят, что ориентируется, и только, бедняга, пристроится в хвост очередному почину, только развернется, — а тут р-раз! — и на тебе — повело в другую сторону...

Кое-как обсудив ничтожный «деловой» вопрос, с которым явился, Максим вышел из кабинета.

Вечером, открывая дверь в квартиру (на этот раз ключом, Вере он оставил другой, она хотела днем прогуляться: «Надо прийти в себя, а уж завтра — домой»), Максим услышал незнакомые, очень оживленные голоса и громкий смех. Войдя, он застал такую картину: за столом, уставленным пивными бутылками и «бомбами» с «бормотухой»<sup>20</sup>, или, как их еще называют, «фаустпатронами», сидели Вера в парижском платье и три мужика. Трое из тех, кого можно встретить без пяти одиннадцать под дверью винного

магазина. Одного из них Максим как будто знал в лицо, но где встречал, вспомнить не смог.

Когда Максим появился на пороге, Вера встала, держав руке полный бокал:

— Присоединяйся,— пригласила она.— А сперва реши представить: мои друзья. Вот это — Николай, а это... как тебя?

— Михаил,— с достоинством кивнул второй мужик, не вставая. И добавил: — Садись, гостем будешь.

Третий, со знакомым лицом, вскочил из-за стола, засуетился, стал собирать бутылки.

— Пошли, ребята,— заботливо приговаривал он,— пошли, хозяин — со смены, пускай отдыхает.

— Эт-то еще что?! — гневно осадил его Вера.— Не трогай бутылки! Я тебе дам — «пускай отдыхает». А ты чего стоишь? — накинулась она на Максима.— Встал, как пень. Садись! — Лицо ее побагровело, глаза сузились.

— Ох, она ему сейчас и зафуярит! — с восторгом взвизгнул Николай.

Максим вдруг почувствовал жуткую злость.

— Что это значит, Вера? — спросил он тихо.— Что за бардак?

— Барда-ак?! Ах ты, сопля! Гад ментовский! Не желеешь с моими друзьями за стол сесть? А чем они хуже тебя... Вонючка!

Максим вздрогнул и, плохо соображая, что сейчас произойдет, шагнул к Вере. Она завизжала и отпрянула, и тут же: «А-а, падла!» — схватив бутылку и оскалившись, вскочил Николай.

— Две собаки дерутся, третья не приставай,— Михаил взял дружка за руки,— две собаки...

— Пошли, ребята,— внушительно вмешался третий и, повернувшись к Максиму, вдруг подмигнул: — Не признали? Я же вам стенной шкаф делал. Запрошлый год еще.

— Если друзья, тогда — другое дело,— сразу смилостивился Николай.— Тогда ладно, хрен с ним, пошли. Миш-

ка, идем! А ты гляди, бабу не трожь, понял? Проверю, понял — нет?

— Две собаки дерутся, третья не приставай,— рассудительно напомнил Михаил уже в дверях. Бутылки он не взяли.

После их ухода Вера учинила скандал:

— Ты так, да? Ты так? Выгнал на улицу моих лучших — лучших! — друзей! Да ты-то сам кто такой? Подумаешь, дерьма-пирога, кандидат наук, цаца! Видали мы таких, на-видались! Да такие мужики, как Мишка с Колькой, если хочешь знать, в тысячу раз лучше, потому что честнее, не болтают и ничего из себя не строят, что думают, то и говорят. А вы? Да они, если хочешь знать, с тобой на одном поле и с...ь не сядут! Что рот разинул? Не слышал таких слов? Небось, не такое слышал, все вы из кожи вон лезете, чтобы выглядеть интеллигентами. Не выйдет, зря стараешься, из хама не сделаешь пана, а из дерьма — профессора! Детдомовская шпана ты, вот ты кто! Ублюдок! Тебя родина воспитала, понял? И ты теперь в неплатном долгу! — Она захохотала, схватила со стола тарелку и кинула в стену, плюнула на пол, хотела плюнуть Максиму в лицо, но он сжал ее запястья и заломил ей руки за спину. Громко вскрикнув от боли, она попыталась его укусить, принялась рыдать, материться, потом стала тихо стонать. — Пусти, мне больно. Пусти! Сломаешь руку!

А затем у нее вдруг начался сердечный приступ, и, похоже, серьезный: пальцы похолодели, глаза закатились, пульс еле прощупывался. Что было делать? И Максим, еще минуту назад твердо решивший выкинуть мерзкую бабу на улицу к «лучшим друзьям», побежал вызывать «неотложку».

Через сорок минут приехала докторша. Осмотрев Веру, которая лежала, как мертвая, сделала ей два каких-то укола, потом уселась за стол и принялась писать.

— Сколько полных лет? — брезгливо спросила она у Максима.

Откуда ему было знать, сколько. Когда увидел ее на банкете, подумал — лет двадцать семь — двадцать восемь, теперь она выглядела на все сорок.

— Тридцать пять, — сказал он.

— Вы муж?

...Ну что объяснять ей?..

— Муж.

Врачиха покачала головой.

— Как же вам не совестно, молодой человек. Ведь вы же знаете, ваша жена — алкоголичка. Тут с первого взгляда ясно. Надо меры принимать, — в стационар, а вы что? С виду — такой приличный... — Она опять покачала головой, сложила свои бумаги в большую хозяйственную сумку и, поджав губы, пошла к выходу.

Максим молча подал ей пальто.

— Больше не вызывайте, — сказала врачиха уже в дверях, — из вытрезвителя команду вызывайте, а я не приеду. Сделаете вызов — заплатите штраф.

Неделю продолжался кошмар. Максим давно уже забыл про свой банкет, про красавицу, похожую на героинь скандинавского эпоса, про дурацкие видения с пляжем в Гаграх. Не мог он отправить ее такую — к Кашубе, не мог ведь! К Кашубе — не мог... И Максим то ходил на работу на полдня и бежал потом назад, то оставался дома, это — если у Веры наступало просветление и она лежала, тихая и несчастная, и опять давала клятвы, что — все, больше уж — никогда, это точно, только не оставляй меня сейчас одну, я за себя не ручаюсь, что-нибудь с собой сделаю, мне ведь все равно, кому я нужна? Детям? Они — бабкины и дедкины, строители нового общества — лестницу метут...

Максим опять жалел ее, утешал, обнимал, а утром, взяв с нее обещание не выходить и даже отобрал ключ, все-таки шел в институт. Он уже давно не понимал, чего и сам хочет, был себе противен, и то, что происходило ночью, утром вызывало ужас и содрогание. И повторялось.

Вера была на редкость изобретательна. В тот раз, когда Максим забрал ключ, она ведь все-таки ушла, захлопнув за собой дверь, а стоило ему вернуться, как прибежала соседка, сотрудница их института, тихая домовитая курочка. Она сейчас была в декрете и стала умолять, чтобы Максим Ильич скорее шел к ним, забрал свою приятельницу — вломилась днем в совершенно... нетрезвом состоянии... а у нас же Коля в первом классе, вы понимаете?.. Сейчас она спит, но мы больше не можем — она мужа за вином посылала и, знаете, говорила ему такие гадости...

Было очевидно: надо сейчас же отправлять ее домой. Но Вера заявила, что домой — ни за что, ни за какие пряники, лучше с моста в реку или вниз головой в пролет, и она, будьте уверены, так и поступит. Как Максим мог после таких заявлений пойти, скажем, за такси и оставить ее одну? Но продолжаться так дальше тоже не могло.

«Переговорю с Кашубой, завтра же. Некрасиво, неэтично, а что еще делать? Пускай приезжает».

Однако же разговор пришлось отложить еще на сутки. Профессор уехал куда-то на совещание, и весь день в институте его не было. Ключа Вере Максим не оставил. Вчера между ними произошел скандал, и он пригрозил, что, если она опять уйдет, то назад он ее уже не пустит, на что она сперва объявила, что видела в гробу его ключ, его квартиру и его самого, но тут же осеклась и сказала:

— Ладно, не бойся. Я ведь знаю: и так тебя на весь дом опозорила.

Когда Максим вернулся с работы, в квартире было пусто.

«Опять, — подумал он обреченно. — Сил уже нет никаких».

И вдруг на столе увидел записку. Только два слова, нацарапанные на обрывке газеты: «Пожалуй, хватит». И больше ничего, даже подписи.

Ну и слава Богу!

Весь вечер он, как остервенелый, убирал квартиру, перемыл посуду, — «пожалуй, хватит». Вот уж золотые слова... вытер пыль, выкинул пустые бутылки в мусоропровод,

сменил постельное белье, — хватит, хватит... — подмел пол. В одиннадцать часов, вымотавшись как собака, принял душ. Нет, жизнь все же не так плоха, как недавно казалось... Пожалуй... все хорошо, что хорошо кончается... хватит. А сейчас надо спокойно, впервые за несколько дней спокойно выпить чаю и лечь. Все хорошо. «Пожалуй, хватит». Да? Да! Ушла домой и оставила записку, чтобы не беспокоился. Очень трогательно, особенно если учесть, что она тут вытворяла. Позаботилась. Хватит, пожалуй...

А что — «хватит»?

А если: «К черту все! всю эту жизнь! Тебя! Вас всех! Себя саму! Чем хуже, тем лучше. А лучше всего — сдохнуть!» Так ведь она десятки раз говорила? И — под трамвай. Да мало ли способов, а такая психопатка ни перед чем... Именно, конечно же, будь я проклят! А мне-то, мне какое, в конце концов, до всего этого дело?..

Но он был уже на улице, вон — автомат. Гудки. Занято. Придя домой, наглotalась снотворного, теперь там вызывают Скорую помощь. Чертова баба!

Дверь Максиму открыл Кашуба. Не выразив никакого удивления, пропустил в переднюю и, не успев Максим сказать слова, вполголоса позвал:

— Вера, тут к тебе пришли.

За стеной послышался сонный детский голос, потом шаги. Вера вышла из комнаты и аккуратно притворила дверь. В джинсах и белой мужской рубашке с закатанными по локоть рукавами она выглядела очень молодой. Светлые, явно только что вымытые волосы колечками завивались на висках, брови были приподняты.

— В чем дело? — надменно спросила она у отца, не взглянув на Максима.

Профессор молчал, но не уходил.

— Прошу здесь не шуметь, и так разбудили детей, — недовольно сказала Вера и царственной походкой удалилась в комнату.

— Извини,— с трудом выдавил Евдоким Никитич, в первый и последний раз в жизни назвав Максима на «ты». — Спокойной ночи.

...Вот вам и личная жизнь Максима Лихтенштейна. Больше с Верой он не встречался ни разу, как-то видел издали, но не подошел. ...Нет — Фира, Бэба... От них, видно, не отвертеться...

С Кашубой отношения остались нормальными, ни тот, ни другой ни разу даже взглядом не напомнили друг другу о той неделе. Время от времени профессор появлялся в институте с потемневшим лицом, ходил как в воду опущенный или, наоборот, на всех без разбору орал, потоками исторгая круглые, обкатанные, невыносимые фразы. А потом проходило какое-то время, и он, как ни в чем не бывало, улыбался, острил и рассказывал всякие глупости про Париж.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### *Инженер*

Воскресенье Павел Иванович Смирнов проводил, как обычно, как проводил последние полгода все воскресенья: встал в половине седьмого, стараясь не шуметь, вскипятил чай и поджарил яичницу, потом уложил в портфель продукты для передачи, поставил термос с какао и, выйдя из дому ровно в семь сорок, поехал на вокзал.

Там он купил в кассе-автомате билет до Гатчины, хотел взять обратный, да раздумал,— если повезет, назад можно будет вернуться на попутке или прямым лужским автобусом, так что нечего зря выкидывать сорок копеек, тоже ведь деньги. Что поделаешь, приходилось экономить, зарплата конструктора в тресте составляла сто шестьдесят рублей в месяц, премий никаких не платили, хотя часто обещали, особенно — ему; короче, после

всех вычетов и взносов на руки оставалось только-только, в обрез.

Все, кто его знал, считали, что Павел Иванович, имея институтский диплом и отличную голову, мог бы в свои сорок четыре года занимать какую-нибудь приличную должность. А если не занимает, то... Нет, верно, ведь кого ни возьми из выпуска, даже самые тупые, если на заводе, — были сейчас не ниже замначальника цеха, а если в институте или КБ, — так не ниже руководителя группы. Это — самые тупые. Женщины не в счет, там свои дела, и то, между прочим, толстая Еремеева — главный технолог, а две дуры, Селиванова и Горшкова, защитили кандидатские диссертации. В прошлом году в вузе был вечер встречи, и после того, как вслух прочли анкеты (рассылали заранее такие анкеты: «На ком женат? Где ты теперь? Кого встречаешь из друзей?» и т. д.), так вот, когда огласили ответы Павла Ивановича Смирнова, все стали поглядывать на него: кто — с удивлением, кто — с жалостью, а Селиванова и Горшкова — с удовольствием: учился на повышенную, воображал, от группы вечно откалывался, и вот вам — дооткалывался... Зато Еремеева в перерыве подошла и завела разговор на тему: «Неважно, кем человек стал, важно — каким», то бишь: «Не место красит человека». Никто не решился спросить, но если все-таки спросил бы Павла Ивановича: «Почему ты ничего не достиг?» — и услышал на свой вопрос совершенно искренний ответ, все равно бы этому ответу никогда и ни за что бы не поверил. Потому что ответ был бы идиотский: «Не хотел».

Вы себе представляете? Он «не хотел»! Ну-ну... Расскажи своей бабушке. Это чтобы взрослый, здоровый мужик сам добровольно отказался от приличного места и пожелал прозябать в занюханном тресте простым инженером? На которого даже курьер и уборщица смотрят, небось, как на тайного психа, как мы с вами смотрим на особу, сохранившую девственность до тридцати девяти лет?

Не хотел...

Закончив институт с отличием и получив назначение в один весьма престижный «ящик», Павел Иванович сразу завоевал расположение начальства. Особенно после того, как выдал одну очень простую идею, которая, однако, при всей своей простоте позволила пересмотреть и в корне изменить конструкцию и принцип работы некоего... скажем, объекта или точнее — заказа<sup>21</sup>. Используя эту идею, переменили направление работ конструкторы, кибернетики, электронщики, механики, словом, половина организации. Павел же Иванович в это время подал еще три заявки на изобретения, касающиеся совсем новых, других дел, перечислять и даже упоминать которые мы здесь ни в коем случае не будем,— это вам не «Червец», тут вещи серьезные.

Механики, кибернетики, технологи, конструкторы и рабочие тем временем воплотили ту, первую, идею Павла Ивановича и создали в металле нечто грандиозное, которое и было немедленно выдвинуто на соискание. И вот тут-то произошел скандал. Дело в том, что высокая Премия обычно дается коллективу, насчитывающему не более двенадцати человек. Коллективу! Поскольку «единица — ноль»<sup>22</sup>, и это всем известно. После того, как одно место из двенадцати было предложено начальнику главка, еще три — заводам-смежникам, а два — заказчику, на предприятие Павла Ивановича пришлось оставшиеся шесть мест. И их по справедливости разделили между директором, представителем рабочих (новатор, кавалер орденов), двумя конструкторами, главным механиком и одним из кибернетиков. Их вклад в дело был очевиден, их руки в течение нескольких месяцев упорного труда сделали лучший в мире самонаводящийся, самокорректирующийся, само... словом, замечательный, будем говорить... агрегат. Выдвижение кандидатур прошло в единодушно-праздничной обстановке, все было прекрасно, если бы при этом не присутствовал некий Зайцев, только что выбранный член комитета

комсомола, молодой специалист и большой любитель борьбы за правду. Этот Зайцев, не согласовав ни с кем своего выступления, вылез на трибуну и, заикаясь, начал:

— Пп-посс-тойте, то-то-варищи! Кка-к же это при... при-кажете понимать? По-по-ччеему в списке нет фа-фа-ми-лии С-с-смирно-ва? В ведь эт-то его п-предло-дло-жжение, в-все зна-а-знают...

Дальше Зайцев понес что-то уж вовсе бессмысленное и непонятное, и в зале поднялся возмущенный гул. Дуррак испортил песню, следовало поставить его на место, и эту задачу взял на себя главный конструктор предприятия, уважаемый немолодой человек. Не повышая голоса, он спокойно и доходчиво объяснил, что заслуг молодого инженера Смирнова никто умалять не собирается, у парня безусловно прекрасная голова, и если он будет так же творчески работать впредь, то его ждет большое будущее. Но пока он только еще в начале пути. А что касается данной работы, выдвинутой на Премию, то, положи руку на сердце, согласитесь: вклад Смирнова... ну, как бы это выразиться?.. Случаен. Да, случаен. Ему пришла в голову хорошая мысль, это верно. Она могла прийти на ум и кому-нибудь другому. Идеи носятся в воздухе. А главное, товарищи,— из одной мысли, как говорится, шубы не сошьешь. Для расчетов, для разработки технологии, а в основном, конечно, для конструкторских работ, нужна высочайшая квалификация! Для изготовления деталей и сборки требуются поистине золотые руки, потому что это тонкая, ювелирная, товарищи, работа. И вот теперь, товарищи, давайте честно скажем — кто больше достоин: люди, вложившие в этот заказ многомесячный творческий труд, люди, всей своей предшествующей деятельностью заслужившие Премию, или же — пусть талантливый! — но очень еще молодой специалист, который в результате пятнадцатиминутных размышлений «на тему» наткнулся на простую, лежащую на поверхности, хотя и — кто же спорит? — оригинальную и полезную, товарищи, идею?..

Главный конструктор говорил так долго и так хорошо, что сумел исправить испорченное было праздничное настроение присутствующих. Он был, по-видимому, оратором высокого класса, потому что сумел сделать так, что к концу его речи о Зайцеве все забыли, и дело кончилось аплодисментами, единогласным принятием списка для дальнейшего рассмотрения на Техническом совете и поздравлениями выдвинутых кандидатов. Зайцева же на следующий день пригласили в партком, да не одного, а с комсомольцем Смирновым, и больше часа выясняли, зачем Смирнов подбил товарища на эту некрасивую выходку. Тут же, конспективно пересказав вчерашнюю речь главного конструктора, Павлу дали понять, что претензии на Премию — смехотворны, однако за творческую активность его справедливо похвалили и обещали проследить, чтобы при следующих выборах он был включен в Совет молодых специалистов.

Надо сказать, что главный конструктор не бросал слов на ветер, когда обещал Смирнову большое будущее: через год того повысили до старшего инженера, еще через год — до ведущего, а в двадцать семь лет он был уже начальником сектора.

И вот тут это произошло в первый раз. Ничего особенного — проводилось очередное сокращение, из сектора Павла Ивановича нужно было уволить одного человека. Это еще повезло (сектор был важный) — всего одного из десяти, в других секторах сокращали и по двое. И без разговоров. Павел Иванович заметался: почему, за что должен он сейчас вызвать к себе ни в чем не повинного, спокойно живущего и работающего человека и так ему врезать? По всему городу сокращение, места сейчас нигде не найти, формулировка «по сокращению штатов» хуже клейма, известно ведь, что сокращают худших, да и кого выбрать? Подумав, Павел Иванович пошел к заведующему отделом и объявил, что таких, кого надо уволить, по его мнению, в секторе нет. «Ну, это ты брось,

вызови... ну хотя бы... Дмитриеву, пусть идет на инвалидность, ведь еле ходит, артрит... жаль, конечно, но ты же понимаешь — «мертвая душа», чуть что — бюллетень. Ей и самой, в конце концов, лучше — пенсия... Так? Вот и договорились».

Павел Иванович знал, что работник Дмитриева хороший, а пенсию по инвалидности получит ничтожную, да и получит ли еще, что качать права она не станет, предложат — уволится, а живет одна, все ее дела, дружбы и интересы — тут, в отделе, да и что ей делать дома? Выть с тоски? Так он, подумав, и сказал начальнику. Тот посмотрел на него, покачал головой и вздохнул: «Иди, работай, сокращением я сам займусь, а то вы, молодые, больно все чувствительные, хотите быть добренькими за государственный счет, а у нас тут не райсобес. Ладно. Пусть я буду злой...»

Через две недели Дмитриева ковыляла с «бегунком», а Павел Иванович сидел за своим столом, не смея поднять глаз.

Прошло некоторое время, и одна из сотрудниц отказалась ехать в командировку — не с кем оставить ребенка. Павел Иванович немедленно предложил поехать одному ведущему инженеру, и тот зашелся от гнева: «Вы что же делаете, работа не моя, и, значит, если у человека нет детей, так он в каждой бочке затычка? Я полтора года без отпуска, это произвол, а Воронкова, между прочим, прекрасно может поехать, «ребенку» тринадцать лет, проживет неделю и один. Вы думаете, на вас управы нет? Ведете себя, как какая-то держиморда...» В секторе тут же разгорелся невероятный скандал. Реализуя застоявшуюся общественную активность, коллектив разбился на две группы, которые, переругавшись, вломились в закуток, где было рабочее место Павла Ивановича, и, перебивая друг друга, начали орать, что — безобразие, по положению матерей нельзя посылать без согласия, а ездить за других — никто не обязан, пусть съездит сам, тогда пой-

мет! Что в секторе нет порядка и дисциплины, один базар, и некоторым всегда можно все, а другим — никогда ничего!

На следующий день Павел Иванович поехал в эту командировку сам, а потом получил от начальника разнос, в общем, справедливый: разводишь либерализм, пора научиться работать с людьми, чтоб это было в последний раз, понятно?

Вот тогда Павел Иванович и подумал (впервые), что с людьми работать он не может. Ему органически противно было принуждать...

Дисциплина в его секторе, между тем, делалась день ото дня хуже. Из парткома он не вылезал, вызывали чуть ли не каждую неделю: как субботник по уборке территории района, как надо посылать людей на стройку, овощебазу или в совхоз, так у других ездят безо всякого, а у Смирнова — опять демагогия, опять срыв мероприятия, не понимает важнейших задач, сам распустился и людей отпускает. Через полтора года после назначения на пост начальника постылого сектора, поощряемый общественными организациями, Павел Иванович подал, наконец, заявление об уходе. Завотделом завизировал заявление с удовольствием, главный конструктор — с некоторым сожалением, и потом еще вспоминал, что вот ведь как бывает: подает человек надежды, вроде бы способный, даже талантливый, а приглядишься — мыльный пузырь. Не состоялся Смирнов, не состоялся, выходит, правы мы тогда были, награждать надо по совокупности, а не кого попало...

Потом было еще несколько мест работы, но сходные ситуации беспощадно возникали каждый раз, как только Павел Иванович, пусть временно, становился хоть каким-нибудь начальником. В конце концов шесть лет назад он с должности ведущего инженера НИИ, где ему временно пришлось исполнять обязанности посланного на Кубу руководителя группы, закатился простым инженером в отдел механизации жалкого треста, потеряв при этом шестьдесят рублей зарплаты. Толчком послужила кампания

по отправке на пенсию лиц, достигших предельного возраста. И. о. руководителя группы Смирнов вдрызг переругался с начальством и подал заявление вместе с пенсионерами, правда, ему на прощание цветов не дарили и не говорили с бодрым сожалением: «Не забывают нас!»

Работа в тресте — вот, оказывается, что было нужно: кульман, окно в тенистый сад, электроплитка, на которой можно согреть чайник, и никакой перспективы административного роста. Зато полная свобода действий и почтительно-восхищенное отношение руководства.

А с какого-то момента даже слегка испуганное. Ибо трест вдруг незаметно, без шумного взятия обязательств и встречных планов, без починов и дополнительного финансирования сверху, — из последних, чуть ли не самых затюканных, бочком-тишком выбился в люди. И теперь на городских и областных совещаниях в его адрес вместо привычной окаменелой ругани — одни похвалы. А директор отлично знал — все дело в остроумных и дешевых разработках инженера Смирнова. Единица тут оказалась отнюдь не нулем, больше того — неким центром кристаллизации. Замечено было: вокруг спокойного, невидного (потому что все время занят) Павла Ивановича мало-помалу образовалась какая-то особенная атмосфера, когда остальным стало вроде и неловко валять на работе дурака, и все они теперь... в общем, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!

Завотделом механизации, непосредственный Павла Ивановича начальник, не раз солидно шутил, что Смирнов, мол, у нас вроде Тома Сойера: ну, тогда, при покраске забора, пацан всех убедил, что красить — самое увлекательное и завидное занятие. Правда, в отличие от шустрого Тома, наш Смирнов, взбаламутив остальных, и сам не сидит в стороне, а вкалывает будь здоров! Шутка начальника обычно завершалась вздохами и кряхтением на тему, что у нас — вот безобразие! — невозможно увеличить человеку оклад только за то, что он — настоящий работник! Надо, понимаешь, непременно повысить его

в должности, а где напасешься должностей? Штатное расписание, сами знаете...

Однажды в самом начале рабочего дня завотделом подошел к кульману Павла Ивановича, помялся, заглядывая в лист ватмана, и, вдруг засопев, ни с того ни с сего спросил: правда ли, что вчера заходил этот прохиндюга Михеев, главный инженер 35-го треста? Девочки сказали, полдня проторчал.

— Заходил, — кивнул Павел Иванович, несколько удивленный злобной горячностью начальства.

— А зачем? Нет, вы скажите — зачем? — заволновался тот, и Павел Иванович, взглянув ему в лицо, удивился еще больше, увидев в глазах беспокойную подозрительность.

— Да так... Поговорить... — ответил он. — Консультация ему нужна, у них там с подъемниками что-то...

— Ах, консультация. С подъемниками... — перекоксился вдруг завотделом и резко добавил: — Вы ему, Михееву, не очень-то верьте, человек скользкий, прямо глист! Короче говоря, треплю.

Через неделю Павла Ивановича неожиданно вызвал к себе директор. Завотделом находился там же. Смирнову было сделано неожиданное предложение возглавить вновь организующийся отдел подготовки производства. И добавлено, что должность «пробили» специально для него.

— Я уже и кандидатуру вашу согласовал, — радостно возгласил директор. — И оклад в полтора раза выше, так что сами видите... А фактически вся работа ваша останется за вами. А?

Было ясно: речь шла о липовой должности, «пробитой» с самыми добрыми намерениями, и Павел Иванович спокойно, но твердо сказал, что ни на какие руководящие посты не пойдет. И вообще вполне удовлетворен тем, что имеет сейчас.

— Что значит — «удовлетворен»? — вскинулся завотделом. — А денег вам как прибавить? Вы что, маленький? Не понимаете?

— Премий у нас три года нет и когда еще... — напомнил директор.

Павел Иванович развел руками: ну что поделаешь? Может, еще и будут, а в начальники... это не для него.

— Ага. Это, чтобы я... чтобы мы тут каждый день сидели-дожидались, что вас переманит Михеев? — Завотделом аж пятнами пошел. — Только потому, что у них объекты выгодные?

— Махинатор он, ваш Михеев! — загремел директор. — Махинатор и жулик! И все они там... Ну, ничего, скоро их всех разгонят к чертовой матери! А кого надо, и посадят! За Михеева лично я ломаной копейки не дам! Дачу себе отгрохал, паразит! — что твой Зимний дворец... Сядет, увидите, и других потащит.

Павел Иванович отвернулся, чтобы скрыть улыбку. И заверил руководство, что 35-й трест ему даром не нужен, ему и тут хорошо. А с деньгами... как-нибудь уладится.

— Это вы кого же утешаете? — окончательно взбеленился директор. — «Ула-адится»... Да как оно уладится-то? Ежели бы от меня зависело, я бы таким, как вы... Ладно. Идите, работайте. Будем думать.

Его оставили в покое. Возможно, директор что-то такое и думал, да что тут придумаешь? Павел Иванович работал, получал свои сто шестьдесят — сто сорок на руки — и старался сводить концы с концами. А завотделом угрюмо бросал на него подозрительные взгляды, но помалкивал. Только делал время от времени какое-нибудь предложение: командировка летом в Феодосию для обмена опытом или бесплатная путевка в Кисловодск: «Вам пора подлечиться, все лечатся, а вы что, бобик?» Или просил написать заявление на материальную помощь в конце года: «С месткомом я договорился, дадут точно». Путевок Павел Иванович не брал — не хотел оставлять мать, матпомощь получать считал неудобным: «Не погорелец».

Он знал, что в глазах многих, в том числе хотя бы соседей Антохиных, выглядит со своим чистоплюйством полным дураком. Ну и ладно.

Мать, между прочим, всегда одобряла образ жизни Павла Ивановича: «Бог с ней, с карьерой, разве в ней счастье? Главное, Павлик, что для тебя твое дело важнее денег, значит, ты сумел остаться честным человеком, понимаешь? Честным! Это важнее всего, запомни, важнее любых зарплат и постов. Душу сберечь...»

Теперь, когда матери рядом не было, когда поговорить и посоветоваться (а он привык с детства советоваться с ней во всем) стало невозможно, Павел Иванович старался все делать так, как сделала бы она, начиная с пустяков, хотя бы с мытья посуды (сперва как следует намылить, потом смыть горячей водой, потом — окатить холодной), и кончая отношениями с людьми. Он долго обдумывал, как вела бы мать себя с Антохиными, окажись она на его месте. И пришел к выводу, что общаться с ними она, конечно, не стала бы. Но и ненавидеть тоже: «Знаешь, Павлик, нет на свете более бесплодного, опустошающего чувства, душу сжигает. Это неправда, что бывают ситуации, где нужна ненависть. Нигде она не нужна, даже на войне, пускай самой справедливой. Нужно сознание долга: ты обязан выполнить тяжелый, страшный, но — долг. И ненависть тут не помощник, она только глаза кровью заливает, мешает увидеть, где враг, а где... и вообще такой человек, ну, который ненавидел, он уже ни на что не способен, пустой изнутри. Из зла не может быть добра».

Еще она говорила: «Перечитываю дневники Толстого, и вот о чем все думаю — в чем величие Христа? Думаешь, в том, что Он взошел на Голгофу, чтобы пострадать за всех? Таких подвигов много было, главное не это. Суметь полюбить ненавидящих тебя — вот это подвиг. Я как-то раньше не понимала, думала, человек на это не способен, а ведь это счастье — суметь в ответ на зло не почувствовать ненависти! Не то, что простить: простить —

это судить и как бы отпустить грех, то есть себя заранее поставить выше. А просто постараться в ответ на злобу — понять, пожалеть, увидеть в обидчике человека. Может, страдающего... Это очень трудно, конечно, почти невозможно, но это счастье... И второе — раскаяние. Но тут уж никто, наверное, до конца не способен — чтобы искренне, без ссылок на разные там обстоятельства. И не то, что — «не надо меня наказывать, я больше не буду», а по-настоящему — вдруг увидеть, какое ты ничтожество... Не знаю... Я недавно всю жизнь свою перебрала — и, представь, не вспомнила ни одного случая полного, абсолютного раскаяния. А было в чем. Беспринципность, трусость... Что говорить! Ребенка потеряла...»

Да, только с ней, с матерью, возможны были такие разговоры. Теперь ни поговорить, ни посоветоваться не с кем — не сумел завести друзей, не смог построить собственной семьи. Урод.

Иногда Павлу Ивановичу почему-то казалось: подружись он хотя бы с этим дворником, Максимом, может, и стали бы они близкими людьми, по-настоящему близкими. Но не получилось... А раздумывать, как вела бы себя мать с соседями, оказалась она на месте Павла Ивановича... Просто смешно! Да не могла она оказаться на его месте! Он отдал ее в больницу, а она его — никогда бы не отдала...

### *Выходной день*

В «хвост» обычно садились те, кто ехал туда же, куда он, и, войдя в вагон, Павел Иванович сразу увидел знакомые лица, а про некоторых незнакомых тоже мог бы с уверенностью сказать, что они — туда: было легко вычислить по брюхатым сумкам, откуда высовывались горлышки неизменных бутылок с фруктовым соком.

Это были почти сплошь старухи, а у редких, что помоложе, на лицах лежала отчетливая тень того мрачного места, куда они сейчас ехали, и потому невозможно было

определить — сорок тут лет или все шестьдесят. Они сидели группами, и то с одной, то с другой стороны до Павла Ивановича доносились обрывки негромких разговоров: «Где брали яблочный сок? Я весь город обегала, нигде...» — «...Всегда на Сытном, в кооперативном ларьке, там, конечно, дороже...» — «Вы что, думаете, им все достается, что мы приносим? Дай Бог, если половина, это еще — дай Бог! Половину сестры растащат, остальное — другие больные отымут, кто побойчее. Наш вон — он ведь ни спросить, ни сказать — ничего не может...» — «С десятого обещали карантин по гриппу, пускать не будут, только передачи...»

...Поезд уже шел. Вагон мотало. Синие зимние пейзажи назойливо липли к окнам. Почему-то безвкусными, вызывающими казались сейчас расфуфыренные заиндевевшие деревья и непристойно яркие фигурки лыжников на засахаренной снежной целине.

Павел Иванович вспомнил, что, когда ехал этой дорогой в первый раз, осенью, то яркие краски, все эти «багрец» и «золото», показались ему отталкивающими... А мать любила осень, уезжала одна в Павловск и бродила там весь день по парку. Брала с собой томик Пушкина, и Павел Иванович еще над ней посмеивался: поэтическая старушка... Впрочем, она и зиму любила ничуть не меньше, всегда радовалась, как празднику, первому снегу. И лето. И весну...

Перед Гатчиной население вагона засобиралось; поезд только отошел от Мариенбурга, а все уж потихоньку продвигались в тамбур — от Гатчины еще двадцать километров, надо успеть занять очередь на автобус, ходит он редко, набитый под завязку, тащится сорок пять минут, постой-ка на ногах, да с таким грузом!

Павел Иванович вышел из вагона последним, но, широко шагая по засыпанной снегом высокой платформе, скоро всех оставил позади, и от этого ему почему-то сделалось неловко.

В большой рыхлой очереди на автобусной остановке (видно, предыдущий автобус не всех забрал с электрички в семь сорок) стояли тоже, в основном, старухи, стояли терпеливо, истово, никто не роптал, не толкался и не лез вперед. Поклонившись несколько знакомым, Павел Иванович огляделся и стал уже подумывать, не пойти ли на такси, — черт с ней, с экономией, — мороз, но тут на аллее, ведущей от дворца к вокзалу, забрезжил старенький, осевший на один бок автобус, и очередь радостно задвигалась, непонятно по каким признакам издали определив: наш.

И опять прекрасные, но чужие, мелькали за полузамерзшими стеклами зимние поля и рощи, отрешенно синело низкое небо, глядящее мимо, вспыхивал солнечный луч в витрине раймага, возле которого переступала высокими ногами крутозадая лошадь, запряженная в розвальни.

...Таким же морозным утром во время войны, в оккупации, они с матерью ехали куда-то в розвальнях, мать держала его, восьмилетнего бугая, на коленях и все старалась прикрыть от холода расстегнутыми полами своего пальто. А ему ни капли не было холодно, а весело и уютно — тихие сероватые сугробы стеной стояли по обеим сторонам дороги, снег визжал под полозьями, и было не страшно — пусть хоть волк выбежит на дорогу, пусть хоть даже немец. Он не помнил, куда и зачем они ехали. И мать теперь ни о чем не спросишь, а значит, канул, провалился в тартарары конец этой зимней дороги: чего никто не помнит, того не было.

Впрочем, многое Павел Иванович помнил очень ярко. Например, первого фашиста, которого он увидел вблизи. На фашиста этот стройный, красивый человек, так хорошо говоривший по-русски, совсем не был похож, но это все же был настоящий фашист — в черном мундире, с красной повязкой, с молниями на петлицах, эсэсовец. Павлик с соседской Галей качались в саду около дома на качелях, и вдруг появился этот немец, подошел к ним и начал спрашивать. Как зовут? Как фамилия? Кто родители?

Павлик не сказал, что отец на фронте, мать предупреждала — не говорить. Сказал — в Ленинграде. Немец закивал, заулыбался: очень красивый город, я там бывал. Потом вдруг спросил, есть ли у них игрушки. Павлик подумал: хочет отобрать, и помотал головой. Тогда фашист сказал «пошли» и, не оборачиваясь, направился к калитке, а Галя с Павликом побежали за ним. Он был не страшный, этот немец, он повел их в пустой, брошенный детский сад, где на полу горой лежали медведи, куклы, машины, кубики. Павлик взял себе игрушечный паровоз с вагонами и ружье, а Галя — мяч и большого целлулоидного пупса.

Павел Иванович хорошо запомнил, как мать плакала и ругала его, как отобрала игрушки и спрятала куда-то...

...Высокая железная арка замаячила впереди, слева от дороги. Автобус начал повизгивать и остановился. Оставшиеся полтора километра предстояло пройти пешком.

Здесь, на открытом месте, ветер бил наотмашь. Павел Иванович поднял воротник пальто, опустил уши у шапки и, миновав арку, кренясь, зашагал влево по неширокому извилистому шоссе.

Сколько раз в прошлые годы, проезжая здесь в экскурсионном автобусе (куда-нибудь во Псков или Пушкинские Горы), видели они с матерью этот поворот дороги, холм над прудом и парк с беседкой-ротондой, а на вершине холма, среди крон старых деревьев — желтый барский дом. Павел Иванович смотрел тогда и думал, что, наверно, в этом бывшем имении теперь расположился какой-нибудь привилегированный санаторий, пока дальнорзкая мать однажды не прочла над железной аркой: «Психиатрическая больница»<sup>23</sup>. Прочла и поехала, потом сказала:

— Ничего нет страшнее... «Не дай мне Бог сойти с ума...»

Но даже сейчас, совсем в другом бытии, точно упрямый мираж, встала перед Павлом Ивановичем патриархальная усадьба, столетний заиндеветший парк, засыпанный пухлым снегом пруд с горбатым мостиком, дом с колоннами,

беседка на берегу. Но по мере того, как усадьба приближалась, выглядывала из-за расступающихся деревьев, ощеривалась низкими, одинаковыми корпусами из серого кирпича, мираж таял и распадался. Так бывало в детстве, сразу после войны, в Ленинграде — видишь перед собой дом с веселенькими окошками, а он, оказывается, нарисован на деревянных щитах, прикрывающих руины.

Павел Иванович шагал по середине дороги, огибающей пруд, легко обгоняя медленно бредущие группы или одиноких путниц с сумками, переброшенными через плечо, в бедных, давно изношенных пальто и даже в деревенских плюшевых жакетах, в платках, повязанных до бровей. Терпеливо шли они, точно странницы на богомолье в Святую землю, изготовясь на долгий путь, конца которому не видать ни там, впереди, у ворот проклятой больницы, ни завтра, ни через год. Они мелко ступали по жесткой, звенящей от холода земле, покорно пригнув навстречу ветру головы и опустив плечи, в который раз за свою жизнь одолевая этот участок дороги — от автобуса до проходной, к которой сейчас уже приближался Павел Иванович.

Он прибавил шагу, но, подойдя, понял, что спешил напрасно: в будке дежурила молодая собачливая сестра в лаковых сапогах-чулках<sup>24</sup>, а про нее хорошо известно: раньше десяти, удавись, — не пустит.

А было еще только без четверти. Озябшая толпа покорно жалась к забору, сестра, хорошо видная через большое, чистое окно, с непреклонным видом читала газету, сидя за столом, возле которого сыто багровел электрический камин. Время от времени она бросала в окно гневные взгляды: делать им нечего, притащились ни свет ни заря. Нравится стоять? Стойте!

Ветер усилился и злобно погнался поземку.

— Околеешь тут, ждамши, — слышался одинокий неуверенный голос. — Морозят людей, точно скотину.

Павел Иванович усмехнулся: такие высказывания позволяли себе только «новенькие». Те, кто поездил сюда

годы, а то и десятки лет, давно приобрели угодливую покладистость и смирение, без этого было бы и вовсе не выдержать, — где возьмешь силы еще и на борьбу с самоуправством, когда в руках у них день и ночь бесконтрольно и безответно мучается родной тебе человек!

— Их дело — не пускать, а наше дело — стоять да помалкивать! Нам дай волю, мы всю больницу по ключкам разнесем. Напрочь.

Дельную эту тираду произнесла такая ветхая, чуть живая, почти и не видная старушонка, что трудно было представить, каким образом она дотащила до ворот свое собственное тело.

Ровно в десять неколебимая владелица лаковых сапог важно отперла вход, толпа хлынула в больничный двор и сразу разбилась на ручейки и потоки, устремившиеся к разным корпусам. При входе тоже никто не роптал и не толкался, однако очутившись во дворе, заторопились, прибавили шагу, кое-кто даже побежал, осев под тяжестью сумок и подволакивая ноги.

Павлу Ивановичу неловко было обнаруживать перед старухами особенную прыть, не спеша добрел он до дверей нужного ему отделения и все-таки успел: вошел в бокс в первой пятерке и оказался четвертым в очереди к столу, где сестра со сдобным деревенским лицом принимала передачи. Из стопки пластмассовых и эмалированных мисок он привычно вытащил синий полиэтиленовый таз, на котором химическим карандашом было написано «СМИРНОВА». В таз он выложил продукты, поставил банку с компотом и бутылку яблочного сока, и тут как раз подошла его очередь к сестре.

«Смирнова. Сын. Апельсины 6 шт. Яблоки 12 шт. Вафли 3 пачки. Масло 200 гр. Сок 1 бут. Компот 1 банка». — Сестра медленно выводила корявые буквы в тетради в козую линейку.

— Масло подпишите, его — в холодильник, — велела она, подняв лицо от тетради.

Павел Иванович четко вывел фамилию на пачке с маслом, расписался под перечнем сданных продуктов, отошел и присел на стул, поставленный по соседству, пододвинув еще один, свободный, — для матери.

Сестра приняла передачу у всех пятерых, что были сейчас в боксе, потянулась, закрыла тетрадь, подошла к стеклянной двери в коридор и, убедившись, что там скопилась основательная очередь, покачала головой. Но напрасно, — в дверь никто не лез.

Тогда она вынула из кармана специальный ключ, которыми пользуются проводники в поездах, заперла дверь в коридор, прошла вдоль бокса, открыла дверь на отделение и исчезла за ней. Щелкнул замок. Теперь посетители были отделены и от внешнего, и от внутреннего мира. Голос сестры за дверью монотонно выкликал: Анищенко, Поляхина, Вахлакова, Смирнова, Фельдман...

В боксе было тихо, только бумага шуршала — все, торопясь, выкладывали из сумок гостинцы — то, что можно скормить прямо сейчас, за считанные эти минуты. Были тут завернутые в шерстяной платок и газету кастрюльки с жареной картошкой и домашними котлетами, были испеченные этой ночью пироги, всевозможные баночки — с салатами, творогом, сметаной, были миски, тарелки, термосы. Павел Иванович достал из портфеля два бутерброда с черной икрой и материн любимый яблочный пирог. Все это было куплено вчера в «Кулинарии».

...Горячие пироги с яблоками мать всегда привозила ему в послевоенный голодный пионерлагерь, в Сестрорецк, он ел, глотал, не жуя, а она смотрела. Те пироги она пекла сама, хотя вообще готовить не любила...

Потом он вынул термос, и тут щелкнул замок.

Они вошли гуськом в сопровождении сестры, все пятеро. — Здравствуй, мама.

Мать стояла покорно и неподвижно. И, как всегда, молча. Послушно села и принялась безразлично жевать

бутерброд, запивая его какао, кружку Павел Иванович подносил вплотную к ее губам.

Дочь Поляхиной переодевала матери чулки. Анищенко плакала, глотая кефир. Фельдман, резко оттолкнув блюдечко с творогом, которое протягивала ей как две капли воды похожая на нее горбоносая старуха, вдруг громко и плаксиво закричала:

— Я не только агитатору!.. Я и п'опагандист! Пгинеси мне т'етий том Ма-а-кса!

Вахлакова жадно и торопливо ела салат, запихивая его в рот горстями. По подбородку ее текла сметана.

Сестра посматривала на часы — за стеклянной дверью уже волновались.

Татьяна Васильевна проглотила последний кусок пирога, встала из-за стола и, как всегда, не взглянув на сына, шагнула прочь.

Свидание окончено.

...Назад идти легко. Легко, во-первых, потому что дорога все время вниз, с холма. Во-вторых, ветер теперь в спину, в-третьих, с пустым портфелем. ...В-четвертых, потому что — вниз, в-пятых — ветер в спину, и потом — пустой портфель. Легко?..

Небо над деревьями было плотным, как вода, и таким же, как вода, зеленоватым.

...Зеленоватый свет падал с улицы в комнату тогда, сразу после войны. Через два дня после приезда мать достала где-то стекла. Вот повезло-то, Павлик, так дешево! Наверно, краденое.

Настоящие стекла вместо фанеры. Зеленые стекла, зеленый свет, у мамы зеленое лицо. Жарко, скарлатина. Не бойся, не отдам в больницу, не бойся! Смотри, какой свет, как на дне моря, правда? Смотри, мы с тобой живем на дне моря, как Русалка, помнишь? Ты — морской конек, а я медуза. Не плачь. Вот это настоящий клюквенный кисель, пей. Раз я обещала, так и будет, ничего не бойся...

Не отдала.

...Они жили вдвоем. На отца еще в сорок втором пришла «похоронка», пришла в Ленинград, но они не знали почти до конца войны, потом соседка написала, когда кончилась оккупация, когда мать уже младшего сына потеряла и похоронила деда. Все говорили — это счастье, что дед умер до прихода наших.

Дед был врачом, оперировал всю жизнь в сельской больнице. Кстати, больницу оккупанты не тронули. Но — да! — лечил и их. Спорили по ночам с матерью, дед кричал:

— Для меня больной — прежде всего больной, а уже потом — свой или чужой.

— Они же наших убивают, пойми ты! — шептала мать.

— Вот и пускай наши их убьют. Потом! Застрелят в бою. А я не стрелок. Лекарь!

Вот теперь вспомнил Павел Иванович, куда они с матерью ехали по зимней дороге в розвальнях! Накануне деда вызвали в комендатуру, вернулся он поздно, злой, потерянный, и заявил матери, что фрицы, видимо, драпают, потому что своих раненых из больницы будут вывозить, и ему приказано в двадцать четыре часа собраться и сопровождать их до ближайшего госпиталя.

Дед исчез в ту же ночь, а к концу следующего дня, уже в сумерках, в доме появился старик в тулупе. Павлик с матерью шли за ним дворами, и на краю села, у леса, их ждала лошадь с санями.

Дед умер через неделю на хуторе. Там они прятались до прихода наших. Умер от воспаления легких. Мать потом, после войны, несколько раз вызывали, да как-то обошлось, а Павел уже много позже, поступая в институт, ежась, писал в анкете, что был на оккупированной территории<sup>25</sup>; смотрели пристально, но ничего — приняли...

...Легко еще и потому, что дорога домой всегда короче. Это — в-шестых.

Всю дорогу в электричке Павел Иванович проспал. Фонари не горели. По двору, шагах в десяти перед ним, медленно брела женская фигура. Женщина шла, как давеча шла его мать, — никуда, точно слепая, вытянув руки. Пошатываясь. Нашупав дверь, принялась шарить по ней, потом замерла и вдруг начала сползать вниз, на землю.

Когда Павел Иванович подбежал, она сидела перед дверью. Шуба распахнулась, меховая шапка съехала на лицо. Это была Вера Кашуба, соседка, профессорская дочь.

В те далекие времена, когда отношения были еще человеческими, Алла часто говорила, что с такими данными, как у Веры, можно было бы многого достичь, с ее возможностями любая нюшка будет смотреться, а Вера — не нюшка, порода есть порода, вот и в вас, Павлик, чувствуется порода, но только вы — вырождаетесь. И за собой не следите. Не злитесь! В хороших руках вам бы цены не было... А эта... женщина... Мне даже неудобно сказать, вы — мужчина, ну... вы понимаете? Как это — «не слышал»? Сочиняете! Все знают, ее и муж за это бросил. С двумя детьми бросить — это силу воли надо иметь. Кашуба, конечно, переживает.

Как-то спрашиваю: «Евдоким Никитич, что это вашей Верочки давно не видно?» Он — глаза в разные стороны: «В командировке», — а все знают, что она не работает, дома сидит после запоя. За-по-я. Нет, я этого не понимаю, зачем люди врут?

Павла Ивановича Алла в те времена еще уважала, он звал ее на «ты», а она говорила ему «вы» и называла «старший товарищ».

Дом... Книги, портрет деда над пианино, серебряные ложки с монограммой... чай — всегда на крахмальной скатерти. Тетя Зина, Аллина мать, говорила: «Был бы ты, Павлик, помоложе, за тебя бы дочку с руками отдала, так и жили б одной семьей, и квартира бы тогда — отдельная

считалась, не как сейчас». Врала: и так бы отдала, десять лет разницы — чепуха.

Мать сказала: «Ты меня убьешь, Павлик, знай. Нет, нет, не надо демагогии, ты прекрасно понимаешь: я не это имею в виду, мы тоже не Бог весть какие графья, но они — по сути плебеи, по существу. И не в образовании тут дело, не в происхождении, даже не в воспитании. Боже, сколько я встречала благороднейших, внутренне интеллигентных людей, бывало, что и совсем неграмотных...»

Зря мать горячилась, — не так себе представлял Павел Иванович свою будущую жену и семейную жизнь...

А Аллочка, не торопясь, нашла положительного иностранного Антохина. Свадьбу сыграли по всем правилам: Дворец, машина, бал в ресторане, — тетя Зина последнее вытряхнула. Потом молодого мужа прописали на жилплощади Филимоновых, а вскоре тетя Зина стремительно собралась и уехала погостить в деревню к сестре. И больше не вернулась. «Под старость тянет к истокам, правда, Валерик? Маме там, безусловно, лучше, просто ожила — и корову доит, и в поле работает. А тут сидела бы старухой-пенсионеркой, вот и досиделась бы, как некоторые... Там и молоко свое, и овощи свои, нет, не понимаю я людей, которые...»

Алла редко понимала глупых и ленивых, не говоря уж о расфуфыренных профессорских дочках, которые ведут себя хуже женщин легкого поведения.

Сейчас профессорская дочка, скрючившись, сидела на крыльце перед дверью. Бессмысленное бледное лицо ничем не отличалось от тех, на какие Павел Иванович сегодня уже посмотрелся. Пустые, остановившиеся глаза. Плаксивая сползающая улыбка...

Он поднял ее и поставил на ноги. Потом открыл дверь. Всклипнув, она шагнула в парадную, покачнулась, но сразу ухватилась за перила. И начала подниматься, нашаривая ногами ступеньки.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Успехи в работе*

Но ведь успех — понятие весьма и весьма относительное. Квартальный план лаборатория успешно выполнила на две недели раньше срока. И отчиталась. Сегодня было уже ясно, что по итогам соцсоревнования<sup>26</sup> она займет классное место, если, конечно, до первого апреля не случится какое-нибудь ЧП: никто из сотрудников не попадет в вытрезвитель, не прогуляет без уважительной причины или, скажем, не возникнет пожар от небрежной сигареты. Но это все — «если», это все — «бы» и разные «а вдруг»; а пока что все тихо, безоговорочный претендент на вытрезвитель слесарь Денисюк, слава Богу, на больничном, а лаборатория — на верной дороге к премиям и портретам на Доске почета. Так держать.

Научная работа по проблеме «Червец» шла вперед семимильными, как пишут, шагами. Программа исследований утверждена, и, к чести Евдокима Никитича Кашубы, надо отметить, что и после коренных переделок (по указанию совета) она ничем не отличалась от той, что была составлена им первоначально (по вдохновению). Пришлось лишь исключить все виды исследований, которые требовали применения разрушающих нагрузок и высоких температур с агрессивными средами, ибо охрана окружающей среды и защита живой природы — наш святой долг, так что главное, дорогие коллеги, — длина, ширина, толщина и вес животного! Длина. Ширина. Толщина. И вес! Максим уже исписал три толстых журнала, и построенные по этим данным графики выглядели на Ученом совете солидно и весьма убедительно.

При виде этих блистательных графиков даже профессор Лукницкий несколько скис и беспомощно задал

всего один жалкий вопрос: «До каких пор, мои боевые друзья, вы намерены доить червяка, то есть сами понимаете, проблему «Червец»? Ведь ясно, что главный вопрос, поставленный дорогим нашим Евдокимом Никитичем и его адептами, а именно: увеличивается ли вес животных сразу после приема ими пищи,— человечеством, как будто бы, уже решен положительно и не оставляет поводов для сомнений. Как, скажем, наполняется ли ведро, когда туда льют воду».

На этот выпад решительно ответил научный руководитель проблемы. Кашуба Е. Н. довел до сведения уважаемых членов совета, что в науке не существует широкой столбовой дороги<sup>27</sup>, и ни на один вопрос, обращаю внимание невежд, нельзя ответить однозначно и без проверки. Как показал опыт, то, что в одном случае — то, в другом, совсем наоборот,— это, в силу чего считаю необходимым напомнить трюизм о вращении Земли, псевдоученом Птолемея и его противнике Галилее. А утверждение, что Земля — плоская? Это ли не казалось очевидным? Это ли? В данном бесспорном факте некие «ученые», как две капли воды похожие на... некоторых наших коллег, тоже не сомневались! Шли годы. Шли века...

...но вот пришел профессор Кашуба и подтвердил, что Земля круглая. А на этой круглой, на глупой, пучеглазой Земле торчит гора, как помойная куча, торчит аж до самого неба, откуда тарашится одуревшее от болтовни, распаренное, толстомордое солнце. Ворон, приосанясь от тепла и чувства собственного достоинства, совершает над горой круги почета. И все новые, новые комья валяются с ясного небосклона, чтобы гора росла и укреплялась день ото дня. День ото дня! И на некоторых комьях,— да что там! — на многих комьях, его, Максима Лихтенштейна, личное клеймо. Его персональный вклад. Работа с первого предъявления. Знак качества...

— И это еще далеко не все, товарищи, это только начало! У нас есть перспективный план на двадцать пять

лет вперед, и, надеюсь, за это время мы сумеем ответить и на более сложные вопросы...

...К примеру, умеет ли данное существо летать, и если да, то с какой космической скоростью. Повеситься, что ли?.. Каркнул ворон: «Не верю в морг...»<sup>28</sup>

— Наш перспективный план охватывает, товарищи, например...

Тут в четвертом ряду тревожно заскрипел один из незанятых стульев, и Евдоким Никитич, поперхнувшись, но не теряя достоинства, пояснил, что примеров приводить как раз и не будет, поскольку, как мы знаем, перспективный план оглашению не подлежит из-за его особой важности. Сейчас этот план в министерстве и будет рассмотрен на ближайшей коллегии...

...Нас толкнули — мы упали... А что, в самом деле, не пойти ли навсегда в дворники? Стать профессионалом в этом полезном, необходимом деле? И главное, дело-то чистое, никаких гор. Окурки, бумажки, да собачье дерьмо, только и всего. Летом — поливка асфальта, зимой — уборка снега. Можно устроиться при своем собственном доме, то-то радость соседям: молодой ученый — дворник. Еврей. Не иначе, проворовался... Но с кандидатским дипломом могут не оформить! Ничего, есть еще почта. Разносчик телеграмм. «Кто стучится под окном с длинным черным бородом?»<sup>29</sup> А что? Тоже красиво. Только платят мало. Зато опять же — никакого отношения к горе. Но ведь, ребята, я же, гад, тщеславен, вот в чем беда! ...Нас подняли — мы пошли...

Максим увидел, что зал тянет руки, — за что-то голосовали. Над пустым местом в четвертом ряду висела в воздухе одинокая бледная ладонь со следами лиловой пасты от шариковой ручки. Плечо, рукав пиджака и все остальное отсутствовало. Указательный палец хозяйски указывал на Лихтенштейна. Тот поднял руку. Мог бы и не поднимать, поскольку не являлся членом совета.

После совета лаборатории Кашубы дали дополнительные лаборантские единицы, слесарь — радость-то! — все еще болел, и по свидетельству соседки, которая приходила за его зарплатой, из дому носу не показывал, а выпивал в самую меру, только для здоровья. Далее: дирекция выделила для лаборатории отдельное дополнительное помещение, отобрав его у Лукницкого. Теперь там был оборудован виварий, где червяк мог спокойно ползать, есть, пить и спать, а то, между нами, от хранения в сейфе он уже начал как-то усыхать и целыми днями лежал, свернувшись в аккуратный брандспойтный рулон. Профессор Кашуба лично распорядился включать в рацион животного витамин «Декамевит» для лиц среднего и пожилого возраста.

А институт между тем плодотворно работал. И сейчас начинал готовиться к своему юбилею. Он был спешно создан в начале шестидесятых на гребне волны «Химия — в жизнь!», и за первое пятилетие его существования сменилось бесчисленное количество директоров, а также и других руководителей на разных уровнях. Однако утесом базальтовым, камнем краеугольным со дня основания стоял профессор Кашуба, сбивший вокруг себя боевую команду сотрудников, объединенных побуждениями от: «Заработать и принести пользу можно и тут» — до: «Вы притворяетесь, что платите нам, а мы делаем вид, что работаем». Лихтенштейн принадлежал к первой категории, и кандидатская его не была, как это часто случается, «липовой», зато «Червец» — это уже было падение, полный позор, и Максим прекрасно это понимал.

Итак, время шло, руководители института изредка уходили на пенсию, чаще — на повышение, так и не сумев осуществить заветную мечту министерства: вывести отраслевую науку на передовые рубежи отечественной химизации. А нужно-то было всего ничего: быстрее всех, эффективнее всех добиться небывалых, неслыханных, оглушительно-ослепительных успехов по замене всех без исключения дорогостоящих, ржавеющих, магнитных и вредных метал-

лов дешевыми, прочными, нержавеющей-немагнитными, а также легкими и сугубо полезными для здоровья пластмассами. Такими, чтобы больше — ни у кого!

Работа кипела и пузырилась: летели вверх оптимистические прогнозы и посулы с прицелом на тридцать лет вперед, составлялись грандиозные программы потрясающих исследований,— гора росла день ото дня.

Не выдерживающие темпа директора, обессилев, все чаще сходили с дистанции, и уже начался легкий административный кризис, но тут как раз подоспела вторая волна по имени «экономика должна быть экономной»<sup>30</sup>. Во главе института министерство немедленно поставило своего человека с экономическим образованием.

И настала новая жизнь. Ну, не то чтобы совсем... Посулы, рапорты и программы космического масштаба продолжали плодиться, чему очень способствовал дальний прицел: через тридцать лет многие из тех, кто их составлял и утверждал в институте, равно как и те, кто принимал их в министерстве, рассчитывали оказаться на заслуженном отдыхе... Главной же заботой нового директора стало то, к чему более всего лежала его душа: планово-экономический отдел, бухгалтерия, отдел труда и зарплаты.

И все же кое у кого в институте нет-нет да и мелькала нехорошая мысль: а вдруг да не получится дожить запланированные тридцать лет в привычном, налаженном благоденствии, вдруг да грянет с чистого неба Судный день... С каждым днем становилось яснее, что заменить все металлы пластмассами, скорее всего, не удастся, да и... не нужно это никому. Вон и крысы, помещенные в комфортабельный, со всеми удобствами контейнер из стеклопластика, про который сам профессор Кашуба ответственно заявил, что этот материал можно есть, пить и использовать для повышения гемоглобина в крови, — так проклятые эти крысы целых два месяца жили и веселились в целебном контейнере, но как только в министерство был направлен соответствующий отчет, вдруг принялись лысеть, а потом

переходили одна за другой. Выжил только самый крупный крысак Зямка — его при первых же признаках облысения выкрала из вивария и унесла домой лаборантка Люся.

Объективное, научно обоснованное объяснение того, почему факт гибели подопытных животных следует рассматривать как очередную победу науки, поручено было подготовить старейшему работнику института профессору Лукницкому.

Но склочный старик устроил, как водится, свару: он, видите ли, всегда подозревал, что этот стеклопластик хуже мухомора, а вы туда — животных, душегубы! Само собой, Лукницкий был тотчас приглашен для беседы к товарищу Пузыреву, и речь шла, по-видимому, о предпенсионном состоянии строптивного профессора, потому что тот притих, над объяснением обещал поработать и обратился к лаборантке Люсе с просьбой представить для медицинского обследования уцелевшего Зямку. Но Люся зверя не выдала: «Сбежал!» — нагло заявила она, улыбаясь перламутровыми губами.

В общем, атмосфера в институте мало-помалу делалась нервной. В такой обстановке вставал вопрос о существовании нескольких лабораторий, в том числе и лаборатории Кашубы. И были бы хоть какие-то новые долгоиграющие идеи, чтобы заинтересовать и отвлечь министерство, указав ему путь к новым безразмерным свершениям! Так нет же! В головах давно уже ничто не рождалось, кроме, конечно, прозорливых догадок — что именно надо купить (чтобы потом продать), если едешь во Францию, а что — если в Чехословакию... И вдруг — гигантский, замечательный червяк, найденный Лихтенштейном! Да его же, по мнению Кашубы, в прямом смысле послало институту само небо! Ведь лет на десять хватит. А там...

...Но мы увлеклись, во всем нужна мера. У читателя может создаться впечатление, будто ослепленные высокими окладами и прочими льготами сотрудники института совсем уж не видели и не понимали, что в их учреждении что-то и как-то... не так. Без конца валять дурака,

притворяясь, что занят делом, — это ведь тоже не великая радость. И кое-кому надоело. Многие были недовольны и активно обсуждали происходящее, сетуя на бездарность начальства. И пригорюнивались. И кручинились. И некоторые даже (в кулуарах) вполголоса грозились, «если эта забастовка не прекратится», уйти в другое место. И знали, что не уйдут. И в разных падежах склоняли, как ни странно, в основном, не директора, а его заместителя В. П. Пузырева. И сочиняли анекдоты, где директор неизменно выглядел слабоумным, а Пузырев — злым дураком, Мидасом наоборот, превращающим все, до чего дотрагивается, в... сами знаете — во что!

Но почему именно Пузырев? А потому, что он бесшумно занимал свой пост со дня основания института и один из всех, кажется, всегда знал, что ему персонально надо делать. И делал. А директор? Директор, намертво увязший в своей экономике, только и сумел за последние годы, что закупить через Минвнешторг массу таинственного оборудования, бережно хранимого на складе в полиэтиленовой упаковке. Использовать для работы или даже хотя бы расчехлить это оборудование, чтобы разобраться в его назначении, не представлялось возможным — допуск сотрудников к заморским агрегатам, равно как и к сопровождающей их технической документации, был строго-настрого запрещен тов. Пузыревым, обосновавшим свой запрет коротким: «Растащат».

Только одно-единственное заграничное приобретение директору удалось внедрить в производство. Это была громадная и баснословно дорогая электронно-вычислительная машина. Вероятно, она предназначалась для каких-нибудь сугубо научных надобностей, однако директор нашел ей другое применение: заполнив два просторных зала, откуда в срочном порядке выселили в подвал лабораторию физико-механических испытаний, японская машина занималась тем, что трудолюбиво рассчитывала зарплату сотрудников. При этом имела обыкновение безо всяких видимых

причин выключаться. Приглашать отечественных мастеров для ремонта иностранки директор не решался, не надеясь на их компетентность, тем более, что, проболтавшись без дела дня два, машина вдруг включалась и яростно бралась за свои прямые обязанности. Понимала она их по-своему, то есть по-женски, — необъективно. Было в институте несколько сотрудников, зарплата которым начислялась не в полном соответствии с окладом и количеством отработанного времени, а как того желала капризная японка. Невесть за что она с первого же дня люто возненавидела и без того низкооплачиваемую лаборантку Люсю и регулярно норовила недодать ей 17 руб. 68 коп. в месяц. Каждый раз, получив перед получкой расчетный листок, Люся, зарыдав, бросалась к главному бухгалтеру. Тот встречал ее вялым: «Что? Опять? Ну, не знаю, не знаю... Надо как-то уметь налаживать отношения...»

Однажды в разгар со вкусом ведущегося разговора о бардаке в институте Максим вдруг заявил, что может сформулировать основные законы, по которым живет, работает и развивается их учреждение. И таких три.

— Вроде законов Паркинсона, — забормотал сообразительный Гаврилов.

— Вроде, — согласился Максим. — Назовем их законами Пузырева.

— Почему Пузырева? — спросил Лыков.

— Потому.

— А-а, — сказали слушатели, подмигнув друг другу.

— Итак, первый закон: в любом деле из всех возможных вариантов выбирается наихудший.

— Это как? — хором воскликнули Лыков с Гавриловым.

— Ну, скажем... Можно мост построить поперек, а можно вдоль реки. Строим?..

— Вдоль! — обрадовался Гаврилов.

— Точно. Или вот: можно поставить в план тему реальную, а можно — залепуху. Да такую дремучую, безнадужную, тоскливую. Ну, естественно, выбираем ее.

Ясен первый закон? Так, поехали дальше. Закон второй: для успешной, безусловной и досрочной реализации первого закона выдвигаем соответствующих людей. Или, другими словами, из всех возможных исполнителей выбираются... Кто? Правильно. Ведь истории известны случаи, когда в недрах вроде бы полностью гиблого дела начинали брезжить новые идеи, возникали неожиданные повороты. Так вот: чтобы этого, не дай Бог, не случилось, нужно подобрать подходящих людей. И наш Пузырев начинает бережно и любовно их подбирать. И уж не сомневайтесь, подберет! Примет на работу такого дебила, что смотреть жутко. И любовно скажет: «Хороший парнишка, хороший». А у парнишки рот всегда нараспашку и слюна вожжой. А другому, вдруг почуяв неладное, в приеме категорически откажет: «Не смотрится. Как это — почему? А... сами знаете». И вот, в результате действия первых двух законов возникает как следствие третий главный...

— Ну!!

— Он звучит так: полностью заваленное дело должно быть кое-как исправлено героическими усилиями коллектива. Подвигами. Вот она, наша работа! Самоотверженная — без отпусков и выходных. В нее будут вовлечены все. И мы с вами, дорогие мои друзья-критиканы. Мы тоже! И это даст нам повод для законной гордости собственным трудом!

— Что-то не видел я никакой бурной деятельности, — засомневался Лыков.

— И напрасно, друг мой. Впрочем, вращаясь вместе с землей, вращения не увидишь. А между прочим, оно есть. Активная, я бы сказал, судорожная деятельность по срочной ликвидации разрушений, заделыванию дыр, затыканию собственными телами пробоин, образовавшихся в результате научных подвигов «хороших парнишек»... да и нас самих. Вот ради этого, последнего, закона — оба первых, заметьте себе. Чтобы жить

с чувством глубокого удовлетворения...<sup>31</sup> Вообще-то мы все тут порядочное дерьмо,— неожиданно закончил Максим.

— Ну уж это...— обиделся Лыков.— Мы-то при чем?

— Нас толкнули? — любезно спросил Лихтенштейн.

— Да иди ты... Я лично все же что-то делаю,— подержал Лыкова Гаврилов.— Хотя вообще-то... Только что с твоей правоты пользы? Ну, сидим тут, ну, ворчим...

— Я и говорю: дерьмо мы все,— усмехнулся Лихтенштейн.— Персонально я — наипервейшее. Все понимаю, вижу, а... пользуюсь? В инстанции не ломлюсь, на собраниях сплю. Шкура. Шкура и есть! Был бы человек, взял бы да уволился. Только куда? Как подумаешь: новую работу искать, да еще возьмут ли... А плевать против ветра? Боязно... Одна надежда — всегда так не будет. Не может быть. Развалится наша контора<sup>32</sup>.

— Ага. Это когда мы все на пенсию выйдем,— уныло произнес Гаврилов.

— И ведь что смешно...— продолжал Максим,— наши-то красавцы, ну, директор, Кашуба,— они ведь это все не нарочно, а на подсознательном уровне. Это у них инстинкт самосохранения: чем хуже, тем лучше.

Да, институт плодотворно работал. К деятельности по проблеме «Червец» подключались новые лаборатории и отделы. Отдел технической информации выпустил два громадных тома — обзор сведений обо всех видах червяков. Отдел нестандартного оборудования трудился над чертежами стенда для автоматической укладки «образца» на поддон и механизированного проведения замеров. Изготовление этого стенда было уже включено в план мастерских на первый квартал будущего года, и сейчас там лихорадочно готовились: составляли заявки на необходимые материалы, чтобы в назначенный срок сдать их в отдел снабжения. Лаборатория техники безопасности разработала инструкцию по эксплуатации червяков ленточных крупногабаритных и запланировала в будущем выпустить

на ее основе большой справочник, согласованный с Министерством здравоохранения и ВЦСПС.

Такие вспомогательные службы, как канцелярия, машинописное бюро, а также экспедиция были перегружены бумагами: благодаря проблеме «Червец» переписка, ведущаяся институтом, увеличилась вглубь и вширь.

Институт наводнили представители организаций, воображающих себя компетентными в вопросах пресмыкающегося животноводства. Все эти биологи, зоологи, генетики, геологи как-то ухитрились пронюхать о червяке и теперь всеми правдами и неправдами пытались примазаться к проблеме. Поскольку настырные эти учреждения и лица, как правило, принадлежали чужим министерствам и ведомствам, никто с ними ни в какие отношения не вступал и вступать не собирался, сами же они, к счастью, не располагали сведениями, достаточными для того, чтобы куда-нибудь жаловаться или на чем-то настаивать. Но это еще не все. Почти ежедневно к директору института являлся какой-нибудь очкарик и, отвлекая того от работы, совал письмо на бланке, бормоча насчет научно-технической помощи, так как его учреждение занимается как раз ленточными паразитами, и ваши данные могли бы послужить... Какие данные? Да ваши тривиальные паразиты не имеют ни-ка-ко-го отношения к проблемам, которые решаются в нашей особо... понимаете? особо... м-м... специальной организации. С чего вы вообще-то взяли? Покажите-ка разрешение нашего министерства. Нету? Ах, так... Тогда не понимаю, как вы прошли через проходную. Минуточку ... Алло. Начальник охраны? Зайдите ко мне... Да. Так что у вас, молодой человек?. Ах, вот оно как, вы — по другому вопросу, в конструкторский отдел, а это так, попутно... Понятно. Нет, товарищ, у нас по-пут-но ничего не делается, это не ваш... м-м... червивый институт, а у нас — в каждый отдел — свой специальный пропуск. Ясно вам? Так что... а-а, вот и начальник охраны, он вас сейчас проводит к выходу лично, а сам вернется ко мне...

А вы, молодой человек, идите и занимайтесь своим делом, и в следующий раз — смотрите... Вот-вот... это и передайте своему начальству, руководству или кто там вас подослал.

Но посетители все равно лезли, как поганки в дождь, и это могло значить только одно: кто-то болтает.

Товарищ Пузырев еженедельно проводил инструктаж всех сотрудников, имеющих отношение к проблеме, для лаборатории же Кашубы лично составил специальные «Правила приемки и сдачи помещений». Согласно этим правилам каждый, уходя домой, должен был собственноручно расписываться в журнале, удостоверяя, что он: а) убыл, б) никаких служебных документов с собой не унес, в) ничего не оставил на рабочем месте, г) все, что надо, сдал вместе с ключами от своего письменного стола, который д) запер.

Утром, явившись на работу, надлежало перво-наперво расписаться, что явился, взял ключи, получил документы, отпер стол и так далее и тому подобное, — нас толкнули — мы, естественно, упали...

Около железной двери в виварий, войти в который можно было, только нажав кнопки секретного замка (шифр менялся два раза в сутки), день и ночь сидел за столиком ответственный дежурный, который тоже давал свой автограф по всякому поводу.

Итак, жизнь шла, как ей положено. И, как положено всякому большому делу, проблема «Червец», непрерывно разрастаясь, захватывала все новые позиции, рубежи и плацдармы. Кто-то уже куда-то рапортовал от имени района, а потом и города. А позже — от Северо-западного региона. В какие-то планы, на этот раз уже союзно-республиканского уровня, включалась эта сверхважная работа под кодовым названием, смысл которого никто не отваживался расшифровывать. Полугодовой объем научно-исследовательских работ по Проблеме планировали выполнить на тридцать два дня раньше срока, что дает возможность...

А люди ждали выходных, зарабатывали отгулы к отпуску, бегали по магазинам во время обеденного перерыва, боролись по общественной линии за усиление, укрепление и обеспечение трудовой дисциплины, шепотом обсуждали последние новости, переданные накануне по «Би-би-си», горячо переживали свои успехи и чужие неприятности, наблюдали, в частности, припав к окнам, как дочь профессора Кашубы однажды целых пятнадцать минут провалялась на тротуаре перед институтом, пока Алла Антохина на правах принципиального человека не позвонила Евдокиму Никитичу и не сказала со всей прямоотой, что Верочка, по-видимому, в нетрезвом состоянии лежит в двух шагах от проходной, а это не совсем удобно. И вообще!

Евдоким Никитич буркнул «благодарю вас», и через три минуты все наблюдали, как завлаб без пальто и с голой лысиной, венчающей башенный череп, пытается поднять с земли свое дитя. И, представьте, поднял. И отрянул, и поволок домой. Просто сдохнуть можно: считается, что — культурные люди, профессора, пятьсот рублей клад..

А на завтра ходил по институту с таким видом, будто ничего не было. Встретил в коридоре Аллу, кивнул с царственным видом и проследовал мимо. Ни «спасибо», ничего. «Интеллигенция!»

— Представляешь, — сказала Алла Максиму, угрюмо сидящему за дежурным столом возле вивария, — вот так и все люди: им делаешь добро, а они тебе за это — козью рожу. Ах, прости, совсем забыла — ты же Верочкин поклонник...

Не отвечает. Будто не слышит.

— Макс, ты что, обиделся? Я же пошутила. Макс! Лихтенштейн поднял голову.

— Я не обиделся, — четко сказал он, — уйди, пожалуйста.

Алла хотела сказать, что это хамство, она, конечно, уйдет, а он пусть потом просит извинения, она все равно...

но ничего этого не сказала, ни одного слова, потому что вдруг почувствовала, что сейчас разрешится. Она повернулась и медленно пошла прочь, опустив плечи, секунду назад так кокетливо и элегантно обтянутые югославским свитером. Никогда еще она не видела у Максима такого лица.

*Алла*

Алле было совершенно ясно, что Максим прогнал ее из-за Валерки, точнее, из-за вчерашнего разговора в буфете. Началось все с Лукницкого: прошел слух, будто его сын, женатый, вроде бы, на еврейке, собирается уезжать. Не то в Америку, не то в Аргентину, значения не имеет — Лукницкого и так, и так попрут с работы<sup>33</sup>.

— Жаль,— задумчиво сказал Максим, хотя ничего, кроме вреда, он лично от старикашки не видел.

— Мне, представь, по-человечески тоже жалко,— отозвался Валерий.— Но, к сожалению, в данном конкретном случае администрация не имеет другого выхода.

— Это почему же?

— А то, что родственники за границей.

— Ага. И он им будет продавать за доллары секретные сведения про нашего червяка. Поштучно. Со скидкой.

Вот тут бы Валерке и отвязаться,— Макс был явно не в духе, но Алла хорошо знала мужа: стоит возникнуть спору, ни за что не отступится, пока не докажет свое. Последнее слово всегда должно быть за ним.

— Кончайте,— все-таки сказала Алла и дернула Валерия за руку, но он не двинулся.

— Продавать он им, может, ничего не будет, но через пару лет и сам пожелает уехать. К родне.

— Вот интересно,— вдруг спросил Максим, пристально глядя Валерию в глаза,— вот ты, как ты лично относишься к этим отъездам?

— Я? — На лице Валерия проступило холодное, упрямое выражение.— Лично я,— сказал он, отчетливо выго-

варивая каждое слово.— Отношусь. К отъездам. Очень. Положительно. Я их горячо приветствую. Воздух чище!

Не дожидаясь ответа, Валерий зашагал к дверям. Он шел большими шагами, высоко подняв голову. Маленький, коренастый, всей своей фигурой, даже спиной, выражая непреклонную принципиальность. Бросив на Максима испуганный взгляд, Алла выбежала в коридор за мужем.

— Ты... ты что? — прошипела она, оглядываясь на дверь буфета.— Ты что — уже совсем?..

— В чем дело? — спросил он сквозь сжатые зубы.— Я кого-нибудь опять оскорбил?

— А ты как думаешь? Нет, мне это нравится... «Оскорбил»! Что значит «воздух чище»?

— То и значит, родная моя. Значит то, что, если они все отсюда выкатятся, для России будет только польза. Как-нибудь без них, сами... Скатертью дорога и, чем скорее, тем лучше. Надоело! Без конца охи да вздохи: туда их не пускают, там «за-ти-а-ют». Как же, попробуй пусти, в России места приличного ни для кого не останется!

— Опомнись! Сколько в Советском Союзе евреев и сколько мест?

— А вот наши и будут ишачить, а те — руководить! Да что «будут», ты сейчас вокруг погляди, открой глаза — кто пенки снимает? В искусстве! В литературе! Про науку я уж молчу! Для дураков они распустили миф, будто они, дескать, такие одаренные, прямо гений на гении. А я на это дело иначе смотрю,— Валерий резко остановился.— Вот представь себе: живут два мальчика — Лева Певзнер и Ваня Сидоров. Лева Певзнер проживает в Ленинграде, в семье зубного врача-техника, мамочка с пяти лет таскает его к учительнице музыки, а потом отдает в музыкальную школу при консерватории. Очень удобно — до консерватории пять минут ходьбы, даже улицу переходить не надо, а Левочка — такой способный ребенок, он даже пукает — на ноту «до»... А Ваня Сидоров — в Сибири, в деревне за сто километров от железной дороги, и у него

абсолютный слух, только ему этого никто не сказал, хотя в то время, пока Лева долбит гаммы, Ваня тоже... тренькает на балалайке. Леве папа-доктор за успехи купил велосипед, а Ваню батя выдрал, чтобы дурью не маялся. И балалайку сломал. Через десять лет Лева получит премию на конкурсе, и все скажут: «Ах, какой одаренный мальчик!» А Ваня начнет пить горькую...

— Бедный Ваня! В город ему, страдальцу, не попасть.

— А ты не иронизируй. Что за вздорная привычка — все оспаривать? Да, не пускают, представь себе. Паспорта председатель колхоза ему не дает. Слыхала про такое?.. Ну, сейчас, допустим, даже дает, ладно. И жить устроилась, тетка у него в городе. И даже учиться музыке захотел — так куда ему, переростку! Все места давно заняты: за роялями чистенькие мальчики — Лева и Боря. И Зяма! «При всем желании — не можем вас принять, товарищ Сидоров. Да и руки у вас... того, в мозолях». Нет, я не против, пусть и Лева, и Боря проявляют свои дарования. И Зяма тоже. Только все же лучше бы вам, друзья, с вашими талантами отправиться туда, к себе домой! А Россию оставить Ване и Пете. Россия — ничего, не пропадет!

— Между прочим, Левина родина — тоже здесь.

— Демагогия. Как волка ни корми... И вообще, что это ты так взъелась? Обиделась за Леву? Не волнуйся, о Леве есть, кому позаботиться. Один за всех, все за одного. А вот тебе-то какое дело до них?

— Потому что противно! Некоторые евреи, хочешь знать, получше некоторых русских. А Максу ты просто завидуешь...

— Чего?! Не смейся! Чему там завидовать? Спеси? Нет, ты лучше объясни, почему так за него заступаешься? Молчишь. Ладно, сам объясню: как же — высокий, нос — полметра. Сексуальный гигант! Что смотришь? Беги, валяйся в ногах, проси прощения, может, и осчастливит...

— Ну ты и мразь... — тихо и как бы даже с удовлетворением сказала Алла. — Высказался... — Тут она резко

повернулась на каблуках и пошла прочь, оставив Валерия одного посреди коридора.

Вот чем кончился вчерашний диспут в буфете. Алла с мужем в тот вечер не разговаривала, а он мириться первым тоже не хотел: с какой стати? Ничего обидного ей не сказали. Сама накинулась, как бешеная. Ну конечно, вывела из равновесия, а теперь ходит с оскорбленным видом. «Угнетенная невинность, или поросенок в мешке»<sup>34</sup> — это отец так говорил матери в аналогичных случаях. Ничего, переживет.

Ни Алла, ни ее муж не знали, что весь их разговор Лихтенштейн слышал. Почти слово в слово. Выйдя из буфета, он столкнулся с Гавриловым, который задержал его, рассказывая анекдот. Гаврилов говорил шепотом, Валерий же почти кричал. Так вот оно и вышло...

### *В интересах разрядки*<sup>35</sup>

Тем не менее выражение лица Лихтенштейна, так напугавшее Аллу, его обидное «уйди, пожалуйста» — все это не имело ни малейшего отношения ни к ней, ни к ее мужу. Цену таким, как Валерий Антохин, Максим давно знал, а сейчас было вообще не до Антохиных — в голове до сих пор на полную мощность транслировалось то, что час назад сообщил директор ему и Евдокиму Никитичу (конечно, в присутствии Василия Петровича Пузырева, нечетко обозначившегося в начале разговора посреди кабинета).

А сказал директор следующее:

— Положение, товарищи, серьезное. Мне только что звонили из... м-м... и сообщили, что американцы изобрели новое универсальное средство против... м-м... гриппа. Это сенсация! Событие, безусловно, мирового значения, что и говорить. И есть решение: противопоставить. А может, и обменять. Но противопоставить необходимо. Так сказать, в интересах разрядки. Там, Наверху, рассматривались разные работы, достойные конкурировать. И вот: был

звонок. Нам с вами оказана огромная честь. И доверие. Принято решение выйти с проблемой «Червец»...

— Тема закрытая,— деликатно напомнил Пузырев, на глазах обретая четкость очертаний и наливаясь красками,— широкие публикации, тем более, выход на границу...

— Минуточку,— твердо перебил его директор,— если Там решили, то какие могут быть разговоры! Наше дело выполнять. Так вот,— директор повысил голос,— в апреле состоится расширенное заседание Коллегии для отбора предложений. Должен быть представлен наш образец, мне придется выступить с подробным докладом. Сами понимаете, товарищи, все должно быть о'кэй. Вас, Евдоким Никитич, попрошу в течение недели подготовить тезисы. Это первое. Второе — демонстрационный материал: таблицы, графики, диаграммы. Возьмите художника, чтобы смотрелось. Третье и главное: сам экспонат. Он должен иметь товарный вид. Я сегодня ходил, смотрел — плохо, товарищи! Лежит, как тряпка, цвет какой-то, извините... защитный. Не смотрится. Подумайте, дайте предложения. Я вот... может, сшить чехол?

— Окрасить,— предложил Василий Петрович,— в шаровый цвет. Или суриком.

— Сдохнет,— предупредил Лихтенштейн.

— Этот вопрос решите в рабочем порядке, время пока есть. Но! Но его не так много, в обрез, а потому необходимо мобилизоваться и приступить к делу немедленно. Ничего не упустите: тара, транспорт. Если потребуется — вывести людей в вечернюю смену, в ночь. Заплатим живыми деньгами. Вы, конечно, отдаете себе отчет в том, что произойдет, если мы не справимся?.. Вы что-то хотели сказать, Евдоким Никитич?

— Мы,— начал Кашуба, раздуваясь,— мы все понимаем, что стоим сейчас на самом переднем крае отечественной науки. На рубеже! От нас и только от нас зависит ее престиж на мировой арене. От нас и только от нас...

Изображение Василия Петровича вдруг начало, потрескивая, фосфоресцировать и заметно увеличиваться в размерах. Кашуба растерянно смолк, а директор недовольно спросил Пузырева:

— В чем дело? Вам плохо?

— Прошу прощения — нервы, — ответил тот и, затрещав, принял свой обычный облик.

Этот разговор состоялся час назад. А двадцать минут спустя, вернувшись на пост у вивария, где он должен был сегодня дежурить вместо Лыкова («Понимаешь, старик, вот так! надо смотаться в одно место!»), — Максим, нажав шифрованные кнопки, отомкнул дверь в апартаменты червяка и обнаружил, что на малиновой ковровой дорожке, где обычно отдыхала рептилия, в безмятежной позе покоится спящий слесарь Денисюк, про которого всем известно — он дома, отбывает срок больничного. Но вот он лежит на полу в виварии, где, кроме него, нет ни единой живой души. Совершенно секретный червяк мирового значения, гордость и надежда отечественной науки, бесследно исчез.

Поначалу Максим, конечно же, испугался. Пропажа червяка предвещала феерический скандал, особенно в виду Коллегии, где «Червец» должен был продемонстрировать все, что положено. Максим понимал: в предстоящем скандале он, разумеется, станет главной фигурой, виновником и зачинщиком. Вмажут, разумеется, и Лыкову, поскольку дежурным-то был он, но рядовой безлошадный дежурный — это вам не главный исполнитель Лихтенштейн, который обязан бдить и отвечать, вот ему, заправице, и не спустят...

Однако постепенно сквозь холодный туман испуга все четче проступало облегчение. Точно сидел человек, скрючившись, в тесной пещере и собирался так сидеть без срока, но вдруг получил возможность выйти вон, распрямиться, поднять, наконец, голову. И так от этого сделалось легко, что первые мгновения и дела нет, что будет

с ней дальше, с головой, и плевать, что из кустов прет облава с берданками наперевес, и вот уже... Но сейчас, сейчас-то — свободен! И можно дышать во всю грудь, и расправить, наконец, затекшие, немые руки...

А ведь еще совсем недавно Максим Ильич тоскливо прикидывал и так и эдак, искал способы выдраться из постылой безнадеги с червяком. Но вот ситуация разрешилась сама собой: нету червяка, и всем привет! Получалось, он, Лихтенштейн, опасался добровольно влезть в холодную воду, а тут как раз наводнение... Имеется полный шанс, не прилагая усилий, вылететь с работы за служебное упущение. Со скандалом, со всем, что положено, но... И слава Богу! А? Не иначе — судьба. Значит, надо сейчас спокойно, это главное, спокойно принять и выдержать, что причитается. Отмолчаться и уйти. Начать новую жизнь. Какую? Да уж не такую, как была, в виде безмятежного движения по течению. Вниз. Тихо, дремотно. Отдельные пакости, вроде выступлений Валерочки Антохина, — не в счет... а, между прочим, стоило бы, выслушав вчера его пакости, вернуться и надавать по рожке! Но эти проблемы потом, потом... Сейчас — новая жизнь, все с нуля, без липы, без Кашубы, где-нибудь в тихом, непрестижном месте... А найдешь ли его, это место? С испорченной трудовой книжкой, с жуткой характеристикой, с пятым пунктом. Ничего, как-нибудь! И тогда исчезнет ставшая почти привычной тошнота от... от себя самого. И ворон этот чертов перестанет каркать, хохотать, изгиляться на своей вонючей горе! Нет, это в самом деле удача. Удача!..

Вот к какому выводу пришел Максим Ильич Лихтенштейн, обдумав все, что вытекало из пропажи червяка. Интересно: почему-то он знал, на сто процентов был уверен — червяк пропал безвозвратно, никакие поиски ни к чему не приведут. А он, Максим, пожалуй... готов. Готов пройти через все, что предстоит. Радости мало, но... Заслужил. Заслужил и заплатит.

И неприятности грянули.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

*Скандал*

Сначала был короткий разговор с Кашубой: так и так, животное исчезло, где искать — неясно, что будем делать? А полчаса спустя уже объяснение с директором: что же это вы, Лихтенштейн, с нами-то сделали? С институтом? С коллективом? Да вы... Да вы... Да мы!.. Кто сегодня дежурил? Лыков?.. Что значит — «не имеет значения»? Мне Евдоким Никитич доложил — дежурным был Лыков, а вы... Короче — ищите. Даю два дня, иначе... И Лыкову передайте, с него спросим. И еще как! Не найдете — пеняйте на себя.

Искать червяка Максим не стал. Знал, что не найдет, да и где было искать? Слесарь Денисюк, которого к концу рабочего дня с трудом удалось разбудить, только обалдело тарачился и мотал головой. Вместо ответов на вопросы, мыча, предъявил бюллетень с не вполне ясным диагнозом, но, когда Лихтенштейн взял его за плечи и, хорошенько потряхнув, спросил, где червяк, вполне ясно произнес:

— А хрен же его знает? Мне откуда, на хрен, знать?

И Максим (в который уже раз!) отчетливо понял: все эти поиски — пустое дело.

За пять минут до конца работы появился Лыков. Узнав о случившемся, впал в истерику, громко клял себя за то, что покинул пост, давая понять, что, не доверься он Максиму, ничего бы не произошло.

Однако главное началось на следующий день, когда Лихтенштейна пригласили к заместителю директора Пузыреву. В кабинете было двое. Один Пузырев — за столом, повседневный, в сером костюме, другой же стоял у окна. Был он в хромовых сапогах и френче и обладал острым ироническим прищуром. И непрерывно курил.

Беседу вел обычный Василий Петрович, а дубликат у окна в основном усмехался и пускал дым. Разговор вышел значительный.

— Поскольку непричастность Лыкова нами установлена, есть алиби, будьте добры сказать, кому, когда и при каких обстоятельствах лично вами был передан образец?

— Сэкрэтный абразец,— вполголоса напомнил Пузырев с папирсой.

— Никому. Господи, ну кому я мог его передать?

— Тогда где он? — спросил Пузырев, сидящий за столом.

— Понятия не имею.

— Отпираловка — известный прием, так где же червяк?

— Я сказал: не знаю.

— А вы (взгляд в сторону Пузырева у окна) не искренни с нами. Это плохо. Очень. Для вас...

От окна — кивок и клуб дыма.

— Как я могу узнать, куда девался этот червяк, когда никто не знает, откуда он появился?

— Демагогия. И попытка уклониться! Давайте определяться: вы «потеряли» секретный образец. Вы, не кто-нибудь. Сознаете, что это значит?

— Догадываюсь.

— А тогда сообщите: где, когда и кому. И при каких обстоятельствах.

Тут стоящий возле окна Василий Петрович слегка надтреснутым голосом сказал, что мтерс мтрулад унда давхдет.

— Вот именно! — Пузырев в костюме поднял палец.— С врагами будэм дэйствовать по-вражэски,— и безо всякого перехода заорал: — Где образец?! Где образец?! Где образец?!

Максим молчал. Противно стучало в висках.

— Старый прием. Отрицаловка. Надо определяться. Вы неискренни. Решайте, в какой поезд сядете. Туда или сюда? Где и при каких?

Может быть, это Максиму только казалось, устал все-таки... Но нет, голос Василия Петровича в самом деле

как-то все больше и больше обесцвечивался, терял напор, лишался интонации. Вопросы он перемежал длинными паузами, а тот, двойник в сапогах, и вообще замолчал, стал почти невидимым, окутанный клубами дыма. К концу второго часа он неожиданно распух: сперва раздался в ширину, потом стал расти: голова, принявшая размеры ведра, поднялась под потолок, папироса сделалась величиною с еловую чурку. Скоро этот Пузырев непонятным образом ухитрился заполнить собой весь объем кабинета, так что письменный стол и сидящие друг против друга Василий Петрович с Лихтенштейном оказались зажаты между гигантскими сапогами. Дышать было нечем из-за табачного дыма и запаха гуталина. Но вдруг меньший Пузырев взглянул на часы и, запнувшись на очередном «вы с нами не иск...», сообщил, что на сегодня разговор окончен, но учтите, это только на сегодня, а вот уж завтра будет конец.

— Или начало конца<sup>36</sup>, — прогудело откуда-то изнутри гигантской туши, после чего там зашипело, защелкало и неожиданно раздался бой часов. Под него Максим и покинул кабинет, кое-как протиснувшись между хромовыми голенищами.

Когда он был уже на пороге, вслед крикнули: «Надо определяться, Лихтенштейн!» Голос был не пузыревский, вообще незнакомый, визгливый и тоненький.

### *Собрание*

Полночи Лихтенштейн провел без сна. В самом деле надо было что-то решать. Еще парочка таких допросов, и станешь психом. ...А где, собственно говоря, записано, что Лихтенштейн обязан отвечать Пузыреву на его идиотские «где и когда»? И вообще — зачем сидел два часа в кабинете, задыхаясь от дыма, вместо того чтобы встать и уйти? Что за рабская, ей-богу, психология! В одном прав Пузырев: определяться действительно надо. Завтра

же подать заявление об уходе — и конец. Что дальше? Это потом, потом... Пусть все идет по порядку. На этом Максим и заснул, и спал тяжело, без снов. В институт на следующее утро пришел готовым к решительным поступкам, прямо в вестибюле столкнулся с Кашубой и уже открыл было рот, чтобы сообщить, что — все, намерен проститься, как Евдоким Никитич, весь сияя, забормотал непонятное — дескать, важное правительственное задание найдет прекрасный выход мы все внеоплатно долгуте теперь особенное необходимо на прячь все силы а вам решено оказать доверие...

Мелькнуло черное крыло, тени летящих мимо комьев скользили по каменному полу вестибюля.

— Сейчас, прямо с утра, — все в актовЫй зал, — раздельно закончил Евдоким Никитич, — будет экстренное общее собрание.

Собрание, судя по всему, было не просто экстренным, но чрезвычайно значительным, поскольку явилось все начальство во главе с директором. Вид у директора был торжественный, у Пузырева же — чрезвычайно благостный, ничего похожего на вчерашнюю злобность. Присутствовал Василий Петрович на сей раз в четырех видах, случай (на памяти Максима Лихтенштейна) беспрецедентный. Все четверо — в новеньких синих костюмах, белых рубашках с галстуками. Трое чинно уселись в первом ряду, нога на ногу, изготовились записывать, четвертый прохаживался позади стола президиума.

На трибуну поднялся директор и праздничным голосом прочитал краткое сообщение о досрочном окончании работ над первым опытным образцом по проблеме «Червец». С чем и поздравил всех присутствующих.

Переждав, пока отгремят аплодисменты, продолжил; сообщил, что первый образец, сыграв свою положительную роль, демонтирован, и лаборатория Евдокима Никитича Кашубы приступает к созданию нового. В работе будут использованы достижения как отечественной, так и зарубежной науки и техники в таких областях, как бионика,

электроника, химия, физика и математика. Проделанные лабораторией Кашубы исследования дали неоценимый материал. Трудились все добросовестно, с полной отдачей, но теперь от сотрудников потребуются еще больше сил и творческой энергии — новый образец, который предлагается смонтировать из отечественных полимеров на отечественных же полупроводниках, должен быть стойким ко всем видам статических и динамических нагрузок, радиации, агрессивным средам и различного вида бактериям. Сроки сжатые, время не терпит, но руководство института верит, что лаборатория Евдокима Никитича справится, а весь коллектив — поможет. В уже проделанной работе хочется особо отметить большой вклад старшего научного сотрудника Максима Ильича Лихтенштейн... на этом месте директор сделал паузу, Пузыревы же, сидящие в первом ряду, синхронно повернулись к Максиму и дружелюбно подмигнули. А Василий Петрович, остановившийся возле стола президиума, кивнул.

Директор продолжал речь, сказав, что, к сожалению, необходимо отметить отдельные недостатки в работе, а именно — недостойное поведение младшего научного сотрудника Лыкова, не проявившего творческой инициативы при работе над первым образцом. Руководством принято решение понизить Лыкова в должности сроком на три месяца с соответствующим уменьшением заработной платы.

— Правильно! — крикнули из зала. После чего, поговорив еще немного об ответственности, лежащейся сегодня на весь институт в целом и на каждого в отдельности, директор сошел с трибуны.

В зале зашевелились, в президиуме — тоже. Создалось впечатление, что сейчас распустят, вон и Пузырев, что-то шепнув директору, сделал шаг к трибуне — очевидно затем, чтобы объявить собрание закрытым. И в это мгновение Максим поднялся и пошел вдоль рядов к сцене. Еще мгновение назад он представления не имел, что пойдет. Он и сейчас не думал ни о чем конкретно, просто шел,

глядя прямо перед собой. Мимо любопытных взглядов, повернутых голов, мимо трех востепеневшихся Пузыревых в первом ряду он шел вперед, стараясь не касаться взглядом четвертого. Первым сориентировался, надо отдать ему должное, Евдоким Никитич и, когда Максим был уже в двух шагах от сцены, нарушив протокол, возгласил:

— От имени коллектива всей нашей лаборатории слово предоставляется Максиму Ильичу Лихтенштейн, ответственному исполнителю по проблеме «Червец». Максим Ильич! Проинформируйте товарищей, чем мы намерены ответить на решения, принятые руководством института.

А Максим был уже на сцене, рядом с трибуной. Он все еще не представлял себе, какими словами скажет то, что должен сказать. Да и не имели они сейчас значения, слова. Поэтому, шагнув к краю сцены, он заговорил, чувствуя непривычный покой в душе, и это чувство покоя становилось все более плотным и надежным с каждой произносимой фразой.

— Мне было стыдно, — сказал Максим, — слушать все, что тут сегодня говорилось. Стыдно. Ведь это же я заварил кашу с так называемой проблемой «Червец»! Всю эту бессовестную липу... ни у кого, я думаю, с самого начала не было сомнений, что это чистейшая липа? Бессовестный, повторяю, способ прикрыть нашу научную... импотенцию.

В зале стало так невероятно тихо, что было слышно, как шуршат по бумаге шариковые ручки троих Пузыревых, выполняющих свой неоплаченный долг в первом ряду. И тут в гулкой пустой тишине сухо, как пистолетные выстрелы, прозвучали три негромких хлопка профессора Лукницкого<sup>37</sup>.

Гул поднялся над рядами, точно пыль — над дорогой, по которой прошел трактор. Замер с полуоткрытым ртом директор, краска сползала с румяного лица Евдокима Никитича, сперва побелела лысина, лоб, потом нос — казалось, кто-то открыл кран, приделанный к одной из щиколоток профессора, и теперь кровь медленно покидает

его тело. Вот побелел уже подбородок, шея... Максим торопился — сейчас, сию секунду его прервут, но Василий Петрович, недвижимо стоящий возле трибуны, всего-навсего выдернул из кармана блокнот и взялся, наконец, за ручку, те же Пузыревы, что сидели в первом ряду, — наоборот, бросили писать, разделились, и вот уже один из них завис в левом верхнем углу зала, притиснув к глазам полевой бинокль, другой с автоматом Калашникова наперевес неведомо как очутился у окна лицом к залу, четвертый же занял позицию у двери, прислонившись к ней спиной.

Синих праздничных костюмов как не бывало; тот, что сторожил окно, оказался облаченным в военную форму начала сороковых годов — с петлицами, остальные трое — в повседневные серые костюмы.

— Больше всего мне стыдно, — говорил Максим, — что я... что все мы так спокойно, будто должное, опять слушаем вранье. По уши во вранье...

Висящий Василий Петрович перевел свой бинокль с Лукницкого на директора. Тот вздрогнул, волнообразно дернулся всем телом, будто через него пропустили ток, и хрипло закричал:

— Лишаю слова!

Шум взвился над рядами, заполнив зал до самого потолка. На секунду Максиму даже показалось, что стало темно. И сквозь эту темноту, сквозь какие-то выкрики и звон стакана, которым директор в отчаянии ударял о графин с водой, он успел еще сказать, что считает Лыкова не виноватым; но его почти никто не слышал — шум сгустился в плотную, звуконепроницаемую массу. Максим спустился со сцены, прошел к своему месту и сел, чувствуя физическую усталость и полное ко всему безразличие.

Пока директор яростно совещался с Василием Петровичем, на трибуне вдруг очутился Лыков. Зал тотчас стих, а Лыков, то и дело вытирая лоб, потным голосом,

срываясь, сказал, что категорически отказывается от заступничества Лихтенштейна. Поскольку полностью и целиком сознает свою вину и готов нести любое наказание! И только в таком больном воображении, каким обладает Лихтенштейн, — а это он доказал своим истерическим выступлением! — может родиться подозрение, будто он, Лыков, способен спрятаться за чью-либо спину, тем более за спину человека, проявившего неуважение ко всему коллективу. Остренький носик Лыкова покраснел, глаза с белесыми ресницами преданно мигали в сторону директора, Пузырева и смертельно бледного Евдокима Никитича, с поверженным видом восседавшего за столом президиума.

— Вместо того чтобы демагогическими заявлениями вбивать клинья между сотрудниками и администрацией, — лопотал Лыков, — Лихтенштейну лучше бы... лучше бы...

— Убраться вон! — выкрикнул с места Валерий Антохин.

— Товарищ Лыков, вы закончили? — спросил директор, оторвавшись, наконец, от Пузырева. — Спасибо. Слово имеет... Валерий Валентинович Антохин.

Лыков сбежал с трибуны и облегченно затопал по проходу, шаги были частыми и мелкими, и наверное поэтому казалось, что бежит он на четырех ногах.

Валерий поднялся на сцену солидно, перед тем, как начал говорить, поправил галстук, и только после этого громким, но плохо поставленным голосом (Павел Иванович всегда считал, что у его соседа хамский голос) заявил: выступление Лихтенштейна его ничуть не удивило. Напротив. Он давно ожидал чего-либо подобного именно от Лихтенштейна. Своей речью тот показал и доказал — в институте ему не место. И в нашей науке — не место! Таким, как он, нет, никогда не было, и быть не могло дела до нашей науки, для них она только средство, а не цель, средство для получения материальных благ. За чужой счет. И это не удивительно, напротив, в каком-то смысле даже понятно... Более того...

До Максима вдруг дошло, что теперь он вовсе не обязан сидеть в зале и выслушивать эту гнусь. Он, слава Богу, поставил точку, и лучшее, что может сейчас сделать, — это пойти и написать заявление об уходе. Он встал и вышел, никем не задерживаемый, даже тот Пузырев, что охранял дверь, на мгновение от нее отшатнулся.

Максим не слышал довольно, надо отметить, кислых аплодисментов, проводивших Антохина с трибуны, не видел и того, как Алла демонстративно пересела подальше от мужа. А директор, придя, наконец, в себя, сообщил, что собрание продолжается и следующим слово имеет передовой рабочий Денисюк.

— После чего, — добавил висящий в левом верхнем углу Пузырев с биноклем, — состоится проводы на заслуженный отдых всеми нами горячо уважаемого профессора Лукницкого.

Тут все встрепенулись и довольно осмысленно зааплодировали.

Между тем успевший занять место на трибуне Денисюк озадаченно смотрел на присутствующих, и в зале стала набухать увесистая пауза. К счастью, прямо в руки новатору откуда-то из-под потолка плавно спустился большой бумажный голубь, крупно исписанный фиолетовыми буквами. Развернув птицу и близко поднеся ее к глазам, Денисюк, запинаясь, громко призвал всех в зале убрать руки прочь... Потом замолчал, обиженно всматриваясь в текст, пожевал губами, подумал и произнес:

— Призываю убрать, значит, прочь... — и поднял глаза к потолку. Но помощи на сей раз не последовало. Не последовало ее также и со стороны того, с блокнотом, который только что был рядом с директором, но вдруг пропал. И от входной двери — в равной степени, не говоря уже об окне.

Дело в том, что Василий Петрович в это время уже сидел в пятом ряду, вернее, в пятом — только двое, справа и слева от Лукницкого, третий же — в шестом, за

его спиной. Что касается четвертого — автоматчика, — то он стоял неподалеку, в проходе, направив свое оружие на профессора, который понурился безо всякого движения.

Денисюк перевернул голубя и поискал, нет ли чего полезного и подходящего на обратной стороне птицы. Ничего не обнаружив и там, он напрягся, сдвинул брови, весь побагровел и закричал:

— Руки прочь от... от этой, на хрен... от охраны природы!<sup>38</sup>

Зал единогласно охнул, а на сиреневом лице Лукницкого забрезжила идеологическая диверсия.

Польщенный вниманием Денисюк обвел присутствующих победным взглядом, аккуратно сложил записку, сыгравшую свою положительную роль, снова превратив ее в голубя, и, размахнувшись, пустил под потолок. Птица взвилась, описала над залом окружность и внезапно вылетела в открытую форточку, никем, заметьте, не охраняемую. Денисюк захлопал в ладоши, в зале тоже послышалось несколько сомнительных хлопков, но из шестого ряда раздался милицейский свисток, и все замерли. Ударник пожал руку директору и удалился в зал.

Последовавшая непосредственно за этим процедура проводов на отдых пенсионера Лукницкого заняла считанные минуты. Скомандовав: «Руки назад», юбиляра вывели к трибуне, крепко держа с двух сторон за локти и подталкивая в спину. Автоматчик Пузырев в это время запер дверь, спрятал ключ в карман галифе, вытащил на трибуну директора, и тот безо всякой подготовки очень резко произнес короткую, но энергичную речь, начинающуюся словами «Сегодня мы прощаемся...» и кончающуюся фразой «Память о нем будет всегда жить в наших сердцах». Напрасно Лукницкий пытался перебить выступавшего, при первом же поползновении его приятели из конвоя так заломили ему руки, что он решил не вступать. Сморкаясь, директор сошел с трибуны, и тут дверь, только что на глазах у всех запертая на ключ, внезап-

но распахнулась, и в зал хлынул отряд первоклассников с цветами и еловыми ветками.

Зал встал, потом сел, вытер глаза, и все это разноцветье, разнотравье, все это колкое смолистое благоухание водопадом обрушилось на голову, плечи, спину и грудь бывшего профессора. Ноги у него подогнулись, он без единого слова опустил на крашеный пол зала и мгновенно исчез под ворохом цветов и веток. Грянули трубы, ударили литавры, застыл в скорбном молчании зал.

— Здорово, — прошептала Алла Антохина, — все-таки торжественно обставили, молодцы!

— А ты переживала, — ответил ей сидящий рядом Гаврилов.

И тут раздался залп последнего салюта — это Василий Петрович в военной форме начала сороковых годов разрядил свой автомат прямо в люстру. Словно летний дождь, посыпались сверкающие стеклянные осколки, а в форточку, слегка покачиваясь в воздушном потоке, вплыл большой бумажный голубь. Покружив над залом, он осторожно опустил на гору Цветов. Самый маленький из ребят бережно поднял птицу, развернул ее бумажные крылья и звенящим голосом прочел вслух:

— Спи спокойно, дорогой товарищ!

Громче всех рыдал передовой рабочий Денисюк.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### *Слухи*

Пришло лето, и десятки тысяч людей с облегчением покинули раскаленный город, точно сбросили, наконец, тесную, душную, пропотевшую рабочую одежду.

Десятки тысяч бодрых провинциалов с продуктовыми сумками и холеных интуристов с фотоаппаратами хлынули в город, битком забив магазины, улицы, палубы горластых

теплоходов, «пяточок» под стенами Петропавловки, пирожковые, музеи и рестораны.

Оставшиеся в городе по долгу службы аборигены жаллись в углы, чувствовали себя неудобно и как-то неловко, будто к ним в квартиру внезапно ввалилась большая, жизнерадостная и энергичная семья малознакомых родственников из Костромы.

Каждый вечер на пыльном, никогда не остывающем небе собирались тучи, ночью гремело и вспыхивало, но дождь так и не проливался, и утром солнце снова садистски палило и жгло.

Говорили о надвигающейся желудочной эпидемии. Ожидали лесных пожаров. Многие видели по ночам в небе различные неопознанные объекты<sup>39</sup>, один из которых даже вроде бы опускался на газон в Михайловском саду и сжег вокруг себя всю траву в диаметре пятнадцати метров, но был изгнан бездомными собаками, поднявшими страшный вой. На следующее за этим событием утро жара достигла тридцати градусов. Пожилые люди сосали валидол и намекали насчет вредительства.

В эти же дни пополз слух, что в новых районах обитатели седьмых, девярых и одиннадцатых этажей кооперативных домов систематически наблюдают некое ранее никем не виданное существо, которое по ночам якобы заглядывает к ним в окна. Существо это — не то гигантский змей, не то чудовище Лох-Несс, не то снежный человек — похоже на ящера с круглой головой и близко посаженными умными глазами. Говорили, что страшилище никого пока не трогает, но на чистом русском языке, слегка шепелявя, сообщает о надвигающихся ужасных событиях, вплоть до конца света.

На прошедших многочисленных собраниях жильцов были приняты резолюции: не оставлять окна на ночь открытыми, разъяснять обывателям, что слухи, распускаемые про страшилище, не имеют под собой почвы; провокационные же инсинуации самого страшилища пресе-

кать, сообщая о его появлении органам милиции и кому следует.

Позднее в особо доверенных кругах обсуждались не всем доступные сведения о странном нарушителе границы, оставившем неясный след на нейтральной полосе вблизи города Светогорска. След был обнаружен сверхсрочником Остапенко и его четвероногим другом Бризом и напоминал отпечаток тракторной гусеницы.

Все эти разговоры и сплетни, будоражащие население, конечно, не прошли мимо института, где одной из ведущих лабораторий заведовал профессор Кашуба, в конце мая получивший строгий выговор по милости некоего, теперь уже, слава Богу, уволенного сотрудника.

После того как по западному радио дважды передали очередную «утку», будто в каком-то мюнхенском журнале напечатали снимок, где группа туристов сфотографирована на фоне Ростральной колонны в обнимку с гигантским червяком, одетым в соломенную шляпу и солнцезащитные очки, — после этого провокационного сообщения в лаборатории провели производственное совещание, где присутствовал весь коллектив и где Евдоким Никитич подвел итоги работ, проделанных по второму этапу проблемы «Червец». Дела шли, надо сказать, совсем неплохо; и вот вам лишнее доказательство тому, что незаменимых нет и быть не может, тем более, свет клином не сходится ни на ком, в том числе и на Максиме Ильиче Лихтенштейне. Новый образец, изготовленный из полихлорвинила, внешне был почти идентичен старому, но имел по сравнению с ним явные преимущества, главным из которых было то, что двигаться мог только включенным в сеть, а не по собственной воле, что избавляло от необходимости постоянного наблюдения. Второе отличие состояло в том, что первый червяк был, как все помнят, теплым на ощупь, при проектировании же второго обогрев решили не делать, так как никаких заметных преимуществ перед возможными зарубежными аналогами он не давал, зато

при отсутствии обогрева достигалась значительная экономия электроэнергии. В общем, что говорить, на месте наука не стояла, настроение в лаборатории теперь даже как-то поднялось, каждый был занят делом, — нас толкнули, мы — что поделаешь? — временно упали, зато уж, когда нас подняли, мы пошли. Семимильными шагами, все дальше и дальше, выше и выше... к той самой вершине, где...

### *Пузыревщина*

Рассчитали Максима с молниеносной быстротой. Заявление об уходе он положил на стол Кашубе сразу же, как тот вернулся с собрания, и Евдоким Никитич, не поднимая глаз, раздраженно черкнул: «ОК, оформить».

— Зайдите к Василию Петровичу, — невнятно скрипнул он.

И правильно скрипнул — Василий Петрович являлся как-никак заместителем директора по кадрам. И Максим направился прямо к нему.

В кабинете Пузырева шло совещание «тройки»<sup>40</sup>. Обсуждалась, видимо, все та же история с проблемой «Червец», потому что при появлении Лихтенштейна все смолкли, а делавший сообщение Василий Петрович Пузырев постучал шариковой ручкой о столешницу.

— Регламент, регламент, — нестройно загалдели два других Пузырева и, положив одинаковые блокноты, уставились на Максима одинаковыми глазами.

От этих блокнотов, глаз и серых костюмов перед ним вдруг все поплыло, Максим покачнулся, но Василий Петрович ловко выхватил у него из рук заявление, мгновенно поставил в углу свою подпись и, держа Лихтенштейна за локоть, заботливо вывел в коридор и прислонил к стене.

— Работы нигде не найдешь, намучаешься... — прошелестело из кабинета. Но так тихо, что, вполне возможно, Максиму это только послышалось. Тем более, что стоящий

перед ним Пузырев был как будто полон дружелюбия. Посоветовал заглянуть сейчас же к директору, чтобы «покончить с формальностями сразу и на высшем уровне».

К директору так к директору, «уходя, уходи» и, чем скорее, тем легче.

Однако в приемной сидящий на месте секретаря Пузырев очень спокойно доложил Лихтенштейну, что директора в настоящее время нет в институте и не будет до конца дня, так как он умер. Из-за неплотно закрытой двери кабинета внятно доносился директорский бас.

— Ступайте, ступайте, — нахмурившись, велел Пузырев, глядя Максиму прямо в глаза. — Вам же сказали: скончался, и все дела. Сгорел. А заявление можете оставить, завтра же получите в отделе кадров обходной листок. Завтра, поняли? — и очень обаятельно ухмыльнулся. А затем достал из ящика стола небольшой траурный веночек, обвитый красно-черной лентой. «Дорогому товарищу директору от...» — прочитал Максим, а Пузырев тем временем ловко нацепил веночек себе на шею и, не проронив больше ни звука, взялся что-то писать.

Следующим утром шел проливной дождь. На остановке мрачно переминалась под зонтами мокрая очередь. Все молчали, устремив напряженные шеи в ту сторону, откуда должен был появиться автобус. Максиму сегодня торопиться было некуда, он стоял, выставив зонт, как щит — наперерез косому дождю. Мысли текли спокойно и вяло: сегодня оформить расчет, завтра... завтра весь день — отдыхать, заслужил, вечером можно съездить к Гольдиным... ох, и крику будет! Послезавтра заняться поисками новой работы. Если без претензий, тут, скорее всего, больших затруднений не будет. Но уж — без претензий, на завод, в цех, в смену, если надо. Ничего! Раз в жизни захотел быть честным — плати...

— Ев-р-реи есть? — раздалось за спиной Максима. Он повернулся. Здоровенный парень в насквозь пропитавшейся водой накидке с капюшоном стоял прямо в луже,

широко расставив ноги. Мясистая физиономия его была сизой, маленькие мутноватые глазки под выступающими надбровьями бродили по лицам стоящих в очереди людей.

— Ев-р-реи есть? — заорал он опять. И громко икнул. Очередь замерла.

— Ну, я еврей.— Максим сложил зонт. Верзила замер, с трудом остановив на Максиме сползающий взгляд, приоткрыл рот, потом закрыл его и вытер губы мокрым рукавом.

— Дур-рак ты! Политики не понимаешь... — проворчал он обиженно, повернулся и пошатываясь двинулся прочь.

Очередь пожала плечами.

От автобуса к институту Максим бежал наискосок через садик, и там, на мокром песке дорожки, едва не наступил на крупную бурюю жабу, хмуро восседавшую у края лужи. Жаба эта была товарищем Пузыревым.

К обеду он держал в руках свою трудовую книжку и деньги за неиспользованный отпуск. Стоя один в пустом и душном коридоре, он раздумывал, не пойти ли все же к Кашубе — проститься, и даже сделал один нерешительный шаг в сторону кабинета своего бывшего руководителя, но тут в конце коридора хлопнула дверь, раздался стук каблуков, и перед Максимом предстала Алла Антохина в таком виде, что он сперва ее даже не узнал, — лохматая, зареванная, с размазанной по щекам тушью и вспухшим носом. Подойдя к Максиму вплотную, Алла всхлипнула, обхватила его за шею и принялась громко плакать, выкрикивая:

— Сволочи! Гады! Паразиты!

— Но-но. Поаккуратней, — тотчас послышалось рядом. У стены недовольно наливался красками Василий Петрович. Голова его, шея и плечи уже ясно обозначились, нижняя же половина туловища почему-то запаздывала, так что казалось, будто в воздухе висит бюст Пузырева.

Услышав голос начальства, Алла оторвала лицо от груди Лихтенштейна и вдруг яростно бросилась к стене, где не спеша продолжал материализовываться Пузырев.

— Ах ты, мозглявка! — крикнула Алла и размахнулась. Максим даже прикрыл глаза и тут же услышал слегка испуганный и вполне миролюбивый голос Василия Петровича.

— Ты это... чего это? Ладно, ладно... расшумелась тут. Слова им не скажи. Цацы. Бегаешь целый день, как папа Карло, присесть некогда. Недовольны еще! Уволили по собственному желанию, скажи спасибо, могли бы по статье...

Максим открыл глаза. Пузырев тихо таял в полумраке коридора. Еще пару секунд его невнятный силуэт дрожал на фоне стены, а потом исчез и он.

### *Туда*

Работы он не нашел. Мало того — через две недели отказался от всяких попыток, так и заявил Гольдиным: «Пустой номер. Все. Больше никуда не пойду».

— Что значит? Это мне нравится! — возмутился Григорий Маркович. — Ира, ты слышишь? Он говорит — «пустой номер», он решил остаться без куска, этот мишугинер!<sup>41</sup> Без труда, родной мой, не вытащишь и рыбку из воды. И зачем такая паника? Пора привыкать. А без работы у нас пока еще никто не остался. Завтра же звоню Андрею Соловьеву, он что-нибудь сообразит. Это — большой человек, мы с ним с войны знакомы, командовал нашим дивизионом.

— Я сама к ним съезжу! — крикнула из кухни Ирина Трофимовна.

Нет, ничего искать Максим больше не будет, у него вот они где — эти отделы кадров. Каждый раз одно и то же: очень нужно, как раз эта специальность, давайте документы, характеристику, будем оформлять... Да-а... Сейчас-то, собственно... как бы сказать?.. Знаете что? Загляните

к нам завтра, хорошо? Утречком... А еще лучше — позвоните. Да! Надежнее сперва позвонить.

И назавтра: знаете, мы тут разобрались, со штатными единицами туго, прямо беда. Ждем сокращения... И должность конкурсная... Что? Согласны — инженером?. М-м... К сожалению, в части ИТР у нас полный комплект, так что месяцок-другой придется подождать... Если что, мы вам сообщим. Что? Нет телефона?. Найдем, найдем, не волнуйтесь...

И так — везде. С незначительными вариантами. В одной конторе уже почти оформили, позарез был нужен сменный технолог. А на другой день выяснилось, что вышла ошибка — уже принят другой человек. Просим извинения, накладка, с кем не бывает.

— Какой он неврастеник, честное слово! — Григорий Маркович даже вскочил с кресла. — Что это ты такое болтаешь? У нас безработицы нет, к вашему сведению. В жизни, знаешь ли, надо быть более стойким и выдержанным, не распускаться.

— Что ты кричишь? — Ирина Трофимовна входила в комнату с горячим пирогом. — Опять вечером будешь принимать нитроглицерин. Конечно, мальчик переживает. Остаться без работы, и за что?!

— Как это, что значит: «за что»? «За что»... За собственную глупость, за что!

Согласен. Сам влез в это дерьмо, сам и погорел. Все нормально. ...Вот только... надоело... Надоело. Работа, положим, найдется. Со временем. Может быть, вполне приличная. Допустим, не хуже той, что была. И... что? А то, что все снова: «нас толкнули — мы упали». Снова высматривать в замочную скважину, что там, у них, нового, и кидаться копировать. Задыхаясь и дрожа, осваивать кем-то придуманное двадцать лет назад. Точно своих мозгов нету!

Вспомнилось, как лет пять-шесть назад вдруг набрел на одну идею. Была она, правда, не по профилю лаборатории, зато сама по себе кое-что сулила... Да брось ты! — не «кое-что», а колоссальный мог получиться результат.

Максим загорелся, побежал к Кашубе, ворвался: «Ура! Событие! Срочно ставьте тему, через год-полтора, ну, через два, синтезируем новый полимер, износостойкость — на порядок выше!» Кашуба скривился: «Любите вы витать в облаках. Два года! Да за это время... и вообще, Максим Ильич, новые полимеры — не наше с вами дело, это пусть академические институты, а мы прикладники, для нас главное — не фантазии, не чистая наука, а помощь промышленности, и тут мы с вами, сами знаете, — в неоплатном долгу. Договор с Брянском в каком состоянии?.. Нет, не «на этой неделе», Максим Ильич, а сегодня. Поэтому что надо было — вчера!»

Поговорил с ребятами из академического. «Брось, старуха. Полная безнадюга. Это ты хочешь через нашего Дуба прорваться, через его полимеры, созданные им лично накануне Куликовской битвы? Да он тебя по стенке размажет».

Больше блестящих идей и творческих взлетов не было. Была диссертация — приличная, добросовестно сделанная. И только. Наверное, и в этом виноват сам. Нет, хорошая была диссертация, не хуже других... Что впереди? Карьера? Никогда не светила, а теперь уж давно. Да и ни к чему. Семейные радости? Родных не нашел, своей семьи не получилось. Был бы хоть бабником, вроде Лыкова, все веселей! Или какое-нибудь хобби... Вон Гаврилов — получил, наконец, садовый участок, теперь при деле: семена, пленка для парников... Нет, настоящим смыслом могла быть работа, но ведь, куда ни погляди, — гора. Памиры и гиндукуши... Душно. Душно, будто в комнате с низким потолком... в комнате, из которой выкачали воздух. Тут не станешь разбирать, какая на дворе погода, выскочишь среди ночи голый... Еще и Васьки в кадрах с этими блокнотами. В этих костюмах...

Последнюю фразу он, кажется, произнес вслух.

— В каких таких костюмах? — спросил Григорий Маркович, тревожно взглянув на жену.

— Да в серых, в серых, в каких еще!.. А и с них-то что взять, крутятся, как... папы Карлы. Профессия такая.

— Какие Васьки в костюмах? Какие Карлы, Максимушка? — тихо и ласково спросила Ирина Трофимовна.

— А?.. Нет, это я так, шутка.

Шутка... Зачем зря пугать стариков? Но вообще-то иногда Максиму начинало казаться, что он, и верно, того... сходит с ума: трамваи, битком набитые Василиями Петровичами, едущими на футбол, очереди за пивом, сплошь состоящие из Пузыревых, десятки одноликих прохожих в серых костюмах... Надо лечить нервы. Или... Но сперва — успокоиться. Успокоиться! Плюнуть на все, посидеть дома и не делать никаких телодвижений. Переждать полосу невезения. Деньги, слава Богу, пока есть, а там видно будет.

А если?.. Бред. Какое еще «если»! Кто за тобой придет? Кому ты нужен? Тоже еще государственный преступник. Червяка потерял. Шпион иностранных разведок. В институте скандал замяли, живут себе и работают, а значит, раздувать кадило дальше никому не выгодно. Понял, идиот? Понял. Ну, а если все-таки...

Максим молчал.

— Брось, — тихо сказал Гольдин. — Тебе просто надо отдохнуть. И ничего ужасного, можешь мне поверить: седьмой десяток в этой системе. Сейчас не те времена. А хлопоты я беру на себя, и запомни: ты не один, у тебя есть друзья.

— У тебя есть семья, — поправила мужа Ирина Трофимовна, разрезая пирог.

И начал Максим отдыхать. Неделю сидел дома — спал до одиннадцати, гонял радиоприемник. Перечитывал «Преступление и наказание». Как-то от нечего делать принялся разбирать письменный стол, вытащил из ящика все бумаги, рассматривал, сортировал, ненужное рвал и выбрасывал. После инвентаризации ящики сделались почти пустыми, — оказалось, очень небольшое захотелось Макси-

му сохранить на будущее, всего несколько фотографий: тощие, стриженные наголо, лопоухие пацаны и девчонки с испуганными детдомовскими лицами. Вон Макс: шея, как у куренка, глаза круглые, рот приоткрыт. Институтский выпуск: Лихтенштейн в первом своем настоящем «выходном» костюме — купил в долг под будущую получку. Лицо горделивое, с загадочно-иронической улыбкой, в глазах, как положено, — мировая скорбь. Дурак дураком...

Снимок с товарищами по лаборатории — в колхозе. А это — на демонстрации, под руку с Кашубой... теперь профессор этот снимок небось уничтожил... Рядом Гаврилов и две пьяненькие дамочки, одна — Алла Антохина, другая... Бог знает, как ее звали, — уволилась два года назад. Все снимки, обратите внимание, групповые, коллективные. Все бумаги — деловые. Так, черновики диссертации. Сжечь! Это никому никогда не понадобится... А ведь человеку полагается иметь архив, семейный альбом, чтобы — портреты дедушек, прадедушек. Полагается хранить старые материнские письма, ее тетрадку со стихами... Да... Максим наткнулся на несколько карточек девиц. Карточки были украшены нежными надписями. Вот и Алла, снималась за неделю до свадьбы с Антохиным. «Так уж и быть, возьми на память! Может, и пожалеешь когда-нибудь». Все это надо разорвать. Неизвестно еще, чем дело кончится. Васька же намекал, грозил... «Выбирайте поезд — туда, или туда». На Восток, стало быть, или... на Запад? Собачья чушь! В Сибирь, что ли, из-за этого червяка? Чушь-то чушь... И все же... Зачем, чтобы у девок были неприятности? Алла, дурочка, тогда в коридоре в голос ревела, за руки хватала, чушь всякую несла: «Люблю, всегда любила, тебя одного, только сейчас поняла, на всю жизнь, куда угодно, мужа брошу...» Дуры бабы, жалость у них — первое чувство, пожалела — значит, полюбила. Ничего, успокоится, а нам сейчас не до любовей, нам определяться надо, поезд себе выбирать. Туда, или... туда. Понятно вам? Туда... Или — туда?

За окном уплотнялись душные сумерки. Не то, чтобы темнело, темнеть не могло, белые ночи стояли над городом, просто туча вылезла на небо, грудастая и бесплодная — ни прохлады от нее, ни дождя. Казалось, эта разбухшая туча всосала в себя последние остатки влаги и кислорода. Туда, или... туда?

Вот он, поезд. Жесткое плацкартное место. Максим положил вещи и вышел на перрон покурить. Когда хотел войти обратно, проводница не пустила: вы, гражданин, лезете не в тот вагон, это первый, а вам — в последний. Идите, идите скорее, через пять минут отправление.

Он пошел к своему вагону, в конец состава, это оказалось далеко. Сперва надо было идти по платформе, когда она кончилась, Максим спустился, побежал по узкой извилистой тропинке, которая быстро вывела его на безлюдную улицу незнакомого провинциального городка. Утопая в пыли, улица лениво переваливалась с холма на холм, посередине ее нехотя бродили крупные золотистые петухи. Серый репейник стоял в канавах по обочинам, за стеклами подслеповатых окошек цвели герани.

На лавочке возле одного из домов грелась на солнце старуха. Голова ее казалась непропорционально огромной из-за толстого, в три слоя намотанного платка. На вопрос, как пройти к вокзалу, повторенный дважды, она махнула рукой куда-то вбок. Максим побежал. Улица тяжело влезла на очередной холм и внезапно кончилась, превратилась в раздолбанную, пересохшую, комковатую дорогу. Максим прибавил ходу.

За поворотом между стволами деревьев белело какое-то строение.

Но это опять был не вокзал. Это был очень странный брошенный поселок, состоящий из заколоченных щитовых домиков с выбитыми стеклами, поваленными телеантеннами, оборванными проводами. Около одного из домов, в огороде, где не росло ни травинки, ни кустика, а вся земля была перекопанной, Максим увидел двух мужиков

с лопатами. Безмолвно стояли они, опираясь на черенки, возле какой-то ямы и из-под надвинутых на глаза меховых одинаковых шапок хмуρο смотрели на Максима.

— Где тут вокзал? Как пройти? — крикнул он.

Мужики молчали.

— Как на поезд попасть? — умоляюще заорал он. (До отправления — всего две минуты.)

Нехотя подняв тяжелую руку, один из мужиков показал влево.

Максим бежал опять. Теперь это была лесная тропинка, юлящая среди сосен. Она шла вниз, между двумя песчаными взгорками. Постепенно тропинка становилась все уже, взгорки — все выше, Максим бежал теперь как бы по ущелью. Дышать было нечем, он остановился на секунду, и тут же позади услышал шаги, которые сразу стихли. Он вообще-то все время чувствовал, что за ним идут, но только теперь услышал их, эти шаги. И оглянулся. Мужик в лохматой шапке стоял со своей лопатой шагах в десяти и ухмылялся. Максим опять побежал, а тропинка вдруг превратилась в тоннель, потолок которого снижался, так что сперва пришлось пригнуть голову, но дальше-то надо было двигаться ползком на коленях, а там, похоже, что и на животе, лицом в землю. Сзади явственно слышалось сопение, Максим не оборачивался, и без того знал, кого увидит. Он увидит того, с лопатой, в шапке. Или второго, такого же. Пузырева. Василия Петровича. Было душно, так душно, что стискивало горло.

Время истекло. Он упустил свой поезд. Оставался тупик в конце тоннеля или... четырехугольная яма, вырытая ими в огороде.

— Надо было вовремя определяться, Лихтенштейн, — услышал Максим за спиной, почувствовал холодную, липкую, смертную тоску.

И... определился.

По туче прошла ленивая судорога, полыхнуло, загремело, несколько крупных капель тяжело стукнуло по карнизу.

В холодильнике он нашел недопитую бутылку водки. Вчера заходил Гаврилов, принес, но не пилося — жара. Максим взял со стола невытую чашку, плеснул туда остаток водки. Сегодня утром звонил Гольдин: «Пока никаких новостей, Андрей сейчас в отпуске, он бы...»

...Получалось — жизнь прожита в постоянном страхе. Максим всегда считал, что он не трус, а что на деле? Боялся нудных объяснений с руководством. Боялся кашубиной болтовни, от которой тошнило, росла гора и летел ворон. До увольнения боялся увольнения. Теперь — что не удастся найти работу. Боялся злорадных взглядов. И жалостливых — тоже боялся. Боялся всегда, в любой момент, возможной ситуации, в которой придется кому-то бить морду. Знал, что не струсит, но, Господи, как не хотелось! Боялся той минуты, когда в очередном отделе кадров, взглянув в анкету, замечутся глазами и снова скажут, что, к сожалению...

Он никогда не думал, что это чувство — страх. Думал: просто не хочу, потому что противно, унижительно, обидно, в конце концов. Не хочу! Но «не хочу» на самом-то деле и было страхом, потным, скверным, с мелкой дрожью, которая всегда возникала, когда надвигался пьяный скандал, где последняя мразь может безнаказанно назвать тебя жидом, и у тебя нет другого выхода, как лезть в безобразную драку. И, главное, надо было все время бояться, что не совладаешь с собой, подожмешь хвост, скажешь не то, что думаешь, не то, что обязан сказать. Обязан, если ты не дерьмо! А ведь этот страх не исчезнет, будет с тобой и в Сибири, и на Севере. До последнего дня, до смерти...

До сих пор Максиму везло: судьба не ставила его всерьез в такие ситуации. Валерий Антохин? Это так, пустяки, семечки! Ну, а дальше как? Потом, когда придет старость, когда что-нибудь менять будет уже поздно? Кто тебя тогда защитит? Нет, не от Пузырева, и не от пьяного антисемита, и не от хулигана. От нее: привычной,

повседневной, ввевшейся в кровь боязни унижения?. От чертовой духоты.

Туда!

На следующее же утро Максим отправился в ОВИР, захватив с собой вызов, неделю назад на всякий случай заготовленный Осей<sup>42</sup>.

### *Дома*

Конечно, такого сверкающего лакированного пола, как у Антохиных, такого финского мебельного гарнитура со «стенкой», такого бара (откройте дверцу, и внутри загорится лампочка «миньон», осветит ряд бутылок с исключительно иностранными наклейками — хоть сейчас взбивай коктейль), такой коллекции дефицитных новейших изданий<sup>43</sup> — ничего этого в комнате Павла Ивановича не было. Вещи здесь стояли старые, разрозненные. Кресло, например, — дедово кресло с круглой резной спинкой темного дерева — они с матерью привезли в сорок пятом из Белоруссии. Мать рассказывала, что это кресло старше нее. Павел Иванович тоже помнил его с детства — до войны к деду ездили на лето каждый год, в семейном альбоме даже имелась фотография: двухгодовалый Павлик с завязанным горлом важно восседает в дедовом кресле, «читает» толстую книгу, уместив ее на коленях.

Большой письменный стол принадлежал отцу Павла Ивановича, а еще раньше — его отцу, инженеру-строителю. От деда-инженера, не дожившего до революции, остался и чернильный прибор с мраморной доской и двумя, сейчас пустыми, чернильницами; в одной Павел Иванович хранил кнопки, в другой — скрепки. А вот широкий диван, на котором спит Павел Иванович, купили недавно, всего три года назад. Выбирали вместе с матерью, еще поспорили из-за обивки — Павлу Ивановичу приглянулась красная, а мать настаивала на темно-зеленой: красная скоро надоест, утомительно для глаз и вообще больше подходит

для будуара... легкомысленной женщины. Купили серьезный зеленый диван. А кровать, на которой мать спала сама, — чуть ли не бабушкино приданое. Деревянные спинки выкрашены в белый цвет, и на них — сиреневые ирисы. Эту старую кровать вместе с таким же сиренево-белым туалетным столиком мать несколько раз порывалась продать в комиссионке или подарить тете Зине — «ни то ни се, сошло бы еще, будь у меня отдельная спальня, а так...» Павел Иванович продавать не дал, а теперь следил, чтобы покрывало всегда было чистым и выглаженным и хрустальные флаконы на туалете не пылились. Берег он и книги в старинных, с золотым тиснением переплетах: словарь Даля, энциклопедию Брокгауза и Ефрона, прижизненное собрание Салтыкова-Щедрина, самого любимого писателя Павла Ивановича, дореволюционных Достоевского, Гоголя, Пушкина. А еще Бальзака. И Диккенса, которого без конца перечитывала мать. Но больше всего было стихов, мать всю жизнь любила стихи: из Пушкина, Ахматовой или Пастернака могла часами читать наизусть. В общем, большая часть библиотеки собрана была еще родителями Павла Ивановича, чудом уцелела в блокаду и стояла теперь рядом с подписными изданиями и техническими книгами, приобретенными позже им самим.

Когда-то школьница Алла брала у Татьяны Васильевны классиков читать по программе. Теперь собственные классики в новеньких переплетах скучали за стеклом ее финского стеллажа, и раз в неделю Валерий чистил их пылесосом: «Почитаем, когда выйдем на пенсию, сейчас некогда, пускай стоят для будущих детей».

У Павла Ивановича пылесоса не было, так и не собрались купить. Как и при матери, раз в неделю он смахивал тряпкой пыль с книжных полок и тщательно протирает стекла двух фамильных портретов в дубовых рамах. Один портрет представлял собой увеличенную фотографию деда в белом халате и докторском колпаке, на другом маслом была изображена надменная дама с высокой

прической, бабушка по материнской линии, урожденная Сенявина. Род Сенявиных — старинный, бабушка окончила Екатерининский институт и, как часто повторяла Татьяна Васильевна, «ни разу до самой смерти не позволила себе выйти к столу без корсета. И не сутулилась. Павлик, выпрямись!... У них в институте девочек каждый день заставляли по два часа выстаивать у стенки, прикасаясь только затылком и пятками, сохрани Бог опустить плечи или прислониться к стене...»

Про корсет и стояние у стенки мать вспоминала всякий раз, как Павел Иванович сутулился или, того хуже, садился за стол в мятой рубашке. И он безропотно вставал и шел переодеваться.

— Сделаться хамом очень легко, — шурилась мать, — а отучиться от этого невозможно.

И даже в самые мрачные дни, когда и есть-то бывало почти нечего, она упрямо стелила на стол крахмальную скатерть и клала на специальные подставки серебряные столовые приборы с бабушкиной монограммой «NS» — Наталья Сенявина.

— Это же никаких денег не хватит на прачечную! — сокрушалась тетя Зина. — Да еще и с крахмалом! Купили бы, Татьяна Васильевна, клееночку, я хорошенькую видела в «Гостином» третьего дня.

Не признавала мать никаких клеенок, и даже теперь, без нее, Павел Иванович продолжал обедать на скатерти, хотя стояние в очереди в прачечной опостылело ему до последней степени.

Над обеденным столом висела небольшая окантованная фотография отца. Снят перед самой войной в Ялте. Белая рубашка с отложным воротником, вьющиеся темные волосы зачесаны назад, темные глаза наивно смотрят в объектив. «Это был удивительно красивый человек, Павлик, все женщины обращали внимание. Он походил на итальянца, и, кажется, там в роду что-то было... Ты, к сожалению, лицом в меня. Вот — считалась дурнушкой,

а как любил! Блестящий, великолепный инженер, милостью Божией. И при этом никакого честолюбия, тщеславия, карьера его не интересовала. Здесь ты, к несчастью, похож во всем».

На тумбочке рядом с диваном Павла Ивановича стоял старый радиоприемник «Телефункен». Каждый вечер лет так с четырнадцати слушал Павел Иванович перед сном музыку, ловил заграничные станции, а когда стал постарше — передачи по-английски. Мать одобряла: на английском не опасно, и опять же тренировка в языке. Сама она и английский, и французский знала с детства, так что слушали обычно вместе.

Благодаря приемнику Павел Иванович полюбил и серьезную музыку, начал ходить с матерью в филармонию... Теперь-то не до концертов — кошунством казалось развлекаться, когда мать там... А вот в комнате своей, среди привычных, любимых вещей, расставленных ее руками, он всегда чувствовал себя надежно и уютно, особенно если за стеной не слышно было соседей. Можно прилечь на диван, включить радио, или читать, или просто думать, это ведь очень важно — оставшись одному, сосредоточиться, понять, что происходит вокруг и в тебе самом, что — главное, а что — пустяки, где ты был прав и должен стоять на своем, а где... И как жить.

Павел Иванович с детских лет был убежден, что его дом — самый лучший дом в мире, гордился, когда к нему приходили товарищи, мать встречала гостей радушно, оставляла обедать, и ребята потом говорили: «Как у вас хорошо, богато». А какое там «богато»! Просто мать все умела делать красиво.

Однажды, когда Павел уже учился в институте, начались разговоры, что в Советский Союз приедет с визитом Эйзенхауэр. Визиты иностранцев, тем более американцев, не были тогда таким будничным событием, как сейчас. К Соединенным Штатам благодаря своему приемнику Павел Иванович относился с большим любопытством, поэтому

решил, что будет уместно пригласить зарубежного гостя к себе. А что? Ничего смешного! Интересно же президенту посмотреть, как живут простые советские люди, интеллигенты. Не так чтоб уж слишком богатые, но и не бедные ведь! Ему наша комната, конечно, должна понравиться, посидим, попьем чаю из праздничных саксонских чашек, а потом вместе послушаем джаз.

— Ох, Павлик... — только и сказала мать, когда он воодушевленно поделился с ней своими заветными планами. — Ну, а как же ты собираешься довести до сведения генерала Айка, что согласен его принять?

В ответ он задумчиво сказал, что надо, наверное, заблаговременно послать письмо в Министерство иностранных дел, чтобы там учли приглашение и включили соответствующий пункт в программу мероприятий, намечаемых для высокого гостя.

— Дурачок ты, — покачала головой мать, — прямо дитя, а ведь студент уже... Идеалист. Трудно тебе будет.

В последнем она, к сожалению, не ошиблась. А Эйзенхауэр тогда так и не приехал.

Эту субботу Павел Иванович проводил дома. Сверхурочной работы в тресте не нашлось, да и чувствовал он себя в последнее время довольно паршиво, устал, и жара замучила, решил отдохнуть. С утра сходил на рынок, купил все, что нужно, к завтрашнему дню для матери, потом не спеша прибрал в комнате, распахнул было окно, но со двора вместо прохлады хлынул раскаленный затхлый воздух, пахнувший химией, так что пришлось плотно закрыть обе рамы. Павел Иванович решил сегодня не выходить, разве что под вечер добрести до «Сайгона»<sup>44</sup> — так нарекла молодежь кафетерий на углу Невского и Владимирского, чтобы выпить там кофе. Обычно он обедал в столовой на Фонтанке неподалеку от треста. Можно бы, конечно, просто сварить макароны, но для этого надо торчать на кухне, а там сегодня с самого утра истово хозяйничала Алла Антохина.

Павел Иванович очень хорошо помнил, как тетя Зина почти силком заставляла дочку выносить мусорное ведро или подметать пол в коридоре, а уж если, не дай Бог, наказывала вымыть раковину и ванну, хлопали двери, раздавался Аллин рев и крики: «Я тебе не Савраска! У меня уроки не сделаны!»

Так было до самого Аллиного замужества и отъезда тети Зины в деревню. Проводив мать на вокзал, Алла сразу, в тот же день, принялась делать в комнате перестановку, выбросила тети Зинин комод, кровать с никелированными шарами, Валерий узлами таскал во двор какие-то тряпки, выносил полузасохшие кактусы; потом, уже ночью, молодожены вымыли пол, и началась новая жизнь. Вот тут-то и появилась финская мебелировка, Алла же теперь, бывая дома, буквально не присаживалась: все время что-нибудь чистила, мыла, скребла, пекла, закатывала, обдавала кипятком и откидывала на дуршлаг. Вот и сегодня: сперва долго гудела стиральная машина, потом, позвякивая, по коридору проследовал Валерий с сеткой пустых бутылок и уже от входной двери крикнул жене, орудовавшей в ванной: — Я после посуды за апельсинами постою!

Алла не ответила. Последнее время между супругами явно был разлад, но Аллино хозяйственное остервенение от этого почему-то удесятирилось.

Развесив на кухне белье, она, видимо, взялась варить обед — до Павла Ивановича доносилось раздраженное брнчание кастрюль.

Павел Иванович знал, что соседка не уймется теперь до вечера. В звоне посуды ему слышались злоба и упрек бездельникам, которые валяются по диванам, когда люди вкальвают, он даже вздрогнул, услышав, что в коридоре, у самой его двери, шаркает швабра. Он негромко включил приемник и, пошарив в эфире, нашел музыку. Это был Чайковский, Четвертая симфония.

...Когда-то очень давно, в школьные годы, они слушали ее вместе с матерью. Было это летом, в парке, кажется,

на Елагином острове. Оркестранты сидели на открытой эстраде, Павел Иванович с матерью стояли на дорожке сбоку, и мать вдруг прошептала ему на ухо:

— Погляди, какой трогательный. Старенький. А контрабас — как попугай.

Павел Иванович сперва не понял: кто старенький? Какой попугай? Но всмотрелся и увидел: маленький старичок, покрасневшись от воодушевления, щипал струны, а над худым плечом его поднимался гриф контрабаса, и, казалось, там сидит нахохлившийся большая заморская птица с крючковатым клювом. Пахло душистым табаком, листьями, рекой...

Музыка смолкла. Под дверью было тихо, потом раздалась удаляющиеся шаги, Павлу Ивановичу показалось: Алла идет на цыпочках.

Алла ошибалась, когда говорила мужу, что сосед не замечает их с Валерием, не считает за людей, а только за «со-своей-подметки-грязь». Павел Иванович, напротив, очень даже их замечал и всегда помнил об их присутствии в квартире. Вот и сейчас, слушая музыку, он никак не мог отвлечься от мысли, что Алла совсем рядом, и это мешало ему. Он опять, в который раз, задумался о ней. Что заставило эту молодую, красивую, образованную и вполне обеспеченную женщину гнуть спину, день за днем убивать на хозяйственные работы? Она ведь делает в десятки раз больше, чем требует того необходимость. Нет, никто не говорит, что нужно бездельничать, жить в грязи и кормиться по столовкам, особенно если у тебя семья. Никто этого не говорит, мать вон тоже всегда готовила обед, и в комнате был порядок, но делалось это как-то весело, между прочим, без насады. Не считалось первостепенным. Есть в доме обед — хорошо, нет — не умрем, можно поджарить колбасы. Белье сдавалось в стирку, полы мыла уборщица из «Невских зорь», а иногда и тетя Зина («Татьяна Васильевна, хочу подзаработать»). По вечерам мать часто работала дома, сидела

над рукописями, она до шестидесяти лет была редактором в большом издательстве. И все-таки оставалось время читать, поехать осенью в Павловск, а весной — в Петергоф, или просто побродить по набережной; оставалось время для спокойной беседы, не о быте, нет, не о том, что нигде ничего не достать — одни очереди, даже не о том, как неудачно женился сын сослуживицы, а о том, например, как трудно, почти невозможно сказать себе правду о себе самом, о том, что это вообще такое — правда, или, допустим, хорошо или плохо — быть честолюбивым. Мать могла вдруг надолго замолчать, задумавшись, засмотреться на воробьев, скачущих по заснеженной дорожке в парке, на ветку с набухшими почками, на облако за окном. И Павел Иванович понимал: это очень важно, это вот и есть та самая внутренняя жизнь, которая требует к себе внимания, уважения, требует труда и времени, да! — времени, и тратить на это время ничуть не жалко, а необходимо, во сто крат нужнее обыденной пустопорожней суеты. И, наверное, она, внутренняя-то жизнь, как раз и отличает человека от старательного муравья, волокущего еловую иголку, или от курицы, которая так трудолюбиво и сосредоточенно роется в пыли...

Стоит ли приносить все это в жертву ослепительному паркету, ежедневному пирогу, запасам варенья и даже консервированным («совсем как свежие!») огурчикам среди зимы? Стоит ли платить за огурчики такую цену?

Стукнула дверь, и Валерий протопал в кухню, громко, как это было у них заведено, переключаясь с женой. Павел Иванович поневоле получил информацию, что апельсинов в магазине нет, но молочные бутылки сданы, а винные сегодня не принимают<sup>45</sup> — в пункте переучет. Несколько минут Антохины возбужденно ругали безобразные порядки в службе приема стеклотары, потом Алла сказала, что надо снести макулатуру — она набрала целый мешок, и еще хорошо бы попасть в химчистку, ковер уже пора сдавать.

— Мы хотели, когда в отпуск... — возразил было Валерий.

— А чего откладывать? Время есть,— буркнула Алла.

Время есть... Для ковра есть время, для макулатуры, для очередного надраивания и без того блестящих кастрюль... А с чего я взял, что за свое образцовое ведение хозяйства они платят какую-то бешеную цену? Что, если я все время путаю причину и следствие? Они заняты делами, считал я, поэтому у них ни на что больше нет времени, его сожрали без остатка «совсем как свежие» огурчики. Все не так! Огурчики — следствие... Они сами находят себе дела, забивают время до отказа всей этой... шелухой. Ага... Тут что-то есть. «Белье в прачечную не отдаю, там рвут». У нее хватит денег купить новое, даже если разорвут, но деньги тратить жаль, а время — не жаль. Почему? Из скупости? Нет.

Алла не скупая. Переживания по поводу прачечной, сдачи бутылок, чистки ковров, доставания модных книг и — будь они неладны! — консервирования огурчиков ей нужны. Это... форма духовной жизни. Или — душевной? Пусть душевной. Потом появятся переживания по поводу покупки машины, гаража. Обстановки для новой кооперативной квартиры. Нет, они не накопители! Это на них наклепали журналисты<sup>46</sup>, дело тут вовсе не в барахле. Дело в том, что им необходимы эти хлопоты и, на первый взгляд, бессмысленные телодвижения. На первый взгляд! Это все бессознательная попытка заполнить пустоту в неразвитой, темной душе, которой никто никогда не интересовался, никогда не занимался, в которую кое-как напиханы и тут же забыты пустопорожние, жестяные правила и ничем не подкрепленные декларации... И ведь так же по-деловому, торопливо domыв полы, Алла побежит на концерт и станет, наморща лобик, изучать программку, догадываться, что хотел сказать автор своим произведением. Или схватит перед сном дефицитного Булгакова<sup>47</sup>, чтобы тут же отложить — спать хочется. Да и как же не хотеться, если за день столько переверочено: во-первых, стирка,

во-вторых, обед, в-третьих... в-четвертых... в-десятых... И только на самом последнем месте, когда ничего более важного не осталось, — Булгаков, на которого уже нет сил... А не записана ли эта судорожная, беспробудная деятельность в ее генетический код? Надо встать с петухами, подоить корову, накормить скотину, потом детей, и — в поле до заката. Изо дня в день, из поколения в поколение... Ни минуты без дела, — чтобы вот так, просто так, валяться на диване, решая мировые проблемы... А ведь получается, что правы-то — они, Алла с ее огурчиками и непрерывными уборками, они — работники, а те, кто на них не похож, кто живет иначе, — обычные лентяи. Они, небось, и в институте у себя вкалывают... А вот что стала бы делать такая Алла, если бы не тратила столько времени на быт? Если бы кто-то все за нее организовал, устроил, наладил? А нашла бы себе другое занятие! Принялась бы что-нибудь коллекционировать или... лечиться от болезни, тотчас возникшей от тоски и пустоты.

...Но ведь мать уничтожила бы меня за эти рассуждения: «Высокомерие! Пренебрежение к простым людям! Позор! Русская интеллигенция никогда себе не позволяла, напротив...» Все верно, мама, даже то, что такая жизнь, как у них, у Антохиных, имеет право на существование ничем не меньшее, чем любая другая, чем моя, твоя... может быть, даже и большее, только мне... только я... Да, я знаю, ты сказала бы: «Любите ненавидящих вас» — а они ведь даже не ненавидящие, просто совсем другие. Инопланетяне... Или это я — не приспособленный к жизни... вырожденец?..

Раздался громкий крик:

— Надоело! Ты давал слово!

— Не хлопай дверью! И не обзывайся! — Валерий выскочил за женой в коридор. — Любимое дело — чуть что, клеить ярлыки. Выходит, раз ему так повезло, что он еврейчик, о нем уже и слова сказать нельзя?

— Ты почему-то всегда точно знаешь, кто еврей, а кто узбек. Не спутаешь.

— А ты бросаешься защищать! А сама говорила...

Переругиваясь, Антохины ушли, не иначе — ковер потащили в химчистку. В доме сразу стало тихо и хорошо, можно было даже выйти и поставить, наконец, чайник, но Павел Иванович еще несколько минут посидел на диване — а вдруг вернутся. Потом все-таки отправился на кухню, всю завешанную бельем. Нырять под веревки и задевая головой мокрые простыни, он зажег горелку. На столе Антохиных красовался новый предмет: большое эмалированное ведро с крышкой. Наверняка — для квашения капусты, солений или мочений... А все же дело обстоит не так-то просто... Это легче всего сказать — «нет у них внутренней жизни»... «Еврейчик»... С чего бы такие проблемы? У Аллы аж голос звенел, а Валерий, наоборот, бубнил, он всегда бубнит, когда злится. У нас с матерью почему-то никогда не заходил разговор на эту тему. С детства было известно: ругать евреев, антисемитом быть позорно.

Есть антисемитизм у нас сегодня или нет — этот вопрос был как-то вне сферы интересов Павла Ивановича. Наверное, есть, особенно бытовой, — вот, пожалуйста, возьмем хоть Валерия. Впрочем, евреями, с их обостренной, столетиями выработанной чувствительностью и комплексами, все эти проблемы явно преувеличиваются. Павел Иванович не раз слышал, будто еврейские школьники не могут и думать о поступлении в университет, слышал, но не очень верил, не мог поверить — такая нелепость... Да... а Валерий-то хорош... Нет, это подонок. Скажите на милость, ариец выискался!

Раздался робкий звонок, и вслед за ним в дверь забарабанили, похоже, ногами, и Павел Иванович бросился отворять. На пороге он увидел худого, приземистого пьяного в рабочей спецовке.

— Х-хозяин, — с трудом произнес тот, протягивая Павлу Ивановичу нечто, завернутое в тряпку, — возьми ты его, ради Бога. За пятерку, на хрен, отдаю.

Павел Иванович растерянно попятился, и пьяный шагнул за ним в квартиру.

— Возьми, хозяин, а? — враждебно прогудел он и высвободил из-под тряпки новенький, блестящий микроскоп. — Новая машина, на всю жизнь. Бери, не пожалеешь!

— Нет у меня пятерки, — честно сказал Павел Иванович.

Секунду пьяный осуждающе глядел на него, потом махнул рукой:

— Бери за треху!

Но у Павла Ивановича и трешки лишней не было. Хуже того, не нашлось даже одеколona, так что пьяный совсем расстроился. Под конец ему отчего-то вдруг, видимо, стало жалко Павла Ивановича, и он сказал:

— Ни хрена! Ты... этого, не переживай, понял? А... Деньги... эта... тьфу... И растереть! А будут — заходи, я тут всегда. Сегодня, на хрен, отдежурю — сутки дома, а со вторника — в любое время. Соседний дом, понял? Любую машину тебе устрою, лучше этой. Эта, на хрен, — дерьмо, хоть и из нержавейки. Там, знаешь, какие есть — во! С газовую плиту, гад буду! А хочешь — полотенце вафельное принесу? Целый, на хрен, р-рулон. Ну, будь здоров!

Павел Иванович запер за гостем дверь и побрел в свою комнату... А жить так больше нельзя, это не жизнь. Сегодня вот подслушивал соседские разговоры. Что будет завтра? «Жалкое прозябание», — сказала бы мать. Надо по-другому, но как? Она бы знала — как... Но ведь не так же, как Антохины... А может, ты в глубине души им завидуешь, потому и злишься: зелен виноград? Может, и сам бы не прочь, чтобы сейчас тут между стульев двигалась со шваброй крепконогая, ладненькая хозяйка — и... какие там еще, на хрен, духовные запросы? — наводила бы в доме порядок, вон — в углах — паутина! А ты бы сам... ну что? — пылесосил. Или переклеивал обои. Не нравится? Тогда женись на мясниковой дочке: «Ах, я так обожаю живопись! На Литейном в комиссионке продают картину, пейзаж с деревьями. Художник? Н-не знаю... Кажется... Мусье? Или Монпасье, короче — француз...»

...Если проникнуть в парк через калитку и пойти по аллее, то между стволами скоро покажется дом. Деревянный с белыми колоннами и портиком. Широкая, посыпанная песком дорожка ведет к подъезду. Залитая солнцем гостиная. Рояль у окна. Женщина в белом платье. Кажется, это место называлось... Смирновицы?.. Смердовицы? <sup>48</sup> — так вроде говорила мать. То ли там было имение Сенявиных, не то — просто ездили к кому-то в гости, мать была совсем маленькой девочкой, не помнит точно. Парк из одних дубов, а вокруг — лес, настоящий дикий лес, с грибами, ягодами, чащобой. Взрослые пугали: там водится настоящий волк... Где это? Теперь не узнать.

...Женщина у рояля подняла голову, увидела Павла Ивановича, улыбнулась... Да... Идеалист. Это верно, вернее не скажешь. И фантазер.

Теперь усадьбы наверняка нет — сожгли. И парк вырубали.

Павлу Ивановичу нужно, чтобы вернулась мать. И чтобы все было, как раньше. Больше он сейчас ничего не хотел.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### *Валерий*

А Валерий Антохин вовсе не считал себя антисемитом, хотя, конечно, у него было вполне сложившееся мнение по поводу типичных черт характера лиц этой национальности. Между прочим, право на свое мнение по тому или иному вопросу имеет всякий человек, а речь идет исключительно о типичных, среднестатистических национальных чертах, вовсе не обязательных для всех и каждого. Так Валерий и сказал Алле во время последней ссоры, когда она договорилась до того, что обвинила мужа в фашизме. Валерий тогда еще напомнил, как он всегда относился к Григорию Марковичу Гольдину, и добавил, что среди

евреев встречаются на редкость симпатичные и толковые люди. Действительно: никаких отрицательных эмоций Григорий Маркович у Валерия, несмотря ни на что, не вызывал. А вот Лихтенштейн — вызывает.

Причины? Их более чем достаточно. Начиная с его самомнения, манеры вести себя с этакой барской небрежностью, точно этот еврейчик — по крайней мере наследный принц, и кончая... что ж, допустим, тут сугубо личные дела, но все-таки вряд ли кому-нибудь понравится, если его молодая жена на третий день после свадьбы покажет ему некоего долговязого пижона библейского вида и сообщит, что он, дескать, ее «первая, хотя и безответная любовь». Выходит, красавец пренебрег ее чувствами, и тогда она с горя осчастливила его, Валерия Антохина. Довольно смешно, не так ли? Нелепо и смешно. И, надо отдать Валерию должное, он никогда не опускался до того, чтобы всерьез ревновать Аллу к Максиму, даже теперь, когда та разыграла из себя борца за права малых народностей и вовсю демонстрировала свою симпатию к Лихтенштейну и сочувствие по поводу безобразной истории с «Червецом». Валерий считал, что в скандале Максим целиком виноват сам, нечего было разводить демагогию на собрании, а руководство обошлось с ним поразительно мягко: могли бы отдать под суд за историю с «первым образцом», так нет же, замаяли, а ему, несмотря на скандал, всего-навсего предложили уволиться по собственному желанию. Почему-то с ними так всегда, другой бы сгорел, как свечка, а этот отправляется за рубеж. Решение Лихтенштейна поменять подданство, о котором мгновенно узнали в институте, а) доказало, что этому человеку плевать на всех, вплоть до государства, которое его вырастило, и б) подтверждало мнение Валерия насчет волка, которого, как ни корми... Короче, Лихтенштейн оказался, грубо говоря, — предателем. Предал из трусости, такие случаи известны.

Эти свои соображения Валерий спокойно и достаточно дружески изложил Алле, что вызвало новый всплеск

благородного гнева. Ему дали понять, что он мелкий завистник(?!), комплексант и, в общем-то, подонок, и Алла просто не может понять, что могло связывать ее с таким человеком. Конечно, Валерий был убежден, что ее поведение — блажь, женские фокусы, но, согласитесь, всякое терпение имеет пределы! Он чувствовал, что еще немного — и сойдет с резьбы: запьет или... ударит Аллу. Или, и это скорее всего, впадет в нервную депрессию. Такое скверное состояние было у него только однажды в жизни, на первом курсе, когда Валерий оказался один, без родителей и знакомых, в огромном городе и несколько месяцев чувствовал себя так неуютно и одиноко, что чуть не сбежал домой, — самолюбие удержало.

В маленьком сибирском городке, райцентре, где было всего одно предприятие и командовал этим предприятием его отец, Валерия Антохина узнавал на улице каждый второй. Секретарь райкома здоровался с ним за руку. Здесь же, в институте, среди тысяч незнакомых людей, из которых ни один не проявлял нетерпеливого желания скорее познакомиться и подружиться с рядовым студентом Антохиным, Валерий растерялся. Набиваться на дружбу он не привык; слоняясь в перерывах между лекциями один по коридорам, осторожно посматривал на шумных ленинградских ребят, прикидывая, отличаются ли они чем-нибудь от его одноклассников. И от него самого.

Вроде бы и одет Валерий был не хуже них — в импортный, дорогой костюм, и прическу носил такую же. Но вот не умел он так вольготно усесться на подоконник, закинув ногу на ногу, и громко острить, чтобы все проходящие оборачивались. Развязность и самоуверенность — вот чем они отличались, эти мальчишки! Поняв это, можно было бы, казалось, и успокоиться, сойтись с кем-то из скромных иногородних студентов, которых на курсе было достаточно, только никто их не видел и не слышал, но самолюбивый Валера Антохин привык, чтобы его видели и слышали. И, смилив свою гордость, он сделал попытку

подружиться с теми, что всегда были на виду, с уверенными, шумными и раскованными.

Самыми заметными среди них были двое: Юра Аксельрод и Марат Соколин. Юра, высокий, спортивный, элегантный, чем-то, пожалуй, походил на Макса Лихтенштейна, только Максим — brunet, а у Аксельрода были длинные и — странно! — светлые волосы. Его приятель Соколин никак не мог претендовать на звание красавца — роста он был невысокого, не выше, чем Антохин, маленькие темные глаза смотрели из-под очков с постоянной насмешкой. Одевался Марат кое-как: в потертую куртку на молниях и брюки с пузырями, вечно ходил небритый, но стоило ему открыть рот и, не повышая голоса, сказать несколько слов, как все окружающие, глядя на него с обожанием, принимались хохотать, девушки аж визжали, приговаривая: «Ой, Соколин! Ну ты даешь! Ой, не могу!» Похоже, каждая вторая уже успела втрескаться в остряка-самоучку, хотя не только красотой, но и особой галантностью тот не отличался.

И все-таки Валерий старался держаться поближе к этой компании, приходил после лекций в вестибюль под часы, где в окружении подлипал всегда околачивались Аксельрод с Соколиным, стоял там вместе со всеми, смеялся чужим остротам, но участвовать в общем разговоре — как-то не получалось, робел.

Школьником Валерий часто развлекал ребят, копируя походку учителей или общих знакомых. Как-то под часами он, набравшись смелости, рискнул изобразить, как ходит преподавательница математики, которую за манеру подволакивать ногу весь институт называл «Кривая второго порядка». Никто не улыбнулся, а Марат посмотрел Валерию в глаза долгим, грустным взглядом и пожал плечами.

Валерий ушел, дав себе слово плюнуть на этих пижонов. Для чего, в конце концов, он поступал в институт — учиться или трепать с ними языком?

На следующий день после занятий, подходя к их любимому месту под часами, он нарочно ускорил шаг

и отвернулся. И вдруг услышал громкий голос Аксельрода:

— Антохин! Ты куда это устремился? Валера, стой!

Валерий и не думал, что они знают его имя, до сих пор вся эта компания вела себя так, точно Антохина не существует в природе.

Он подошел.

Затянувшись сигаретой, Марат Соколин спросил:

— Хочешь новый анекдот?

Вся братия смотрела на Валерия, и он, краснея, про-  
бормотал:

— А чего... Давай.

Соколин кивнул и деловито начал:

— Значит, так: повели слепых в баню...

Кто-то из девчонок захихикал, и Валерию тоже стало смешно.

— ...а поскольку они слепые,— продолжал Марат с хмурым видом,— то и повели их в женскую баню...

Все дружно захохотали, Валерий засмеялся тоже, испытывая радость, облегчение, даже любовь к этому небритому Соколину, к ребятам, сразу ставшим своими.

— ...Вот один слепой налил в шайку горячей воды да ка-ак плеснет сослепу на голую бабу. Та как заорет: «Ты что, мать твою! Ослеп?! Это ж кипяток!» А он: «Ну-у? А я думал: это... компот...»

Валерий хохотал так, что у него текли слезы. Он даже глаза закрыл. А когда открыл их, увидел вокруг серьезные лица, сочувственные взгляды и только потом услышал смех — свой собственный одинокий смех, громкий, визгливый, нелепый.

Сложив на груди руки, Соколин с любопытством смотрел на Валерия, будто экспонат в музее разглядывал. Потом повернулся к Аксельроду и лениво сказал:

— Вот тебе иллюстрация: конформизм в чистом виде.

Почему, вспоминая этот случай, Валерий Антохин до сих пор испытывает стыд, унижение и ярость? Ведь уже

на втором курсе все изменилось: он съездил на целину, он получил повышенную стипендию, его избрали в факультетское бюро. К третьему курсу он уже чувствовал себя в институте ничуть не хуже, чем дома, в своем сибирском городке. И Соколин, кстати, оказался нормальным, контактным парнем, выступал с фельетонами в самодеятельности; Валерий часто сталкивался с ним, когда приходилось организовывать вечера, и Марат держался вполне дружелюбно. Похоже, он начисто забыл про случай под часами.

Валерий до сих пор не любил вспоминать те несчастные первые месяцы в институте, да и не было, слава Богу, повода вспоминать. И вот теперь, через столько лет, в своем собственном доме, со своей собственной женой он вдруг опять почувствовал себя отверженным провинциальным мальчишкой, которому во что бы то ни стало хотят доказать, что он — хуже всех. Это он-то... И, главное, хуже — кого?!

...А Юрку Аксельрода, между прочим, отчислили на втором курсе за академическую неуспеваемость...

### *Встреча*

Всю ночь до рассвета слесарь Денисюк Анатолий шел к себе домой в Дачное.

После работы завалились с ребятами в угловой, взяли три «бомбы», полпалки «отдельной»<sup>49</sup> и два батона булочки. Потом сидели в садике на лавке, и вроде бы подходили менты, но, видно, обошлось — вот же он, Денисюк, жив-здоров, не битый, идет к себе домой. Приходится — пешком, трамваев нет, метро давно закрыто, да что метро! Хрен тебе, не пускают они, гады, в метро, чуть чего: «вы в нетрезвом виде», а заспоришь, пригласят ментов — и с приветом.

Денисюк тихо брел по пустым светлым улицам, белая ночь стояла над Питером, под ногами путались клубки тополиного пуха.

На той стороне, возле перекрестка, где светофор, две собаки играли в домино. Тоже, видать, коротают ночь, бедолаги, некуда, на хрен, податься. Хорошо все-таки, когда есть свой угол, а то ведь вот сидят ребята, «козла» забивают, а что за «козел» вдвоем? И ведь никому-то от них вреда нету, а коснись что — к живодерам. И ни одна падла не заступится, кому дело до ничьей собаки? Никому. Вот гадство.

А у Денисюка угол был, комнатенка. Конечно, хреновая, но — в новом доме и, как ни крути, — своя. Пускай в коммуналке, но все равно, что в отдельной — соседей всего одна семья и люди как люди, а если чего и бывает... ну так ведь у кого, если на то пошло, не бывает? Где ты видал, чтобы не поговорить, ты — ему, он — тебе? Да хоть и дадут раза — так тоже: заслужил — получи.

Нет, хоть задавись, не вспомнить, куда пошли из того садика и почему вот оказался он, Анатолий, поздно ночью один на скамейке в сквере на площади Стачек. Среди собак.

Зато днем, на работе, вообще получилось смешно, здорово получилось. С утра-то, конечно, на хрен, был немного поддавши, самую чуть: помогал переносить столы, и Кашуба, золотой старик, наградил — сто грамм гидролизного. Настроение стало хорошее, и после обеда зашел на склад, а там бабы сидят, дурью маются, давай шутки разные шутить, а Денисюк, сам не знает с чего, вдруг возьми и скажи: я, говорит, бабы, сегодня без исподнего, мы с тещей одни трусы поперемен носим, сегодня ее очередь.

Чего выдумал, сам даже удивился — какая, на хрен, теща? А эти дуры обрадовались, закудахтали: врешь, говорят, не верим, докажи. Он им: и докажу, бабы, только давайте заспорим. Выйдет, как я сказал, — вы мне двести грамм чистого, а если вру — ящики вам со двора перетаскаю за так!

Заспорили. Тут эта Рюхина, самая у них старшая, бойкая такая стервь, как говорят, «баба с яйцами», орет:

— Ну, давай, доказывай, предъявляй свое хозяйство.  
Денисюк ей:

— Больно умная. Сама гляди и убеждайся.

И думаешь, побоялась? Подскочила, хохочет, рожа красная. Ну, пропало дело: трусы-то тут, хотя и рваные.

Расстегнула она пуговицу, другую, и вдруг как занервничает, аж дрожит, на верхней губе — пот, глаза шалые. Эх ты, едрена палка, баба-то, она ведь и до старости баба. Денисюк ей так и сказал:

— Ну, чего ты, на хрен? Проверяй давай! Не стесняйся!

Она как отпрыгнет и давай орать:

— Хулиган! Зараза! Мать твою так и растак! В гробу я тебя видала! Больно надо! Девки, да налейте вы ему спирту, пусть отваливает со своим дураком!

Вот умора... А не скажи — жалко ихнюю сестру, которые вот так, без мужика... Спирт, конечно, взял и пошел. К концу дня уже хорош был, а там зашли с ребятами...

...А здорово как на улице ночью, все такое, на хрен, чистое, спокойное, людей нет, никто тебя не толкнет, не обругает. И пух этот тополиный, вроде снега, точно зима. А тепло, хоть в реке купайся.

Хмель постепенно выходил, но настроение, против обычного, не портилось — уж больно светло и тихо было на улице.

Когда Денисюк подошел к дому, был уже совсем как стеклышко и чувствовал себя отлично. Над городом начиналось утро.

В комнате своей сразу открыл окно. Запахло тополем.

Он стряхнул со стола крошки, вынес на кухню окурки, составил в угол пустые бутылки из-под пива — завтра нести, сдать. Спать совсем не хотелось, но часок покемарить все ж необходимо, в восемь — на работу, будешь, на хрен, ходить смурной, как все равно идиот.

И только Денисюк принялся разбирать постель, за спиной зашуршало. Денисюк обернулся.

Ну, мать твою!.. Гад, живой и целый, которого лично у магазина на бутылку сменял, из-за которого потом такой вышел базар! Ведь как приставал Кашуба: признавайся, где животная тварь, говори! Но не такой дурак слесарь Денисюк Анатолий, не первый год на свете живет, все понимает: секретный — он секретный и есть, из сейфа; хоть червяк, хоть, на хрен, крокодил, тут дело такое — решеткой пахнет. Денисюка не расколешь! В милиции три раза был — и ни хрена. А тут на старости лет — и в тюрягу идти из-за того, что по пьянке взял эту гнусь да снес к магазину? Еле допер, тяжелый, зараза, а тот ханыга, который бутылку дал, тоже был хорош, сам еле на ногах стоял. Поверил, что рулон полотенца, обрадовался, хрен собачий, схватил и к животу прижимает. Унес гада. А вот теперь — он здесь, торчит в окне, башкой машет, змей. Еще и в очках! Белая горячка, что ли, у меня? Сгинь, дьявол, провались!

Денисюк даже перекрестился, но червяк и бровью не повел, ввалился через подоконник, все свои метры в комнату затащил и — к столу, ставит, сука, на стол «маленькую» — где взял? Магазины сто лет как закрыты. Сидит, улыбается, козел змеиный.

Денисюк ему:

— Ты чего?

А он:

— Да так. Зашел вот к тебе, сказать, что ты все же сволочь, слесарь Денисюк Анатолий. Еще называешься ветеран труда.

— Ну, ты! Поттише! Знаешь: мы таких-то говорков сшибали хреном с бугорков.

— А мы таких рассказчиков... гребли на рынке с ящиков, — червяк отвечает. Как разумный. Сам берет со стола «Север», спички, закуривает.

Ну что тут будешь делать? Денисюк достал стаканы, даже на кухню сходил, вымыл. Разлили.

Червяк: так, мол, и так. Ясное дело, я от твоего жлоба в тот же вечер уполз, поищет он свое полотенце. И, сам

понимаешь, не в жлобе дело. И не во мне, мне — что. Я лично даже рад, что так получилось — неожиданная перемена в судьбе. Но парня ты зачем подставил? Максима? Хороший ведь парень.

— А... не русский он, — сказал Денисюк, подумав.

— Ну, а хоть пускай бы не русский. И что? Получше тебя-то, пьяницы.

— Это ты брось, понял! — обиделся Денисюк. — На свои пью, это раз. А второе — кто я есть? Хозяин страны. Понял?

— Дурак ты, уши у тебя холодные. Хозя-я-ин! А он — кто? Шестерка? Он же сирота, всего — своими руками, а ты его — под вздох...

— Ладно. Насчет сироты, конечно... Я — чего? Я, допустим, как бы сказать... на хрен... а и поумнее меня ошибались, понял? Не плачь, выпей лучше, устроится твой Максим, парень он с головой, везде возьмут.

— Вот и видно, что чудило ты грешный. Правильно говорят: дурака драть — только... хрен тупить... Возьмут! Потом догонят и еще раз возьмут. У него — анкета, сам же тут разорялся. Уезжает он. Насовсем. В государство Израиль. Ясно тебе?

— Та-ак... Ну, дела... Ай да Максим Ильич, ну, мужик! Еще ты говоришь, они не хитрые. Ей-богу, молодец! Они его — на хрен, а он — их. На хитрую-то жопу есть хрен с винтом, понял-нет? Устроится, лучше здешнего будет жить, попомни. Спасибо еще мне скажет.

— Ну ты и бутылка — «устроится». Тут родина его, а этот: «устроится»!

— Так я ж тебе объясняю — не русский он, еврейской нации, какая тут родина?

— А вот точно такая, как и у тебя. Он что, в Африке родился? Мать-отец из Америки приехали? Здешний он, всё у него тут... Вот ты, скажи, ты бы уехал? А?

— Я-то? Ясное дело! Тут-то чего хорошего? Заимел бы машину, каждый день, как фон-барон... Там, понял? —

вкалывай, и все будешь иметь, а я чего-чего, а вкалывать могу, рабочий класс!.. А только пошел бы ты с этой заграницей! Я ее — знаешь как? Туда и сюда, понял? На хрен она мне, мне и здесь хорошо, рабочий — он и есть рабочий, отмантулил свое...

— Это ты — рабочий? Какой ты рабочий, алкаш ты, работать давно разучился!

— А вот это, на хрен, брось! За такое можно и в рыло... Да мне — чего велят, я — безотказно, мастер — золотые руки, хотя бы Кашубу спроси Евдокима Никитича. Они то сами гайку и ту завернуть не могут, чуть что: «Анатолий Егорович» да «Анатолий Егорович! Пож-жялусста, не откажите в любезности...»

— И — гидролизного?

— Чего это — «гидролизного»? Нальют и ректификату, не думай. У нас не заграница твоя — каждому, на хрен, по труду.

— Не смей! Квалифицированный слесарь, а чем занимаешься? Круглое катить, плоское тащить?

— Вот прилип, зараза! У нас — всякий труд почетный. Мне лично очень даже нравится. Кому не нравится — гуляй, а мне хорошо.

— Тебе?! Да ты хоть знаешь, что это такое — хорошо? Полвека отжил, а что видел? Было ли тебе хоть раз в жизни хорошо-то, единственный разочек?

— А хочешь знать, хотя бы и сегодня! Шел вот домой — и до того хорошо — чисто, тихо... Прямо как в деревне. И не лезь ты в душу, сука плоская, не то как...

— Сдалась мне твоя душа! Ничего в ней не осталось, кроме разве что перегара. Деревню вспомнил. И сидел бы там, чего не сиделось?

— Ага! Ты б еще спросил, чего меня мамка девкой не родила. Девятьсот сорок пятый год, понял? Подыхать там, что ли?.. Ну, а и остался, так что бы сейчас там делал? Деревни нет давно...

— Матка твоя, покойница, к слову сказать...

— Матка! Так она, дурья твоя башка, еще при царе родилась, привыкла — на земле... Ведь ишачили в поле с утра и до вечера, считалось — так и надо. Все — и матка, и батя, дед с бабкой — тоже... А там теперь и полей-то не осталось, одни кусты... Дома по бревну порастащили... Раньше-то богатая была деревня, хлеба — от пуза, молока — залейся. Давно только, при барине еще. А и я помню — до войны бабка чуть чего: «Ох, чего счас-то, вот при барине, при Ляксандре Тимофеиче...» И другие старухи заводят: «Ой, верно, ай, так — и церкву расширил, и школу построил, и ребятишкам деревенским на Рождество — елка с гостинцам». Да и батя мой, покойник, — тоже. Хвалили того барина. Это да.

— И куда же он подевался, благодетель-то, Ляксандр Тимофеевич?

— А кокнули. Когда усадьбу жгли. Батя вспоминал — они это, значит, приходят, а барин — на крыльцо: «Вам чего, мужички?» Ну... его и... У нас в избе долго еще гардероб стоял, я так лично его с рождения помню, красивый такой, блестит... Мать как померла — все растащили, дом — на дрова... Соседи, хрен их... а может, из города кто.

— Да-а... А барин-то? За что его?

— Как — «за что»?! Барин он, кровосос... Да чего ты все пытаешь, гад заморский? Шпион ты или кто? То про границу, то — барин антисоветский... У меня своя жизнь, понял? Какая есть, такая и есть, не жалуюсь. Вон — комната двенадцать метров, санузел отдельный, работа... тоже...

— Ага. В шараге. А ведь не врешь, были у тебя золотые руки... как у бати-покойника... да ты его разве помнишь, батю-то?

— Опять завел. Да батю убили, мне восьми лет не было <sup>50</sup>...

— Я к тому, что он, батя твой, все мог — и дом поставить, и печь сложить, и на земле... Да и ты, когда еще

на заводе... А теперь — что? Теперь ты, брат, свои руки пропил, погляди — трясутся. А помнишь — еще в ФЗУ отличали, мог бы...

— Что — «мог»? Ну что — «мог», зараза хренова? Вспомнил! Видал я твое ФЗУ.. вместе с тем заводом... Гудит, как улей, родной завод, а мне-то...<sup>51</sup> Плевал я, понял?

— Еще бы не понять. Обидели, как же! Бригадиром поставили, нахваливали, а ты уж и расчувствовался, бабе своей внушал: «Ценят, отмечают». Чуть на радостях пить не бросил, полтора месяца в рот не брал. А они: «Иди-ка ты, Денисюк, назад, на рабочее место, рупь в час, два в день, сто дней — сто рублей. Иди-иди, у нас на бригадирскую должность получше тебя есть, грамотный, из техникума». Ну, ты и загудел. По-черному. Так загудел, что родная баба бросила, из дому ушла. Верно?

— А верно — не верно, какой теперь спрос... Ну, поставили горбатого Сашку, подлипалу, у него, и точно, ксива была, образо-о-ванный... Только им не это главное, им — чтобы начальству задницу получше вылизывал... И отвяжись. Пристал, как в ментовке, надоело. Живет человек спокойно, работает в этой... научной лаба... лабалатории, все уважают. Не каждому в начальники вылезать.

— Тебя? Уважают? Разуь глаза! Уважают его, главное дело. «Бобик, сидеть, Бобик, лапу! Бобик, служи!.. Ай, хорошо, ай, молодец, вот тебе косточка... то бишь — стопочка». Что, не так? Уважают... Ну, чего дрожишь, озяб или с похмелья? Пошел я, счастливо оставаться... уважаемый...

И пропал червяк. А Денисюк Анатолий чего-то вдруг до того, на хрен, расстроился — ну сил нет! Вроде и выпили, а ни в одном глазу, а где ее сейчас возьмешь, семь часов утра. Черт бы его взял, сволочь плоскую, с этими разговорами. Всю душу, подлюга, разворотил... Значит, уезжает Максим. Это надо! Сходить, что ли, к нему? А зачем? Выгонит, а то и морду набьет. И за дело... Жалко парня. И Рюхину жалко, дурищу старую... Главное: «Бобик, лапу дай»... Зар-раза...

По коридору сосед к дверям протопал, на работу пошел, и Денисюк решил постучать к Марии, его бабе, у нее иногда бывало, оставалось от праздника.

Он постучался и вошел. Мария в халате, растрепанная, злая, рылась в шкафу, вышвыривала на пол какие-то тряпки.

— Ну? Чего тебе? Всю ночь базлал, спать не давал! — сказала, не поворачиваясь.

— Мария, налей,— попросил Денисюк.

— Пошел ты... пьянь. Ходит тут с утра пораньше, побирается. Нету!

Мария захлопнула шкаф, повернулась, руки — в бока.

— Чего пристал? Говорю: нету. Иди, иди, расселся тут. Не в кино.

Видно, что-то хотел сказать Денисюк Анатолий, дернул шеей, завел глаза, потом вроде всхлипнул и боком повалился с табуретки на пол.

«Скорая» приехала быстро. И ругались: зачем к покойнику врачей вызываете, ему врач не нужен, ему — морг, милицию вызывайте.

Ну не умора, на хрен? Весь день проносило, берегла судьба Анатолия от ментов, а тут, напоследок,— прямо к ним в лапы.

### *«Восьмерка»*

По вечерам Павел Иванович ходил гулять. Это была давняя, многолетняя традиция, заведенная еще матерью. Существовало несколько маршрутов: для морозной или ненастной погоды — «малый круг», несколько кварталов неподалеку от дома, продолжительность — пятнадцать минут. Весенняя прогулка предусматривала полуторачасовое путешествие по Фонтанке к Калинкину мосту, а оттуда — к Новой Голландии. Осенью хорошо было пройти вдоль Летнего сада по малолюдной ветреной набережной, где за парашютом вздувается и опадает выпуклая черная Нева.

Но самым длинным, любимым маршрутом, рассчитанным на хорошую летнюю погоду, была «восьмерка».

По Владимирскому проспекту Павел Иванович выходил на Невский и не спеша двигался по правой его стороне к Адмиралтейству — туда, где в это время как раз садилось солнце.

Шумный, людной Невский привлекал Павла Ивановича с ранней юности. Казалось, самая интересная, самая главная жизнь происходит именно здесь, и только здесь может случиться встреча, которой суждено сыграть решающую роль в его судьбе. Потому что где же ей и случиться, этой встрече, если все сколько-нибудь стоящие люди сосредоточены тут, все очаровательные девушки вкраплены в эту сверкающую толпу?

Так чувствовал Павел Иванович в двадцать лет, и, в общем, это ощущение сохранилось у него до сих пор.

Сейчас стоял июнь. Невский по вечерам был просто ослепителен: иностранцы, одетые с небрежной элегантностью, молодые длинноногие соотечественники и соотечественницы в туго натянутых джинсах — все они чувствовали и вели себя здесь как дома: по-хозяйски толпились у дверей ресторанов, запросто останавливали такси, возбужденно переговаривались. Казалось, все тут знакомо между собой и в любой момент безо всякого труда могут сойтись и заговорить.

Обычно Павел Иванович двигался вместе с толпой, чувствуя себя равноправным участником этого праздничного шествия, шел не торопясь, одобрительно улыбался встречным молодым женщинам, в разговоры, правда, не вступал и знакомств не заводил, но отчетливо сознавал, что в любую минуту может это сделать.

Надо сказать, что в свои сорок с лишним лет Павел Иванович считал себя человеком, у которого самое главное еще впереди, а именно то, что принято называть «личной жизнью», которая у него по-настоящему еще и не начиналась. Так что в этом отношении он, и в самом

деле, был на равных с джинсовыми юнцами, похожими на голенастых породистых щенков.

Время от времени судьба сталкивала его с разными женщинами, но все как-то не всерьез: возникнув, эти женщины очень скоро тихо и безболезненно исчезали — внезапно выходили замуж или просто вдруг переставали появляться и звонить. Никаких скандалов и объяснений ни разу не было, Бог миловал, и Павел Иванович, облегченно вздохнув, продолжал существовать вдвоем с матерью. С ней он привык обсуждать все свои проблемы, с ней обычно проводил отпуск: ездили на теплоходе по Волге, жили в Прибалтике у знакомой хозяйки, или (это уже в последние годы) отдыхали в семейном пансионате в Луге по путевкам, которые мать доставала за пятьдесят процентов на старой своей работе, в издательстве.

— Смотри, Павлик, — грозилась она иногда, — останешься один на старости лет. Сколько можно держаться за материн подол? Все ждешь Великую Любовь?

Павел Иванович отшучивался. Он прекрасно знал, что в глубине души мать довольна. И тем, что пока он «держится за подол» и — что ждет «Великую Любовь». Она сама всегда говорила: те, кто женится или выходит замуж просто так, чтобы не быть одинокими, делают страшную глупость.

— Я уверена, что если бы не встретила твоего отца, то всю жизнь была бы одна. Помнишь ту сказку? Ну, где каждый ищет свою половинку? Вот мы с отцом и были две половинки, а жить рядом с чужим человеком... Нет.

Итак, первая часть «восьмерки» — Невский. По многим причинам — самая любимая часть прогулок. Была. До совсем недавнего времени.

Как-то в конце мая, двигаясь в потоке людей, Павел Иванович вдруг ощутил беспокойство и раздражение: ему показалось, что он не понимает языка, на котором говорят вокруг. Невнятные, скользкие, быстрые фразы, едва взлетев, тут же рассыпались, точно бусы с лопнувшей нитки,

слова стремительно и звонко отлетали в разные стороны. Он напрягся, пытаясь уловить, поймать смысл. И не смог. А прохожие обгоняли его, группами шли навстречу, и взгляды их, натываясь на Павла Ивановича, скользили мимо, не загораясь и не задерживаясь. Он неправильно подумал про них — «прохожие», прохожим здесь был он, это были хозяева, местные жители Невского, его аборигены, а он — мореплаватель, потерпевший кораблекрушение, случайно выброшенный сюда, на чужую землю, где его вовсе никто не ждал. Беспомощно он оглянулся по сторонам и поймал в витрине свое отражение: плохо одетый пожилой дядька с залысинами, с гримасой испуга на очкастом лице. Он растерянно стоял на тротуаре, а мимо него уверенно шагали красивые, взрослые, самостоятельные люди. И вдруг он понял: а ведь по возрасту большинство из них вполне могли быть его сыновьями и дочками.

С того вечера Павел Иванович всегда старался миновать оживленный участок Невского побыстрее и, свернув под арку Главного штаба, чувствовал облегчение. Дальше был сравнительно тихий участок — через площадь по набережной Мойки к Михайловскому саду...

Сейчас Павел Иванович был в отпуске. Три раза в неделю он ездил к матери в больницу, каждый приемный день: в четверг, субботу и воскресенье. Больница летом выглядела куда пристойнее — старые густые деревья в парке, на клумбах — веселенькие цветы, а к больным Павел Иванович уже притерпелся. Привык. И, смотря на них, не испытывал никаких чувств. Почти никаких.

Лечащий врач дал разрешение на индивидуальные прогулки с матерью. Это значило — вдвоем, без надзора дежурной сестры. Можно идти в любой конец парка, сидеть, где хочешь, и только к обеду вернуться.

Они часами бродили по аллеям от ворот до самого дальнего конца парка, где за проволочной сеткой стояли ухоженные, с побеленными стволами старые яблони. Павел Иванович вел мать под руку, она осторожно переставляла

ноги, обутые в растоптанные больничные шлепанцы. Несколько раз он привозил ей из города туфли, но к следующему приемному дню они безвозвратно исчезали.

Мать молчала. Он задавал ей разные вопросы: «Кто я? Как меня зовут? Сколько тебе лет? Как ты себя чувствуешь?» Она не отвечала ни слова. Потом уставала, начинала тяжело дышать и поминутно останавливаться, и тогда Павел Иванович вел ее в беседку.

Беседка стояла на бугре в центре парка, отсюда, сверху, видна была вся территория: больничные корпуса, окруженные зеленью, и у каждого корпуса — свой загон, обнесенный невысоким, но глухим забором. В загонах ходили из угла в угол, беспорядочно бегали, сидели на траве, кричали, хохотали и плакали те, кто не имел права на свободные прогулки с родственниками, а может, и родственников уже не имел, да, скорее всего, и не нуждался ни в них, ни в прогулках. В одном из таких загонов Павел Иванович часто видел высокого, очень худого человека с коротко остриженными седыми волосами. Часами тот стоял неподвижно, запрокинув к небу бледное серьезное лицо, на котором застыло выражение сосредоточенного ожидания. Чего он ждал? Зачем так напряженно всматривался в раскаленную синеву? В его чертах не было ничего тупого или бессмысленного, только тихая, терпеливая внимательная надежда.

Мать не обращала внимания на загоны и их обитателей. Отсюда, с холма, где взгляду не мешала серая бетонная стена, далеко были видны поля, травянистые берега длинного озера, деревня на той стороне шоссе, полуразрушенная колокольня церкви. Мать все время пристально смотрела туда. И молчала.

Павел Иванович спрашивал доктора, отчего это. Тот пожимал плечами: нам она отвечает, односложно, правда, но отвечает. И слушается. Тихая старушка, можно бы написать, но у вас ведь там коммунальная квартира, какая-то история с жильцами... Кстати, тут звонили, справлялись...

Одним словом, ищите обмен, тогда возьмете мать. Как у вас там? Продвигается?

В два часа, сдав мать дежурной сестре, Павел Иванович шел к автобусу. Идти нужно было по тропинке мимо озера. В жаркие дни тут было много купающихся. Выкрики, плеск, солнце дробью бьет по воде. Жарко. Устал.

Он спешил домой, хотя спешить было бессмысленно. Незачем.

С утра начинались хлопоты по обмену — чтение объявлений «Ленсправки», беготня по адресам, бесконечная и бесполезная череда людей, приходящих смотреть его комнату. «Н-да, коммуналка, первый этаж, дом какой-то сомнительный, полуведомственный, не сегодня-завтра выселят к черту на рога...» День проходил в суете, и только вечером, когда хоть немного спадала жара, можно было, бредя по улице, спокойно подумать или просто посмотреть по сторонам.

И когда, покинув шумный, ставший чужим Невский, Павел Иванович сворачивал на Мойку, на душе его сразу делалось тихо и радостно. Ничто, даже музыка, не действовало на него так, как вид этих старых, чуть сутуловатых, плотно прижавшихся друг к другу домов, кажущаяся неподвижной вода за чугунной решеткой, светлое и теплое небо.

Дойдя до Михайловского сада, Павел Иванович делал там привал на скамейке у пруда. Темнеющий сад уже принадлежал парочкам и собакам. Первые, как им положено, целовались, вторые беспрепятственно скакали по газонам, норовили залезть в воду, игнорируя яростные окрики хозяев. Днем и тех и других расшугали бы бдительные пенсионеры<sup>52</sup>, но сейчас они уже сидели у своих телевизоров, и в саду царил дух свободы и беззакония. И все-таки активные защитники приличий и общественного порядка изредка появлялись и в это время. Вон идет задрипанный, не вполне твердо держащийся

на ногах служащий. Остановился, чтобы сделать замечание слишком откровенно ведущим себя влюбленным: «Наглость какая!» Поплелся дальше и — нет, вы подумайте, до чего дошли: «Эй ты, носатый! Ты почему пустил кобеля на газон, да еще без намордника? В милицию захотел?»

Это никакой не пенсионер, это ровесник. Насчет пенсионеров Павел Иванович давно решил: они, пожалуй, явление больше социальное, чем возрастное. А что? Это же не кто-нибудь, это состарившиеся неумные комсомольцы двадцатых — тридцатых годов, бывшие «молодые хозяева страны», теперь оказавшиеся не у дел и с тоской глядящие, как все, чему была отдана жизнь, портится, разрушается, предается, ни у кого — ничего святого, мы в наше время — никогда бы себе не позволили. Одним словом: «За что отдавали жизнь?» Да. Со стариками более или менее ясно, но откуда это полицейское рвение у сверстников? И тут Павел Иванович, сидя на своей скамейке и слушая крики насчет личных собак и общественных газонов, вдруг подумал, что — оттуда же, откуда Аллины огурчики и новое эмалированное ведро, а именно — из пустоты душевной, из нереализованного, никому не нужного гражданского чувства. Сублимация. И ему вдруг стало жалко раскричавшегося защитника государственных зеленых насаждений.

Он поднялся и медленно зашагал к выходу из сада, старательно отворачиваясь от скамеек, где самозабвенно обнимались молодые люди, годящиеся ему в сыновья и дочери. Он прозевал свое время, и теперь об этом глупо даже грустить.

Выйдя из сада, Павел Иванович медленно шел по каштановой аллее, ведущей от Инженерного замка к Манежной площади. Инженерный замок издавна нравился ему больше всех зданий в городе, и несчастный владелец чем-то был симпатичен. Несмотря на все, что о нем писали, Павел Иванович как-то по-родственному жалел своего курносого тезку.

У Елисеевского магазина он пересекал Невский, который к этому времени уже тускнел и начинал затихать, сменив толпу завсегдаев на торопливых, случайных прохожих, тех, кто ни на других смотреть, ни, тем более, себя показывать не стремился.

Дальше предстояло пройти по прямой и пустынной улице Росси, через Чернышев мост, на Загородный.

Домой возвращаться сейчас — одно удовольствие: соседей нет, разъехались. Последнее время у них творилось что-то странное: Алла осунулась, ходила заплаканная, даже хозяйством перестала заниматься. На ее столе в кухне сутками копились немывтые чашки. Валерий с работы приходил поздно, и однажды, столкнувшись с ним в коридоре, Павел Иванович вдруг увидел, что сосед пьян.

— Здравс-с... — сказал он Павлу Ивановичу, вдруг покачнувшись, взялся за притолоку и тут же уронил на пол батон, который держал в руке.

— Порядок,— бормотал Валерий, нагибаясь за батоном,— полный порядок в вой-сках. Русский человек не повалявши не съест.

В этот момент в коридоре и появилась Алла. Подняв бровь, она усмехнулась и удовлетворенно кивнула:

— Напился. Молодец.

Тут Алла увидела Павла Ивановича и, повернувшись к нему, внезапно спросила, как здоровье матери. Павел Иванович холодно сказал «благодарю вас», она покраснела и шмыгнула в свою комнату.

Ночью за стеной кричали, Алла плакала; потом мимо комнаты Павла Ивановича протопали каблучки, и тотчас гулко захлопнулась дверь на лестницу. Появилась Алла только назавтра, поздно вечером, а через день собрала вещи и уехала к матери в деревню, о чем Павел Иванович узнал из громких переговоров в коридоре с подругой.

Вскоре уехал и Валерий. В день отъезда постучал к Павлу Ивановичу и, переминаясь с ноги на ногу,

поскольку ни войти, ни сесть предложено не было, про-изнес:

— Вот... отбываю в отпуск. Через два часа самолет, так что... просьба: будет письмо, перешлите, пожалуйста,— Сочи, до востребования.

Вот и у них жизнь пошла наперекосяк. Почему? Все не просто... Что ж, судьба, как в романах Диккенса, видно, сама распорядилась. Впрочем, если по совести, наказывать надо было бы не их...

Он с еще большим рвением взялся за обмен, но ничего не получалось. А может, он просто не умел этим как следует заняться... А чем умел? Чем?..

...«Восьмерка» занимала часа полтора, о многом можно было за это время подумать, но в конце пути тяжелые, неприятные, грустные мысли кое-как утихали, настроение делалось ровным, дыхание легким.

А на каштанах белели «свечи», пахло вянущей, недавно скошенной травой. Пахло городским летом.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### *Проводы*

Все дела кончены: возня с документами, маета на таможне, где громко причитала и норовила упасть в обморок древняя, совершенно библейская старуха. Ну, не вредная нация? Таможенники всего-навсего аккуратно вскрыли урну с прахом ее мужа, скончавшегося десять дней назад с выездной визой на руках. И зачем падать в обмороки? Подумаешь — исследовали пепел! А если там бриллианты или другие ценности, принадлежащие народу<sup>53</sup>?

У Максима процедура досмотра прошла без инцидентов, а вечером того же дня состоялись проводы. Было шумно и даже натужно весело, если не считать слез Ирины Трофимовны и мрачных шуток Григория Марковича:

— Если б я знал, что Осюнчик организует тебе этот проклятый вызов, заблаговременно оторвал бы его глупую башку вот этими руками.

— Молчи, — всхлипнула Ирина Трофимовна, — сегодня последний вечер, не надо ничего портить. А тебе, — она повернула заплаканное лицо к Максиму, — тебе я желаю только одного: быть счастливым. Где угодно, с кем угодно, но — счастливым.

Гольдин хотел что-то возразить, но промолчал, отвернулся. Что уж теперь возражать, поздно. Было достаточно разговоров и чуть ли не полный разрыв. Еще бы: сумасшедший вздумал бросить Родину, которая его вырастила, все ему дала, а он, видите ли, оскорбился из-за дураков, подонков, сидящих в этом паршивом институте. Да когда они умели ценить настоящую работу и умных людей? Нет, ты скажи — когда? Взять и искалечить себе жизнь! Свет клином не сошелся на лаборатории Кашубы, работу найти можно всегда... Брось! Не желаю слушать! Что значит — «нечем дышать»? Всем есть, а ему нету... При чем здесь, скажите пожалуйста, второй сорт?. Все, к твоему сведению, зависит от тебя самого. Трудись, и будешь не то что первым сортом, а экстра-класс! Ландау, он что, был-таки второй сорт? Ботвинник — второй сорт? А Зельдович, трижды Герой? ...А вообще-то отправляйся на все четыре стороны, но помни: будешь еще волосы рвать, чужая земля, она чужая и есть, там все будет не твое — и трава, и деревья... Слыхали? Ему здесь плохо! А где хорошо? Евреям, заруби на носу, везде плохо. И всегда. Это такой народ, он иначе не может, тем только и жив, как ...как малина — ее ломают, она... Да что с тобой говорить... Не морочь ты мне голову! Это он мне будет рассказывать про историческую родину. Сам-то веришь в это? Выдумки и басни для таких лопоухих, как ты... Видеть тебя не желаю, уходи и, пока не одумаешься, не смей являться!

Максим ушел, но дня через три старики приехали к нему сами, тихие и грустные, и Григорий Маркович

больше не обличал и не ругался, сказал: «Смотри, твое дело. Каждый знает, что для него лучше. Мы, в конце концов, свою жизнь прожили. Нам казалось, что хорошо...»

С тех пор никаких споров и обсуждений больше не было, на проводах Гольдин весь вечер пил водку, быстро опьянел, и Ирина Трофимовна увезла его домой.

Теперь от проводов остались только невымытые рюмки на подоконнике, чужие рюмки, потому что подарены Гаврилову. Сам пускай и моет.

Все, что есть в этой комнате, кому-то подарено: тахта и стулья — соседям, подшивки старых журналов — их детям в макулатуру, книжный стеллаж и письменный стол еще позавчера увезены к Гольдиным. Остался торшер (завтра заберут), а также треснувшая кофейная чашка, какие-то кастрюльки в кухне. Граненый стакан.

Все кончено.

Даже письмо Алле в деревню Максим написал и отправил. Написать было нужно. Больше месяца тому назад, еще в июне, Алла пришла к нему среди ночи — приехала на такси уговаривать. Говорила правильные вещи, про родину, про друзей, про ностальгию.

— Ведь пойми, — убеждала она, — ты же там просто не сможешь! Ведь ты советский человек, советский! А капиталистический мир — это, как ни говори... Пускай и у нас полно недостатков, но, в конце концов, мы в них сами же и виноваты! Не кто-то, а — мы: плохо работаем, пьянка у нас, воровство... Нет, нам обижаться надо только на самих себя — страна тут ни при чем. И, согласись, — как бы мы ни жили, но мы знаем, что это — наша страна, а там ты будешь — кто? Я ничего не говорю, материально там, может, даже и лучше, и в магазинах все есть, и — сервис, но ведь найти работу у них — тоже трудно, а потерять легче легкого, так что уверенности в завтрашнем дне фактически никакой. А главное, вся их идеология, весь образ мыслей — не для нас! Там, по сути дела, все сводится к деньгам. Вот ты, например, —

сможешь ты спокойно смотреть, когда один — миллионер, а другой — под мостом валяется?

— У нас тоже иногда кое-кто кое-где валяется, — усмехнулся Максим, — помнится, мой приятель Денисюк...

— Перестань! Не до шуток. Ты же губишь себя! Это ведь необратимо! Конечно, я верю: сейчас тебе обидно, но пройдет время... А если ты вообразил, что все кругом — антисемиты, так это глупости! Разные люди бывают, много у нас еще и серости, и подлости... Но почему нужно обращать внимание на всякую... мразь? Вот некоторые не любят грузин, а я считаю — это очень талантливый и трудолюбивый народ, нельзя же судить обо всех по тем, кто торгует на рынке...

Максим молчал, а Алла все говорила, говорила... Она просила: утром, как только откроется контора, бежать вместе и брать документы назад. Пока не поздно.

А потом, через час, отчаявшись и отплакавшись, сказала:

— Я у тебя останусь. До утра.

Максим ничего не ответил, и тогда она сообщила ему, что уходит от мужа, потому что окончательно поняла: Валерий ей — чужой, она всегда любила, любит и всю жизнь будет любить только одного человека. Максима. Его это, разумеется, ни к чему не обязывает, но пусть он знает: стоит ему сказать одно слово, и она за ним — куда угодно.

Не сказал он этого слова.

В шесть часов Алла ушла. Глядя в окно, как она, вся сжежившись, в легком платье в синих цветочках пересекает под дождем пустырь, Максим подумал, что ей, наверное, сейчас очень тошно, и виноват в этом он. Вот она остановилась, что-то ищет в сумочке. Вынула носовой платок...

В письме Максим просил у нее прощения.

Когда Алла получит письмо, Максим будет уже там.

Чего же он все-таки не успел?.. Заплачено. Отослано. Получено. Сказано... Как будто все. А то, что не сделано, в последний день уже не сделаешь. Например,

не поедешь на теплоходе по Волге, много лет мечтал. Не успеть и на речку Сестру за раками, ночью. Можно, конечно, попытаться, но рано утром — самолет, куда девать раков?. Не побывать и на Байкале. На Сахалине. Также и в Средней Азии... Ничего, мечети и верблюдов он увидит, с верблюдами не все еще потеряно. А Север? Кольский полуостров? Полярный круг?. Уходя, уходи. Уходи, понял?. Колодцы, тропинки... А гору не хочешь? Высокая такая, наверху ворон. Забыл? А этой... пузыревщины, может, там и не будет, хотя... Впрочем, с того самого дня, как Максим отнес документы в ОВИР, он Василия Петровича больше не встречал. Зато выезд ему разрешили баснословно быстро — не иначе, поспособствовал добрый гений в сером костюме... Теперь-то думать больше не о чем, назад хода нет, отрезано... И если за столько лет никого из родственников найти не удалось, значит, уже не удастся. Все. У нас на свете только один родной, близкий человек — Люция Лихтенштейн в городе Иерусалиме, любимая тетя, изобретение расторопного Оси. ...Ну, а сам ты кто? Как — «кто»? Мистер Ликтенстайн, так, во всяком случае, значится в паспорте.

Остаток ночи провел отвратительно, заснул на рассвете да тут же и проснулся: в ванной шумела вода. Вот болван! Не хватало еще затопить напоследок нижнюю квартиру! Пойти закрыть. Максим сел на тахте, зажег торшер, но шум внезапно стих, скрипнула дверь, и в комнате... появился этот... плоскобрюхий. Башка замотана полотенцем, сам облачен в старый Максимов халат. В очках. Проследовал в угол и с удобством устроился там на полу, завернувшись спиралью.

— Сейчас очень неплохо бы чашечку кофе, да... пожалуй, именно крепкого черного ко-о-фе, — мечтательно произнес он басом и кивнул Максиму.

— А... а пива с воблой?

— Язвите. И напрасно, мой друг. Напрасно — ведь мое внезапное, так сказать, исчезновение принесло вам пользу,

избавило от необходимости трудить свою совесть, занимаясь черт-те чем. Сами-то вы когда бы еще решились. Верно?

— Пожалуй. И что же?

— Эрго, все сложилось наилучшим образом. Во-первых, для вас: попадете туда, где, по вашему мнению, нет таких, как я. А еще — для бедной России. Ну-с... Отдохнете друг от друга, то есть — вы от тех, кто на работу не принимает, нехорошие слова говорит, а Россия... Россия, соответственно, от вас. Так что скатертью дорожка, воздух будет чище. ...Молчите? И правильно. А чтоб уж совсем не терзались в предчувствии будущей ностальгии, и еще добавлю: катитесь на землю предков, Макс Эльевич!.. Да, да, именно Макс Эльевич, а то у вашего брата вечно: Самуил Гиршевич — Семен Григорьевич, Аарон Хаимович — Аркадий Ефимыч... Вот ведь: чужие вы здесь, Россию ненавидите, а так и норовите примазаться.

— Та-ак... Чужие. Ну, что ж, все, стало быть, путем, все верно... Ты что-то еще хотел сказать?

— Что ж... Валите отсюда, коли решили. ...Ну, а вдруг как и там, в какой-нибудь Америке или Австралии отыщется точно такой же... валерик? Они ведь повсюду водятся, как клопы. И, знаете, их тоже понять надо.

— Чтобы простить?

— Ох, ироничный вы народ! Прямо как в том анекдоте. Ну, помните, как еврея распяли на дверях при погроме? Приколотили гвоздями руки-ноги, висит он, голубчик, — все путем, а сосед его, значит, и спрашивает: «Что, Мойша, больно тебе?» А у того губы черные, еле шевелятся. «Да нет, — отвечает, — не очень. Только, когда смеюсь...» Нет, родной мой, прощение ваше нам, валерикам, без надобности, а вот понять — дело другое. В самом деле, представьте: живет... некто, икс, живет он себе, и все у него как-то не так... криво, не ладится, неудача за неудачей. Так-с... Кто же виноват? Сам он, что ли? Еще чего! Это

уж, знаете, чересчур большое мужество надо иметь, чтобы признать такое. Нет, он не виноват, он — жертва. Но, если жертва имеется, где-то же должен быть и виновник, верно? Где? Кто? Может, судьба? Раньше все принято было на судьбу пенять. Можно, конечно, и на власть... да только боязно. А вот на соседа — сколько угодно, и уж если сосед какой-нибудь... чучмек, хохол или, еще лучше, жид — тут вообще полный порядок. Жид — он, конечно, больше всего подходит. Почему? Да полно вам отворачиваться — тоже вот не любите правды, а на других обижаются... Да потому, что тех — украинцев, казахов там, армян — тронешь, — а они — в поезд и тью-тью к себе домой. А еврейской морде куда деваться? Русскому еврею? У которого тут и дом, и мама, и папа, и могила прадедушкина? Ему — куда?.. То-то... Так что можно безнаказанно покуражиться, от души. За все неудачи и собственные унижения. Мы здесь законные хозяева, а ты, пархатый, из милости живешь! Пусть ты хоть профессор, а я простой шкуродер с бойни, а захочу и... укажу на дверь!.. Согласны вы со мной, Максим Ильич?

— Закругляйся. Ни к чему все это. Решено. Кончено.

— Так и я потому, что решено. Только повторяю: валерики, они не в одной России живут, и у них там свои «чучмеки», «кацапы», «ниггеры», ну, а жида — само собой.

— Черт с ними, перебьюсь.

— О-о, вот это уже интересно. Там, значит, перебьетесь, а дома — ни в какую?.. Можете не объяснять, сам все понимаю, дайте кофе, сил больше нет.

Пока Максим готовил кофе, Червец осваивал квартиру — двигал зачем-то тахту, зажигал и гасил в комнате свет, заглянул в кухню: «Не надо ли помочь?», вернулся в комнату и крикнул оттуда, что решил пока что позавтракать лампочкой из торшера — надо же что-то кушать в этом негостеприимном доме! После чего громко захрустел, а покончив с лампой, принялся противно насви-

стывать. Получил, наконец, свой кофе, уселся на прежнее место и завел нуднейший разговор о поэзии — он, мол, не любит сложных стихов, известно же, что поэзия должна быть глуповатой, и это верно, очень даже верно, поймите!

Максим молча прихлебывал кофе, от которого в голове, вопреки ожиданию, полз какой-то туман, временами чудилось, будто никакого Червеца в комнате нет, Максим лежит на тахте, спит, хочет проснуться, но не может, а в незанавешенное окно давно уже светит солнце, пора вставать.

— Ну что? Успокоил я вас? Не мечетесь больше... Конiec сомненьям?

Максим тряхнул головой, потер ладонями виски — все на местах, вот он, Червец, — развалился в углу, а за окном в самом деле светает, но никакого солнца, напротив — вот-вот пойдет дождь, вдалеке, за домами, безмолвно посверкивает прямая тонкая молния.

— А хотите, объясню, в чем закавыка? — задушевно спросил Червец. — Почему на американского антисемита или на израильского фанатика, который обязательно станет кричать вам: «Чужой! Советский! Пошел вон!», вы особого внимания не обратите, поскольку «перебьетесь», а от бедного Валерочки аж в глазах темно?

Максим молчал. Дождь уже шел, молнии сделались ближе и ярче, сухой, короткий гром сопровождал их с небольшим отрывом.

— А оттого, родной мой, оттого у вас темно в глазах, что обидно уж очень. Ведь тому дураку, ну — из Америки или Израиля, вы и в самом деле — чужой, пришлый. А Валерик — он свой. В чем и дело.

— Да отвяжись ты. Ну чего пристал? — угрюмо произнес Максим, не шевельнув потемневшими губами.

— Ради правды. Исключительно ради нее... Максим Ильич. Свои они, и Валерик, и Пузырев тот же. Подлые, мерзкие... да свои. И ведь вы им — тоже свой,

вот парадокс... А что главное, та земля, с которой они вас гонят, — тоже ваша. Ваша. Не меньше ваша, чем их. Хоть в Антарктиду бегите, меньше русским вы от этого не станете... Нет! Вы уж не отворачивайтесь! Вы представьте только: живет человек в семье — вот отец, вот мать, вот братья, хорошие, там, похуже — неважно, братья. Живет это он себе, живет, и вдруг в один прекрасный день кто-то из братцев ему — хрясь: «Ты нам не родной, подкидыш ты. Погляди: мы же все блондины, ты один рыжий, из милости тебя держим, а теперь надоело, так что катился бы ты из нашего дома куда подальше — воздух будет чище!» Каково? И куда ему, бедолаге, катиться, если другого дома у него на всей земле нет? Куда идти? Рыжих искать?.. Вот и «чужие»... И — «Россию ненавидите». Какая тут ненависть, милый мой, тут любовь... неразделенная. Вот оно что.

— Убирайся отсюда со своими проповедями!

— Ишь ты! Забрало. Больно, да? Все. Молчу. ...Водки нет у тебя?.. Что, выпил всю? Эх, ты... А еще говорят — вы не пьете... Ладно, уйду. А все же на прощанье позволю тебе заметить: в России не одни пузырьеры живут с валериками, слава Богу, не одни! Не то был бы полный, как говорится, завал, уж давно бы всем подряд анализ крови сделали и всех инородцев — за ворота. Мол, оставьте нам бедную Россию, мы уж тут как-нибудь сами! И что тогда? А тогда, извини за банальность, осталась бы страна без турка Жуковского, без какого-то шотландского Лермонтова... да что там говорить!

...На этот раз сон навалился всерьез. Дождь начался и кончился, с улицы в открытое окно плыл туман, голос Червеца звучал все слабее, слабее...

Проснулся Максим с тяжелой головой — много выпил накануне. Открыл глаза, обвел взглядом комнату. На полу чашка из-под кофе, возле тахты стакан...

Начинался последний день.

*Последний день*

Утро последнего дня было очень жарким и синим. (Там будет и жарче, и синее...).

Максим вдруг понял, что обязан сейчас поехать к Вере, надо проститься. Зачем? Неизвестно. Но — надо. Тем более что делать ему, как выяснилось, просто нечего.

Кашуба вчера все-таки пришел. Сидел, помалкивал. Выпил коньяку. Когда Макс спросил, как дела у Веры, весь передернулся, буркнул несколько слов и вскоре стал прощаться. Паршивая и у него жизнь, не нам его судить. Да, дела... «Суицидная попытка в состоянии опьянения». Надо поехать.

Пока Максим собирался, пока выстаивал очередь за сливами да искал цветы, время перевалило за одиннадцать (до вылета двадцать часов с небольшим), и жара набрала полную мощность. В переполненном вагоне электрички нечем было дышать.

Больница оказалась черт-те где, за Гатчиной, и, узнав в справочном бюро на Невском<sup>54</sup>, как туда добираться, он чуть было не отказался от своего намерения. Но впереди лежал бесконечный день, пустой и уже ненужный, в этом дне Максим был посторонним, как в своей разоренной квартире. Да и сливы, черт побери, куплены.

Поехал.

...Ничего, это еще не жара. Настоящей жары ты, брат, не видел. Ужо увидишь. На днях. Завтра будет голубой Дунай — сказка Венского леса. Потом — Средиземное море<sup>55</sup>. Сейчас это всего лишь ярко-синее продолговатое не очень большое пятно на карте, а через несколько дней можно будет запросто войти в него по пояс и поплыть... в сторону Африки... Будут бедуины и ночные бары. Экзотические красотки. И когда-нибудь — непременно Париж. Монмартр, кафе, вдруг — Боже мой, какая встреча! Евдоким Никитич, сколько лет, сколько зим? Ах, конгресс?

Вот совпадение. Представьте, я — тоже. Послали. Не посмотрели на пятый пункт. Да, да, делаю доклад...

За пыльными окнами плыли пустыри, тянулись пригороды и дачные поселки с обязательными кустами желтой акации у станционных построек. Возле дверей приземистого здания с надписью «Раймаг» мужик в темной от пота майке пил, запрокинув голову, прямо из бутылки. Рядом нетерпеливо переминались еще двое. Поодаль, в затылок друг другу, стояли три одинаковых трактора.

Белый грязный петух преследовал пеструю курицу. И настиг.

В маленьком круглом пруду яростно плескались мальчишки.

Желтая собачонка гналась за автобусом, тяжело ковыляющим по раздолбанному проселку. Собачонка свирепо разевала пасть, но лая слышно не было.

Старая женщина с отечными, в синих венах, ногами брела вдоль насыпи с двумя полными сетками. В одной из сеток блестел громадный арбуз.

Оказалось, что от Гатчины до больницы — еще километров двадцать. На плавающей привокзальной площади Максим сел в такси.

...Восемнадцать часов осталось, это — две трети суток. В большом парке Максим легко отыскал нужный ему корпус и вошел, наконец, в прохладный, пахнущий дезинфекцией коридор. Дверь с табличкой «7 отд.» оказалась запертой изнутри, и он нажал черную кнопку звонка.

Потом позвонил снова. Послышалось шарканье, скрежет ключа, и на пороге появилась немолодая медсестра с узкими раскосыми глазами на скуластом лице. Белая крахмальная шапочка на ее голове напоминала рогатую немецкую каску времен первой мировой войны.

— К кому? — хмуро спросила сестра.

— Кашуба Вера Евдокимовна.

— Нельзя, — отрезала она, — в день — одно свидание, а у ней уже были. Отец. А вы кто ей будете?

— Да так... Знакомый.

— Знакомый... — сестра сверлила Максима глазами. — Нельзя. Если родственники, тогда еще... Или муж, — во взгляде светилось любопытство. — А сейчас вообще обед. Потом «тихий час».

Наверное, надо было сунуть ей рубль. Раньше Максим так бы и поступил. Или начал бы говорить комплименты и охмурил. Или сообщил: представьте себе, приехал к родной сестре на полчаса из Байконура, завтра — в полет. Но сейчас у него, как это часто случалось в последнее время, одеревенели мысли.

— Передайте, — понуро произнес он, протягивая сестре кулек со сливами и цветы. — Всего доброго.

Сестра явно не ожидала такого оборота, готова была к длинному диалогу, — ее будут умолять, она, торжествуя, отказывать, а потом, кто знает... Она растерялась.

— От кого хоть? Молодой человек! Что сказать? От кого передача? Кто приходил?

— Знакомый. Передавал привет, — повторил Максим. Нельзя так нельзя...

Жара за эти несколько минут ухитрилась сделаться еще злее. Не спасала даже тень старых деревьев.

Возле корпуса пахло щами и тухлой рыбой. Двое рослых парней со слепыми лицами подкатили к дверям тележку, на которой тошнотворно дымился большой алюминиевый бак. Максим побрел по аллее к выходу. На клумбах улыбались веселые цветочки — «анютины глазки». Интересно, что было здесь раньше? Похоже, барская усадьба — главный корпус с колоннами напоминает господский дом. А теперь вот — клиника для душевнобольных. Бедлам. Психушка.

Аллея поднималась на холм, где в круглой беседке сидела какая-то пара. Мирная картина, прямо девятнадцатый век: старинный парк, беседка, поля кругом, вон озеро, а за ним — деревня. И даже церковь. Правда, без креста... Остается еще семнадцать часов тридцать пять минут... Что он там рассматривает?

Высокий человек с седыми волосами неподвижно стоял в небольшом загончике, обнесенном низеньким дощатым забором. Голова его была запрокинута, взгляд устремлен в небо. Максим тоже поднял голову. Над парком важно проплывал большой бумажный змей, слегка покачиваясь в неподвижном воздухе. Длинный и широкий, как полотнище, хвост его почти доставал до верхушек деревьев. Змей скрылся за главным корпусом. Высокий человек продолжал, не отрываясь, глядеть в вышину.

...А ведь еще месяц этой пузыревской вакханалии — и загремел бы сюда, как миленький, очень свободно. Выяснилось, что вы не титан духа, рэб Лихтенштейн, так что не в куске хлеба тут дело, можно было бы, в конце концов, устроиться по протекции гольдинского дружка Андрея Соловьева в Трамвайное управление, а там, глядишь, нашлось бы что-нибудь поприличнее. Нет, не в куске дело, просто — осознанная необходимость. Гора. Кто желает ее строить и укреплять — на здоровье. Еще — валерики. А у нас вот кишка оказалась тонка. Достаточно. Поигрались, — и будя, кислород кончился.

Про кислород Максим сказал вслух, услышал собственный голос, вздрогнул и поднял голову. Он стоял около беседки лицом к лицу с худым мужчиной, держащим под руку старуху в больничном халате. Сквозь старомодные круглые очки мужчина смотрел на Максима с тем неопределенным выражением, какое бывает у очень застенчивых людей при встрече с малознакомыми: готов улыбнуться или, наоборот, тотчас сделать равнодушное лицо и пройти мимо.

Максим улыбнулся первым. Он сразу узнал этого чудака — именно к нему в квартиру забрался как-то ночью проклятый Червец. Было это зимой, очень давно. Максим тогда еще героически трудился на поприще дворника, посильно возводил гору, был умнее всех...

— Здравствуйте, — с внезапной сердечностью сказал Максим и пожал растерянную руку, — тесен мир, вот где встретились.

— Очень рад. Я вот тут... (А он ведь и в самом деле был почему-то рад, даже покраснел).

— Ваня! — вдруг громко и отчетливо позвала старуха, до тех пор стоявшая тихо и безразлично. — Иван Николаевич!

Она неотрывно смотрела на Максима, и подбородок ее дрожал.

— Господи... Ваня...

— Что, мама, что? Что ты хочешь сказать? — Павел Иванович обнял мать за плечи, но она его не слышала. Не сводя глаз с Максима, твердила: «Ваня, Ваня, вот ты где, Ваня», — и по щекам бежали слезы, и не только подбородок, все ее слабое тело дрожало.

— Ваня, ведь это чудо, — вдруг совершенно осмысленно сказала старуха Максиму и вытерла слезы, но тут, откуда ни возьмись, возникла давешняя сестра — потомок Чингисхана в немецкой каске — и, яростно ругая Павла Ивановича — «не привели к обеду, бегай за каждым, скажу Юрию Петровичу, запретит, безобразие, она у вас возбуждена», — железной хваткой взяла старуху под руку и повлекла по дорожке к корпусу.

Старуха не сопротивлялась, послушно семенила рядом, продолжая время от времени слабо повторять:

— Ваня! Как же так? Ваня! Иван Николаевич?!

Павел Иванович с Максимом молча шагали к автобусной остановке. Солнце зашло за большое темное облако, сделалось прохладно, вдали опять бормотал гром. Оставалось шестнадцать часов сорок восемь минут... У озера торопливо одевались и собирали свои вещи ку-пальщики.

— Не понимаю, что это с мамой сегодня, — сказал Павел Иванович, и у него дернулась щека, — целый год ни одного слова... Иваном Николаевичем звали моего отца...

Максим не отвечал, он все еще видел перед собой эту старуху, слышал ее голос.

Подошел пустой автобус, и они сели. В открытые окна дуло, летела пыль.

Зеленые крупные яблоки висели в садах вдоль дороги.

Приземистая собачонка, вроде той, что лаяла давеча на автобус, моталась на цепи возле будки. «Местная порода, — подумал Павел Иванович, — вон еще одна, такая же, лежит на боку в пыли у обочины. Какой-нибудь низкорослый, но боевой красавец-нахал развел здесь целое племя».

Максим собачонки не видел, он смотрел на змея. Это был тот же воздушный змей, что пролетал над большим парком. Сейчас он двигался вдоль шоссе ровень с автобусом, далеко распустив по ветру свой белый хвост.

Рядом взволнованно и сбивчиво говорил Павел Иванович:

— ...столько горя. Война, оккупация, сперва — брат, потом — отец... И вот теперь — эта больница...

— Да, конечно, я понимаю, — рассеянно сказал Максим, не отрывая взгляда от змея, который вдруг сделал в воздухе большую петлю и стал стремительно уходить вверх. Павел Иванович сразу замолчал.

Когда они подъехали к станции, погода совсем испортилась, стемнело, вот-вот должен был хлынуть дождь. Павел Иванович сказал, что ему нужно тут задержаться — есть дело в Гатчине, и, простившись с ним, Максим сел в первый вагон.

Павел Иванович направился к последнему, ругая себя за болтливость и назойливость: полез изливаться к незнакомому, в общем, человеку, парень симпатичный и вроде бы действительно чем-то похож на отца... (Какой, однако же, странный змей, висит в воздухе совершенно неподвижно, как приклеенный, будто бы не змей, а этот... червяк из страшных снов... Да, парень похож. На молодого отца с той фотографии, которую переслали уже после войны, отец снят в белом полубубке около какого-то орудия. Надо найти в альбоме, посмотреть...)

Чувство одиночества и неприкаянности налетело и ударило с неожиданной силой. Кончено. Матери, прежней матери, нет больше, не будет никогда. Напрасно он откладывал, копил самые важные свои мысли, серьезные разговоры до того дня, когда она вернется домой. Она не вернется. Даже... даже если сегодня, сейчас же забрать ее отсюда, даже если произойдет чудо и он выменяет на свою комнату отдельную квартиру! Кончено...

И никто не вернется — ни дед, грустно и укоризненно глядящий с портрета, с которого Павел так старательно стирает пыль... Ни Генка, младший брат... сейчас он был бы уже взрослым человеком... Ни отец... Павел Иванович плохо помнил их всех, особенно отца с Генкой, и только в больном меркнувшем сознании матери жили они, не меняясь, не старея, такие же, как когда-то. Они оставались живыми для нее, такими же реальными, как он, Павел... Но она никогда больше не расскажет ему о них... В груди жгло. Опять... Павел Иванович вдруг вспомнил, что похожее ощущение заставило его проснуться сегодня на рассвете. Скрипнула дверь, приоткрылась, и в комнату, огибая стол, вполз белый плоский червяк. Вполз и решительно двинулся к окну, точно на полу раскатывали ковровую дорожку. Странно — в полумраке Павлу Ивановичу показалось, будто голова червяка обмотана махровым полотенцем. Но вот она нырнула под плинтус. Червяк уползал, укорачивался и, наконец, исчез совсем. И от этого почему-то тоскливо и болезненно сжалось сердце. Вот как сейчас. Ударил грохот. И еще раз! А сразу за ним — огонь! Огонь везде, но больше всего — в груди, в верхней ее части. Это пожар. Бомба попала в дом! Сейчас Павел поднимется и выбежит на улицу, а там... Там — воронка, в ней — никого, нигде — никого. Он один.

Как душно в вагоне... И тоска, такая тоска...

...Шестнадцать часов до вылета. Дождь шел уже всюю. В последний раз бежали за окнами блестящие зеленые пригороды.

Мелькнули две березы с натянутым между ними гамаком. Мокрая девочка с загорелыми ногами взлетала вверх, подставив лицо дождю.

Взлетела.

Навсегда.

## ЭПИЛОГ

Последний круг над аэродромом. Над Киевским шоссе с крошечными автомобилями и автобусами, с невидимыми людьми, едущими в них, чтобы через пятнадцать минут оказаться в городе. А вот и он — город: белые кубики новостроек, блестящий купол Исаакия. И сразу — плоская, неживая равнина Финского залива, а дальше — ворсистая и белесая облачность. Все.

Дамы и господа в салоне молчали. Сидели, послушно пристегнув ремни, и испуганно привыкали к надписи на табло «No smoking». «Не курить» — это уже не для них было написано.

Хотелось курить.

Стюардесса, сияя, сообщила, что самолет набрал высоту восемь тысяч метров.

Стекло иллюминатора покрылось инеем — белыми блестящими звездами (идеальная кристаллическая структура). Потом звезды исчезли, и среди ослепительной жесткой синевы Максим увидел гору. Он впервые видел ее вблизи, огромную, угрюмую, комковатую, всей своей глухой, темной массой придавившую землю.

Толстый ворон, сидя на самой вершине, лениво ковырял клювом перья. Заметив самолет, нехотя взмахнул крыльями, поднялся и вяло полетел. Он летел совсем рядом, так что Максим мог разглядеть грозный клюв и блестящее, точно стальное, оперение. Приблизившись к иллюминатору вплотную, ворон скосил глаз, скверно ухмыльнулся, подмигнул, начал отставать. И вскоре вовсе исчез из вида.

А поверхность горы стала вдруг как будто истончаться. Контуры земного ландшафта под ней, сперва слабо наметившись, с каждой секундой проступали все уверенней и четче.

Максим видел теперь лес, знакомый, простодушный лес, тот, что в Смердовицах за рекой, — воробей вспорхнул с ольхи и улетел, а ветка все качается, на матовой изнанке одного из листьев отчетливо видна круглая дырка — гусеница проела. Песчаный пригорок, поросший вереском. Дятел в красных подштанниках сосредоточенно долбит сосновый ствол...

— Ladies and gentlemen! Our plane...

...Босая девочка в синих тренировочных штанах, торчащих из-под короткого ситцевого платья, склонив к плечу белобрысую голову, доплетает косичку. Она стоит у калитки в конце пустой деревенской улицы. Улица упирается в волжский обрыв, под которым медленно плывет вдоль берега береза с бессильно раскинутыми, еще зелеными ветками и перепутанными, вывороченными корнями. Высокий был в этом году паводок, держался до середины лета, многим деревьям подмыло корни. Девочка не смотрит на березу — громкая музыка доносится с середины реки, с нарядного трехпалубного белого парохода. Девочка доплела косу и завязала на конце розовый бант.

...Возле здания аэропорта Ирина Трофимовна Гольдина никак не может найти в сумочке валидол, роняет на асфальт ключи, мелочь и плоскую синюю пудреницу. Рядом беспомощно суетится Григорий Маркович, наклоняется поднять ключи и с хрустом наступает на пудреницу.

...Профессор Кашуба, сидя за столом в своем рабочем кабинете, поминутно вытирает с башенной лысины пот. В руке его пляшет телефонная трубка.

— В местных командировках... Да, — уговаривает он трубку. — Именно. Именно, все... Да, с моего ведома... И Гаврилов тоже, и он... А в чем, собственно, дело,

Василий Петрович? Кажется, трудовая дисциплина в моей лаборатории пока еще вне вашей компетенции, и прошу иметь в виду, что в условиях развитой научно-технической революции, когда принципы единоначалия и демократического централизма поставлены во главу угла, все мы, как никогда, в неоплатном долгу...

...Молча, не чокаясь, пьют находящиеся в «местных командировках» и неоплатном долгу сотрудники лаборатории. Все они сидят в аэропортовском буфете, и Лыков, вынув из вишневого сверхэлегантного портфеля бутылку, разливает водку («Русскую» — 4 руб. 42 коп.). Буфетчица за стойкой делает вид, будто никакого безобразия не происходит.

...В воде медленной речки, такой медленной, будто она и вовсе не движется, двое мальчишек в по пояс мокрых, кое-как закатанных штанах застыли с удочками, уставясь на неподвижные поплавки. На лоб одного из мальчишек села синяя стрекоза...

Молодая женщина в нарядном городском платье идет босиком по проселочной дороге. Маленькие, почти детские следы глубоко впечатываются в горячую, мягкую пыль. В одной руке женщины — туфли, в другой — сумочка. По обе стороны дороги — пшеничное поле.

Дорога не спеша взбирается на небольшой пригорок, где в темно-зеленой тени старых кладбищенских деревьев среди разросшихся кустов сирени и шиповника застенчиво белеет деревенская церковь.

Пусто на кладбище. Искусственные венки выгорают на солнце. Женщина входит в ворота. Отряхнув ступни от пыли, она надевает туфли. Потом достает из сумки ситцевый платок и повязывает на голову, туго затянув узел под подбородком.

Внимательно посмотрев по сторонам, женщина приближается ко входу в церковь. Здесь она останавливается, оглядывается еще раз, потом решительно, хотя и неумело, крестится.

И, склонив голову, скрывается внутри...

...Гора рассеялась полностью. Ветер относит вправо последние клочья, похожие на паровозный дым. И совсем ясно и отчетливо видит Максим худого человека в старомодных очках на загорелом, очень усталом лице. Человек сидит на диване в почему-то знакомой темноватой комнате. Что он делает? Смотрите, пожалуйста: изучает семейный альбом. У него, у счастливица... да! счастливица! — мать. Конечно, больная, но — живая, ее наверняка можно вылечить... У счастливица все как положено: прабабушка, прадедушка. Дедушка в докторском халате со стетоскопом на груди. Шестнадцатилетняя бабушка в пелерине институтки. Еще какой-то родственник — с усиками, не иначе — белый офицер. Уж не погромщик ли?.. Человек нетерпеливо листает альбом, усатый погромщик ему, похоже, до фени. Нашел. Вынул какой-то снимок, поднес к глазам. Черт близорукий, мало ему очков, все загородил, не поймешь, кто у него там, на карточке! Зато видно, как со страницы открытого альбома изумленно таращит темные глаза кругломордый младенец в капоре.

...Павел Иванович рассматривает фотографию отца, последнюю его фотографию, — уже после войны переслали однополчане. Отец в белом полушубке стоит возле пушки. На обороте — рукой матери: «Январь 1942 г». Вчерашний парень, в самом деле, поразительно похож: тот же разрез глаз и губы. И прямой нос с едва заметной горбинкой.

Павел Иванович встает и подходит к отцовской фотокарточке, висящей на стене. Пожалуй, и тут что-то есть... Выражение, овал лица. Но особенно — выражение. Прямо неправдоподобное сходство, как это он сразу не заметил? Вот бы показать ему. Он же тут работает, рядом. Непременно надо показать...

Младенец в капоре с грустным удивлением смотрит из альбома на старшего брата.

Младенца звали Геннадием. Генкой. Он очень громко кричал по ночам, а днем спал. Он погиб в восьмимесячном

возрасте под бомбежкой, в самом начале войны, в Минске, откуда Павел с матерью так и не успели эвакуироваться, вернулись к деду, в село.

Павел Иванович плохо помнит тот день, помнит только, как они выскочили на улицу, мать тащила его за руку, а баба Лиза, соседка, несла орущего брата. Помнит, что они потеряли друг друга в толпе, был грохот, пыль, воронка, мать упала... Бабу Лизу так потом и не нашли. И Генку не нашли.

Ночью, как раз накануне, Павлику приснился страшный сон: огромная, белая и плоская змея заползла в комнату. Он пытался закричать, но не мог, и проснулся от взрыва. Кругом грохотало, в окно виднелось зарево. Вопил Генка, а мать укачивала его, взяв на руки.

Брата, конечно, искали. И тогда, когда мать пришла в себя после бомбежки, и потом, уже после войны. Искали через милицию, по радио. «Смирнов Геннадий Иванович, год рождения 1940, уроженец Ленинграда. Русский».

Павел Иванович осторожно кладет отцовскую карточку на место и закрывает альбом...

А Максим видит парк и в глубине его — серое здание. Окна в этом здании забраны густыми металлическими сетками, а на первом этаже еще замазаны до половины белой краской. И все же, если взглянуть как следует, можно рассмотреть старуху, неподвижно сидящую на краю узкой железной койки. Старуха о чем-то усердно думает, покачивая седой нечесаной головой.

— Ваня? — негромко спрашивает она. — Ты, значит, жив? Жив, Иван Николаевич?

Самолет летит на высоте девять тысяч пятьсот метров...

...Душно. Наверняка опять будет гроза. Павел Иванович расстегивает воротник рубашки, вытирает лоб. И вдруг на полу рядом с диваном видит выпавшую из альбома фотографию. Видит и наклоняется поднять.

На старой этой потемневшей фотографии — солдатский обелиск со звездой, а вокруг — поле.

...Самолет на мгновение сверкнул над полем и исчез. Ветра нет. Неподвижна трава, поднявшаяся чуть ли не до половины обелиска. Неподвижны серые метелки, и клевер, и лиловая путаница «мышинного горошка».

А земля здесь мягкая, сухая и теплая. Соленые песчинки липнут к губам Максима, скрипят на зубах, забиваются под ногти. И никак не оторвать лица, груди, ладоней, не выпрямить скрюченных пальцев, вцепившихся в гибкие прочные стебли.

— Ladies and gentlemen, our plane has just on the border of the Soviet Union.

...Двое санитаров с трудом удерживают худую высокую старуху. Голова ее запрокинута, седые волосы рассыпались по спине. С нечеловеческой силой старуха рвется к дверям и, не замолкая ни на секунду, пронзительно кричит. Она кричит так громко, что слышно во всех этажах серого кирпичного здания с густыми сетками на окнах:

— Павел! Гена! — кричит старуха. — Павел! Гена! Дети мои!..



*Костылев*



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Чепуха, ерунда и чушь снились Алексею Петровичу Костылеву в ночь на второе января восемьдесят второго года<sup>1</sup>: будто он в бане проводит инвентаризацию. Ходит в выходном костюме среди голых и считает тазы.

От жары Костылев проснулся. За окном — сухая плотная тишина. В соседней комнате, где спят жена и сын, тоже тихо. Никакой бани.

Бани-то нет, но почему так жарко? Батарей что ли раскопегарили? А может, заболел? Ну конечно — вчера простудился, и вот теперь температура... Костылев дотронулся до лба.

И тут же понял: и жара, и тишина, и мысли про болезнь — все это опять сон.

Медленно и вдумчиво он потрогал лоб еще раз.

И сразу вскочил, босые ноги брякнули о паркет, разъехались, и Костылев с грохотом рухнул на пол.

Вскрикнул за стеной сын. Зашлепали частые босые шаги жены. Зажглась люстра, в ее ослепительном, невыносимо ярком свете Костылев сидел посреди комнаты в одних трикотажных белых трусах. Все его тело покрывала густая рыжая шерсть. Возле правого бедра вальяжно разлегся довольно длинный ворсистый хвост с кисточкой, по виду напоминающей бритвенную. На лбу красовались небольшие, но крепкие рога.

Ну вот! Я так и знала, — всхлипнула жена, — доигрался.

Костылев встал. Осторожно ступая копытами, точно на нем неудобная тесная обувь, процокал в переднюю к трюмо. Долго стоял там, плавно поворачиваясь то правым боком, то левым.

Шерсть блестела и переливалась. Красивая, в общем, шерсть. Как у псов породы чау-чау. Хвост свисал почти до полу. Костылев попробовал пошевелить им. Получилось.

Утром вызвали врача — не идти же в таком виде на работу! Да и вообще непонятно, что это все означает, и как теперь жить. Пока что Верочка, позвонив от соседки в поликлинику, собралась к матери отвозить Петьку. С мужем она была суха и скорбна, на вопрос, в чем дело, ответила, что навряд ли какой женщине понравится быть женой чёрта.

— Чёрта?

— Ну, а кого еще? Кого? Посмотри в зеркало еще раз! Это... это подлость! Такие вещи могут случаться только с тобой.

— Да почему?

— Потому что ты... такой.

— Какой — такой?

— А вот такой. Не как люди! И нашим, и вашим. Я же не превратилась в чёрта, правда? И никто не превратился.

Выдвинув этот удобный аргумент, она оделась и ушла, уведя сына. Даже проститься не дала: «Нельзя. Папа очень болен, он заразный».

Оставшись один, Костылев стал иступленно думать. Врач врачом, а не попробовать ли самому? Но как? Рога что ли пилить? Копыта обрезать? И шерсть... Допустим, состричь ножницами, а потом бритвой... Год провозишься. А хвост? Операция? А если опять все вырастет? И что — все снова? Интересно, что имела в виду жена? И, действительно, почему именно с ним? Без причины ничего не случается. Все ведь было нормально, даже хорошо, особенно декабрь: предзащита с блеском, никаких замечаний,

профессор Беляев сам — никто не верит! — предложил себя в оппоненты. Престижный журнал принял две статьи, одна уже в наборе. Даже выдвинули опять на доску почета, хотя портрет руководителя группы, и. о. старшего научного сотрудника Костылева А. П. там уже провисел целый квартал.

Но дело, конечно, не в досках. Может, чересчур гладко все шло последнее время? Подозрительно гладко, катилось, как по рельсам. А Вера? Почему все-таки она... «И нашим, и вашим» — что она имела в виду, неужели опять историю с техником Митиной? Митина, конечно, не премию заслужила, а выговор, если не хуже. Завалила ему опыты, наврала в расчетах, занималась в рабочее время чёрт-те чем: то обзванивала аптеки, то по полдня отсутствовала, доставала дефицит. Если бы не Лена Клеменс, лаборантка, отработавшая за нее два выходных, сидеть бы без премии всей лаборатории.

Костылев потом, когда премию распределяли, колебался-колебался, да и выписал Митиной двадцать пять рублей (чёрт с ней, мать-одиночка), а Сидоров, начальник, тут же вычеркнул: «Это еще что за гнилой либерализм? Поощряешь бездельников, у нас тут не собес».

В день выплаты Костылев пошел в кассу первым, взял свои семьдесят пять рублей и дал из них двадцать пять Лене Клеменс для Митиной. Попросил сказать, что получил премию за себя и за нее. Митина деньги взяла. Зачем-то бегала в кассу выяснять. Не выяснила. Работать с этого дня стала еще хуже, а на Костылева поглядывала подозрительно и исподлобья — может, вообразила, что он часть ее премии прикарманил? Сидоров, который каким-то образом всегда все узнает, обвинил его в беспринципности. А Верочка, когда Костылев ей рассказал, тут же обиделась: быть хорошим для всех без разбора — дело, конечно, похвальное, если не за счет собственного ребенка, которому не на что купить шубу... и т. д., и т. п.

Было это три месяца назад, а она все еще помнит... Да. Но что делать, делать-то что?

Размышления Костылева были внезапно прерваны звонком в дверь. Он набросил халат и ковчег пошел открывать. Врачиха была маленькая, коренастая, в круглых доисторических очках. Очень хмурая.

Сунув пальто Костылеву, но глядя при этом мимо него, она громко зашагала в комнату, не выразив никакого желания помыть руки и оставляя на полу здоровенные куски снега, смешанного с песком и чем-то черным, похоже, мазутом. В комнате сразу села к столу и принялась раздраженно рыться в громадной хозяйственной сумке. Вынув оттуда курицу, бросила ее на стол. Курица немного поскользила, царапая когтями полировку, и остановилась у самого края, непристойно раскинув голые синеватые ноги<sup>2</sup>. «Наверное, все же петух», — отводя глаза, утешал себя Костылев. А врачиха, между тем, вываливала на стол горы разных листков, мятых бланков, карточек и, наконец, извлекла фонендоскоп. Только тут она раздраженно взглянула на Костылева и приказала:

— Раздевайтесь!

— Видите ли... — промямлил он, еще глубже запахнув полы халата. — Я... как бы вам это...

— Раз-де-вай-тесь! — сержантским тоном повторила докторша, впихнув концы фонендоскопа себе в уши.

Костылев судорожно сбросил халат. На докторшином лице появилось выражение крайнего негодования.

— Больной, — сказала она, — уважайте мое время.

— А я... А я что? — потерянно бормотал он, топчась перед докторшей. Копыта клацали, но она на них не смотрела. Нет, она смотрела в глаза Костылеву и медленно делалась багровой.

— Свитер! Снимите ваш свитер, наконец! Вы что, издеваетесь?

И докторша больно ткнула пальцем в грудь Костылева.

— Это не свитер! Это... волосяной покров! — жалобно закричал он. — Шерсть! Понимаете, мех!

Несмотря на заткнутые уши, докторша услышала и во взгляде ее появилось омерзение.

— Мужчины... — процедила она с брезгливостью. — Ладно, дышите!

Она прослушала грудь и спину Костылева («Не дышите!») велела лечь и стала мять живот («Болит? Не болит?»), потом заставила открыть рот и поморщилась, когда Костылев сказал: «А-а». Действовала докторша торопливо и нервозно, но Костылев покорно выполнял все указания, не смея проронить ни слова.

— Так на что вы, собственно, жалуетесь? — надменно спросила она, выдернув из ушей трубки, садясь к столу и с невероятной скоростью исписывая какой-то листок.

— Но... как же? Вы же видите... Вот, хотя бы хвост...

— Боли в хвосте, — кивнула докторша, продолжая строчить. — К хирургу!

— Он не болит, — робко возразил Костылев.

— Так что же вы мне голову морочите? Больничный понадобился после праздников? Больничного не дам. В легких чисто, зев нормальный, пульс удовлетворительный. Не надейтесь.

— Помилуйте! — взмолился Костылев. — Как это «не надейтесь»? Я же не могу явиться на работу с хвостом! Понимаете?

— А я русским языком: к хирургу! Как вам не стыдно, гражданин? Вызвали врача с нормальной температурой и скандалите!

— Доктор! — возопил Костылев в отчаянии. — Да вы посмотрите на меня! Ведь еще и рога! А копыта? Как вам нравятся эти копыта?

Он по-футбольному задрал ногу, докторша шарахнулась и чуть не упала со стула.

— Действительно... — наконец проговорила она, протягивая руку и опасливо касаясь копыта. — Ну... не знаю. Окостенение стопы... Давно это с вами?

- Сегодня ночью!
- А раньше? Бывало?
- Никогда!
- Так... Ну, а в семье кто-нибудь?..
- Что?
- Страдал?

Костылев помотал головой.

Докторша интенсивно поскребла подбородок. Взяла бланк и стала выписывать направление на анализ мочи. Бросила. Еще посидела. Высморкалась. Зачем-то потрогала за лапу своего петуха.

— Знаете,— сказала она,— это... казус. А у меня еще двенадцать вызовов.

— И у вас нет... никакого объяснения? Хотя бы предположительно? — спросил Костылев. — Как бы вы это все назвали? Короче говоря, отчего это? И... кто я теперь?

Тотчас вскочив со стула, врачиха схватила петуха за шею и упихнула в сумку. Потом принялась, сминая, заталкивать туда бумаги. Два раза дернув «молнию», которая не застегнулась, она вдруг зорко посмотрела на Костылева и отчетливо произнесла:

— Впутать меня в это дело вам не удастся. Понятно? Костылев молчал.

Докторша решительно направилась было к выходу, но передумала, вернулась к столу, полезла в сумку, долго копалась там (куриные лапы со скрюченными пальцами и антисанитарными когтями свирепо торчали наружу), вынула бланк и быстро его заполнила. После чего, оставив бланк посреди стола, величественно удалилась в переднюю. Костылев заковылял следом, подал пальто.

— Это на Сосновой,— буркнула докторша уже в дверях. И добавила:

— А на больничный все равно права не имеете, поскольку весьма даже трудоспособны.

Костылев запер дверь и побрел в комнату, при этом дважды поскользнулся и нецензурно обругал копыта.

Бумажка, оставленная врачом, оказалась направлением в ветеринарную лечебницу к специалисту по крупному рогатому скоту. Находилась эта лечебница на Сосновой улице — в прошлом году теща возила туда своего кота Барнаула. Кастрировать... Костылев скомкал направление и бросил в мусорную корзину. Потом открыл форточку: в комнате стоял какой-то ядовитый химический запах.

На работу он поехал на такси. Шоферу объяснил: к врачу, и тот кивнул, поглядев с сочувствием. На голове Костылева колом торчала шапка, копыта прятались в старых, растоптанных валенках с галошами — теща ходила в них гулять с Петькой. Шею он плотно замотал шарфом, хвост шел вдоль левой штанины, мешая сидеть.

В лаборатории только что кончился обеденный перерыв. В комнате было двое. Младший научный сотрудник Сергей Гуреев строго сидел над выдвинутым ящиком письменного стола, где лежала раскрытая книга. Это был, конечно, какой-нибудь дефицитный бестселлер<sup>3</sup>: для Гуреева — дело чести читать дефицит раньше всех на свете.

Костылева, вошедшего в комнату в дикой шапке и валенках, он тоже увидел раньше всех, то есть раньше, чем лаборантка Елена Клеменс, стоящая к двери спиной, поскольку она сейчас с неприступным видом кормила аквариумных рыб. Гуреев окинул Костылева вялым взглядом:

— Причуды гения. Весьма оригинально, а главное, остроумно, — с кислым удовлетворением сообщил он. — Принарядился для съемки на почетную доску?

Было совершенно очевидно, что экстравагантный костюм начальника Гуреев квалифицирует как дешевую рисовку с потугами на эпатаж. Неудачными, коллеги, неудачными.

Услышав реплику Гуреева, Елена Клеменс горделиво обернулась.

— Алексей Петрович, вы нездоровы? — спросила она бесстрастно. Она всегда была холодна, как метроном, так как из-за фамилии почему-то считала себя англичанкой.

— Вроде того, — хмуро согласился Костылев. — А где все?

— Все находится на овощной базе, — как всегда, четко ответила Лена.

— А Сидоров?

— Начальник лаборатории находится в своем кабинете.

Костылев подумал, поправил шарф и повернулся к двери.

— Это ж какое гражданское мужество надо иметь — являться к шефу в таком сатирическом виде, — счел долгом заметить Гуреев.

Сидоров был, слава Богу, один. Читал какой-то отчет и делал на полях пометки. Приглядевшись, Алексей Петрович понял, что это его, Костылева, отчет, сданный досрочно перед Новым годом.

— Вот, — добродушно проскрипел Сидоров, поднимая глаза, — читаю. И знаешь, получаю удовольствие. Парадоксальный угол зрения. Ну, это твоя главная сила. Никуда не денешься, молодец! Завидую. Только слишком много тире, это все же технический отчет, а не... поэма экстаза. И в диссертации та же картина. Грессишь... А почему ты в таком маскараде? На снег ходил?

Можно было, конечно, соврать: ходил, дескать, сгребать снег (на уборку снега ежедневно отряжали от лаборатории человека, а то и двоих), и сразу стало бы понятно, зачем валенки и почему отсутствовал до обеда. Но... глупо. Сегодня соврешь про снег, а завтра про что? И, глядя начальнику в лицо, он твердо произнес:

— У меня несчастье, Валерий Михайлович.

Сидоров медленно склонил голову к плечу, наморщил лоб и тихо заскрипел, более чем когда-либо делаясь похожим на шкаф. В который раз уже, глядя на своего руководителя, Костылев ясно видел перед собой шифоньер предвоенного образца, желтовато-коричневый со стеклянным окошком в верхнем углу левой узкой дверцы. Имелась еще правая, пошире, а внизу тяжелый ящик: за широкой дверцей, представлялось Костылеву, висят единственные «плечики», а на них — поношенный ватник... а может, бушлат (рукав непременно

в известке), поверх бушлата брошен старомодный вязаный галстук — и всё. Зато в левом отделении, на одной из полок... верхней? да, на верхней, — там лежит растрепанная толстая книга без обложки и кусок электрического шнура. Еще — два фарфоровых ролика<sup>4</sup>, но те на полке снизу, к средней же, пустой, намертво прилип кусок старой газеты, залитый чем-то розовым и липким. А вот что хранится в ящике — Бог весть...

Костылев решительно разматал шарф, повесил его на стул и распахнул пиджак, открыв заросшую грудь. Потом стащил шапку.

Сидоров заморгал, губы его шевельнулись, однако не последовало ни звука.

— Есть еще хвост, — с вызовом сообщил Костылев, — и вот. Он в одну секунду скинул валенки и прошелся по линолеуму, выбивая копытами чечетку.

— Присядьте, — холодно сказал Сидоров.

— Не могу: хвост, — парировал Костылев, пристукнул копытом и встал.

— Какого ч... С какой стати вы демонстрируете мне все это? — В голосе Сидорова была враждебность. — Я вас об этом просил?

— То есть... А что же мне было делать? — изумился Костылев.

— А мне... мне теперь что делать? Об этом вы беспокоились, нет? — Кряхтя, Сидоров вылез из-за стола, подошел к Костылеву вплотную и наклонился, разглядывая копыта. Выпрямился, потрогал рога, дернул сперва левый, потом правый и даже, вроде, попытался отвинтить. Костылев застонал.

— Несъемные, — сокрушенно констатировал Сидоров и коснулся шерсти. — Натуральная, — тоскливо вымолвил он. — Как же это вы... так?

— Понятия не имею.

— Наденьте обувь. — Сидоров направился к двери и запер ее на ключ. Затем вернулся за стол, понюхал воздух — снова пахло химией — и покачал головой.

— Эпоксидка? Нет. Сера. Следовало ожидать.

— Почему? — быстро спросил Костылев.

Не отвечая, Сидоров забарабанил пальцами по столу.

— Садитесь,— рассеянно произнес он.— Ах, да, мешает... Ну, как хотите... В общем, так, Алексей Петрович. Я, откровенно говоря, пока растерян и совершенно не представляю себе объема последствий всей этой... ерунды. Тьфу! Ведь ерунда какая, ей-богу!

— Не поминайте всуе,— саркастически заметил Костылев.— Все же здесь диавол.

— Да что вы язык распускаете? — Сидоров побагровел точь-в-точь, как давешняя докторша.— Чтоб я не слышал этого слова! Еще не хватало — у нас в институте и... эти. Зарубите на своем носу раз навсегда — их нет! Нету, поняли вы?

— Да я пошутил.

— Вот и помалкивайте! Шутник выискался. Короче, я вынужден обо всем доложить наверх. Вы меня вынудили. Заметьте себе — вы. А мне теперь вместе с вами... гореть. А раз так, я должен знать все обстоятельства. Как это случилось, почему, где? Хотя, почему — это, допустим, я себе вполне могу представить. В смысле — почему именно с вами. Вы ведь у нас особенный. Так сказать, оригинал. Генератор безумных идей. И ученый, и... вообще. Отчеты пишете... как Лев Толстой.

— Это плохо? — ядовито спросил Костылев. Но Сидоров только отмахнулся.

— Сейчас важно другое,— продолжал он.— Ваша... версия. Как вы это сами-то объясняете?

— Никак,— Костылев пожал плечами.— Лег вчера спать, ночью просыпаюсь, и... — он похлопал себя по рогу.— В общем, можете не сомневаться — я к этому никакого отношения не имею, и будь вы на моем месте...

— Стоп,— Сидоров стукнул по столу ребром ладони.— Стоп. Не переходите границы, не нужно. Я, разумеется, вхожу в ваше положение (вы, по-моему, его еще не впол-

не осознали и потому ведете себя... неправильно. Очень мягко говоря). Я даже готов поверить, что вы искренне думаете, будто не... будто не имеете отношения, не знаете, не хотели. Я, наконец, готов принять на себя некоторую долю ответственности...

Не глядя на Костылева, он говорил все быстрее и легче, будто скользил на санках с ледяной горы, постепенно набирая скорость.

— ...но это отнюдь не значит, что я собираюсь...

Раздался громкий стук в дверь. Санки сходу уткнулись в сугроб. Перекосились.

— Да! Да! Сейчас! Я занят! Зайдите через десять минут! — нарочито бодро откликнулся Сидоров, перешел на шепот и от этого почему-то смягчился:

— Идите пока и работайте. Я переговорю с Александр Ипатьевичем. Может, еще и... Тьфу, ерунда какая, ты подумай. И так некстати... Только уж вы, Алексей Петрович, пожалуйста... без этих! Не бравировать. Бравировать нечем. Да!

Отметив про себя, что начальник избегает обращаться к нему на ты, Костылев вышел в коридор, держа в руках шапку и шарф. Сидоров за его спиной недовольно скрипнул. Пускай скрипит — прятаться и забиваться в углы Костылев не намерен.

Первым в лаборатории его увидел опять-таки Гуреев. На кисло-аскетическом лице его обозначилось удивление, которое он тотчас погасил, не такой это был человек, чтобы плебейски разевать рот на чужие рога и шерсть. В следующее же мгновение он понимающе кивал, и выражение глаз его было, как всегда, утомленным.

— Не ново, старик. Увы, старо, как динозавры. Было тысячу раз. Мефистофели, Фаусты, Вельзевулы разные. Воланд, наконец... Не обижайся, но. Убого. И плоско.

Он пожал узкими плечами и стал считать на калькуляторе. Костылев же добрался до своего стола, отпер верхний ящик и достал третий экземпляр отчета. Надо

проверить, что там за лишние тире. Да! Надо работать и плевать на всю эту... как он сказал, Сидоров? На эту ерунду! Никакой паники, ничего смертельного, бывает хуже. И вообще — на данный момент ситуация вполне исчерпана, все шаги, которые требовалось сделать, сделаны, и значит, нечего суетиться. Быть независимым, вот что главное в любых обстоятельствах. А результаты экспериментов все-таки сплошной блеск!

Однако читать стоя было неудобно. Обдумывая, что ему предпринять, чтобы можно было сидеть, Костылев не услышал, как подошла Лена Клеменс.

— Алексей Петрович, — сказала она своим машинным голосом. — Я сделала вывод. Вы абсолютно правы. Это достойно. А глупые шутки некоторых бездарностей следует игнорировать.

Костылев, отыскивая в ящике стола бритву, неопределенно пожал плечами. Найдя лезвие, он взял его двумя пальцами, решительно шлепая валенками, вышел из комнаты и направился в туалет.

С брюками пришлось помучиться. Резать, как попало, прямо по ткани, было жалко, а пороть по шву Костылев не умел. Он заперся в кабинке, стоя в одних трусах и поставив ногу на унитаз, брюки лежали на колене и норовили соскользнуть на пол. Все же, наконец, удалось создать достаточное отверстие. Костылев оделся и вытащил наружу хвост. Плевать. Вот уж — плевать! В конце концов, надо думать в первую очередь о деле, а не о том, кто что скажет. Это конформизм. И вообще — подумаешь! Поводов лезть на стену пока еще нет. Никто не умер и не заболел смертельной болезнью. А хвост... Что ж — у наших предков тоже были хвосты. А хвостатый мальчик из анатомии? Не вешался же он оттого, что имел этот... рудимент. А человек Евтихийев<sup>5</sup>? Да мало ли какие встречаются аномалии! И, заметьте себе, лучше, когда они физические. Вот если бы он, Костылев, проснулся подлецом или трусом, было бы мно-

го хуже, правда? Паниковать нечего, надо вести себя с достоинством.

А болван Гуреев со своими изысканными шутками... Врезать по унылой роже — и все дела.

Костылеву вдруг показалось, что хвост его как будто приподнимается. Обернулся — точно! Хвост загибался вверх кренделем и выглядел весьма по-боевому, как у собаки, которая собирается драться. Шерсть на груди тоже привстала, а на шее, вернее, на загривке — Костылев проверил ладонью — вообще торчала дыбом. И прекрасно. Пусть боятся!

До конца дня он упрямо работал — перечитал (не без удовольствия) свой отчет, поправил опечатки, убрал лишние тире. Нет, что ни говори, а работа, сделанная Костылевым и его группой в составе младшего научного сотрудника Гуреева, старшего инженера Погребнякова, техника Митиной и лаборантки Клеменс, работа эта дала на редкость многообещающие результаты. Если теперь внедрить их в производство, чем в настоящее время уже начал заниматься Погребняков, можно... страшно даже подумать — что. И уж конечно тогда маячит крупная премия всем участникам вплоть до директора, не говоря о Сидорове. Нет, судя по всему, ссориться сейчас с Костылевым руководству не выгодно, а раз так, вряд ли кто станет вменять ему в вину такие чисто внешние отклонения от нормы, как хвост и рога. Скорее всего, принято будет решение в интересах дела просто не заметить...

В это мгновение за спиной Костылева скрипнула дверь, и послышался наждачный голос Сидорова:

— Алексей Петрович, нас с вами просят на ковер.

Первую половину пути до «ковра» Сидоров молчал. А идти было не близко — по двору, мимо строящегося лабораторного корпуса, через «пяточок» перед входом в главное здание — так назывался старинный трехэтажный особняк, где находились приемные и кабинеты высокого начальства, конференц-зал, медпункт и библиотека.

Посреди «пяточка», где летом был разбит сквер, красовалась институтская доска почета, где уже четвертый, как известно, месяц висел его, и. о. старшего научного сотрудника Костылева А. П., портрет... хотя... постойте! А где же портрет? Днем был на месте, в середине нижнего ряда, а теперь там зияет темный четырехугольник, вполне отчетливый на выгоревшей и вымытой дождем и снегом ткани.

Костылев повернулся к начальнику, мрачно шагающему рядом.

— А что же вы хотите, Алексей Петрович? — мгновенно среагировал тот, не взглянув ни на него, ни на доску. — Решение принято руководством исключительно в ваших интересах. Чтобы не обострять и не возбуждать.

Костылев молча пожал плечами.

Пока они поднимались по лестнице, пока шли по длинному, устланному зеленой дорожкой, «директорскому» коридору, навстречу попало довольно много народу. Завидев Костылева в его новом обличье, никто, надо отдать должное, в обморок не падал, не ахал и не всплескивал руками, никто ни о чем не спрашивал. Кинув на коллегу быстрый взгляд, все тотчас изображали на лице неопределенно постное выражение и проходили мимо, будто не видят ни рогов, ни хвоста, ни диких дворницких валенок. По-видимому, указание не обострять и не возбуждать каким-то образом было уже доведено до сведения коллектива.

Поравнявшись с дверью в кабинет замдиректора по научной работе Александра Ипатьевича Прибыткова, Костылев было приостановился, но Сидоров взял его за локоть.

— К директору, — скрипнул он, — все там.

Через мгновение Алексей Петрович убедился, что надежда, будто произошедшая с ним метаморфоза «в интересах дела» пройдет незамеченной, была просто смехотворной. Первое, что он услышал, войдя к директору, были слова «подозрительное хулиганство», дважды нервно произнесенные голосом Валентины Антоновны Войк, председате-

ля профкома, женщины энергичной и гулкой, в прошлом капитана баскетбольной команды.

— Разберемся и примем решение,— успокаивал профессор Прибытков, поводя своим мягким медузообразным лицом. Он первым заметил вошедших и поднялся со стула. Войк замолчала, а Александр Ипатьевич двинулся навстречу Костылеву, заранее протягивая руку. На ощупь рука напомнила Алексею Петровичу сырой антрекот.

Директор неподвижно высился над письменным столом. Выражение на его лице полностью отсутствовало, поскольку в данный момент отсутствовало и само лицо. На том месте, где ему положено быть, Костылев с усилием различил только слабый намек на рот, прочерченный неуверенной и неумелой детской рукой, рисующей «точка, точка, два крючочка, носик, ротик, оборотик...»

Помимо оборотика, имелась еще небольшая дуга выпуклостью книзу, что могло изображать, если угодно, улыбку.

Сесть Костылеву, однако, не предложили.

Разговор начал Прибытков. Доброжелательно сводя и разводя щеки, он сказал, что беда, неожиданно постигшая уважаемого Алексея Петровича, касается не только самого уважаемого Алексея Петровича, но, прежде всего, конечно, коллектива, так что сейчас очень важно не падать духом, а напротив, внутренне собраться и принять действенные меры, чтобы эта печальная история с оттенком нонсенса не приобрела дурной окраски, поскольку, как вы сами понимаете, затронута не только ваша честь, но и репутация института, а прежде всего лаборатории...

На этом месте пристроившийся к торцу директорского стола Валерий Михайлович Сидоров вдруг скрипнул и нервно забарабанил пальцами, да так громко и часто, будто со всех окрестных карнизов слетелись воробы и клюют пшено. На прозрачно-розоватом овале лица директора внезапно выступили маленькие, абсолютно круглые и цепкие глаза с жирными зрачками — ни дать, ни взять два областных центра на географической карте. Так, во всяком

случае, подумал Алексей Петрович Костылев, с интересом наблюдая за появлением вслед за глазами довольно увесистого носа. Бровей пока не было, рот же оставался прежним — дужкой. Но вот дужка превратилась в вертикальный эллипс, и оттуда внятно послышалось:

— Прежде всего... м-м...

— Костылев! — с отвращением подсказала баскетбольная Войк.

— Коростылев, — кивнул директор. — Так вот, Коростылев, потрудитесь объяснить, как и почему все это с вами произошло.

— Я уже объяснял. Не знаю, — хмуро сказал Костылев, поглядев на Сидорова. Напрасно глядел — тот в данный момент напоминал умалишенного пианиста, самозабвенно барабанившего одной рукой по столу, а другой — по собственному колену.

Над глазами директора возникли две короткие горизонтальные черточки и тотчас медленно двинулись навстречу друг другу, подобно поездам из математической задачи про пункты А и Б.

— Лично меня, — значительно произнес директор, дождавшись, когда составы столкнулись и, по-видимому, потерпели крушение (один из них, левый, во всяком случае, бесследно исчез, другой же, нерешительно прихрамывая, пустился в обратный путь). — Лично меня ваше объяснение, данное начальнику лаборатории, увы, не устраивает, товарищ Коростелев.

— Кос-ты-лев, — не выдержал Алексей Петрович. Директор гневно замолчал, тотчас превратив эллипс в короткую прямую, секунды две подумал и отрывисто закончил:

— И не только не устраивает, но и не смотрится!

— Да что там! Липа! Врет — не краснеет! — вскричала Войк. — Всё знает!

Костылев взглянул на нее и увидел, что пальцы обеих рук этой дамы беспокойно бегают по стеклянным бокам

графина с водой, точно профсоюзная деятельница внезапно лишилась зрения.

— Не бывает, чтоб не знал! — натужно кричала Войк. — Пусть объяснит! Вот я же — не чёрт...

Лицо директора мгновенно погасло.

— Тихо. Тихо-тихо-тихо... — беспорядочно шевеля сразу всеми частями лица, быстро сказал профессор Прибытков. — Вот этого не надо. Валентина Антоновна, мы же здесь договорились... Никаких обобщений! Чертей нету, голубчик, — заботливо сказал он, повернувшись к Костылеву, — запомните это, пожалуйста. И надеюсь, вы не вздумаете утверждать, будто...

— Не вздумая, — угрюмо согласился Костылев. — А как все случилось — не знаю. Не знаю и не знаю.

Некоторое время в полной тишине слышалась только дробь пальцев о стол, графин и фанерную дверцу книжного шкафа: к барабанщикам присоединился Александр Ипатьевич.

— Хорошо, — объявил директор, возникая в давешнем виде, то есть с одной бровью и эллипсом. — Допустим, вы не знаете. Но какие-то предположения у вас все же должны быть?

Из пункта А вышел груженный состав и потащился к пункту Б. Встречного не было, более того, станция отправления вместе со станцией назначения из областных центров были разжалованы в районные и вскоре исчезли вообще. Поезд тоже, как провалился. Куда-то девался и недавно объемистый нос. Эллипс стал скобкой, а та, в свою очередь, съезжилась в точку, побледнела, да и пропала.

Костылев молчал. Ярко-красные коготки Валентины Антоновны звонко царапнули по брюху графина и отдернулись.

Стало тихо, как перед повешением.

— Короче говоря, — снова вступил абсолютно безлицый директор. — Мы вас... это... м-м... не торопим. Подумайте. Раскиньте, м-м... Коростелев, головой. Но завтра утром вот здесь, — он глухо хлопнул ладонью по столу, — чтоб

лежало ваше объяснение. Убедительное... м-м... объяснение. Четкое и аргументированное.<sup>6</sup>

И вырубился. Стал похож на знак «Сквозной проезд запрещен»<sup>7</sup>.

Сжав зубы, поскольку так и подмывало нахамить, Костылев, не прощаясь, повернулся спиной к безмордому чучелу, до сегодняшнего дня прекрасно знавшему не только его, Костылева, фамилию, но также имя, отчество и, возможно, год рождения. Он даже сделал шаг к двери, но профессор Прибытков, стремясь предотвратить неловкость, взмахнул лицом, проворно подхватил его под руку и повлек к выходу, бормоча какую-то обращенную ко всем оживленную бессмыслицу, из которой, однако же, следовало, что всё в порядке — совещание окончено.

Весь вечер Костылев с омерзением сочинял объяснительную записку. За окном благостно падал святочный снег. Алексей Петрович в одних трусах сидел за кухонным столом и морщась смотрел в листок, где косо застыли корявые канцелярские строчки: «Настоящим заявляю, что внезапное изменение моего внешнего вида, как то: появление волосяного покрова, а также рудиментарных и др. не свойственных человеку органов, произошло без какого бы то ни было участия с моей стороны, т. е. без моего ведома и согласия. Более того, прошу администрацию учесть, что даже не имею возможности объяснить случившееся сколько-нибудь правдоподобным образом, а потому и не могу нести за все это никакой ответственности. Поскольку новый облик не оказывает ни малейшего влияния на мою трудоспособность и вообще никоим образом не мешает мне выполнять мои служебные обязанности, прошу администрацию в дальнейшем не принимать во внимание этот досадный инцидент».

Покусав губу, Костылев зачеркнул слово «заявляю», звучащее не то, что дерзко, а... пожалуй, нескромно. И тут же обозлился: а почему это, собственно, он обязан быть каким-то сверхскромным? Да если на то пошло, он и за-

писку-то писать не обязан. Все, что случилось,— его личное дело. Кстати, совершенно незачем было являться к Сидорову с покаянным видом и демонстрировать копыта. Дурак. Да что теперь! Что сделано, то сделано. Но в дальнейшем следует вести себя с максимальным достоинством.

Он взял ручку и восстановил слово «заявляю». После чего решительно расписался и поставил число.

В комнате ощутимо пахло серой. Ну и ч... Да, именно — он. Чёрт с ней! Он сложил объяснительную записку вчетверо и спрятал в карман пиджака, висящего на спинке стула. Потом распахнул форточку. Надо только все время помнить: шерсть и рога ничем не постыднее, чем постыдная рожа Гуреева или, допустим, студенистые щеки профессора Прибыткова, не говоря уж о разошедшихся дверцах Сидорова и жалком содержании обоих его отделений...

Жена вернулась поздно. Пришла тихая и почему-то торжественная, ни о чем не расспрашивала, значительно посмотрела на Костылева, покачала головой и стала разбирать продуктовую сумку.

— Где Петька? — с некоторым раздражением спросил Костылев.

— У мамы,— быстро ответила она,— нельзя же так, сразу. У ребенка может быть нервный срыв, необходима хоть какая-то адаптация.

— Ясно... — только и сказал Костылев.

«Нахвталась умных слов у себя в бухгалтерии», — подумал он и испугался, почувствовав, что испытывает к жене брезгливость. Несправедливо — она-то чем виновата?

Верочка, видно, тоже что-то уловила, потому что в голосе ее послышались слезы:

— Я ведь ребенку добра хочу, а ты!.. И перестань поднимать на меня хвост, слышишь? Это вот — тебе.

Костылев увидел в руках жены полиэтиленовую бутылку с густой мутноватой жидкостью. На зеленой этикетке значилось «Дружок» и был изображен пес с вываленным языком и торчащим ухом.

— Что за гадость?

— Шампунь,— твердо сообщила Верочка.— Специальный. От насекомых.

— От... кого?

— От насекомых. В этой шерстище не то, что блохи, тараканы могут завестись. Мне... в общем... посоветовали — надо сделать в квартире дезинфекцию, а тогда возьмем Петю и...

Костылев, изо всех сил стараясь сдержаться, сжал кулаки и стиснул зубы. И вдруг увидел, что из носа его вылетели две маленькие красные искорки, вылетели и тут же, затрещав, погасли.

— Хам! Как ты смеешь? — зарыдала жена.

Утром он положил свою записку на стол Сидорову, тот пробежал ее глазами, секунд пять скрипел, потом, плотно закрыв обе дверцы, поднял глаза:

— Значит, так решили. Сделали выбор. «Заявляю, никакой ответственности»... Хм. Смело... если не хуже. Ну, что ж...

Возвращаясь от начальника, Костылев столкнулся в коридоре с профессором Беляевым, внезапно вышедшим наперез ему из туалета. Увидев оппонента, Костылев впервые с начала чертовщины вспомнил о предстоящей защите.

— Добрый день, Кирилл Андреевич,— приветливо сказал он, останавливаясь. Профессор вздрогнул, втянул лысую голову глубоко в плечи, кинул на Костылева шустрый взгляд и продолжал возиться с брючной пуговицей, не желающей лезть в петлю. Костылев ждал, терпеливо подрагивая хвостом.

Кое-как застегнувшись, Беляев выпрямился.

— День-то добрый... — тоскливо протянул он, высматривая щель между стеной и загородившим проход Костылевым. Алексей Петрович шагнул, профессор неловко ткнулся ему в грудь, отпрянул и вдруг стремительно юркнул назад в уборную. Недоумевающий Костылев зачем-то дернул дверь, но ее крепко держали с той стороны.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Нет никакого смысла утомлять читателя подробным описанием злоключений, посыпавшихся на голову Алексея Петровича Костылева после того, как он представил дирекции объяснительную записку, которая начальство не только не удовлетворила, но даже как-то, вроде, оскорбила. Поскольку не содержала вразумительного объяснения случившегося, а главное, какой бы то ни было его оценки. Кроме того, неясно было, как этот аномальный Костылев намерен вести себя дальше, каких еще сюрпризов может ожидать от него администрация и, стало быть, каких неприятностей для себя со стороны вышестоящих инстанций, в первую очередь, конечно, министерства. Потому что, согласитесь, — кому же, как не администрации, нести ответственность за то, что в подведомственном институте завелся... скажем так, некто с рогами, хвостом и непонятно какими наклонностями?

Был, конечно, вариант избежать неприятностей — не докладывать наверх. Скрыть. Но тогда в министерство могли просочиться неконтролируемые слухи, а это еще опаснее.

Несколько раз, натужно скрипя всем, что только способно скрипеть, Сидоров пытался убедить Костылева — нет, не переписать — кто же на этом настаивает? Просто немного... отредактировать злополучную объяснительную, снабдив ее «глубоко возмущен случившимся» и «с чувством негодования осуждаю», а главное, разумеется, — «категорически обязуюсь впредь никогда». Куда там! Выслушав начальника, упрямый дурак мотнул рогатой башкой и заявил, что осуждать ему, видите ли, некого, каяться не в чем, а давать пустые обещания он не приучен с детства. И, естественно, понимает — вся эта залепуха (особенно про «впредь никогда») позарез нужна администрации, поскольку является не чем иным, как признанием вины. Которой нет. Кроме того, подобный документ открывает перед

директором и Прибытковым широкие возможности в случае чего наказать его как не сдержавшего обещания. Но он, Костылев, облегчать жизнь обделавшимся трусам отнюдь не намерен. Пусть выкручиваются как хотят, пусть увольняют, если у них вовсе нет совести!

— Неправильно себя ведете. Глупо, — с грустью сказал Сидоров после четвертого разговора на эту тему. — Загоняете их в угол. Зачем? Хотя — дело ваше.

Позиция, занятая Костылевым, действительно ставила руководство института в сложное положение. Сообщить наверх, конечно, пришлось, и тут произошло самое страшное, что только может быть в подобном случае, — директору негромко сказали: «Смотрите сами». А когда *там* говорят «смотрите сами», — дело плохо. Это значит — либо дают понять, что вы зарвались, обнаглели до такой степени, что хотите переложить свои прямые обязанности на вышестоящие плечи, либо (и это еще хуже) — вас проверяют. Проверяют, имеете ли вы чутье, способны ли угадать, что от вас требуется, и принять единственно правильное решение, то есть — соответствуете ли должности.

Так что здесь очень опасно поторопиться. Ох, опасно...

И вот уже четвертый месяц (на дворе начинался май, весна, да что за радость от такой весны?) подавленная администрация смотрела. Смотрела и ждала. Чего? Кабы знать... Ну, хотя бы того, что наверху все-таки сжалются и спустят какую-нибудь (пусть махонькую) директиву. Хоть намекнут! Или — что Костылев совершит некий самоубийственный поступок, который сразу уничтожит альтернативу и подскажет руководителям верную линию дальнейшего решительного поведения.

Но Костылев, как назло, вел себя так, словно ничего не произошло, и это многих раздражало. Больше всех мучилась простая душа Валентина Антоновна Войк.

— Ведь зла не хватает! — чуть не ежедневно жаловалась она директору. — Ни стыда, ни совести. Ходит — хвост пистолетом, как фон-барон. Не верю я его объяснениям,

хоть стреляйте. Что-то он скрывает, а когда у человека есть, что скрывать, от него хорошего не жди. Подведет он нас под монастырь, увидите!

— И что вы рекомендуете? — каждый раз с тоской спрашивал директор (от голоса Валентины Антоновны у него закладывало уши).

— А гнать! — запальчиво восклицала Войк, и лицо ее освещалось спортивной злостью. — Гнать в три шеи! Чтоб другие не вздумали, в особенности — молодежь. А то, смотрите, докатимся до ручки. Это что же — сегодня у нас один чёрт, завтра будет два, послезавтра...

— Валентина Антоновна! Я же просил. Зачем вы конкретизируете? — болезненно морщился директор и втягивал щеки, делая лицом из пустого круга восьмерку. Он очень устал.

Безнадежно махнув рукой, Валентина Антоновна шумно удалялась, обдумывая, какую же все-таки постыдную тайну скрывает Костылев, и от мыслей об этой темной тайне ноздри ее возбужденно раздувались, ладони становились влажными, она начинала хрипло дышать и судорожно сглатывать. Директор же принимал очередного посетителя, явившегося поговорить о Костылеве. И это было просто поразительно — до сих пор считалось, что Алексея Петровича в институте уважают и любят, даже гордятся им, восхищаются, а тут вдруг со всех сторон: «Нет, поймите меня правильно. Костылев — неплохой работник, не без способностей, но... ежу, извините, ясно — он всех подвел!» Или: «Надо же знать меру! Никто другой никогда себе подобного не позволял, а если человек считает, что ему все можно, потому что его поддерживает руководство... Будь ты хоть Нильс Бор, а ставить в такое положение коллектив — это, как хотите, безнравственно». И коронное: «Костылева, безусловно, жаль, но закрывать глаза тоже нельзя, люди вас не поймут».

Что было делать директору? В самом деле, и захочешь закрыть глаза — не дадут. Пока что пришлось напроць

забыть о диссертации Костылева. Назначенный срок защиты давно прошел, автореферат, зимой отпечатанный в институтской типографии, по чьей-то оплошности всем тиражом исчез, и никто не мог сказать, куда именно. Профессор Беляев, встречаясь с Алексеем Петровичем, делал неизменные попытки ускользнуть в первую случившуюся дверь, а если таковой рядом не оказывалось, притворялся слепым и глухонемым — на приветствия не реагировал и, неопределенно мыча, начинал двигаться на ощупь, одной рукой нашаривая стенку, другой жалостно царапая перед собой пустое пространство. После второй безуспешной попытки поздороваться Костылев от профессора отступился и, завидев издали, сам пытался обойти.

Сразу же после зловещего указания «смотреть самим» директор с Прибытковым прекратили всякие контакты с Алексеем Петровичем, а непосредственному его начальнику дали понять, что ответственность за временно исполняющего обязанности старшего научного сотрудника Костылева отныне возлагается исключительно на него.

— Он у вас там, как будто, что-то вроде руководителя группы? — рассеянно поинтересовался Прибытков.

— Руководитель, — сказал Сидоров, сразу насупившись.

— Это без ученой-то степени... — Александр Ипатьевич укоризненно покачал всеми тремя подбородками. — Не смотрится, коллега, совсем не смотрится. Впрочем, решайте сами...

И вскоре, поскрипывая разохшимися дверцами и глядя при этом в стол, Сидоров сообщил Костылеву, что вынужден временно, пока... передать руководство группой Сергею Гурееву.

— Так будет лучше, — загадочно добавил он.

— Это для кого же? Уж не для дела ли?

— Для меня, — хмуро ответил Сидоров. — И для вас. И это главное. Сами же понимаете.

Вера Павловна ушла от мужа в первых числах марта. В тот день у нее на службе распределяли билеты на

концерт по случаю Международного женского праздника. На четырнадцать сотрудниц бухгалтерии билетов выделили всего три, и один из них (на два лица) был выигран Верой Костылевой. Сияя, она прибежала домой и с криком: «Собирайся, с участием Жванецкого<sup>8!</sup>» ворвалась к мужу, флегматично сидящему в кресле. И тотчас осеклась, села на диван и заплакала. Потому что, пока кипел ажиотаж с билетами, да пока она ехала в автобусе домой, думая только о том, как ей повезло, Верочка совершенно упустила из виду, что внешний облик ее мужа категорически исключает всякую возможность гордо (или даже скромно) войти с ним под руку в какое бы то ни было фойе или зал. А явиться на вечер одной, когда билет на двоих... И вообще, почему она, замужняя женщина, должна, как обсевок, толкаться с пальто в гардеробе, а после концерта тащиться одна по темным улицам, где могут пристать хулиганы? Тут Вера Павловна вспомнила, как недавно ходила без Алексея на рождение к подруге, и как унизительно было, когда именинница громким шепотом, воображая, что Вера глухая, упрасивала своего мужа:

— Ну посади Верку хоть на такси. Первый час, нелзя же бабе — одной через весь город.

— А нечего было звать, — отбивался муж. — Сколько раз говорил: не приглашай одиночек. Пускай ее Славка проводит, ему по пути.

— Я просила, не хочет.

Пока супруги препирались, Верочка незаметно оделась и выбежала на темную лестницу. «Одиночка»! Всю дорогу домой она проревела и всю ночь потом — тоже. Обидней всего было, что Алексей ни капли не сочувствовал, только и сказал:

— Сама виновата. Нечего было ходить к этим жлобам.

Ни малейшего сочувствия не проявил он и сегодня, больше того, не поднимаясь с кресла, склочно заявил, что Верочкино горе по поводу каких-то билетов кажется ему бестактностью. И замолчал. А Вера Павловна начала

сумбурно метаться по квартире, выдергивать из шкафов вещи и хаотично запихивать их в дорожную сумку, время от времени поглядывая на мужа.

Напрасно глядела, — скандал был не первый, Костылев уже привык, научился отключаться и думать о своем при любом шуме. А сегодня у него было о чем поразмышлять. Сегодня профессор Прибытков, столкнувшись с ним на лестнице, не заспешил, как водится, по особо срочным делам, а остановился! И подал Алексею Петровичу руку! И тот, преодолев соблазн пройти мимо, не заметив руки, пожал ее и решил про себя, что на этот раз она напоминает не антрекот, а приличный кусок ветчинной колбасы.

Энергично сводя и разводя щеки, Прибытков отечески спросил, что же, наконец, намерен дорогой друг предпринять с целью ускорить защиту.

— Мне, знаете ли, представляется, неплохо бы того... Очень, очень неплохо бы поднять этот вопрос на каком-нибудь там собрании, совещании или даже — отчего бы, собственно, не направить жалобу в министерство и... другие инстанции? Сколько можно, в самом-то деле? Муржигить, понимаете ли, талантливое, можно сказать, человека, и, главное, было бы за что, коллега, было бы за что? Ерунда какая-то! Но, с другой стороны, хочу вам сказать, под лежачий камень, имейте в виду, вода не течет, надо, дорогой мой, бороться. Да, да. Я думаю, было бы очень и очень полезно. А я лично поддерживаю в ВАКе.

Тут Прибытков встряхнул лицом и быстро ушел, оставив парализованного Костылева обдумывать услышанное, чем тот и занимался до конца рабочего дня и вот сейчас, сидя в кресле. И поэтому, слушая и не слыша крики жены, он никак не мог заставить себя отвлечься от мыслей о том, с кем же персонально рекомендовал ему бороться уважаемый Александр Ипатьевич, — ведь всем известно, что защиты диссертаций находятся в ведении лично замдиректора по науке. И никого больше.

Итак, Костылев молчал. А Вера, между тем, уронив флакон с жидким кремом «персиковый», зарыдала в голос, — не помогло, подхватила сумку и выбежала вон. Загрохотала дверь. Нужно было встать, догнать ее, остановить... Костылев сидел, точно замороженный. Он пристально смотрел, как розовая густая лужа на полу медленно меняет очертания. Вот она вытянулась, приняв форму не совсем правильного яйца, вот поползли от нее, как улитки рога, два ручейка, вот один из них, добравшись до края ковра, стал набухать и делаться шире, а другой наоборот, истончаясь, полез под кресло, на котором сидел Костылев.

Жена ушла в начале марта, а теперь на дворе май, и всё (кроме жизни Алексея Петровича) стремительно меняется, каждый день новости: те улетели, эти, напротив, прилетели и выют гнезда, то — отцвело, а это, наоборот, как раз приготовилось распуститься. Одуванчики, например, в самом цвету, особенно на газоне во дворе института, где стоит доска почета, а под ней проложена теплотрасса. Кстати, доску не так давно подновили, обтянули свежей тканью, повесили портреты только что отличившихся. Вон — видите? Нет, левее! Это знакомая нам Валентина Антоновна Войк — обратите внимание, как она похудела и от этого сразу сделалась похожа на одну телевизионную спортивную комментаторшу. И стрижка по последней моде, молодежная, с челкой. А в глазах что-то такое... Впрочем, это нас не касается. А рядом — Сергей Гуреев, недавно назначенный руководителем группы Костылева; правда, приказом это пока еще не проведено, но дела Гуреев уже принял. Дальше — Ольга Митина, техник. Нижний ряд, третья слева. Полная, плавная женщина. Похожа на холм. Это видно даже на фотографии, где уместились только лицо, шея и плечи.

Пока мы рассматривали доску, некоторые скороспелые одуванчики начали облетать, и вообще погода вот-вот испортится — вон какая туча лезет из-за крыши соседнего

дома, так и прет, как толстая баба, нагло вторгшаяся с двумя продуктовыми сумками в безответную очередь, состоящую из ветхих старушек. Вот уже и стемнело, не успеешь охнуть — дождь, а за ним, того гляди — град, а там, вполне возможно, снова, как ни в чем не бывало, выйдет солнце. Никуда не денешься — природа...

Другое дело — жизнь. В частности, жизнь Алексея Петровича Костылева, которая после ухода жены, как ни странно, не рухнула, а потекла полого и тягуче, подобно луже жидкого крема «Персиковый». Со временем образовался кое-какой холостяцкий уклад — вещи покрыты пылью, зато всегда на своих местах, по утрам — «глазунья» из трех яиц; обед — в институтской столовой, где раздатчица Настя неизменно кладет ему полуторную порцию гуляша, полив ее маслом, вместо ядовитого бурого соуса; на ужин обыкновенно рыбные консервы. Ходит он теперь в летнем обмундировании — разношенных кедах покойного тестя и его же шляпе. Что же касается времяпрепровождения, то в рабочие часы Костылев выполняет указания начальства, с горечью и раздражением замечая, что занятие это требует от него с каждым днем все меньше интеллекта и знаний. Что-то переписывает, что-то оформляет, работает на простейших приборах. А дела, которыми он занимался раньше, одно за другим переходят в ведение Сергея Гуреева. Замечает он также, не может не заметить, что некоторые сослуживцы с некоторых пор делают вид, будто исключительно плохо с ним знакомы, другие же при каждой встрече тет-а-тет выражают бурное сочувствие и негодование по поводу травли и безобразия, на людях же ведут себя весьма сдержанно и скромно.

Дома... Что ж — дома? Одинокие вечера в тихой пустой квартире, где Костылев читает, сидя в кресле, или смотрит телевизор, а то решает кроссворды, если в киоске на углу попался, скажем, «Огонек». Скучно? А что вы хотите? Не один он так живет, хотя многие, в отличие от него, вполне благополучные люди не имеют ни рогов, ни

хвоста, ни копыт. Ни, разумеется, мыслей: не удавиться ли от такой «жизни»?

Вот, казалось бы, не бывает безвыходных положений, все это знают. Значит, выход наверняка должен быть. Он есть! Надо очень сильно напрячься, включить все извилины, продумать... Только спокойно, без панических судорог. Голова трещит от напряжения, а выход? Выхода нет. Нет выхода. И никто не поможет — главное, никто и не хочет помогать... Может, потому и не хотят, что не знают, как? Но что означают все эти ускользающие взгляды и неуловимо осуждающие нотки, точно он вляпался в какую-то постыдную историю... Или они просто боятся иметь с ним дело? Но почему бояться? Чего?

Кругом одни загадки, только с женой, кажется, все ясно до предела: ей не нужен муж... такой. Это вообще-то понятно. Хотя и обидно. И... противно! Нет, но чего же они все-таки боятся?

Вытерев вспотевший лоб, Костылев распахивает окно, и комната наполняется вечерним воздухом, запахом травы, тополя и бензина. И приходит мудрая, хотя и банальная мысль, что жизнь — какая-никакая, все равно — жизнь. И ты пока еще здоров. И свободен. И довольно молод, чёрт его... прах его возьми! И, видимо, Прибытков прав, старый бес, надо как-то бороться. Только — за что?

...То есть, как это «за что»? Да за то, чтобы не мешали работать! Дали защитить диссертацию! Убрали куда-нибудь с глаз самодовольного болвана Гуреева, сил же нет смотреть, как он курочит, гробит все, что ты с таким трудом сделал! Чтобы дали... спокойно жить, вот и все!

...А может, послушать совета простой женщины раздатчицы Насти, зайти в церковь и обратиться к священнику, чтобы окропил? Нет, если сидеть сиднем, то явно ничего не выйдет. Был же вчера опять разговор с Сидоровым. Тот прямо так, открытым текстом, и проскрипел:

— Это вы на чем же настаиваете? На что надеетесь? Что наши руководители признают: рога, копыта и... прочее —

норма? Вы, дескать, будете себе позволять, а они — делать вид, будто ничего не происходит? Нет, так не бывает. И не прикидывайтесь дурачком, у вас это плохо получается.

— Что же прикажете делать?

— Ничего. Сидеть тихо. Не лезть. Не рыпаться. Лечь на дно. Терпение надо иметь, терпение!

Слушать такое было тошно. Костылев ушел от начальника злой, хлопнул дверью. А войдя в лабораторию, сразу услышал гнусавый голос Гуреева:

— Уважаю нашего директора. И Прибыткова, конечно. Мужественные, как ни говори, ребята. Другие бы давно — коленом под зад и дух вон. А они держат, прикрывают. Их же за эти дела лупят, понимать надо. Свинство все же — подставлять других...

— Ты о чем? — осведомился Костылев, входя.

— О погоде, разумеется, — нагло ответил Гуреев и продолжил, подняв брови:

— Как руководитель группы делаю вам замечание: отсутствовали на рабочем месте... — он взглянул на часы, — двадцать две минуты, не поставив меня в известность. Попрошу впредь...

— Да катись ты! — Костылев отмахнулся от искр, полетевших из носа.

Митина взвизгнула и побежала вон. Это еще ничего, обычно, стоило Костылеву только войти в помещение, где она громоздилась, Ольга принималась рыдать и бросалась к дверям, слепо натываясь на предметы. А-а, что с нее возьмешь! Многие женщины так же, чуть не до обморока, боятся безобидных мышей, при желании к ее воплям можно относиться даже с юмором.

А вот случай с Погребняковым — тут не только юмор, тут еще неизвестно, чем кончится дело...

Теперь мы должны, наконец, познакомить читателя со старшим инженером Велимиром Ивановичем Погребняковым<sup>9</sup>, хотя рискуем, что читатель в результате этого знакомства отбросит нашу повесть, так и не узнав, чем кон-

чилась история. А начнем с того, что Велимир Иванович, прежде всего, человек пожилой, как теперь принято говорить, пенсионного возраста, а именно — шестидесяти двух лет. Другой на его месте уже мог бы с почетом вылететь в три шеи на крайне заслуженный отдых, тем более что выглядит Погребняков на семьдесят, а когда надо, то и на все девяносто — сутулится, дрожит щекой, подволакивает ногу и перекашивает рот. Вполне вероятно, он делает это сознательно, но не в том суть. Суть в том, что именно такой, как есть, вместе с подволакиванием, дрожанием, перекашиванием и другими замечательными свойствами, Велимир Иванович необходим своему институту, где занимается исключительно внедрением, выбиванием, а также подписанием во всевозможных инстанциях (и даже в министерстве) необходимых документов — актов, писем, приказов о выплате и проч.

Самим фактом своего существования на работе старший инженер Погребняков начисто опровергает миф, будто для внешних сношений предприятию выгоднее держать и культивировать привлекательных, готовых на многое молодых сотрудниц. Мы можем поспорить с кем угодно и на что угодно, что в деловом отношении наш Велимир Иванович даст, как говорится, сто очков вперед любой самой обаятельной красотке без предрассудков, а между тем, внешность, которой он обладает, можно смело и не задумываясь назвать отталкивающей: мутные, всегда слезящиеся глазки, острый розовый носик, рот, не имеющий даже отдаленного намека на губы, синюшные, плохо выбритые щеки. Уши торчат. Череп башенный. На голове зимой и летом, в помещении и на улице — грязная, засаленная тюбетейка. Громадный кадык постоянно ходит ходуном, напоминая шатунно-кривошипный механизм. Костюм — разумеется, самого гнусного покроя, брюки без складки, зато в жирных пятнах. Ботинки... ботинки могут быть любые, но непременно такие, которые в самую засушливую и безоблачную погоду ухитряются оставлять на

полу мокрые следы и кляксы жидкой грязи. Носков, как вы наверно и сами догадались, Велимир Иванович принципиально не меняет, зато крепко душится одеколоном «Кармен». Но самое главное, самое ценное качество старшего инженера — его омерзительно склочный характер и умение мгновенно завязать и надолго затянуть скандал по любому поводу — хорошо организованный, высококвалифицированный скандал с шантажом, ссылками на уголовные статьи и предынфарктным состоянием участников.

Может быть, читатель уже понял, почему руководство института так дорожит этим уникальным сотрудником и внимательно следит, чтобы он постоянно находился в иногородних командировках, то есть там, где способен принести предприятию максимум пользы. Ибо, имейте в виду: подмахнуть через день-другой, слегка посопротивлявшись, липовый акт, представленный приезжей хорошенькой и длинноногой девушкой, конечно же, можно — просто ради удовольствия понаблюдать на ее щечках свежий провинциальный румянец, а на губах — обещающую улыбку (Эх!.. Да вот только времени нет, а инфаркт — уже был).. Нет, отчего не подписать, тем более, что деньги, которые предстоит заплатить по этому акту, как ни крути — не свои.. Но замусоленная, пахнущая уксусом и тленом бумага, брошенная на стол монстром в тюбетейке, должна быть подписана безоговорочно и мгновенно! Иначе... еще минута его пребывания в кабинете и... вот, уже и загрудинная боль началась — второй инфаркт неминуем. Или инсульт... А секретарша еще вчера предупреждала — заходил такой лысый с кадыком, грязный такой. Рассказывал про ОБХСС<sup>10</sup> — у него там приятель. А сам он (с кадыком) точно знает, какая, мол, дача построена из каких материалов. И кому из уходящих через год на пенсию выписывали липовые премии. И кто эти премии потом получил. И присвоил.

Вот какой это был работник, Велимир Иванович. Так стоит ли говорить, что в десяти случаях из десяти, в ста из ста и в тысяче из тысячи он добивался, чего хотел —

желание никогда не видеть этого человека всегда перешибало в противнике все другие эмоции, равно как и служебный долг. Поэтому Погребняков регулярно получал премии за внедрение и считался (и был!) в институте одним из лучших. Между прочим, его портрет (снят в тубетейке) тоже имеется на Доске почета, вам мы его не показали сознательно, чтобы не пугать.

В последних числах апреля Велимир Иванович как раз вернулся из очередной длительной командировки, привез кучу актов и приказ министра о премировании. Нарушив, как всегда, субординацию, он сразу же проследовал со всем этим богатством к профессору Прибыткову, где и просидел при закрытых дверях ровно час. А уж после явился к своему непосредственному начальнику Сидорову, откуда был отпущен через две минуты — с благодарностями и настоятельной просьбой взять неделю отгулов, чтобы отдохнуть перед новой поездкой.

— Набирайтесь сил, прямо с сегодняшнего дня. Идите скорей домой, не теряйте времени, у вас усталый вид, — скрипел Сидоров, изо всех сил стараясь не смотреть в липкие глаза отличившегося подчиненного.

Но Велимир Иванович домой не пошел. У него было дело в лаборатории, и он напрямик отправился туда.

В комнате для камеральных работ находились Алексей Петрович, вносящий тушью исправления в статью Сидорова для ведомственного журнала, бледная от страха Ольга Митина, занятая тем, что клеивала рисунки в отчет, написанный руководителем группы (сам Гуреев отсутствовал, так как глотал в это время в поликлинике тонкий зонд), и лаборантка Елена Клеменс. Елена стояла у аквариума и задумчиво кормила мотылем рыб.

Когда Велимир Иванович возник на пороге, Митина взвизгнула и заплакала, вся от этого колыхаясь. Погребняков направился к пустому столу Гуреева, изгадил ботинками пол, сел, поправил тубетейку и положил ногу на ногу. Видно было, что он никуда не торопится.

Всхлипывая и бормоча: «Это уж вообще, то — этот, то теперь — этот...», — Митина принялась собирать листы отчета, а собрав, кое-как засунула в папку и торопливо двинулась к двери.

— Скатертью дорога, — мирно пожелал ей вслед Погребняков. И перевел гниlostный взгляд на Лену Клеменс.

— И ты ступай, матушка, — посоветовал он, — нечего тут... Не то, смотри, подам рапорт, что маешься дурью в рабочие часы. Этих рыб давно пора отравить, — доверительно повернулся он к Костылеву, — да все руки не доходят. Я вот прикинул: у нас в институте девятнадцать аквариумов, время кормежки водяных тварей в среднем отнимает не менее десяти минут рабочего времени в день, стало быть, всего человеко-часов...

— Алексей Петрович, — сверкнув глазами, отчетливо сказала Лена, — вы идите. Я побуду. Вам следует беречь себя. Вы нужны.

Произнося эти самоотверженные слова, она очень похожа была на партизанку, остающуюся на верную смерть, чтобы прикрыть отход товарищей, у рубежа, к которому подтягивается крупное вражеское соединение.

— Ишь ты! — восхитился Погребняков и шмыгнул носом. — Зверь девка! Надо будет заняться твоим моральным обликом.

— Идите, Леночка, — сказал Костылев, — идите в архив. Поищите там эти чертежи, надо дать заявку в светокопию, пусть отсинят<sup>11</sup> по пять экземпляров.

Лена молча взяла из протянутой руки Костылева листок с номерами чертежей и вышла, непреклонно поднимая плечи.

— Чеши, чеши! — напутствовал ее Велимир Иванович, полаях одеколоном «Кармен». — А ничего кадришка, а? — И он подмигнул Костылеву, отчего тот содрогнулся.

— Дело к вам, — продолжал Погребняков, вставая и подсаживаясь к Алексею Петровичу. — Как вы знаете, я — вдовец.

— Ну... предположим...— неопределенно пробурчал Костылев, отодвигаясь.

— Живу один,— Велимир Иванович понизил голос.— Как в окопе. Квартира коммунальная, соседка стерва, собачья жизнь. В общем, есть одна особа. Интересная. Не то, что эта куча Митина. Молодая. Татьяна, секретарь нашего замминистра.

— Татьяна? — поразился Костылев, вспоминая надменную красавицу, которой он сам не осмелился бы сказать и двух слов не по делу.— Так вы?. Да нет! Она ж вам — в дочери, если не хуже...

— А хоть и во внучки! — Погребняков ощерился, показав такие зубы, что у Костылева в горле образовался спазм.— А вы, небось, воображаете, что молодые девки — для молодых парней? Ошибаетесь, уважаемый. Девицы, к вашему сведению, существуют для зрелых мужчин. Для солидных. А парни... те пускай перебиваются с дамочками в годах. Вроде, знаете, нашей Войк. Учили? Х-х-е...

— Допустим,— нетерпеливо сказал Костылев,— а дело-то у вас ко мне какое?

— Значит, так,— посуровел Погребняков.— Вы мне — молодость. В разумных, конечно, пределах — год за два. А я вам, как положено...— и он набатно постучал себя кулаком по груди.— Или вот что — давай сейчас поедем на Сосновую, а?

— Не понял.— Костылев осторожно встал и отошел к окну. Похоже было, что старичок — того... Маразм. Хотя и рановато в шестьдесят два года, да тут уж кому как повезет...

— Чего это «не понял»? — сразу вломился в агрессию Погребняков.— Чего понимать? Ты мне тут не прикидывайся, друг ситцевый! Дурочку не строй. И давай по-деловому, без этих... Я тебе — душу, ты мне — омоложение. Баш на баш. И разошлись.

Да послушайте, Велимир Иванович,— ласково сказал Костылев, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не вытолкать безумца за дверь.— Вы что, с ума... Какое омоложение?

— Вон ты что! Ясненько... А серой чего воняет? — вдруг заорал Погребняков. — Ишь! Прикидывается. А ну признавайся, кто ты? Какой такой зверь? Чёрт или кто? В зеркало иди взглянись, дурь безмозглая. Ну, живо — чёрт?

— Чёрт, чёрт, не кричите только, — уныло ответил Костылев и с опаской посмотрел на дверь.

— Другое дело, — тотчас сменил тон Погребняков. — И сразу бы так. А если не устраивает цена, назовите свою. Полста сверху пойдет? — он протянул Костылеву аккуратный зеленый квадратик. Костылев отшатнулся.

— Мало, — с уважением констатировал Велимир Иванович. — Взяточник. Ну, бери сотню, коли так. Бери, чёрт рогатый! Только сделай, ага? Ну, а не сделаешь... Не обижайся — завтра заявлю в прокуратуру: вымогал, дескать, и прочее. И, конечно, — в части религиозного дурмана. Про чёрта ты ведь признал. Признал, верно?

Костылев не ответил.

— То-то! — радовался Погребняков. — Религиозная пропаганда налицо. А разговорчик у меня, учти, записан. На пленку портативного магнитофона. А ты как думал? — и он самодовольно похлопал себя по заднему карману, где действительно что-тобрякнуло.

Костылев наконец очнулся. Он заботливо посмотрел на Велимира Ивановича и сказал:

— Уж и поторговаться нельзя. Ладно. Денег мне ваших не надо, хватит и души. Душа у вас — первый сорт, уж я знаю. Так что идите домой, отдыхайте. Все будет по первому разряду, что хотите, молодость, то, сё, — позабочусь.

— Что хотите, то купите! Да и нет не говорите! Черного и белого не покупать, головой не мотать, — вдруг запел Погребняков диким голосом. — Не смеяться, не улыбаться! — И смолк, преданно глядя на Костылева.

— Вот что, — солидно сказал тот, обдумывая, не вызвать ли скорую помощь пока шизофреник дойдет до проходной. — Все это, имейте в виду, не в один день делается. Нужна подготовительная работа. Для начала вы должны,

ну хотя бы побриться. Второе — сшить новый костюм. Третье — выбросить это... обувь. Затем — зубы...

— Что — зубы? — встрепенулся Погребняков. — И не надо частить, я записываю.

— Зубы? Ну... это. Санация, сами понимаете.

...Если сейчас войдет Сидоров или Лена, можно дать понять, что Погребняков задвинулся окончательно, тогда они позвонят... А впрочем — пусть катится на все четыре стороны, да побыстрее!

— Затем — душ. Ежедневно душ! Даже лучше утром и перед сном! — закричал он, потому что Погребняков смотрел на него каким-то уж совсем странным взглядом, будто не слышит ни слова.

— Чего кричать? — спокойно откликнулся тот. — На-счет зубов — понял. А душ... В гостиницах горячую воду чуть что отключают.

— Можно холодный, — тускло сказал Костылев и отвернулся. Он вдруг почувствовал страшную усталость.

— Если что, Сосновая, двенадцать. Запомните: двенадцать. — Психопат опять завел свою бессмыслицу.

— Хорошо, я все запомню, только не волнуйтесь. Двенадцать. Костылев смотрел в окно и потому не видел, какими глазами глянул на него Велимир Иванович.

В тот же день Костылев рассказал об идиотской истории с идиотом Погребняковым Сидорову. Нет, не потому, что привык докладывать ему о каждом пустяке, просто слегка мучила совесть — все-таки, что ни говори, отпустил сумасшедшего старикашку, кто его знает, что он там еще натворит.

Начальник слушал Алексея Петровича с замогильным лицом.

— Погребняков здоровее нас с вами, — заявил он, когда Костылев кончил свой рассказ. — А главное — хитрее. Знает, что делает и зачем. Подловил он вас, старый скорпион.

— То есть как это? — удивился Костылев.

— Это страшный человек... — Сидоров смотрел куда-то в угол.

— Ну-у... Скорее уж противный.

— А я вам говорю: страшный. Как чумная крыса. Опасный. А вы, я вижу, до сих пор так ничего и не поняли.

Сидоров насупился и заскрипел всеми дверцами, полками и петлями. Сегодня он, как никогда, был абсолютный гардероб — широкий, объемистый и одновременно сухой и легкий. А материя его летнего бежевого костюма рисунком напоминала «карельскую березу». Маленький кабинет Сидорова, выходящий окном на юг, раскалился на солнце добела, и Костылеву стало жалко своего руководителя — сидит, как всегда, застегнутый на все пуговицы да еще в удушливом галстуке. Во избежание теплового удара явно неплохо бы снять пиджак.

Куда там! Никогда, даже в самые лютые июльские дни, этот педант не позволял себе появиться на службе в легкомысленной рубашке с — Боже сохрани! — короткими рукавами. Всегда двубортный пиджак.

Вопреки жутким прорицаниям шефа никаких гадоостей со стороны Погребнякова не последовало. Отдохнув и, очевидно, придя в себя, Велимир Иванович благополучно отбыл в Воронеж в командировку, срок которой истекал через две недели (но Сидоров собирался ее непременно продлить телеграммой еще на максимально дозволенное законом время). Так что Алексей Петрович постепенно стал забывать о своей «делке» с психопатом, тем более что в собственной его жизни начались более серьезные события. Одно за другим.

В среду двадцать шестого мая сыну Костылева исполнилось четыре года. Проснувшись в этот день рано утром, Алексей Петрович твердо решил — сегодня, чёрт побери, он пойдет к сыну. И не просто пойдет, привезет их обоих домой. И Петьку, и Веру. Хватит. Довольно холостяцкого «счастья», сыт по горло. А жене надо будет подробно рассказать про вчерашний вечер, это сразу отобьет охоту оставлять мужа на целые месяцы одного!

Он решительно снял трубку и позвонил Вере Павловне на работу — предупредить, что придет к теще в семь часов.

— Привет,— сказал он, когда Вера взяла трубку. Почему-то уверен был, что жена обрадуется. Позавчера, в понедельник, они виделись — Костылев отвозил ей деньги,— встреча была не только мирной, но вполне обнадеживающей, Вера сказала, что не век им, дескать, жить врозь и вообще, она уверена, все это скоро кончится: у одной маминой приятельницы с зятем тоже что-то такое было — не то рожа, не то парша — и обошлось.

— Я к Петьке двадцать шестого зайду в детский сад, сам его возьму и приведу,— помнится, сказал тогда ободренный Костылев.

— Нет, Алешенька, не надо, это лишнее,— заполошилась Вера,— ребята увидят, станут дразниться: «чёртов сын», им-то рты не позатыкаешь! Приезжай лучше сразу к маме, пообедаем вместе.

Тон у жены был мирный, даже ласковый, и вот Костылев сегодня решил провести решительный разговор. Именно сегодня, в среду, в день рождения сына.

— Привет. Это я.

Молчит.

— Алло! — закричал Костылев.— Вера! Ты меня слышишь?

— И ты... ты еще смеешь мне звонить? — сказала Вера задыхающимся басом.— После — всего? Это... это цинично! Мерзко!

— Алло! Не понял! Что ты...

— Подлец...— шепотом перебила жена, и Костылев услышал, что гул в бухгалтерии, из которой она говорила, стих.— Грязный тип!

Он долго с изумлением смотрел на трубку, откуда бодрым горохом сыпались короткие гудки. Что, чёрт возьми, с ней-то случилось? Тоже рехнулась, как Погребняков, как... как все вокруг?

...Разумеется, он ничего не понимал — ведь не мог же он знать, что пришлось пережить Вере Павловне во вторник.

Всю ночь на вторник она не спала. Вставала, пила воду, ходила, курила на кухне, высунувшись по пояс в окно, чтобы мать утром не унюхала: «Мужика бросила, смолит, как проститутка, скоро гулять начнет».

Перед Верочкой стояло лицо мужа, каким она видела его накануне, когда Алексей передавал ей деньги, — похудел, осунулся, а все равно интересный, как артист, даже рожки не портят. Бабы у него в лаборатории уж небось... А пуговицы на пиджаке болтаются. Рубашка, правда, чистая и поглажена, кто, интересно, гладил? И ведь не верят, что сама ушла, в наше время от мужей не уходят. На работе теперь, как отвернешься — шу-шу-шу. Раньше все завидовали, а сейчас...

Внешность Вера Павловна имела довольно заурядную, замуж за Костылева — видного, культурного, подающего надежды и вообще хорошего человека, вышла двадцати девяти лет, когда уже перестала и надеяться. Все, в том числе она сама, считали это замужество большой удачей. Мать — та, как заведенная, с утра до вечера: «Смотри, девка, пробросаешься. Мужики нынче на дороге не валяются, особенно, если непьющий. Алексея твоего живо подберут, будешь тогда локти кусать, дура изумленная! И это с твоей-то рожей». И злорадно добавляла: «Сиди теперь, кукуй. Он-то, поди, зря время не теряет...»

Выкурив полпачки сигарет, Верочка твердо решила вернуться. Сегодня же. Сына пока не брать, хотя бы месяц, а там будет видно. За месяц многое может измениться — вылечила же материна подруга своего паршивого зятя, к специальной бабке возила, а у той, рассказывали, от всех болезней — и травы, и заговоры...

Вечером, уложив сына, Вера Павловна стала собираться. Положила в сумку два платя, халат, босоножки и новую ночную рубашку-пеньюар. Взяла бутылку шампанского и какой-никакой закуски. Мать дала с собой прут от венника, с которым ходила в баню:

— Положь перед спальней. Твой-то как переступит, да войдет, да ляжет, ты-то потихоньку встань, бери прут

и неси в темное место. Над прутом три раза скажешь: «Как будет сохнуть этот прут, так пускай сохнет по мне Алеша». Поняла?

Вера взяла прут и нерешительно завернула в газету.

И вот, с трудом таща в правой руке сумку, а в левой сверток с прутом, Вера Павловна медленно поднималась по плохо освещенной лестнице своего дома. Ноги глухо ныли от высоких каблуков. На последнем марше она посмотрелась в оконное стекло — новое платье сидит как влитое, волосы причесаны гладко и на прямой пробор, так любит Алеша. Вера вынула из сумки пузырек с французскими духами и коснулась пробкой щеки, потом — за ушами. Нет, что бы там ни болтала мать, а выглядела Вера очень даже неплохо. Не зря же Владимир Львович, главный бухгалтер, вчера, когда шли на собрание, при всех заявил: «С вами, Верочка Павловна, не то, что на профсоюзное собрание, — в ЗАГС пойти не стыдно». Надо Алексею рассказать, пусть знает...

Вот, наконец, и площадка шестого этажа, лампочка еле живая. Теперь отдышаться, а то будет распаренный вид. Верочка с нежностью посмотрела на знакомую дверь, обитую синим дерматином — Леша зимой сам обивал — и полезла в сумку за ключом. Но передумала — лучше позвонить. Своим звонком, особенным. Он помчится открывать... В том, что муж дома, Вера не сомневалась, еще с улицы смотрела — в окнах свет.

И тут...

И тут синяя дверь резко распахнулась, и на лестницу вышла раздетая женщина. На ней была только голубая сорочка с кружевами (новая, но не импортная<sup>12</sup>, уж это Вера сразу разглядела) и лакированные босоножки. Верочка зажмурилась. А когда открыла глаза, увидела, как женщина, блестя голыми плечами и качая бессовестным задом, спускается вниз и волочит за собой по ступенькам... меховую шубу. Умирая, Вера Павловна сделала шаг к двери, но отпрянула: в квартире послышались шаги. Костылев

высунулся на площадку. Лицо его было отвратительно красным, волосы вскочены, рога торчали нахально и вызывающе. Веру он не увидел и быстро закрыл дверь.

— Развратник...— она бросила материн прут себе под ноги и растоптала, примериваясь, как бы половчее удариться виском о стену.— Подлец! Подлец! Подлец!

А Костылев, меж тем, как пьяный, брел по квартире. Передвинул для чего-то стулья в комнате, открыл везде форточки, сосредоточенно постоял посреди кухни, глядя на запечатанную бутылку «Столичной», которую дура оставила на подоконнике. Потом взял бутылку двумя пальцами и, держа от себя на максимальном расстоянии, понес в мусорное ведро.

Сердце громко колотилось. Потянуло, вообще говоря, выпить, но ему даже в голову не пришло открыть ту бутылку. Выкинув ее, Костылев помыл руки, выпил воды из-под крана и без сил опустился на табуретку...

Сегодняшний день его просто доконал. Во-первых, с самого утра нечем было дышать — прямо Сухуми. Во-вторых, Гуреев, взявший манеру ходить с начальственным видом и откляченной нижней губой, отсчитывая в ладонь гомеопатические таблетки, опять бормотал, что нет, джентльмены, как хотите... восемь, девять... а он бы, Гуреев, так не мог... тринадцать... и даже завидует некоторым, которые могут. После чего, сглотив пилюли, принялся в сотый раз восхищаться мужеством администрации. Костылев, еще давно раз и навсегда решивший, что дискуссии с дураками унизительны, как обычно, молчал, зато Лена Клеменс не сводила с Гуреева глаз и, наконец, ворвавшись в паузу, отчетливо сказала:

— В чем вы находите их мужество, Сергей Анатольевич? В том, что безвинный человек до сих пор не наказан? Стыдитесь.

Гуреев задрал бровь.

— Лично я,— продолжала Леночка,— гордилась бы, если бы смогла уподобиться Алексею Петровичу. Админи-

страция должна. Почитать за честь. Что у нас в институте имеет место такой человек. Нонконформист! В то время как кое-кто недостоин и...

— ...кончика хвоста Алексея Петровича,— закончил Гуреев, ухмыляясь.

— Bravo, гражданин начальник,— не выдержал Костылев,— десять очков за остроумие на телеконкурсе «А ну-ка, девушки»<sup>13</sup>.

Леночка подняла подбородок и вышла вон.

Через час Костылева по телефону вызвал Сидоров и, перекосившись, убедительно, да, да, убедительно! — попросил все-таки думать о том, какое влияние Алексей Петрович оказывает на молодежь.

— Вы себя неправильно ведете,— скрежетал он,— прибегала ваша поклонница, стучала кулачком. Руки, мол, прочь от Костылева. Он герой, а вы все дерьмо. «Дерьмо» она, конечно, не сказала, у девушки изысканный слог, но ясно дала понять. Экстремистка. И, знаете, уймите ее как-нибудь: крайне опасно, если она со своими идеями явится к директору или к Прибыткову.

— Ну, Прибытков-то, положим, за меня. Сам неоднократно советовал бороться,— возразил Костылев.

— О! Неужто советовал? Неоднократно? Это интересно. И симптоматично. Надеюсь, вы его не послушали?

— Да... честно говоря, как-то не знаю...

— Вот и не знайте. Сидите тихо! Не лезьте. И Прибыtkова в голову не берите, у него свой расчет. А приятельницы ваши пусть не выступают. И вы тоже хороши — подучили девчонку... Ладно, ладно, не учил так не учил! Раскипятился. Сейчас же прекратите, устройте мне тут пожар!

У Костылева, как нетрудно догадаться, из носа летели искры.

Он вышел из кабинета шефа. Лену в самом деле следовало найти и отругать. И вообще поговорить, заносит ее. Однако на рабочем месте Лены не оказалось. Гуреев тоже смылся. Костылев сел к столу, привычно повесил

хвост на спинку стула и взялся за обрыдлую статью Сидорова. По делу давно бы надо отказаться от таких поручений! А если на то пошло — и уволиться!

И тут зазвонил местный телефон.

— Алексей Петрович? — раздался в трубке чем-то возбужденный голос Войк. — Будьте добры, изыщите секундочку заглянуть в местком, я бы хотела переговорить.

«Опять начинается», — тоскливо подумал Костылев, отметив про себя, однако, что голос Валентины Антоновны сегодня лишен спортивного азарта, а напротив, звучит кокетливо. Правда, это вполне могло означать, что Войк замышляет какую-нибудь особо тошнотворную душещипательную беседу.

— К несчастью, сейчас я занят — представители заводов, — сухо вато отозвался он. — А по какому, собственно, вопросу?

Некоторое время Валентина Антоновна молча дышала.

— Зря вы, Алексей Петрович, полагаете, что ваши дела могут волновать только девчонок, вроде этой... Клеменс, — певуче проговорила она, наконец.

— Сейчас я очень занят, — сказал Костылев, недоумевая, что это стряслось с баскетбольной дамой.

— Какие мы нелюбезные, ай-яй-яй! Вы же мужчина. Или... — Войк понизила голос, — или... ваш брат — уже не мужики?

— Изв... — Костылев поперхнулся. — Извините. Меня люди ждут.

Никто его, само собой разумеется, не ждал и ждать не мог, ни люди, ни дела. Если бы в один прекрасный день он вообще не явился на работу, она, то есть работа, увы, ничуть бы от этого не пострадала. Такая теперь была работа...

— Люди меня ждут! — с раздражением повторил Костылев.

— Ничего, подождут, — вкрадчиво скомандовала Войк. — Или вот что: давайте так — заканчивайте с ними и ко мне. Ладусеньки?

Она положила трубку, а у Костылева вдруг до того разболелась голова, что он, беззастенчиво записав в журнал местных командировок: «Завод пластмасс, отдел главного технолога», ушел домой, не дожидаясь конца работы.

Выходя из института, он увидел в вестибюле Лену Клеменс.

Рядом стояли двое юношей. Один, маленький, очкастый, с кудрявыми черными волосами, возбужденно жестикулировал; другой, очень, наоборот, солидный и степенный, с небольшой светлой бородкой, серьезно и вдумчиво кивал. Лена была бледна, вид имела весьма прямой. И решительный! До такой степени, что Костылев даже расстроился.

Вечером он все еще чувствовал себя скверно, голова не проходила, настроение было отвратительное, мучила жара плюс проклятая шерсть — и как это несчастные звери терпят такое? А телевизор мстительно сообщил, что и завтра температура сохранится двадцать семь — двадцать девять градусов без каких-либо осадков, и не надейтесь. Ну, не свинство? Май все-таки, совести у них нет!

Костылев решил принять холодный душ и лечь в постель.

И тут в дверь позвонили.

Звонок был решительный, властный. Так звонят должностные лица — почтальоны, газовщики, водопроводчики.

Костылев как был, в одних плавках, заспешил к дверям. И остолбенел — на пороге стоял высокий гость — Валентина Антоновна Войк собственной персоной. Глаза ее горели, щеки тоже. Губы же были намазаны пронзительно яркой помадой, отчего рот казался очень большим и алчным. Оделась Валентина Антоновна возмутительно и странно — в меховую шубу.

— Гостей принимаете? — задиристо спросила она.

— Н-ну... конечно... проходите... я вот тут... сейчас приведу себя в порядок... — потрясенно мямлил Костылев.

— Не надо, — с хрипотцой выдохнула Войк и вошла в квартиру. — А у вас тут мило, — она обвела глазами совершенно пустую переднюю. — Я, знаете, шла мимо... Если

гора не желает идти...— светски болтая, Валентина Антоновна наступала на Костылева и быстро загнала его в кухню. Тут она остановилась, кинула взгляд на грязную посуду в раковине и со словами: «Это надо убрать, я сейчас же...» принялась было засучивать рукава своей шубы, а когда это не удалось, передумала — ладно, после,— сунула руку в карман и извлекла оттуда бутылку водки. Движения ее были резкими, порывистыми, она часто, со всхлипом дышала.

— Сейчас отметим. Вы мне не рады, бука? Где же рюмки? Ага! В буфете! Вот они! Какие малипусенькие, прямо душки!

Но Костылев уже пришел в себя.

— Валентина Антоновна,— произнес он, как мог спокойно и доброжелательно.— В такую жару я водку не пью. Я сейчас пойду и все-таки оденусь, а потом поставлю чайник. И вы мне расскажете, что случилось.

Войк недоуменно сморщила лоб.

— Я имею в виду ваш поздний визит,— пояснил Костылев.— Я, видите ли, сейчас живу один. Временно. Так что дам в такое время обыкновенно не принимаю. Но, видно, произошло нечто сверхъестественное, раз вы решились...

— Да! Я решилась! — перебила его Войк, надвигаясь. Лицо ее стало красным, на верхней губе блестел пот, грудь под шубой поднималась и опадала, глаза суетились.— Я больше не могла...— она протянула к Костылеву руки, полы шубы разошлись и онемевший Алексей Петрович увидел светлую полоску.

— Ты ничего не понял, да? Не поверил, дурачок? — зубы Валентины Антоновны стучали.— Ты же один. Как перст на всем свете! От тебя отвернулись. Я — та единственная, кого это не отталкивает. Я готова на все... Понимаешь? Делай со мной, что хочешь, я не боюсь!

Жестом фокусника, сдерживающего покрывало со стола, где только что хлопал крыльями простодушный петух, а теперь в хрустальной вазе солидно свернулась змея,

Валентина Антоновна сбросила шубу к ногам и предстала перед Костылевым в голубом белье. Он тотчас отвернулся и, глядя в окно, глухо произнес:

— Так. Вы сошли с ума. Очевидно, я обладаю способностью наводить порчу. Сию же минуту уходите. Сейчас же. Не то придется применить силу.

— Применяй...— простонали у него за спиной.

— Вон!! — выходя из себя заорал Костылев, поворачиваясь к ней и почему-то еще больше разъярясь от вида кружев, лямок и физкультурных прелестей. — Вон отсюда!

Она ойкнула, подхватила с полу шубу и прикрылась. Кусая губы, Костылев снова отвернулся к окну. Вот же — там, на улице, ведь нормальная жизнь! Нормальные дома, нормальные трамваи, на тротуарах нормальные, здоровымыслящие люди. Так почему же? За спиной было тихо. Ни шороха, ни дыхания.

— Я жду, — напомнил он. И сразу услышал шаги, громкие, неровные. Вот она зацепилась... наверное, за табуретку, вот толкнула шкаф. В передней скрипнула дверь. Но не захлопнулась. Костылев подождал еще несколько секунд — тишина.

...Входная дверь была распахнута настежь, за ней виднелась плохо освещенная площадка. Он осторожно выглянул — нету, ушла. И быстро заперся на все запоры, даже цепочку накинул. Уфф! Его шатало, тело сделалось липким от пота.

Все. Хватит! Что-то надо с этим делать. Сексуальные психопатки, гнилозубые шизофреники, кислые бездарности, одержимые манией величия, юные истерички с благими намерениями... Дорожные знаки, шкафы! И все, заметьте, вокруг него, Костылева... Значит?.. Да, то и значит. То самое. И остается только одно — как можно скорее избавить окружающих от своего тлетворного присутствия... Стоп! Очнись, болван! Как не стыдно? Слизняк. Сопля на тротуаре. Мразь. Костылев ругался вслух, громко, на всю квартиру, и от этого постепенно начал успокаиваться.

Чтобы окончательно прийти в себя, он прошелся по квартире, открыл форточки, передвинул стулья, выкинул в мусорное ведро проклятую водку. Потом долго стоял под холодным душем, почему-то злясь на жену. Замерз и мрачно подумал, что вот, наконец, и способ перестать приносить окружающим зло — ледяная вода, простуда, воспаление легких и... Хотел усмехнуться и не смог.

Но как смогла такая достойная, строгая к себе и другим женщина учинить ни с того, ни с сего подобное безобразие? Ответ тут напрашивается только один: Валентина Антоновна временно сошла с ума. Всего-навсего.

Предпосылки-то, конечно, имелись, и уже давно. С тех самых пор, как молодой одаренный ученый, к тому же — интересный мужчина, про которого справедливо сказать: «Уж этому-то чего еще надо было?» наплевал на общественное мнение, совершив хулиганский поступок с рогами и прочим нахальством.

Валентина Антоновна ни на грамм не поверила его филькиной грамоте, и все последующее поведение Костылева, естественно, вызывало в ней кипучий гнев. А как же иначе? Но... но и любопытство. Разговоры и мысли о нем день ото дня занимали Войк все больше и больше, и скоро ни о чем другом она и думать... а тут еще Погребняков. Подошел как-то в буфете и принялся нудить, что будет, мол, жаловаться во все инстанции на бездушные месткома<sup>14</sup>, который до сих пор не встал горой, чтоб выделиться ему отдельную квартиру.

— Будучи ветераном труда, — угрожающе бубнил сморчок, — я вынужден жить в коммуналке. Соседка дрянь! Трижды сажал в вытрезвитель, сейчас хлопочу, чтоб выселили. Вас выбрали, а вы плюете на нужды. А коснись беда? Вот Костылев. Жена ушла, остался один, и никто не почешется. Может, он с голоду подыхает, а может, наоборот, там, у себя, оргии устраивает с несовершеннолетними? Как ни говори, а рога у мужика — это что-то означает, нет? Жена, понимаешь, ушла, а вы тут по ка-

бинетам юбки протираете. Сходили бы к нему домой да проверили, что и как. Домой, понятно вам? До-мой.

Слушая и обоняя Погребнякова, Валентина Антоновна, как все и всегда в таких случаях, хотела только одного — как можно скорее избавиться от присутствия Велимира Ивановича. Любой ценой! Поэтому она сразу с большой готовностью пообещала ему тут же бросить все дела и заняться его квартирой. И Костылевым, произнеся фамилию которого, как-то слегка покраснела. И тотчас поймала непристойный взгляд Погребнякова.

— Давно пора...— медленно проговорил он, скверно подмигнув Валентине Антоновне и удалился, оставив на полу грязные отпечатки ботинок.

С тех пор она стала еще чаще думать о «беде Костылева». Думала с жалостью, с волнением, особенно ночью, одна в пустой квартире, ворочаясь до трех часов на раскаленной, как сковородка, тахте. Ведь и верно: осуждать да наказывать мы все готовы, а вот помочь? Человека бросила жена. Что ж... И ее не осудишь — какая женщина согласится с... таким? Тут Валентина Антоновна вздрагивала. Да... Но ему-то каково? Тяжело, одиноко.

Что такое одиночество, она знала очень хорошо — семьи у Валентины Антоновны не было никогда, случился когда-то роман, но это так... слезы одни.

Встречаясь с Алексеем Петровичем на работе, она теперь каждый раз останавливалась — сердце начинало колотиться, дрожали ноги и делалось холодно спине.

Искренне считая свои ощущения муками совести, Валентина Антоновна в конце концов решила, что просто права не имеет, морального права, да и гражданского тоже, стоять в стороне от «беды Костылева»! В один прекрасный день — было это, как мы знаем, двадцать пятого мая, во вторник,— Валентина Антоновна позвонила ему и попросила прийти в местком. Но Костылев не явился.

Просидев в институте лишний час после конца работы, и точно убедившись, что бедняга не пришел, конечно

же, только из гордости, она отправилась домой. Поговорить с ним можно и завтра, но деликатно, тактично — не вызывать, а пойти самой, сказать... Что сказать? Это — по месту, главное, дать почувствовать: ему хотят помочь и... в общем, он больше не один.

На улице по-прежнему стояла жара, от стен домов так и полыхало, в нос и рот набивалась мелкая горячая пыль, подошвы липли к асфальту. Очень хотелось пить, но автомат с газированной водой<sup>15</sup> проглотил монету, пошипел и заглох.

Валентина Антоновна уже третий раз нервно нажимала на кнопку возврата, когда услышала рядом ласковый низкий голос:

— Не переживайте, дама, сейчас сделаю. Нормалёк!

Повернувшись, она увидела около себя хлюпика, солидный бас которого никак не вязался с его жалким, не больше метра шестидесяти, ростом. Хлюпик оброс длинными, сальными волосами, имел втянутые и очень бледные щеки, на одной из которых, правой, Валентина Антоновна рассмотрела небольшую круглую дырку, явно сквозную — внутри виднелась черная темнота.

Вид этой дырки, скользких волос и грязной, до пупа расстегнутой рубашки вызвал у брезгливой Валентины Антоновны отвращение, и она быстро пошла прочь. Однако не успела отойти и на десять шагов, как индивидуум с дыркой нагнал ее и, протягивая на потной ладони три копейки, бухнул своим несуразным голосом:

— Не спешите, дамочка. Поспешись — людей насмешишь. Вот ваша наличность, держите!

Валентине Антоновне ничего не оставалось, как сказать спасибо, что она сделала, конечно, довольно сухо, после чего двинулась дальше. Но дырявый пошел рядом, развязно заявив, что как — кому, а ему-то спешить уж точно некуда.

Не ответив, Валентина Антоновна непреклонно ускорила шаг.

— Не советую! Ох, не советую, дама! — вдруг воскликнул наглец, хватая ее за руку у локтя.

— Ах, ты... — Войк задохнулась от возмущения и только собралась одним броском кинуть мозгляка на газон, как он выхватил из кармана жеваных штанов какой-то билет, ткнул ей чуть не в лицо и быстро сказал:

— Ну, ну, ну, стойте, стойте, стойте! Есть билет. Закрытый просмотр! Фильм иностранный, нерезанный<sup>16</sup>. Сам не могу, срочно нужны баблы. Берите, дама, не пожалейте. Чего смотрите? Всего трюльник. Разбашляйтесь, начало через десять минут.

— А... а где это? — нерешительно спросила Валентина Антоновна.

— Рядом, рядом! Вон! — субъект с дыркой показал на серое здание Дома культуры через улицу. — Малый зал.

«Почему бы и нет?» — вдруг подумала Войк. Длинный вечер и ночь в душной квартире отделяли ее от завтрашнего разговора с Костылевым, много пустых, тягучих часов...

— Давайте! — она вытащила из сумки трешку.

Фильм взволновал Валентину Антоновну до слез. В нем было много музыки, красивые пейзажи и интерьеры. И главное — очень трогательная история про знаменитого киноартиста, всегда работавшего без дублера и пострадавшего во время съемок пожара. Обгорело лицо, артист не мог больше сниматься, а в искусстве была вся его жизнь. И его сразу оставила жена, ограниченная, корыстная миллионерша-мещанка. И вот он сидит один в шикарной, но запущенной квартире и смотрит по телевизору кинокартину, где должен был играть главную роль. Теперь ее играет другой, любовник той стервы...

В этом месте Валентине Антоновне пришлось вытащить носовой платок.

...Но дальше выясняется, что героя любит его партнерша, красавица, кинозвезда с мировым именем. Раньше она молчала о своей любви, думая, что он счастлив с женой, но теперь...

С замиранием сердца смотрела Валентина Антоновна, как кинозвезда, одетая в манто из голубой норки, выходит из своего особняка, садится в белый «мерседес» и говорит шоферу: «К нему, Франсуа». Шофер кивает, он все уже понял, автомобиль срывается с места и мчится среди городских огней, реклам, роскошных витрин. Звучит музыка — и вот героиня уже входит к любимому. Он не ждал (готовился застрелиться), он ошеломлен и просит ее уйти — никто, никто не должен видеть его! Актриса молча сбрасывает к его ногам шубу и... правда, всего на одно мгновение! — зал видит, что под шубой на ней ничего нет...

Потом сразу — берег моря, музыка, он и она идут, взявшись за руки, и кинозвезда, встав на цыпочки, целует шрамы на лице своего возлюбленного. И опять — музыка, музыка, волны, садится солнце...<sup>17</sup>

Из Дома культуры Валентина Антоновна вышла потрясенная.

И сразу направилась к ближайшему автомату — пить. Но бросить три копейки она не успела — навстречу ей шагнул давешний волосатик, с улыбкой протягивая уже налитый стакан, в котором шипели и лопались пузырьки.

Валентина Антоновна взяла стакан — неудобно обижать чудака, в конце концов, он за один вечер ухитрился три раза оказать ей услугу.

— Спасибо. И за фильм, очень жизненный, — благожелательно сказала она.

— Вы пейте, пейте! Ништяк, — он махнул рукой. — Газ выйдет. Вода была холодной и вкусной, хотя почему-то имела странный горьковатый привкус. Пока Валентина Антоновна пила, парень молча стоял рядом и внимательно смотрел на нее. Но только стакан опустел, он вдруг выхватил его из рук Валентины Антоновны, сунул в карман и большими шагами пошел прочь.

А Валентина Антоновна внезапно почувствовала необычайный прилив сил, какую-то легкость во всем теле. Ей стало почему-то очень весело, как давно уже не было.

Пока она добиралась до дому, ощущение веселья сделалось отчетливее, в троллейбусе она заговаривала с пассажирами, а потом громко объявила, что день сегодня просто чудесный. Великолепный!

Пассажиры пугливо молчали, косясь на Валентину Антоновну, а какой-то старичок сказал, что от такого великолепия бывают только инфаркты да инсульты. Валентине Ивановне стало смешно, она расхохоталась, и троллейбус осуждающе загудел, старик же зашипел, как змея, повторяя одно и то же слово «выпивши, выпивши».

Не переставая смеяться, Валентина Антоновна вышла из троллейбуса перед своим домом. В квартире она сразу устроила сквозняк, распахнув все окна, напилась воды из чайника — и вдруг поняла: надо немедленно! Сейчас же! Надо — к нему, он ждет, бедненький, он же там один, смотрит телевизор... В голове звенело... Надо немедленно сказать Мари, чтобы распорядилась... Пусть Франсуа подает машину и... Что еще? Ах, да — манти.

— Мари! — позвала Валентина Антоновна. Горничная не откликнулась.

Шуба из искусственного каракуля висела в гардеробе, в полиэтиленовом чехле. Валентина Антоновна достала ее, стряхнула на пол нафталин, вытащила из карманов таблетки «антимоли». Тело было невесомым, звонким, перед глазами взрывались огненные пятна. Теперь... Быстрыми движениями она сняла платье и взялась за рубашку, но... все же это, пожалуй, слишком... Валентина Антоновна набросила шубу прямо на белье и сбежала по лестнице. «Мерседес» уже стоял у подъезда. Франсуа смотрел на хозяйку каким-то оторопелым взглядом.

— К нему, Франсуа, — выдохнула Валентина Антоновна, садясь на переднее сиденье.

— Адрес? — спросил шофер.

Она суетливо полезла в сумку и нашла бумажку, которую ей еще тогда, после разговора с Погребняковым, дали в отделе кадров.

— Вторая Александровская. Шесть.

Шофер кивнул, машина тронулась. Валентине Антоновой хотелось петь. И она запела, сперва потихоньку, потом все громче, громче.

— Высажу, — пошутил Франсуа, — мы, которых под этим делом, не возим.

Она улыбнулась и погладила его по плечу.

До дома Костылева они домчались в десять минут. Франсуа был сегодня очень мил — когда Валентина Антоновна стала вылезать из автомобиля, вдруг закричал:

— А платить дядя будет?

Валентина Антоновна ответила шуткой на шутку:

— Сколько же вам угодно, месье? — и достала кошелек.

— Рубль десять, не видите? — ответил шофер.

Все же прислуга бывает порой слишком фамильярна. Следовало указать хаму его место, но Валентина Антоновна торопилась. Бросив на сиденье два рубля, она кинулась к парадному.

На шестой этаж она поднялась почти бегом, через две ступеньки, сразу увидела нужную квартиру и позвонила. Сердце билось горячо и глухо. Он распахнул дверь...

А потом был какой-то кошмар, какой-то провал, Валентина Антоновна никогда впоследствии не могла вспомнить, что она делала и говорила в квартире Костылева, помнила только его голос, кричащий: «Вон!!». И сразу за этим — свой стыд и страх, потому что легкость куда-то вдруг исчезла, и Валентина Антоновна, точно проснувшись, с ужасом увидела свои длинные голые ноги и нелепую рубашку...

В среду утром Костылеву стало немного легче. Во-первых, испортилась погода, похолодало, накрапывал дождь. Во-вторых, строго, даже придирчиво, обдумав свое вчерашнее обращение с Войк, он пришел к выводу, что вел себя с ней, ну, может, малость и жестоко, но все равно — совершенно правильно, а раз так, то и самосжигаться нечего. Тем более, поводов для вторжения он ей никогда не давал. Стало быть, и причин чувствовать себя виноватым —

нет. Он, Костылев, если внимательно рассмотреть каждый его шаг за прошедшие с Нового года месяцы, поступал, в общем, так, как должен был поступать. А когда человек может поступать, как должен, это уже почти счастье. (Счастливым, правда, несмотря на все эти рассуждения, Алексей Петрович себя не чувствовал. Что увы, то увы).

На работу он шел с твердым намерением сразу же позвонить жене.

Если говорить честно, Костылев не слишком соскучился по Вере Павловне. Ее поведение с самого начала этой злополучной истории было... как бы это поточнее выразиться? — пошлым, что ли. Но думать об этом Алексею Петровичу сейчас совсем не хотелось. Наоборот, ему очень хотелось нормальной жизни в нормальной семье. И чтобы Петька был дома.

Обычно, когда Костылев думал о сыне, на лице его непроизвольно появлялась широкая, может быть, даже несколько глуповатая улыбка. Сегодня она не получилась...

Он поднялся на второй этаж и дошел до дверей лаборатории, слава богу, нигде не встретив Войк, что само по себе уже являлось добрым предзнаменованием. Попался ему, правда, профессор Беляев, но Алексей Петрович до того был поглощен мыслями, как ему себя вести, когда он все же, рано или поздно, столкнется с Валентиной Антоновной, что не заметил ни профессора, ни его маневров с дверью в конструкторский отдел, куда тот сперва юркнул, потом выглянул, снова юркнул, а когда Костылев прошел мимо, выскочил в коридор и пулей умчался в противоположную сторону, по направлению к женскому туалету.

Дверь в лабораторию была приоткрыта, в пустом коридоре (Костылев явился сегодня в институт за полчаса до начала дня) — тишина, так что Алексей Петрович уже шагов за десять услышал металлический голос Лены Клеменс:

— Следует вывязывать чепчик, плотно облегающий голову. Конусообразные рога надлежит вязать отдельно, крючком. Затем надо пришить. Хвост целесообразно надеть

на проволочный каркас... — Лена произносила слова громко и четко, будто передает телефонограмму. Она была одна, держала в руке телефонную трубку и, увидев Костылева, сразу положила ее, проговорив: «Ладно, пока...» Одного взгляда на ее костюм было достаточно, чтобы шерсть на груди и загривке Костылева поднялась дыбом, а в носу затрещало.

К вельветовым Леночкиным джинсам был небрежно пристегнут изогнутый латинской буквой S длинный хвост с кисточкой. Невозможно лохматый рыжий свитер облегал ее узкий торс. Волосы прикрывала коричневая вязаная шапочка, такие носили лет двадцать пять назад и называли почему-то «менингитками». К шапочке были прикреплены рога, похожие на две небольшие сардельки.

Лена смотрела на Костылева восторженными глазами и молчала.

— Что за маскарад? — неприязненно спросил он.

— Мы так решили. Пора дать им понять, — она решительно вскинула острый подбородок.

— Кто — «мы»? Кому — «им»? — поинтересовался Костылев, садясь за стол. — И зачем вы вчера бегали к Сидорову?

В отличие от всех без исключения людей, всегда отвечающих на самый последний из серии заданных вопросов, Леночка стала отвечать по порядку.

— Мы, — торжественно начала она и взяла себя за кончик хвоста, — это ваши единомышленники...

Костылев крякнул.

— Гриша и Аскольд — мои друзья, — продолжала Лена, играя с хвостом, — студенты-политехники. Исключительно умные парни. Гриша все произведения Канта знает наизусть. Кроме того, присоединяется Нина Кривошеина...

— Хватит! — Костылев ударил ребром ладони по столу. Но Лена даже бровью не шевельнула.

— Теперь — кто такие они...

— Да бросьте вы хвост, наконец! Ничего больше знать не хочу! — закричал Костылев в раздражении. — Бред ка-

кой-то! И вообще — прекратите! Еще и Кривошеина! Прекратите это все, эту... всю вашу самодеятельность! Вы меня поняли?

Усмехаясь, Лена смотрела на него, покусывая хвост.

— Бросьте хвост, кому говорю, — Костылев выпустил сноп искр и окутался облаком серы. — И снимите шапку. Вы в ней на зайца похожи. Кому сказано? Шапку долой!

— Не подумаю, — отрезала Лена. — Не доверяете — ваше дело. Вы хотите утверждать, что молодежь ни на что не способна? Не так ли? Хорошо, будем действовать сами. И мы докажем. Учтите: мы не слабее и не трусливее вас. Наш нравственный... империтив...

— Им-пе-рА-тив! — взвыл Костылев. — Ра, ясно вам? Ра! И не болтайте вы слов, которых не знаете. Нахватались... разного, занимаетесь чушью! Вы что, в самом деле, думаете, будто я это все — нарочно?

— Не считаете возможным доверять, очень прискорбно, — на этот раз упрямо и с обидой повторила Леночка. — Но мы докажем.

— Да я вам сейчас честное слово дам! Вот: честное слово! Не хотел я этого. Все бы отдал, только бы избавиться.

— Не клеветайте на себя. Цель не оправдывает средства. Вы не должны спасать меня ценой предательства. Своих идеалов. Вы оскорбляете. Тех, кто вам поверил. И пошел за вами. Что ж... Вы пали духом. Мы вас поддержим.

С этой обнадеживающей фразой на устах Леночка удалилась, раскачивая хвостом.

И тогда Костылев, отдышавшись и выпив воды, стал звонить жене. И услышал то, что услышал.

А через час явился Сергей Гуреев и, потирая руки, сообщил, что в вестибюле толпа трудящихся, никто не идет работать, кадровик Васька горло сорвал и все без видимой пользы. Там наша мисс Клеменс с рогами. Привязала себя веревкой к батарее отопления, сказала, что будет сидеть, пока администрация не выполнит какие-то требования. Около нее там болтались два гадких типа. Тоже, я тебе скажу,

детища мрака: не наши, вроде бы... — рассказывал Гуреев, криво ухмыляясь, — так вахтер их прогнал, грозя сдать. А еще плакат! Ну — пожар в сумасшедшем доме! На твоём месте я бы пошел взглянуть. На дело рук, так сказать...

— А ты бы, Сережа, не пошел бы...? — тихо спросил Костылев.

Весь этот день, глядя на пустой стол Лены, ловя на себе кисло-ядовитые взоры Гуреева, вздрагивая каждый раз, как в комнате появлялась Ольга Митина и начинала визжать, весь длинный день Костылев ждал, что его вызовут к начальству. Но, странное дело, никто не вызвал. К четырем часам нервы его сдали настолько, что он сам пошел к Сидорову, наспех выдумав какое-то дело.

Кабинет Сидорова оказался заперт, и Костылев решил отправиться в административный корпус — работать он все равно уже не мог. Но чтобы попасть туда, нужно сначала спуститься в вестибюль, откуда имелось два выхода, один на улицу, другой — во двор. И Костылев спустился, очень надеясь, что в вестибюле уже никого нет.

Толпы, про которую болтал Гуреев, действительно не было. Костылев увидел только вахтера, начальника отдела кадров Василия Кузьмича и подчиненную ему пожилую инспекторшу Зою Владимировну. Все они со злобно-растерятыми лицами стояли напротив батареи, возле которой сидела на корточках Лена Клеменс. Стену над ее головой украшал лист ватмана, где зеленым фломастером было написано:

КАЖДОМУ БЫТЬ ТЕМ, КЕМ ХОЧЕТ!

КОСТЫЛЕВ — НАША ГОРДОСТЬ!

АЛЕКСЕЮ КОСТЫЛЕВУ — УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ!

Костылев хотел было пройти мимо, но вспомнил профессора Беляева, устыдился и решительно зашагал прямо к Лене. Заметив его, Василий Кузьмич засиял от радости.

— Скажи хоть ты ей, озверела совсем! — заголосил он. — Говорит: «Буду сидеть, пока он — это ты — не за-

цитит диссертацию». Она ж у нас тут с голоду помрет. И скандал. Узнают в министерстве, в районе. Директор полетит — это уж ладно, а институту позор, коллективу? Главное, хотел отвязать — кусается, паразитка.

— Плакат пробовали снять — плюется, — пожаловалась инспекторша.

— Водой бы облить. Или из огнетушителя, — мечтательно предложил вахтер.

— Нельзя без руководства — водой, — возразил кадровик. — Не было команды, как тут польешь?

— Лейте! — с вызовом крикнула Леночка, поправив слезшую на лоб «менингитку» с рогами. — Лейте, лейте! Хоть кислоту! Сатрапы!

— Фанатичка! — восхитился вахтер. — Жрать, поди, хотит. Эй! Колбаски дать? — заорал он во всю глотку, обращаясь к Лене, точно она глухая.

— Безобразие. Как ЧП, так из руководства никого и не дозовешься. Двадцать лет работаю, и каждый раз, как пожар или что, их нету, — поджала губы Зоя Владимировна.

— На конференции. Научный конгресс! — с уважением произнес кадровик. — Нет, ты скажи, — повернулся он к Костылеву, — что нам с этой-то делать? Все же тебе виднее. Пример даешь.

Костылеву захотелось выругаться, но он сдержался. Сейчас не до собственных амбиций.

— Леночка, милая, — сказал он ей ласково, как ребенка, — ну кончайте вы дурака валять. Ну ради меня. У меня ведь действительно будут крупные неприятности. Вы же видите — никто не верит, и никогда не поверит, что вы это сами додумались. Скажут, я подучил.

— Пожалей ты мужика, — поддержал Костылева вахтер, — ты еще молодая, только цепляешься за жизнь, а его уволят по статье к... той бабушке, и будь здоров! И так, небось, намаялся с хвостом да с рогам, как все равно не знаю кто.

Лена опустила голову.

— Ну, Леночка, будьте же умницей, — приговаривал обнадёженный Костылев, — ну, сами подумайте — за что вы тут боретесь? За право ходить в шерсти? И на копытах? Поверьте вы мне — это очень неприятно, даже отвратительно, особенно, когда жара. Или вам кажется, что быть чёртом — доблесть?

— Не говорите лишнего, — нахмурился кадровик. — Про... этих — запрещено. Их нет. Специально собирали, давали инструкцию.

— Вот я и объясняю, — терпеливо продолжал Костылев, — что я, во-первых, не... не какой-нибудь там... лукавый, поскольку их, разумеется, нет, а во-вторых, ни шерсть, ни рога мне, честное слово, не нужны, тут несчастье, а не повод для демонстраций гражданского мужества.

Воспользовавшись тем, что Лена слушала Костылева и смотрела в пол, кадровик дотронулся до веревки, связавшей эту молодую особу с батареей. Он уже коснулся узла, когда Леночка, вдруг извернувшись, ударила его коленом в живот и с криком: «Руки, ренегат!» плюнула ему в лицо.

— Хулиганка! Чокнутая! В Скорую, в Скорую звоните! В милицию! — наперебой загалдели свидетели, на всякий случай отступая.

От двери, ведущей на улицу, послышался звонкий детский хохот, все повернули головы и увидели девочку лет семи в красном платье и панамке. Хохоча, девчонка прыгала на одной ноге и время от времени выкрикала:

— Мо! Ло! Дец! Бей давай! Шайбу-шайбу! Ура-а-а!

— Эт-то... Тебя кто пустил? — рыкнул начальник кадров.

Девочка замолчала, показала всем «нос», свистнула, опromетью кинулась к двери, мелькнула красным платьем и исчезла.

Лена смотрела на Костылева с ненавистью и громко дышала, губы ее презрительно кривились. Он повернулся и побрел к выходу. Оказавшись на улице, остановился, апатично подумав, что до конца рабочего дня еще боль-

ше часа, к тому же он забыл спрятать хвост и оставил в лаборатории шляпу, которой обычно прикрывал, выходя из института, рога. Надо было возвращаться назад. Через вестибюль...

«А-а, плевать!» — решил он. И зашагал к метро.

Народу на улице было уже порядочно — кончилась работа в соседнем учреждении, но никто не обращал на Костылева особенного внимания. Только одна старушка неуверенно перекрестилась, да двое пижонов затеяли кинематографический спор.

— Бездари. Совершенно не умеют делать грим, — брюзжливо цедил один, кидая на Алексея Петровича сбоку презрительные взгляды, — да и костюмчик — самодеятельность из Чухломы. Завал. Ну разве это рога? Смех и рыданье! Уж лучше купили бы на бойне — нормальные коровьи. По госту. Или хоть достали импортные, что ли. Достанут они... Жалеют валюту, жмотье.

— Не скажи, — спорил его приятель, — натурализм сейчас не в жилу. Искусство должно быть условным. Помнишь Высоцкого в Гамлете<sup>18</sup>? Нет, не погано, не погано...

Они обогнали Костылева, и он успел еще узнать, что его приняли за актера Любшина<sup>19</sup>. В другое время был бы польщен, но теперь... Теперь нарочно замедлил шаг, чтобы не слышать их уверенных, хорошо поставленных голосов. Неприятны ему были эти громогласные «хозяева жизни», он даже остановился, чтобы они ушли подальше, и вдруг услышал за спиной гулкий приближающийся топот нескольких пар ног. Обернулся. Двое юношей стремительно догоняли его, волоча за руки давешнюю девчонку в красном платье, ноги девчонки едва касались тротуара, панама съехала на лоб. У ребят лица были будто знакомые — ну конечно! — вчера Костылев их, голубчиков, видел. В вестибюле с этой... Жанной д'Арк. Тот чернявый в патлах все махал рукой. Гриша и... Арчибалд, что ли?

— Алексей Петрович, стойте! Срочное дело! Надо обсудить! — затарахтел Гриша, чуть не сбив Костылева с ног.

Тарахтел он с такой скоростью, что Алексей Петрович с трудом угадал смысл, потому что услышал только: «Ксейптрич! Стойт! Срочнодел! Надосдить!» Костылев растерянно пожал плечами, и тогда второй, бородатый, с большим достоинством протянул ему руку:

— Аскольд, — сообщил он. — А это — Григорий. Он у нас темпераментный господин. Не надо так дергать физиономией, Гриша, нос отлетит. Напрочь.

При этих словах девчонка захохотала и села на асфальт.

— А это вот, — Аскольд ткнул пальцем ей в макушку, — наш друг и помощник. В какой-то степени даже благодетель. Друг мой, сделай милость, встань, поздоровайся.

Девочка вскочила с земли и протянула Костылеву жесткую и грязную пятерню.

— Гаврила, — сипло произнесла она.

Гриша опять возбужденно затарахтел, на этот раз с такой скоростью, что Костылев не понял ни единого слова.

— Он хочет втолковать, — перевел Аскольд, снисходительно поглядывая на приятеля, — что наш Гаврила — отрок мужеского полу, а платье и весь маскарад — всего лишь камуфляж.

— Кон-спи-ра-ци-я! — заорал Гаврила как резаный и сдернул панамку, под которой оказалась стриженная под ноль ушастая голова огурцом.

— Хорошо вас всех Ленка уделала? — мальчишка подмигнул Костылеву и прицельно сплюнул, попав в мусорную урну.

— Гаврила! Прекрати этот моветон, — морщась окоротил его Аскольд. И пояснил: — Воспитываем сообща — сирота, брат нашей Елены.

— Родит нет! Погибавтомбилкатасрф! — вмешался Гриша.

— Григорий! Диван лез анфан!<sup>20</sup> А ты, Гаврила, ступай назад, продолжай наблюдение.

— Есть занять пост! — Гаврила тотчас умчался, успев, однако, дернуть Костылева за хвост.

— Нелегкий характер...— Аскольд смотрел мальчику вслед.— Отец и матушка год тому погибли в автомобильной катастрофе.

— Ну, мне пора,— выдержав необходимую паузу, Костылев протянул Аскольду руку. Он чувствовал, что количество острых ощущений на сегодня уже давно превысило для него предельно допустимую норму.

Однако Гриша с Аскольдом были на редкость настоячивые юноши. Борцы.

Через пятнадцать минут все трое сидели в маленьком кафе на соседней улице, стилизованном не то под рыбацкую таверну, не то под трюм — с потолка свисали сети, витражи в окнах изображали гад морских подводный ход, столы были деревянные, некрашенные, а вместо стульев — ящики, про которые Аскольд авторитетно сообщил, что это — рундуки. Они с Гришей держались здесь завсегдатаями, с официантом, одетым морским стюардом с пиратским оттенком, поздоровались за руку, назвав его Колей, в меню даже не взглянули.

Чем кормишь, отец? — спросил Аскольд, и Коля сказал, что рыбы, как водится, нету, есть лангеты, но он не советует, имеется также люля-кебаб, но — для гостей нашего города, а вот шашлык неплохой, тоже вообще-то не блеск, но кушать в крайнем случае можно.

Гриша тотчас принялся тарыхтеть, официант, кивая, записывал.

— Остальное как всегда,— сказал Аскольд. Коля еще раз покладисто кивнул и вскоре принес салаты и бутылку минеральной воды «Полюстрово»<sup>21</sup>, оказавшейся на вкус водкой обыкновенной.

— Этого здесь вообще не подают,— понизив голос, сообщил Аскольд,— приходится идти на военные хитрости. Григорий, разливай.

Гриша разлил. Выпили. И сразу, не закусывая, по второй.

Медленное тепло растекалось по телу Костылева. Хорошо, что он согласился пойти сюда, вместо того, чтобы гнить в одиночестве и жевать постылую мойву в томате.

Вообще во всем этом что-то есть... И ребята симпатичные. Гриша вон даже тарыхтеть перестал, сидит разомлевший, очки снял, лицо детское. А Аскольд — тот же просто красавец! Этакый аристократ из раньшего времени.

Подошел Коля с шашлыками, что-то сказал Аскольду на ухо, и тот заулыбался.

— Просит познакомиться с вами, произвели сильное впечатление.

Костылев встал, и они с Колей церемонно пожали друг другу руки.

— Со съемок? — Коля уважительно смотрел на рога Костылева. — А я вас видел в фильме «Щит и меч»<sup>22</sup>. Моя любимая кинокартина!

Костылев хотел возразить, но Гриша незаметно толкнул его ногой, и он промолчал.

— Пускай себе воображает, что вы киноартист, — сказал Гриша, когда сияющий официант скрылся. Выпив, Гриша стал говорить вполне отдельно и понятно, как все люди.

— Он у нас тщеславный, Николаша, имеет эту слабость. Не будем лишать человека иллюзий, — поддержал его Аскольд. — За кого это он вас принимает?

— За Любшина.

— Не знаю. Отечественных картин не смотрю. — Аскольд пожал плечами и взялся за шашлык.

Шашлык был из курицы, Костылев никогда не пробовал такого. Он быстро разделался со своей порцией, разжевав даже кости, и заказал еще.

— Плачу за всех, — предупредил он Аскольда с Гришей, — я все-таки пока на жалованье, а вы — бедные студенты.

— А мы все вашим делом занимаемся, вчера до полуночи спорили, — вытерев салфеткой перепачканные соусом губы, сказал Гриша.

Аскольд молча кивнул и чокнулся с Костылевым.

— И в чем же, по-вашему, существо моего... «дела»? — Костылеву было смешно, но лицо его хранило вполне серьезное выражение.

— Прежде всего я хочу... я прошу... мы оба просим, чтобы вы не ругали Ленку,— с воодушевлением начал Гриша и покраснел, похоже, собираясь вновь затарахтеть. Руками, во всяком случае, он уже махал.— Ленка — человек импульсивный, увлекающийся, всегда идет до конца, часто — до абсурда. Компромиссы — это не для нее.

— Она к вам, кажется, не вполне равнодушна,— вставил Аскольд, Гриша покраснел еще больше, а Костылев с тоской подумал, что только этого ему сейчас больше всего и не хватало! Особенно, если вспомнить вчерашний вечер.

— Учтите,— Гриша все хмурился,— мы этой ее акции не одобряем, это порочный метод.

— Метод — чего? — Костылеву вдруг показалось, что его разыгрывают,— уж не борьбы ли? И если не одобряете, почему не пойдете и не отвяжете? Она же весь день там сидит, ни минуты не работала, а это, имейте в виду, нарушение, и злостное, ее могут уволить.

— Это как раз, может, и не плохо...— задумчиво молвил Аскольд.— Пример самоотречения. Жертва.

— Какая жертва? Во имя чего? — обозлился Костылев.

— «Нам не дано предугадать»...

— И нравственный императив...— влез Гриша.

— Погоди,— отмахнулся от него Аскольд, внимательно глядя на Костылева.— Тут нужно взять во внимание священное право выбора. Вот вы, к примеру. Вы выбрали облик Чёрта и имеете полное право на этом настаивать.

— Сохраняя в неприкосновенности нравственную позицию,— не унимался Гриша.

У Костылева застучало в висках.

— Послушайте,— сказал он,— и постарайтесь понять: я ни-че-го не выбирал. Если бы выбирал, предпочел бы... Марчелло Мastroяни, что ли, или вот хотя бы артиста Любшина. А ходить с рогами — удовольствие очень небольшое, уж можете мне поверить.

— Не выбирали, стало быть,— с некоторым разочарованием произнес Аскольд.— Что ж... я и это допускал. Что я тебе говорил, Григорий?

— Не верю! Он мистифицирует! Вы — сами, конечно же, сами! Вызов конформистам! Индивидуальный бунт личности! — начал заводиться Гриша.

— Увы,— личность развела руками.— Ничем таким порадовать не могу. Боюсь, что сам я — завзятый конформист. Бросать вызов никому не желаю, хочу только одного — быть, как все. И покоя... И вот что: где ваш Коля? Пусть несет кофе.

— Дело ваше,— холодно отозвался Гриша.— *Quique suum*<sup>23</sup>.

Но это не устраивало Аскольда:

— Нет уж, позвольте, любезнейший Алексей Петрович. Так нельзя. Надо же договорить, расставить все по местам. Конформист вы или нет, в конце концов, дело десятое. Для меня! — прибавил он, увидев ярость на лице Гриши.— Гриша — особь статья. Кроме того, допускаю, что вы не находите возможным говорить с нами искренне. Поелику у вас могут быть свои резоны не объяснять движущих пружин...

— Да нечего мне объяснять! Нечего! — закричал Костылев, окончательно потерявший терпение.— Я уж и начальству записки писал — мол, без ведома и согласия, теперь вам еще доказывай! У меня несчастье, а вы себе игры устроили. Ну представьте себе: лег человек спать, проснулся утром, а у него горб. А теперь ответьте: что вы в этом случае станете делать? Как бороться? Приделаете и себе такие же горбы? Или напишете плакат: «Руки прочь от горба»? А горбатого начнете убеждать, что носить на спине эту... дрянь — большая доблесть? Что он сам, конечно же, сам этого хотел и добивался? Из принципа! Как суверенная личность? Нет, врешь! Если быть людьми, то только так — постараться этого горба вовсе не замечать, человека не травмировать, тогда он и сам забудет...

— Трусость! — фальцетом закричал Гриша и ударил по тарелке. — Слабодушие, а значит, безнравственность.

— Все. Приехали. — Костылев резко поднялся. — Пойду-ка поищу официанта, куда он там провалился?

Но уйти ему не дал Аскольд. Мягко взял за плечи и усадил, налил в его рюмку остаток водки.

— Не обращайтесь на Григория внимания, Алексей Петрович, — сказал он задушевно, — отрок сей горяч, но боевит. И вас любит! Да, да, успел полюбить, я уж вижу. Не то не дергался бы, как паяц.

Гриша, нахохлившись, глядел в сторону и был похож на ворону, у которой голуби украли кусок булки.

— Он, — продолжал Аскольд еще ласковее, — вот беда-то: и вас любил, и Елену любит, а она, как было сказано...

— Иди ты к чертям собачьим, болтун собачий! — выкрикнул Гриша, вскочив (получилось: «Йдиткчер! Тямосочим! Блунсч!») — и выбежал вон.

— Пусть остынет, — отечески сказал Аскольд. — А мы зато побеседуем спокойно. Меня ведь, помимо всего, дражайший Алексей Петрович, тут интересуется гносеологический аспект...

Костылеву сделалось очень скучно. Он подумал, что сидит здесь, как форменный идиот, слушает бредни молокососов, а надо было давно ехать к жене объясняться. От этих мыслей он совсем разозлился, но Аскольд все болтал и болтал.

— Ну-с, никакой мистики в вашем превращении я лично не вижу, поскольку мне совершенно ясно: вы не чёрт и не дьявол, а натуральный человек из плоти и крови, почему-то принявший облик чёрта. Почему? Вольно или невольно — этого не касаюсь. Меня сейчас больше занимает значение сего факта для науки. Я допускаю, что это — результат мгновенной мутации, которая — кто знает? — возможно, происходит со всем человечеством, но растянута во времени. Вы же — мутант, проделавший этот путь за одну ночь. Допускаю также, что вы — гениальный

изобретатель и нашли способ сразу прийти к тому, к чему люди придут через тысячелетия. Но возможно и обратное: вы сделали скачок не в будущее, а, наоборот, в прошлое...

— Вы, значит, полагаете, что человек произошел от нечистой силы? — спросил Костылев, вставая и делая рукой знак Коле, появившемуся в конце зала. — Что ж, это воодушевляет. Равно, как и перспектива, что через миллион лет землю наследуют бесы.

Официант приблизился к столу и подал Аскольду сложенную корабликом записку. Пока тот читал, Костылев расплатился и сердечно пожал руку Коле, получив приглашение заходить в любое время. Когда, отказавшись от чашечек, Коля ушел, Аскольд молча протянул записку Костылеву. «ДОНЕСЕНИЕ», — было написано там кривыми печатными буквами. И ниже: «ДЯДЬКА ДАЛ КОЛБАСЫ. ЛЕНКА СПИТ. ПРЕХОДИЛИ КАКИЕ-ТО МУЖЕКИ ОНА ИМ ПЛЮНУЛА. ГАВРИЛА».

— Надо, пожалуй, пойти, как бы они ее там в участок не определили, — озабоченно сказал Аскольд, — жаль, поговорили мало. Последний к вам вопрос, Алексей Петрович: вы в самом деле отказываетесь от нашей помощи?

— Категорически! — с жаром вскричал Костылев.

— Что же, вас устраивает ваше положение? От рогов до кончика хвоста вкупе с кретинской работой, ничтожным Гуреевым и всем остальным, о чем нам рассказы-вала Елена? Вы, стало быть, такое положение уже для себя овнутрили?

— Овнутрил, овнутрил, — Костылев шагал к выходу, думая о том, ехать ли ему к жене без звонка или все-таки предупредить. — Об одном прошу, всех вас прошу, и Леночке передайте: сделайте милость, займитесь чем-нибудь другим! Договорились?

Они уже стояли на улице.

— Н-не знаю, право... — покачал тот головой. — Это надо обмозговать. С одной стороны... Но с другой — имеем ли мы нравственное право стоять в стороне...

Костылев застонал, повернулся и пошел прочь.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наступил июль и вместе с ним — уверенность, что слепящее небо, зной, мягкий асфальт, редкие, но бурные грозы — все это всерьез, без дураков, будет и завтра, и послезавтра, и, похоже, всегда. Вопреки пессимистам, зачем-то покупающим меховые шапки и грузные демисезонные пальто.

Алексей Петрович Костылев с детства любил июль больше всех месяцев в году, он и родился пятнадцатого июля, и отпуск всегда брал в это время, чтобы поехать на родину покойной матери, в глухую северную деревню, где до сих пор жила его старая тетка. Но в этом году свой отпуск Алексей Петрович отгулял в июне (если это вообще можно назвать словом «гулять»). На июль претендовал Сидоров, собравшийся на курорт ремонтировать левую дверцу, то есть лечиться от стенокардии. Костылеву все равно было, когда торчать одному дома — в июне, июле или декабре. Он понимал: поехать к тетке категорически нельзя, страшно даже подумать, что случится со старухой, да и со всей деревней, если Пелагеин Ленька явится из города в виде «сотона».

Да еще объясняй, куда девались жена с сыном — хотя нет, объяснять не придется, уж кто-кто, а тетка с товарками сразу поймут, что жить с нечистым не станет ни одна баба, если сама, конечно, не порченная... В общем, Костылев согласился на июнь, но и дома ему особенно посидеть не удалось — новый руководитель группы Сергей Анатольевич создал такой чудовищный отчет, что его пришлось в срочном порядке переписывать заново, весь, от первой до последней строки. При этом сам Гуреев на это время взял больничный по гастриту.

И вот: «Алексей Петрович, не в службу, а в дружбу, выйдите на неделю, потом, в июле, возьмете эти дни, меня не будет, а Гурееву я дам команду, он отпустит. Он тут

хм... э-э... останется за начальника, так сказать, лаборатории...» — в голосе Сидорова было смущение: испокон веку на время его отпуска за начальника оставался Костылев.

— Ладно, выйду, — сказал тот. — Завтра же и выйду. Только просьба — в другой раз ко мне домой Митину, пожалуйста, не посылайте. Устроила целый аттракцион, в квартиру входить отказывалась, подвывала, шарахалась. Лучше бы телеграмму отправили, раз уж надо из отпуска вызвать.

— Да... Знаете, Митина — женщина нервная. И вообще — сами должны понимать, — неопределенно проворчал Сидоров, и Костылев с удовлетворением отметил, что начальнику как-то не по себе.

Отчет он переделал, уложившись в неделю, а там и отпуск как раз кончился. Первого июля Сидоров уехал отдыхать, Гуреев все болел, Митина взяла десять дней за свой счет, якобы отвезить куда-то ребенка, на самом же деле, — Костылев был абсолютно уверен, — чтобы не оставаться с ним в комнате один на один, поскольку Лены Клеменс не было тоже, ее еще в мае со скандалом уволили за хулиганство.

Вообще дела шли неважно. С женой Костылев так и не виделся. Пошел было тогда объясняться насчет «грязного типа» и застал дома только тещу, которая горестно, но ехидно сообщила ему, что Верочка всего полчаса назад (а он-то, кретин, поддавал в это время в кафе с краснобаями!) улетела с сыном на юг, к подруге Сашке.

— Вчера вечером как прибежала, как пошла реветь! — рассказывала теща. — А утром подхватила отпуск оформлять за свой счет, теперь до июля не жди. Денег, и тех получить не успела, мне пришлось последние выложить, а какие мои деньги?

Тут теща всхлипнула, и Костылев горячо заверил ее, что завтра же завезет семьдесят пять рублей.

Встретила она его на следующий день очень торжественно. Усадила за стол, достала из холодильника «маленькую», две граненые стопки, разлила. Но когда Ко-

стылев протянул руку, придвинула стопку к себе и таинственно сказала:

— Потерпи чуток, это лечебное.— И вдруг заголосила каким-то козым голосом:

— Изгоняю из раба Божия Алексея бесов, дьяволов, нечистых духов и самозлейших духов. Изгоняю из раба! С волоса, с ясных глаз, из сердца, из зубов, из тела, со рта, с ребер, из середины, из рук, из ног, из суставов, из утробы...

— Это еще что за цирк? — поразился Костылев.

— Да не мешай ты! — шепотом цыкнула на него теща и заорала опять:

— Из жил, из пожил, из крови, из дыхания, со взгляда. И посылаю вас, бесы-дьяволы, нечистая сила, на мхи, на гнилые болота, где Содом и Гоморра уничтожены!

Заклинаю я вас, бесы-дьяволы, нечистая сила, ветряных и вихорных, водяных и животных, и насекомых — отступите, злые духи, от раба Божия Алексе-е-я! — басом пропела теща, схватила стопку и одним духом выплеснула водку прямо в лицо Костылеву.

— А это допей,— она протянула ему остаток на дне стопки.— Надо было половину на половину, не рассчитала маленько.

— Ну вы даете! — только и нашелся Костылев.— «Вихорные» какие-то, «пожилы»<sup>24</sup>... Чёрт знает что!

Но водку выпил. Теща тоже опрокинула стопку, села, подпершись ладонью, и стала сверлить его глазами.

— А ты чего? Завел что ли какую? — спросила она, наконец.

— Мне только заводить. С хвостом,— мрачно отмахнулся Костылев.

— А и нет, так нет. Теперь и с хвостами мужик в дефиците. А я к тому,— рассудительно добавила теща,— что гулять, конечно, гуляй, ежели приспичило, на то ты и мужчина, да и как не гулять от такой жены, хотя я и мать... А все равно, Леша, семья есть семья, дело святое,

семью, зятек, я тебе разрушать не дам, не обижайся. Не помиритесь, сообщу как есть о твоём аморальном облике по месту службы. Поскольку это мой долг! И Верке рожу начищу. Чтоб не шлялась с этим старым псом шелудивым. С булгахтером Володькой.

Пятого июля Костылев предупредил Гуреева (выздоровевшего сразу же, как только отчет был принят на Совете), что берет отгул, и поехал на работу к жене, где выяснилось, что отпуск Веры Павловны закончился неделю назад, но ее все равно нет.

— В командировку уехала? — предположил Костылев.

— Допустим... — загадочно ответила Верочкина подружка Люба, специально спустившаяся для разговора с ним в проходную.

— Куда? И... где Петя?

— Никаких справок посторонним лицам не даем, — злобно обрезала его Люба и уперла руки в бока.

Телефон тещи не отвечал. Где жена и сын, неизвестно. Неизвестным оставалось также, написала ли теща обещанную кляззу в институт. Скорее всего, лежала где-нибудь в месткоме корявая и грозная бумага в защиту семьи, но заниматься ее разбором было некому — Валентина Антоновна Войк в данный момент также отсутствовала — говорили, что она лечится в нервном санатории. Отсутствие ее с одной стороны успокаивало Костылева, но с другой — рождало в нем тревогу и некоторое чувство вины. Дело в том, что через два дня после того вечера в институте стало известно, что Валентина Антоновна в больнице. Сперва говорили про какое-то обследование (в части самого плохого), а потом прополз слух, будто на Войк напал бандит, отнял сумочку со всей зарплатой, пырнул ножом и ударил по голове, чуть не убил. Вскоре посетивший пострадавшую в больнице профессор Прибытков что-то кому-то под большим секретом рассказал... И пошло: «Нет, как хотите — не поверю! Чтоб он дошел до такого...» — «А почему нет? Я, наоборот, вполне допускаю, от него всего можно ждать.

Ведь он кто? Спросите Митину из их лаборатории». — «Ясно, он же чё...» — «Тс-с!» — «Да, да, конечно». — «Несчастливая Валечка! Пережить такое! Я бы умерла». — «Буюсь даже представить! Кошмар!» — «Нет, я бы — умерла!» — «И я бы умерла». — «Интересно, а как он?..»

Глаза институтских дам при этих разговорах сверкали, голоса хрипли. Хорошо, что Алексей Петрович ни о чем таком не догадывался. Ловя на себе жадные взгляды, он только слегка удивлялся, да и то не очень — не до взглядов ему сейчас было.

Потому что помимо разрыва с семьей тревожило и давило его полное, абсолютное безделье, в которое, как в гороховый кисель, он медленно погружался всю зиму и весну, а сдав гурьевский отчет, провалился с головой. А еще не мог он не думать о судьбе этой дурочки, выгнанной в мае с работы. Конечно, он тогда все сделал, что мог — на второй день ее сидения у батареи подходил раз пять, просил, требовал, зывал к человеческому достоинству, разуму, состраданию, умолял подумать о брате — все попусту. Аскольд с Гришей — и те пытались уговорить Лену, при этом Гриша, задыхаясь, утверждал, что мизерный Костылев не стоит ее жертвы, а Аскольд мягко доказывал, что делать кому-то добро против его желания — кощунственно, так как это нарушение свободы суверенной личности.

Лена не слушала никого; стоило к ней приблизиться, закрывала глаза и затыкала уши. Только с Гаврилой она разговаривала, от него принимала черный хлеб и воду, а вот термос со шами, который принес из дому сменившийся вахтер, поддала ногой, вклепив его в стену напротив.

К концу второго дня в вестибюль вошел директор. В руках его был мегафон. Наставив его на лаборантку Клеменс, сидящую, разумеется, с заткнутыми ушами, директор прогремел:

— В случае немедленного прекращения хулиганской демонстрации гарантируем возможность работы на преж-

ней должности. И со временем — повышение оклада. В случае продолжения безобразия будете уволены по статье за злостное нарушение внутреннего распорядка и хулиганские действия на работе, а научный сотрудник Костылев получит строгое взыскание. В приказе.

Те, кто видели в этот момент лицо директора, утверждают, что было оно интенсивно фиолетового цвета и являло собой картину множественных железнодорожных аварий и автомобильных катастроф.

Лена Клеменс этого страшного зрелища не наблюдала, поскольку сразу же крепко зажмурилась. Но рев мегафона до нее, очевидно, дошел, и, не открывая глаз, она открыла рот и высунула длинный розовый язык. Директор тотчас с достоинством удалился, а через час на стене, где висел крамольный плакат (но на безопасном от хулиганки расстоянии), появился приказ об увольнении Клеменс и выговоре Костылеву. В тот же день Лена ушла, не взяв в отделе кадров трудовой книжки и не получив в бухгалтерии денег за неиспользованный отпуск. Где она теперь, никто не знал, в том числе, конечно, и Алексей Петрович, и это сильно портило ему настроение.

День своего рождения Костылев отмечал, сидя вечером на кухне тет-а-тет с бутылкой «Цинандали». Из открытого окна полыхало жаром, по душному небу, порывкая, ползал гром.

Успехи и достижения, с которыми Алексей Петрович пришел к своему тридцативосьмилетию, были следующие:

а) Жена подала на развод, о чем он узнал на днях из судебной повестки.

б) Валентина Антоновна Войк все еще отбывала курс лечения в санатории для нервных, куда, как прогнусавил вчера Сергей Гуреев, «сия дебелая волоокая матрона была, говорят, задвинута нашим доморощенным демоном, покусившимся на ее девичью честь».

в) Профессор Беляев вдруг выкинул финт: стремительно вышел на пенсию на следующий же день после того, как

озверевший от безделья Костылев подал напористое заявление с требованием обеспечить, наконец, его, Костылева, работой, соответствующей квалификации, а также решить (чёрт побери!) вопрос о защите. Заявление было написано по настоятельной инициативе и при активном участии профессора Прибыткова и адресовано директору (копия в министерство и в городскую газету). По совету Прибыткова Костылев закончил свое послание эмоциональной фразой: «Чёртом я, несмотря ни на что, не являюсь, а потому не вижу законных причин применять по отношению ко мне какие бы то ни было санкции».

г) После подачи этого документа Александр Ипатьевич Прибытков по неизвестной Костылеву причине перестал с ним здороваться, проходил мимо, весь негодующе колыхаясь и вздымая щеки.

д) Погребняков прислал из командировки две загадочные телеграммы. Одну — Сидорову, с ней, ввиду отсутствия начальства, ознакомился сам и дал ознакомиться Костылеву Гуреев. Там содержалась просьба немедленно подтвердить получение какой-то докладной, касающейся Костылева. В другой телеграмме, адресованной Костылеву лично, было всего пять слов: «Ну зпт готовься тчк Погребняков»<sup>25</sup>.

е), ж)... я) Костылева окружали: всеобщее отчуждение, недовольствие, испуг, враждебность и т. д. и т. п.

Вяло потягивая теплое вино и заедая его недоочищенным от фольги плавленым сырком «Дружба»<sup>26</sup>, Костылев размышлял над тем, какая еще гадость может случиться, когда все возможные уже как будто случились. «Кроме тяжелой продолжительной болезни и того, что засим следует», — думал он, пытаясь изобразить губами саркастическую улыбку. Получилась кривая гримаса. При этом, как ни странно, Костылев не испытывал горьких чувств. Он вообще последнее время ничего не испытывал, видимо, перешел какой-то предел. Душа его находилась будто под наркозом.

Гром сухо рывкнул. Дом напротив и небо над ним перекосило светом. Дождь однако не начинался. Костылев

плеснул в бокал остатки вина и зевнул. И вдруг услышал — звонят в дверь. Сперва один раз, потом еще. И еще.

Он не торопился открывать — никого не звал, никого не ждал, внезапных гостей с некоторых пор опасался. Но — кто? Вера? У нее ключ, да и с чего ей идти на ночь глядя к человеку, с которым собралась разводиться?

Мысли о жене тоже не вызвали никаких эмоций. А звонок, между тем, затрещал опять. Костылев досадливо покачал головой, допил вино, сплюнул кусок фольги, не спеша поставил бокал на стол и поднялся. Звонок аж зашелся.

— Кто? — неприветливо спросил Костылев, подойдя к двери. И с изумлением услышал скрипучий голос Валерия Михайловича Сидорова:

— Это я. Открой, Алексей Петрович, неотложное дело.— В первый раз, с тех пор, как Костылев явился на работу с рогами, начальник обратился к нему на ты.

Костылев открыл. И остолбенел. Ни глухого пиджака, ни галстука — о шифоньерах не могло быть и речи. Загорелый, похудевший Сидоров одет был в тренировочные штаны линючего вида и белую футболку с захолустной надписью «Монтана»<sup>27</sup>. Однако отнюдь не штаны и не надпись шокировали Костылева — широко раскрыв глаза, он не отрываясь смотрел на голые, отливающие бронзой руки своего шефа, от локтей до запястий густо изукрашенные татуировками.

«Не забуду мать родную», — клялась левая рука. «Нет в жизни счастья», — сетовала правая, добавляя чуть пониже: «Валера. 1948». Было тут еще корявое: «Помни друга Вову» и целый ряд рисунков: скабрзная русалка с поджатым хвостом и противными грудями; небольшая, но довольно безобразная птица, распутившая когти, палаческий топор, воткнутый в пень.

Но главное, по-видимому, пряталось на груди, под «Монтаной», из выреза которой на шею вылезал острый угол — не то край паруса, не то крыло еще одного пернатого существа.

— Вы... это... я... когда приехали? То есть... — пятился Костылев, но на Сидорова его бормотание и ошалелый взгляд ни малейшего впечатления не произвели. Он деловито прошел в комнату, уселся в кресло и для чего-то запустил на всю катушку программу «Время»<sup>28</sup>.

— Садись. Ближе, ближе! — позвал он Костылева, двигая кресло и поворачиваясь спиной к орущему телевизору. — Так вот: прилетел я, понимаешь, сегодня утром, звоню в институт Прибыткову. А там, понимаешь... Скверная, в общем, история. Ну, во-первых, Беляев куда-то пожаловался, что у нас, мол, нельзя работать из-за склок и подозрительного элемента. Это раз.

В министерстве получили твою бумажонку и пришли в ярость от какой-то фразы про... чертей. Два. Директора, похоже, снимут. По совокупности. Три. И тогда Прибытков сядет на его место, о чем мечтал последние сто лет. Это четыре. Ну, и в первый же месяц выгонит тебя, голубчик. А то и раньше. Ты теперь — отработанный материал, мавр сделал свое дело... Да, да, выгонит, что рот разинул? Это — пять.

— По закону меня увольнять не за что. Где сказано, что можно выгнать человека за... физический недостаток?

— Уймись! Найдут за что. Выговор за Клеменс у тебя есть? Есть! Жалобу в министерство под диктовку писал? Писал. А теперь еще, Прибытков говорит, какая-то история с прогулом.

— С каким прогулом?

— Имеется официальный сигнал: пятого числа этого месяца ты на работе отсутствовал.

— Так я ж — за отпуск! Забыли? И Гуреев прекрасно знает...

— Официально ты этот день оформил?

— Да кто это когда оформлял? Не будьте хоть вы-то пуганой вороной! Завтра же пойду к Прибыткову...

— Ну ты и ффраер! — как бы даже с восхищением сказал Сидоров. — Вчера родился или сегодня с утра? Тебе ж говорили, предупреждали — сиди тихо, чтобы все по правилам,

буква в букву, чтоб комар носу. Нет, лезет. Права качает. Ему рогов мало — ему диссертацию! Это надо додуматься — на себя сам, сам! — в министерство телегу катит: так, мол, и так, будучи лукавым, с успехом тружусь в институте и посеми желаю получить степень. Можно на такую ксиву не реагировать? Нет, ты мне скажи, можно или нет?

Костылев пожал плечами.

— То-то.— Сидоров встал, прошелся по комнате.— И почему, почему именно с тобой вся эта... фигня? Не с Гуреевым — его б уволили, я бы еще спасибо сказал! Так ведь тот до ста лет будет сидеть, пилюли сосать, а тебя выгонят на хрен за склоку или за прогул. Коленом под зад. По такой статье, что никто не возьмет.

— Да какая склока? Кого я трогал?

— Склока? А вот. Любуйся. Гуреев специально мне домой приволок и в ящике в почтовом оставил. Чтоб я, как, значит, из аэропорта приеду, сразу обрадовался. Читай, читай... сявка,— и Сидоров протянул Костылеву какие-то скомканные бумаги.

Тот развернул первую. Она гласила, что Костылев А. Л. является подлым разрушителем семьи, бабником и алкашом зверского вида, которому нельзя доверить воспитание ребенка. «Ему,— читал Алексей Петрович, сразу узнавший почерк граждански озабоченной тещи,— не место среди нормальных людей, особенно среди нашей славной молодежи, во избежание наглядного примера, как ходить без стыда и совести в шерсти, прикрываясь ею, изменять жене с разными «прости господи», оставлять сына без родного отца». Датировано заявление было концом мая.

Во второй бумаге, именованной докладной запиской, старший инженер Погребняков В. И. считал своим прямым долгом напомнить администрации института, что при ее попустительстве временно исполняющий обязанности человека некто «Костылев» на самом деле является натуральным чёртом (слово «чёрт» было подчеркнуто), не только по форме, но и по содержанию. Чему есть неопровержимые

доказательства, а именно: в мае сего года упомянутый «Костылев» произвел с ним, Погребняковым, незаконную и жульническую сделку, отняв путем злостного вымогательства душу и двести рублей деньгами, взамен пообещав молодость. Однако никакой молодости, конечно, Погребняков не получил. Все это как нельзя лучше подтверждает дьявольскую и диверсионную сущность «Костылева», которого необходимо немедленно уволить, изолировать от общества и привлечь к суду за мошенничество и покушение на убийство. Администрацию же наказать за пособничество.

Далее сообщалось что одновременно с настоящей, сугубо предварительной, запиской Погребняков направляет соответствующие заявления в министерство и прокуратуру, причем, помимо уже сказанного, просит эти органы обратить внимание на то, что руководство института в течение длительного времени выплачивает фиктивному «Костылеву» зарплату старшего научного сотрудника за «работу», требующую квалификации лаборанта, о чем будет дополнительно сообщено в КРУ, Минфин и ОБХСС.

Главную ответственность, — говорилось дальше, — должен, помимо так называемого «Костылева», понести его непосредственный начальник некто Сидоров В. М., уголовное прошлое которого требует дополнительного расследования.

Кончалась записка категорическим требованием немедленно увеличить оклад старшего инженера Погребнякова В. И. со ста восьмидесяти до двухсот тридцати рублей, а также возместить ему ущерб, нанесенный Костылевым, в размере двухсот рублей плюс расшатанное здоровье.

— Такие дела, Алексей Петрович, — сказал Сидоров, когда Костылев, дочитав, молча на него воззрился. — Не надо было лезть. Предупреждали. А теперь держись, это как снежный ком.

В голосе его привычно звучали скрипучие ноты, скрипел он устало и безнадежно, так скрипит не шкаф — рассохшаяся телега, когда катится, катится, катится по ухабистой пыльной дороге, которой конца не видать.

— Идиотизм какой-то, — негромко произнес Костылев. — На вас-то он чего? Придумал тоже: уголовное прошлое.

Сидоров издал неопределенный звук, махнул рукой и поднялся. Он стоял, опустив голову, и опять напоминал шифоньер. Дверцы слегка приоткрылись, мерно качались «плечики» с ватным бушлатом.

— Я тебе, корешок, больше помочь ничем не могу, да и раньше не мог. Такое дело... Телевизор можешь выключить.

С этими словами Сидоров захлопнул свои дверцы и решительно направился к выходу.

А через три дня состоялось общее собрание лаборатории.

Проводил его профессор Прибытков, исполняющий в настоящее время обязанности внезапно заболевшего директора института. Сидоров молча и неподвижно сидел в углу и вид имел весьма фанерный. Костылев устроился с краю второго ряда.

Прибытков произнес небольшую душевную речь, обращаясь попеременно то к собравшимся, то к Алексею Петровичу:

— Я очень сожалею, дорогие друзья, что именно мне выпала горькая обязанность решать здесь с вами неприятный всем нам вопрос, — начал он, энергично взбивая пальцами щеки, — Алексей Петрович, голубчик! Мы терпели, сколько было можно и даже много больше, но теперь — увы... Да. Теперь — увы. В министерстве удивлены... скажем так... Да, удивлены! — вашей эпистолой, в которой вы, — простите, родной, мне самому больно, — пытаетесь очернить коллектив и бросить, я бы сказал, тень. Не надо на меня так смотреть, коллега. Вспомним факты, освежим в памяти эту упрямую вещь: да, это я посоветовал вам обратиться с просьбой ускорить защиту — не скрою. Но, голубчик, кто же мог предполагать, что вы перейдете границы, а работа ваша окажется на столь ужасающе низком уровне? Вот, — пухлой рукой профессор элегантно вытащил из кармана пиджака какие-то листки и помахал ими в воздухе, — вот заключение всемирно известного

академика — он назвал фамилию, которую Костылев слышал впервые в жизни. — Здесь же, друзья мои, и записка профессора Беляева, доведенного преследованиями нашего Алексея Петровича до нервного срыва, в результате чего уважаемый ученый вынужден был безвременно выйти на пенсию, а мог еще столько пользы принести науке!

Слева от Костылева надсадно всхлипнули. Глядя на него исподлобья, Ольга Митина терла ладонью глаза.

— Но что же отмечено в заключении академика, дорогие мои сотрудники? — выдержав паузу, Прибытков повысил голос. — А отмечено там, что в диссертации, написанной очевидно, при весьма косвенном участии автора, результаты экспериментов — сом-ни-тель-ны! Методика обсчета — при-ми-тивна! А практическая ценность работы... Алексей Петрович, милый, верьте — я искренне, до слез огорчен! Но ее ценность, к нашему общему несчастью, равна нулю. Итак, с диссертацией все ясно. Переходим ко второму пункту нашей печальной повестки: будучи вынуждена рассмотреть результаты как бы деятельности Алексея Петровича за последний, допустим, квартал, компетентная... м-м... комиссия с неизбежностью пришла к весьма...

— Что-то я не слыхала ни про какие комиссии! — послышался вдруг задиристый голос Нины Кривошеиной из группы антифрикционных материалов.

— ...к весьма горькому выводу! — помотав лицом, непреклонно закончил фразу Прибытков. — Отмечено полное несоответствие его занимаемой должности — да, да — ваше, ненаглядный друг, несоответствие, ибо! Ибо то, чем вы занимаетесь, как правильно отметил в своем... сигнале Велимир Иванович Погребняков, требует квалификации лаборантки с восьмиклассным образованием, а отнюдь не научного сотрудника, претендующего на высокую ученую степень. Надеюсь, я не слишком огорчил вас, мой дорогой? Костылев молча взглянул на Сидорова, который на его взгляд никак не отреагировал, а затем — на Ольгу Митину, поскольку та застонала.

— Мне нехорошо. Здесь страшно пахнет серой и смолой,— выговорила она, и все тело ее заволновалось, как сопка перед началом извержения.

— Вот видите, Алексей Петрович,— с ласковой укоризной сказал Прибытков,— мне очень огорчительно, но нельзя же, хороший мой, скидывать со счетов сей прискорбный факт: вы не уважаете коллектив, вы его, извините, травите. В самом прямом смысле этого неприятного слова.

— Задания Костылеву давал я,— четко проскрипел Сидоров.— И все это прекрасно знают, вы в том числе. Более того, лично вам хорошо известно, по чьему указанию я это делал.

— Стоп, стоп, стоп! — Прибытков погрозил ему пухлым пальцем.— Полно, батенька. Не нужно благодетельности. Вы унижаете Алексея Петровича, а он не хуже других понимает — ведь правда же, понимаете, голубчик? — что помешать человеку честно трудиться нельзя! Нельзя, други мои, нельзя и нельзя.

— Бред,— Сидоров пожал плечами. Кривошеина тотчас захлопала в ладоши, но ее не поддержали. Прибытков терпеливо дожидался тишины.

— Несоответствие должности,— заявил он, когда шум улегся,— вопрос, между прочим, далеко не главный. Есть еще многое, на чем мне не хотелось бы здесь останавливаться. Из соображений... м-м... деликатности. Но — Прибытков театрально простер полную руку, указывая на Сидорова,— но меня вынудили. И теперь я с большим неудовольствием должен коснуться некоторых,— он поморщился,— моментов. Алексей Петрович, уважаемый друг! Получено более двенадцати заявлений по поводу вашего, мягко выражаясь, не совсем этичного поведения в быту. Жену вы, простите, бросили с малолетним ребенком на руках, товарища по работе обобрали...

— Что-что? — взвился Костылев.— Вы, Александр Ипатьевич, все же выбирайте выражения! Кого это я там обобрал?

— Старого человека. Ветерана труда. Лучшего нашего сотрудника, — отчеканил Прибытков, твердея, — Погребнякова Велимира Ивановича. При этом шантажировали его, объявив себя неким... явлением, само предположение о существовании которого оскорбительно для нашей науки. И культуры!

Собрание заурчало. Одни повернулись к Костылеву, разглядывая его с враждебным любопытством. Другие, наоборот, изо всех сил старались не встречаться с ним взглядами, Митина тихо плакала. Только Нина Кривошеина подняла руку и сделала Алексею Петровичу приветственный жест, который его, надо сказать прямо, насторожил: Нину он знал как подругу Леночки Клеменс.

— Я еще не все зачитал здесь. И не буду! — Прибытков продолжал твердеть на глазах — куда девались взмахивания, колыхания и прочие мягкие движения его студенистого лица? Теперь это был монолит: с профессором произошло то, что наблюдал всякий, кому хоть однажды посчастливилось видеть процесс полимеризации.

(Костылеву такое счастье выпадало, наверное, не меньше трехсот раз, сегодня — триста первый. Вот жидкость, ничем по консистенции не отличающаяся от простой воды, начинает постепенно густеть, вот это уже и не жидкость, а нечто похожее на крем или желе, а вот — не успели вы оглянуться — она уже тверда, как стекло, почти как алмаз... Впрочем, полимеризацию при желании можно заменить другой картиной: профессор Прибытков, подобно жене Лота, превратился в соляной столп. Но Костылев был химиком, поэтому изменение агрегатного состояния профессора ассоциировалось у него именно с полимеризацией, и не чего-нибудь, а эпоксидной смолы. И он только крякнул, когда из отливки этого высокополимера послышался голос, завидная твердость которого заслуживала особого исследования).

— Не буду, — повторил Прибытков, сохраняя полную неподвижность членов, — считаю лишним оглашать еще

одно заявление — от Валентины Антоновны Войк. Факты, о которых она нам сообщила, настолько чудовищны и постыдны, что назвать их вслух не поворачивается язык. Уж поверьте — одного этого заявления было бы достаточно, чтобы уволить Костылева и отдать под суд. Где его осудят по очень тяжкой статье.

Возбуждение присутствующих заметно увеличилось. Митина рыдала уже в голос, женщины в задних рядах повскакали с мест. Но монумент Прибытков воздел негнущуюся руку, и все стихло.

— Мы можем уволить Костылева многократно, — торжественно объявил он. — Первое: за систематическое нарушение трудовой дисциплины. Второе: ввиду несоответствия занимаемой должности. Третье: за аморальное поведение. Но мы уволим его за четвертое. За прогул! Сергей Анатольевич, прошу вас!

До этого момента Костылев в зале Гуреева не видел, тот сидел где-то в противоположном конце, и за все время, что шло собрание, ни разу не подал голоса. Теперь он поднялся и, слегка пригнувшись, не глядя по сторонам, пробирался к столу председательствующего. Собрание все еще волновалось.

Дойдя до стола, Гуреев повернулся к Прибыткову. Выражение лица его было растерянным, да и вообще вид он имел довольно жалкий: щеки и лоб — красные, под носом — капли пота, руки с непрерывно шевелящимися пальцами повисли вдоль тела. Костылеву стало не по себе, и он отвернулся.

— Мы внимательно слушаем вас, Сергей Анатольевич, — вновь обретая проникновенный тон, сказал Прибытков.

Гуреев откашлялся и повел плечами, словно его знобит.

— Значит, это... — выдавил он, наконец, — значит... пятого числа этого месяца Костылев на работу не явился... — и замолчал.

— По уважительной причине или без? Были ли представлены какие-либо оправдательные документы? Не надо так волноваться, Сергей Анатольевич, здесь все свои.

Гуреев не отвечал. Не выдержав, Костылев взглянул на него и опять отвел глаза, потому что ему показалось, что Сергей Анатольевич сейчас расплечется, плечи его, во всяком случае, странно подрагивали, голову он опустил, так что разглядеть можно было только начинающую лысеть макушку. Зато профессор Прибытков внезапно оттаял, и сейчас в нем все мягко и доброжелательно колебалось, подрагивало, шевелилось и ходило ходуном.

— Ну же, голубчик, ну не надо так нервничать, — профессор урчал, как кот, и ходил вокруг Гуреева восьмерками, — скажите нам, милый, оформил ли Алексей Петрович свой невыход на работу надлежащим образом? Или, может быть, он не сделал этого?

— Он не сделал, — обморочным голосом вымолвил Гуреев.

— Вот и все, вот и славно. А вы-то, вы как временно исполняющий обязанности начальника лаборатории, вы-то, Сергей Анатольевич, знали в тот день, почему отсутствовал Костылев? Он вам хоть что-нибудь по этому поводу говорил?

Теперь уж Костылев смотрел на приятеля во все глаза.

Очень ему было любопытно, что ответит Гуреев. Только любопытно, не более.

А Гуреев беззвучно шевелил губами.

— Мы не слышим, Сергей Анатольевич, попрошу отчетливее, коллега, — подгонял Прибытков — ему, видать, уже поднадоело возиться с Гуреевым. — Ну! Это важно. Учтите, для вас — тоже. Потому что, если вы были в курсе, тяжкая ответственность лежит и на вас.

Гуреев поднял голову. Секунду они с Костылевым смотрели друг другу в глаза. И во взгляде Сергея Костылев увидел отчаяние. И злобу. Такую злобу, что это, пожалуй, была уже и не злоба, а ненависть.

— Не говорил он мне ничего! — визгливо закричал Гуреев. — Ни слова! Он прогульщик! Аморальный, бессовестный тип! Воображает, что гений, ему все позволено! Я — за увольнение! Гнать! По статье! Я — за!

На губах его пузырилась пена.

— Сволочь... — скрипнули в углу. — Прошу слова.

— Погодите, Валерий Михайлович, успеете. Сперва — Костылев. Костылев! Что вы можете сказать по поводу вашего прогула? А вы, Сергей Анатольевич, пока опустите руку, голосование еще не началось. И сядьте. Так мы ждем, Костылев.

— Мне сказать нечего, — Костылев далее не шелохнулся.

— Зато мне есть! — встал Сидоров. — Гуреев лжет. Он прекрасно знал, от меня знал, что у Алексея Петровича есть неделя отгулов за отпуск. Я Гуреева лично об этом предупредил. Даже в письменной форме, слякоть этакую.

— Попрошу без выражений, — прервал его Прибытков (он снова начал твердеть). — Официально отгул оформлен не был. Сергей Анатольевич, разве у вас есть письменное указание начальника лаборатории?

Гуреев что-то невнятно пробормотал.

— Не сохранили? ...Ах, не было вообще, понятно. Ну-с, вашими, любезный Валерий Михайлович, махинациями с этими отгулами и прочим, мы займемся позже. Отдельно. А сейчас будем голосовать. И так уже время потеряли. Алексей Петрович, поскольку у вас имеются такие закадычные защитники, да и вообще мы тут все же не звери, я решил вот что: скажите, голубчик, может, вам больше нравится быть уволенным не за прогул? А за аморалку? Или — ввиду несоответствия, а? Скажите, коллега, и я уверен — коллектив с радостью пойдет вам навстречу!

— Цирк! — громко заявила Кривошеина. А Костылев молча поднялся и зашагал к столу. Из носа у него вырвался сноп искр, и он прогнал его рукой. — Вы куда, Алексей Петрович? Это вам... зачем, дружок? — заворочился Прибытков, отступая за стул и беспокойно поводя щеками. Но Костылев не глядел на и. о. директора. Он остановился и начал пристально рассматривать лица своих товарищей, медленно переводя взгляд с одного на другое. Все заерзали.

— Вот ведь какая штука... — тихо начал Костылев, завершив осмотр, — вижу: сейчас он скамандует, и вы дружно поднимете руки. Точно — поднимете! Но я, хоть убей, не могу понять, — почему? Вы же все, в общем, неплохие люди.

— Демагогия! — раздраженно бросил Прибытков.

— Я последнее время много думал, — продолжал Костылев, не обратив на него внимания, — сначала на что-то надеялся... да нет, не на «что-то», на вас надеялся: не допустите, чтобы со мной... чтобы меня... В последний момент кто-то опомнится, возмутится: что же это — ведь человек не виноват.

— Алексей Петрович, — опять вмешался Прибытков. — Нельзя так. Зачем эти мелодрамы? Вы себя ведете не по-мужски.

— Не опомнились, не вмешались — вот что поразительно. Просто уму непостижимо. Понимаете же, что все эти «во-первых, во-вторых» — липа, балаган и не в них дело, а молчите. Бойтесь вы, что ли? Неужто бойтесь? Но тогда — чего?

Вот сейчас вы, большинство, проголосуете. И сделаете подлость. Ведь подлость же. Выходит, подлецами быть не так страшно, как... Как — что? Ну что, что? Скажите хоть кто-нибудь! Ведь с работы не выгонят, даже в должности не понизят. Так в чем дело? Нет, честное слово, не могу понять.

— Перестаньте давить на коллектив! — рявкнул соляной столп.

— На коллектив? Да нет. Мы не коллектив, мы... Кто же мы?

— Стая! — выкрикнула Кривошеина, и зал тотчас зашумел.

— Стая, — согласился Костылев. — Толпа.

— Не издевайтесь! — истерически завопила Митина. — Мы тоже люди!

— Хватит. Пофилософствовали, домой пора! — дружно раздалось из разных концов.

— Потерпите. Послушаете раз в жизни! — обозлился Костылев. — Это наш последний разговор, больше не

встретимся. Так вот — стая. «Кто смел, тот и съел», «падающего — толкни», «своя рубашка»... Что, не правда? «Хочешь жить — умей вертеться!» Я уж с отчаяния было решил — не бывает никаких коллективов, выдумки все, литература. Потом подумал: а на войне? Там ведь речь, заметьте, не о понижении, не о выговоре шла. О жизни! И там последним куском делились и товарища собой от пули могли заслонить. Наверное, потому что цель была общая.

— А у нас, получается, нет цели? На науку нам наплевать? Мы сюда дурака валять ходим? — слышался голос пришедшего в себя Гуреева.

— Это для тебя-то наука — цель? — почти весело откликнулся Костылев. — Не смейся! Тебе — карьеру сделать. Да и все вы тут...

— Он клеветает! — закричали в заднем ряду. — Давайте голосовать, все ясно!

— Ату его! Ату! — подхватил Костылев. — У него, поганого, беда, гоните его вон! Страшно же! Мы ведь стая, животные, у нас — животный ужас. Боимся, а чего — не знаем. Разве что, вдруг и с нами — такое? Рога вырастут? Нет, ни за что! С нами? Никогда! С нами быть не может, только с ним! Потому что он в своих бедах, то бишь преступлениях, сам виноват! Сам и заслужил! Чем? Знать не знаем и не хотим! Мы здесь все свои, а он чужой! В организме чужое отторгается, а толпа — она и есть организм. Брюхо! Но при этом... каждый в отдельности — люди вы все неплохие...

Последних слов Костылева не услышал никто. Собрание, взревев, поднялось на дыбы и надвинулось на него с искаженными яростью лицами, горящими глазами, перекосенными ртами.

— Зря ты. Нельзя делать из людей — такое... — услышал он голос Сидорова. Тот стоял рядом, почему-то без пиджака, выставив напоказ свою татуировку.

— Пойдем отсюда, — Сидоров взял Костылева под руку, и они двинулись к двери.

— Голосуем, голосуем! — перекрывая шум, кричал за их спинами Прибытков.— Кто за увольнение прогульщика и хулигана? Кто за?

— Нет, как ты их, а? — говорил Сидоров.— «Животный ужас», «стая». Честно говоря, не ожидал, ты ведь человек мягкий. А тут смотрю: ну, думаю, сейчас они все на него кинутся. А ведь недалеко было. Только... — он вдруг помрачнел, — все равно это нельзя, Алексей. Нельзя.

— Да почему нельзя-то? — настроение у Костылева было почти хорошим. Впервые за последние месяцы он почувствовал себя легко.

Уже второй час сидели они с Сидоровым в том самом маленьком кафе-трюме, где Костылев когда-то долго и терпеливо знакомился с самодеятельными философствованиями приятелей Лены. (Надо бы спросить Николая, где они все).

Коля встретил Костылева как своего, подал бутылку водки с фирменным названием «Ситро» и почтительно удалился. Алексея Петровича он чрезвычайно уважал, все норовил завести разговор про какой-то фильм по Чехову, где тот исполнял главную роль<sup>29</sup>.

— Это — психология в хорошем смысле, — веско говорил Коля, натирая тряпкой абсолютно чистый стол.

— Только я здесь ни при чем, — справедливости ради возразил Костылев.

— Понимаю.— С заговорщицким видом Коля ушел, но тут же вернулся, таща осетрину, которой и духу не было в меню.

— Так почему нельзя? — допытывался теперь у Сидорова захмелевший Костылев.— И чего — «нельзя»?

— А сам же говорил — «хорошие люди», а потом взял и довел до полного озверения. Нельзя из человека зверя делать, этим, должен тебя огорчить, как раз они и занимаются.

— Кто «они»?

— Сволочи, дрянь всякая. Черти, если хочешь. И хуже этого нет ничего. Говорю с полным правом.

— Что, случилось из кого-то зверей выпускать?

— Уж если хочешь знать, то из меня выпустили. Чего смотришь? Я ведь, Алеша, убийца. Натуральный убийца, человека убивал. Разводным ключом. Так-то.

— Не может быть! — глупо воскликнул Костылев.

— Было. Налей-ка еще. Никуда не денешься — убивал. Зверски. И знаешь, такое чувствовал... Да что там говорить! Не убил, повезло. Не сумел.

— А он-то? Кто он-то был?

— Сволочь.

Костылев разлил. Молча, не чокаясь, они выпили.

— Сволочь... — задумчиво повторил Сидоров. — Гнуснейшая тварь. Из тех, для кого слабого унижать, травить беззащитного — самая что ни на есть сладость и кайф. Но чтоб знать — никто не заступится...

— А вы заступились?

— Да не об этом речь! Он же, падла, из меня изверга сделал! Правда, всего на несколько секунд, но такое... такое уж не забудешь. Помню: бью — и восторг... Нет, про это нельзя. Потом, конечно, суд, тюрьма. Да что тюрьма! Ведь бил и наслаждался! Тюрьма по сравнению с этим — пустяк. И хватит, лучше о тебе поговорим.

— Нет, подождите. Валерий Михайлович! Обо мне успею. Я вам что хочу сказать? Очень я вас... уважаю.

— Ага, нажрался. «Уважаешь»? Ну что ж, тогда и я тебе скажу: и я тебя тоже. Взаимно, значит. Только жалко мне тебя, парень, прямо до слез. Но — уважаю. Потому что не суетишься, не мечешься, какой был, такой и остался. Это редко, кто может, учти. Я вот в свое время не смог. — Он взял пустую бутылку, перевернул ее и стал выцеживать в рюмку оставшиеся капли. — Со мной случилось... то, что со многими в таких случаях. Поэтапно. Сперва: «Не может быть! Почему именно я?» Слезы, паника, попытки убедить себя, что все — роковая случайность, недоразумение, аффект, безумие, не всерьез, завтра все обязательно разъяснится, кто-то придет, спа-

сет. Но завтра-то как раз и становится ясно, что всё — по-настоящему, без дураков. И сделать ты ничего не можешь. И никто не придет. Маловато их, желающих помогать в таких случаях. И это, к сожалению, не очень зависит от того, виноват ты или просто влип. Согласен?

— Похоже.

— Ну, далее — этап второй: привыкание. Убедился, что попытки выпутаться ни к чему не привели, начинаешь привыкать. Ко всему, говорят, можно привыкнуть — и к решетке, и к баланде, и просто к тому, что любой норовит мордой ткнуть: ты, мол, последнее дерьмо. Тут самое простое — сидеть тихо и не высовываться. Чтобы по балде не получить! Пережить. Или, например, можно доказывать окружающим, какой ты хороший: «Конечно, я хуже вас, хуже самого последнего, но смотрите, — я же стараюсь! Видите? И это могу, и то. И колесом, и на голову встану. И вприсядку ..Давайте, а? Давайте все сделаем вид, будто я почти такой же, как вы?» — и в глаза, в глаза заглядываешь. Чёрта с два! «Больно много захотел, гад! Не быть тебе, как мы! Изволь, любезный, знать свой шесток, мы тут воры в законе, а ты — мелкота, фраер. Брысь под нары!» Это — если в тюрьме. А так: «Мы честные, мы гордые, мы незапятнанные, белоснежные, а ты кто? А ну сыпь отседова!» И сожрут ведь, если не научишься ползать на брюхе, каяться и кричать, что быть, как все, вовсе не претендуешь, ты самый скверный, шмакодявка, и ясное дело, то, что с тобой случилось, больше — ни с кем, никогда. Тьфу! Говорить противно. Одним словом, тебя уже нет, так — мразь одна. И от этой мрази все уже законно шарахаются, и место ее — у параша. А люди — это ты верно сказал — они от природы не злые, и злыми быть не хотят. Если не заставлять. Ладно, хватит... Что-то я опьянел, стыдно. Отвык уже, да и возраст.

Попрощались они на автобусной остановке.

— Я пешком, — сказал Костылев, — надо проветриться. Спасибо вам, Валерий Михайлович. Наверное вы правы,

зря я на них так понес. Но все же... Чего они боялись? Ведь боялись же чего-то?

К остановке подъехал автобус. Дверцы раскрылись. Сидоров скорбно смотрел на Костылева, домиком сведя к переносице брови.

— Ничего ты, вижу, не понял,— медленно выговорил он наконец.— И уже еле слышно, одними губами: — Чёрта они боялись. Чёрта.

## ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Костылев шел и шел, не выбирая направления, шел, как писали в старых книгах, куда глаза глядят. А глядели они в противоположную от дома сторону, вдоль улиц, где приближалась к концу вечерняя городская жизнь.

Часы на центральной площади показывали без четверти одиннадцать, закрылись магазины, давно схлынул рабочий люд, исчезли и хозяйки с кошелками, и ребятишки, и старухи, разбрелась театральная публика. Однако у закрытых изнутри («к сожалению, свободных мест нет») освещенных дверей ресторана агрессивно галдел напористый коллектив «недобравших».

В кинотеатре только что кончился последний сеанс, из боковой двери на тротуар энергично выдавливалась взъерошенная, распаренная, возбужденная толпа.

Около трамвайной остановки дремлющий пьяный вяло протягивал прохожим букет жухлых георгинов, украденных с могил.

Мимо Костылева просверкали два радостных круглых лица, принадлежащие, очевидно, юным молодоженам. Эти явно торопились из гостей к себе домой,— шагали в ногу, сомкнув плечи и по-хозяйски держась под руки.

Высокая, красивая очень модно одетая брюнетка с вопросительной улыбкой озиралась по сторонам.

- Который час? — окликнула она Костылева.
- Без десяти.
- Сигаретой угостите?
- Некурящий.
- Поговорим?
- Извини, спешу.
- Торопишься к себе в ад?

Костылев вспомнил, что опять забыл шляпу. Не ответил, прибавил шагу и свернул в проходной двор. Девушка хохотнула ему вслед. Смех был неприятный, жестяной.

Во дворе оказалось довольно темно. Линючий желтоватый свет падал только от окон. За неплотно задернутыми гардинами низкого первого этажа люди заканчивали день — вон там женщина стелет постель, встряхивая ватное одеяло, а здесь, уставясь в телевизор, семья доедает поздний ужин. Скатерть сдвинута, на клеенке — початая бутылка кефира. А вон — темное окно, спят. Много их, темных окон, некоторые распахнуты настежь. Душными легкими раскалившийся за день дом всасывает сырой и прохладный воздух двора. Сквозь низкую подворотню, аккуратно обойдя шипящий клубок дерущихся котов, мимо косо́й чугунной трубы Костылев вышел в какой-то переулочек и наугад повернул налево. В переулочке тоже было темно, хоть и горели еще там и сям окна, да попадались редкие фонари. Видно дождь собирался — ни одной звезды. Странное все же нынче лето! Третий месяц то жара, то дожди. Без пауз.

Неподвижно стояли вдоль тротуара черные широкие деревья. Никого, тихо. Только шаги Костылева глухо стучали по каменным плитам. Это было хорошо, за длинный день он устал от людей, от толпы... Обозлились, что назвал их толпой. Назвал — и выпустил джинна. Зверья... А может, им нужна была встряска? Все же, что это такое — толпа? Что общей цели нет, это ясно. Нет, не ясно! Когда собралось сто человек глазеть на пожар, у них цель одна — поглазеть, и они все равно толпа. А вот если бы они

все вместе этот пожар тушили или, напротив, разжигали, уже не толпа была бы... — Костылев потрянул головой. — Вот привязалось: толпа, не толпа. В этом, что ли, дело? Дело в том, чтобы понять, почему они злятся и откуда этот страх. Не хотят, чтобы ворошили их болото? Чтоб был статус-кво — плохой, хороший, но непременно кво?

Перемен они боятся, вот чего. Нового! От этого нового из них как раз и прет то самое, про что Сидоров говорил: «зверь». Из них? А сам-то. Пока что ты — ты! — сделал Верочку злобной курицей, Войк — сексуальной психопаткой, Митину... Бог с ней, с Митиной, пусть орет. А Гуреев? Не случись этого всего, может, и не пришлось бы ему сегодня сподличать, так бы и прожил в порядочных...

Переулок внезапно уперся в сквер. Не раздумывая, Костылев перешагнул через низенькую чугунную ограду и по газону направился к одинокому фонарю, возле которого заметил скамейку. Фонарь был неестественно задран вверх и смотрел изумленно. Костылев опустился на теплое — не успело остыть! — сиденье и с облегчением вытянул измученные ноги. Опыянение прошло, голова была легкой и ясной.

Откуда-то взялась стая белых мотыльков. Она бесшумно пульсировала в воздухе у самого лица Костылева, касаясь его вялыми крыльями. Где-то вдали громынуло. Пахло скошенной травой и душистыми табаками. Он любил этот запах...

Надо, в конце концов, разобраться, почему это случилось. Думал тысячу раз? Ничего! Подумаешь в тысячу первый. Только трезво, не жалея себя. Ведь что выходит? А выходит, по всему выходит, что рога твои, копыта и остальная мерзость — никакой не внешний облик. Сущность. Ты, Костылев, — чёрт. Сатана, бес, лукавый. Понял? ..Ах, чёрта нет? Допустим. Но какое это имеет значение? Есть... нечто. Которое превращает людей в психов и подлецов.

Да, но ведь я же не хотел, не заслужил!

В такой ситуации, да еще спьяну, впору было бы закричать, заплакать, упасть на землю. Или закатиться

истерическим хохотом. Но он абсолютно неподвижно сидел посреди пустого сквера, и мягкие мотыльки, обнаглев, принялись садиться ему на лоб, щеки, губы, по-свойски обращаясь с неодушевленным предметом.

С Костылевым и раньше случалось такое — когда ему было очень плохо, он мог внезапно крепко заснуть в самом неудобном положении. Впервые это произошло тридцать с лишним лет назад в детском саду — он уснул, сидя на краю узкого подоконника в раздевалке после того, как воспитательница Ольга Панкратовна при всех отчитала его за то, что он, якобы, украл и съел потихоньку ее бутерброд со шпиком. Алеша бутерброда даже не видел, но когда старшую группу выстроили в комнате для музыкальных занятий, и Ольга Панкратовна зычно скомандовала: «Кто взял бутерброд — шаг вперед, живо!», он почему-то нестерпимо, до слез покраснел и опустил голову.

— Костылев, выйди из строя, — сказала Ольга Панкратовна. — Это же ты сделал, по глазам вижу! Как не стыдно, почему не признаешься? Ну, говори быстро — съел?

— Съел... — прошептал Алеша, чувствуя гул в ушах.

— Можешь идти и больше так не делай. Мне бутерброда не жалко, жалко будет, если из тебя вырастет вор. Ты понял?

— Да.

Он убежал в раздевалку за шкафчик, на котором наклеен был заяц с барабаном, вскарабкался на подоконник, чтобы как следует тут пореветь, но вместо этого сразу провалился в теплую темноту, где было хорошо — без Ольги Панкратовны и без бутербродов со шпиком, который он терпеть не мог.

Проспал Алеша тогда полтора часа. За это время в детсаду уже поднялся переполох, звонили отцу на работу и домой — бабушке, перепугав ее чуть не до обморока. Алексея нашла Спицына из младшей группы — вспомнила, что во время игры в прятки он всегда отсиживался за шкафчиком на окне.

...Сейчас он, видимо, тоже проспал довольно долго, а когда открыл глаза, понял — вокруг что-то изменилось. Стало еще темней и прохладней, в листьях деревьев мерно шуршало, запахи сделались отчетливей и резче. Шел дождь — вот, что произошло. Но плечи Костылева оставались сухими: дерево, под которым стояла скамейка, защищало его.

А фонарь погас. Значит, и правда, поздно, свет в городе гасят в час ночи. Костылев поднес руку с часами к глазам, но не смог разглядеть циферблата. Он встал, потянулся, переступил затекшими ногами. Посмотрел в сторону переулка, откуда пришел, — там еще тлели какие-то огни. И решительно зашагал в другую сторону, вдоль сквера.

Дорожка вывела его на незнакомую улицу. Костылев пошел по ней налево и через три квартала свернул в узкий коротенький переулок, затем пересек пустырь, заваленный бетонными плитами, некоторое время брел вдоль бесконечно длинного, унылого, как день в больнице, каменного забора, над которым поднимались неподвижные костлявые шеи подъемных кранов. Забор все-таки кончился, и Костылев, повернув на сей раз вправо, очутился на почти деревенской окраинной улице, узкой, кривой и к тому же горбатой — улица поднималась на довольно крутой холм. По обеим ее сторонам стояли совсем старые, невысокие, большей частью деревянные дома на высоких фундаментах; удивительно, как новостройка до сих пор не сожрала их. Некоторые дома прятались в палисадниках. Костылев мог поклясться, что не был здесь никогда в жизни.

Дождь продолжал накрапывать. Костылев вытер ладонью волосы и лоб и медленно пошел к вершине холма. В одном из двухэтажных домов бледно светилась маленькая низкая витрина. За ее стеклами он увидел корзину цветов. Здесь были розы — алые, палевые, почти черные и большие желтовато-кремовые, похожие на те, какими украшают торты. Вокруг корзины полукругом

располагались овальные эмалевые медальоны. Разные лица смотрели с них на Костылева — старческие, молодые, даже детские. Бесшабашно улыбался краснощекий парень в лейтенантской форме.

Костылев поднял глаза. «МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ» — сообщала вывеска. В правом углу витрины, положив большую голову на капроновую фату с флердоранжем, дремал черный кот. Заглядевшись на него, Костылев шагнул и чуть не налетел на водоразборную колонку, нелепо, гвоздем, торчащую посреди тротуара.

Дождь сонно шелестел в деревьях. Во дворе уютного домика с запертыми ставнями вдруг заполошно заорал петух и тотчас, звякнув цепью, забрехала собака.

На плоской вершине холма Костылеву открылась маленькая площадь, каменные двух-трехэтажные дома обступали ее. На дверях нескольких магазинов висели большие амбарные замки. Костылев приблизился к одной из витрин, где в шеренгу, по росту, выстроились эмалированные кастрюльки. Возглавлял отряд желтый самодовольный чайник, похожий на слона с задранной хоботом. Костылев посмотрел на часы: половина третьего.

Через площадь, рядом с лавкой «ФУРАЖ. ХИМИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ. ТОРГОВЛЯ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ», стояла лошадь, запряженная в телегу. Круп лошади блестел от дождя. Морда ее была погружена в холщевый мешок, прикрепленный к голове наподобие собачьего намордника. Наружу торчали только мерно двигающиеся уши, из мешка доносилось монотонное похрустывание.

За площадью улица полого спускалась вниз и тонула в темноте. Идти по ней дальше Костылеву не хотелось. Но почему-то он пошел и шагов через десять вдруг увидел: здесь улица совсем другая, городская, с каменными многоэтажными домами. Пренеприятная это была улица, вся какая-то обшарпанная, неряшливая, точно давно опустилась, махнула на себя рукой. Она напоминала немолодую женщину, из тех, кто уже «поставил на себе крест»,

кого можно встретить среди бела дня непричесанной, в стоптанных туфлях, с неподшитым подолом.

Единственный фонарь без колпака жестоко светил прямо на дряхлые, покрытые полопавшейся краской фасады, демонстрируя трещины, кособокие двери, оборванную между вторым и первым этажами водосточную трубу, сплюсненную у конца, точно изжеванная папироса. Из черных провалов подворотен тянуло затхлостью.

Надо было возвращаться. Костылев рассеянно посмотрел на дом, возле которого стоял, на широкий, подпертый чугунными колоннами балкон, уставленный ящиками, из которых вылезали и расплзались по стенам черные побеги мертвого плюща, на ободранную табличку с названием улицы. «Сосновая ул. 6», — прочитал он. Удивился. Прочитал снова.

Внезапный шум, доносящийся от площади, заставил Костылева обернуться и отступить на тротуар. Большой красный «Икарус»<sup>30</sup> надвигался, загородив собой всю проезжую часть, светя подфарниками, сверкая окнами. Обдав Костылева запахом бензина, он проехал мимо, и Костылев успел прочитать: «Аэровокзал — аэропорт». Почему-то от этого на душе сразу стало спокойнее, к тому же он приблизительно представлял теперь, в каком районе находится. Однако же... Сосновая улица. Где-то поблизости, в доме двенадцать, пресловутая ветлечебница, куда, помнится, так настойчиво посылали его все, кому не лень, особенно Погребняков. Очень интересно.

Дом под номером восемь был похож на амбар — высокий первый этаж, маленькие окошки, закругленная сверху дубовая дверь с медными какими-то засовами, заклепками, массивной ручкой.

Позади опять урчал мотор. Невзрачный фургон с выключенными фарами обогнал Костылева и притормозил у ворот следующего дома. То, что доносилось из фургона, было одновременно воем, визгом, лаем и стоном. И за воротами тотчас откликнулись — тоскливый, безнадежный

многоголосый лай вырвался на улицу, заметался, забился о стены, поплыл, заполняя закоулки, подьезды, дворы. Костылеву стало мутрно.

А фургон, между тем, натужно затарахтев, медленно и беспощадно вполз в открывшиеся ворота. Они еще не успели затвориться, как раздался хриплый окрик, ругательства, затем топот. На улицу выбежал приземистый кургузый человек. Впереди него на сравнительно небольшом расстоянии бежало, припадая на переднюю лапу, странное существо с торчащей вдоль провалившегося хребта шерстью и длинной оскаленной мордой. Костылев услышал отчаянное дыхание и разглядел большую, очень худую, видимо, старую овчарку. Она пересекла улицу — к подворотне дома напротив — и скрылась там. Ее низкорослый преследователь, часто переставляя короткие, широко поставленные ноги, быстро достиг подворотни, заглянул в темноту, длинно выругался, сплюнул и протопал мимо Костылева назад.

Псы за воротами все лаяли и выли.

«Живодерня, — подумал Костылев. — Хорошенькое место». Однако все-таки пошел дальше. Вблизи живодерня выглядела вполне безобидно, даже респектабельно — гипсовые лошадиные головы украшали фасад по двум сторонам от входа, над которым молочно светился большой матовый шар с надписью: «ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА». К двери был прикреплен кусок картона: «Оказание помощи животным с 9.00 до 20.00». Сейчас три часа ночи, стало быть, тем, из фургона, рассчитывать на помощь не приходится. Вот вам и Сосновая, двенадцать. Но позвольте, как же — двенадцать? Это — дом десять, вон и табличка. Видно, напутал Погребняков... Хотя он не раз повторил «двенадцать». А двенадцатый дом должен быть следующий, старинный особнячок, явно пустой, похоже, его собираются реставрировать, — у подъезда гряда кирпичей, какие-то доски...

Все же Костылев решил взглянуть на особняк — топиться некуда, дождь перестал. Стараясь не слышать

собак, он направился к зданию. Это было действительно старинное здание — с пилястрами, окнами в частых переплетах, с круглым окошком посреди фронтона, с барельефами в виде ангелов, дующих в трубы. Но кисть руки одного ангела отбита, у другого не хватает крыла, стекла в окнах наполовину отсутствуют. Над входной дверью по осыпающейся штукатурке черной краской небрежно выведено: «д. 14. Капремонт».

Так. Четырнадцать. А двенадцатого, значит, и вовсе нету? Вот уж, в самом деле, чертовщина...

Собаки не замолкали.

Костылев медленно побрел назад. Довольно валять дурака! И так уж забрался чёрт-те куда, до утра теперь домой не попадешь! В нынешней ситуации в самый раз — заниматься краеведением. Люби и знай свой край! Действительно край: с работы выгнали, семья развалилась, завтра жрать будет нечего, а он совершает познавательный вояж по городу с целью изучения старинной архитектуры и поиска исчезнувших домов.

Особняк и ветлечебница стояли друг к другу неплотно. Между ними имелся зазор, проход шириной метра в полтора. Он слабо освещался единственным окошком на боковой стене лечебницы. Стекло было густо покрашено белым, света пропускало немного, но все же рядом с окном можно было разглядеть длинную кривоватую стрелу, нацеленную вглубь прохода, в темноту. Под стрелой черной краской лаконично сообщалось: «к д. 12».

Костылев взглянул на стрелу и, не задумываясь, шагнул в проход.

Невесть откуда вылезла большая рыжая луна. Она грузно сидела на облаке — низколобая, брудастая и хмурая, и помещалась точно над крышей того здания, к которому сейчас приближался Костылев.

Пройдя зазор между особняком и ветлечебницей насквозь, он оказался перед глухой задней стеной — брандмауэром довольно высокого, этажа этак в четыре, кир-

пичного строения. Вправо и влево, сколько хватало глаз, от углов этого строения уходил сплошной бетонный забор, вдоль которого в свете луны серебрились пыльные лопухи и чернели сухие, жесткие стебли полыни.

У левого угла дома имелась небольшая невзрачная дверь. Она была полуоткрыта, Костылев вошел и оказался в длинном узком коридоре, до того темном, что приходилось двигаться почти на ощупь.

Воздух здесь был очень сухим и каким-то едким, вообще обстановка напоминала подвал института, где работал Костылев, там размещался склад химреактивов. Половицы глухо поскрипывали, внезапно что-то мягко ткнулось о ногу и, зашуршав, откатилось прочь.

«Мыши. А то и крысы, чего доброго...»

Костылеву не было страшно. Вместе с умением улыбаться он, кажется, утратил способность испытывать страх. Он двигался вперед, ощупывая ногами неровный дощатый пол, а рукой — довольно гладкую, без окон, без дверей, стену. Вторая стена тоже была глухой.

Внезапно нога наткнулась на препятствие, оказавшееся ступенькой вверх. Медленно он начал подниматься. Всего ступенек было пять; одолев их, Костылев очутился в тупике, обшарил стену перед собой и обнаружил дверь. Он толкнул ее, дверь легко отворилась.

Перед ним лежал еще один коридор.

Здесь горели лампы дневного света. Обычный коридор обычного учреждения — натертый красной мастикой паркет, по обеим сторонам двери с матовыми стеклами и номерами комнат, белые фаянсовые урны для окурков. Вон и табличка какая-то, наверняка «Здесь не курят», повешена, как всегда, на самом подходящем месте — возле урны... Костылев приблизился к табличке и прочитал: «НЕ СМЕЯТЬСЯ. НЕ УЛЫБАТЬСЯ».

Он пожал плечами — дурью маются.

А за закрытыми дверьми, несмотря на ночное время, шла нормальная учрежденческая жизнь — истерически

заходила пирующая машинка, звенели телефоны, слышались голоса. В коридоре Костылеву не встретилось ни души, и он с одобрением отметил наличие здесь трудовой дисциплины. Однако, повернув, вместе с коридором, направо, сразу увидел множество сотрудников, собравшихся в просторном светлом холле. Окон, правда, не было и тут, но их с успехом заменяла яркая старинная люстра.

Холл гудел от разговоров, как фойе Дома научно-технической пропаганды перед началом большой конференции. Одни сидели в мягких кожаных креслах, сдвинув их почти вплотную — колени к коленям, другие — за круглыми столиками, некоторые сгрудились в кружок по четыре-пять персон или чинно, парами прогуливались из угла в угол. Слойми плавал сигаретный дым, ровно рокотал говор. Говорили здесь все — Костылев обвел сборище глазами и не увидел губ, которые бы не шевелились.

Что ж... все, как полагается: интеллигентное общество, даже с некоторой претензией на изыск: элегантный винегрет из джинсы и вельвета; хипповые, с пузырями или кожаными заплатками на локтях, свитера; франтоватые синие блейзеры; рубашки с погончиками, расстегнутые, как водится, до пупа, длинные свисающие до полу шарфы и строгие галстуки — одним словом, полный окей, щегольской артистизм вперемешку с деловитой корректностью и босяцкой расхристанностью. Вон у того типа с серой папкой в руке, который сейчас самозабвенно трещит, наклонившись к головастому коротышке, пиджак точь-в-точь как у Гуреева. Да и лицом похож — так же выпячивает нижнюю губу и поднимает бровь. Только у этого борода, а Гуреев бреется.

Все как обычно. Все, как у... людей...

У людей? Позвольте! А рога? А хвосты? А копыта, шерсть и едкий концентрированный запах серы и смолы, перешибающий табачный дым? Радуйтесь, Алексей Петрович — адрес вам дали точный. Наконец, вы дома, никто уж не станет визжать при виде ваших жалких ро-

жек, никто не будет клеймить за хилую шерсть и гнать за пустяковый хвост. Здесь вы свой! И вокруг вас не фантастические мутанты, которых выдумал недоношенный ученый Аскольд. Вокруг вас, милый друг, черти, самые настоящие черти. Которых нет.

И вот сейчас они, бросив свои разговоры, с любопытством на вас смотрят.

В той, прежней, далекой жизни в такой ситуации вообще-то полагалось здороваться, что Костылев и сделал, получив в ответ несколько сдержанных кивков. Улыбок и рукопожатий не последовало.

— Откуда? — спросил, подойдя, молодой худощавый субъект в бесформенной серой блузе, сшитой, похоже, из холщевого мешка.

— Оттуда.

— Олик, — представился субъект. — Вы обо мне, конечно, слышали. Рады? Кстати, что говорили вчера?

— Кто? — осторожно спросил Костылев. — Кто говорил?

— Ну ваши, разумеется. Я себе представляю — это должно было произвести впечатление разорвавшейся бомбы. Я полагаю...

Тут Костылев услышал громкое сопение, скосил глаза и заметил попугайного вида толстяка в фиолетовых бархатных штанах и желтой, как одуванчик, водолазке. Весь трясаясь от возбуждения, толстяк делал Олику какие-то знаки: вертел головой, даже стучал кулаком по лбу, и при этом бросал тревожные взгляды на Костылева.

— Ваш приятель, кажется, хочет незаметно предостеречь вас, — перебил Костылев Олика, — деликатно намекает, что у меня не все дома.

— Кто? А-а, Люд.. Одну минуточку, сейчас выясню, что с ним. Вы меня здесь подождите.

Но подождать Костылев не смог — похожий на Гуреева кислый тип в кожаном пиджаке подошел к нему, представился, назвав себя Цумом, референтом, и крепко взял за локоть.

— Позвольте проводить вас в приемную, — сказал он, — вы должны лично доложить руководству о своем прибытии, порядок есть порядок.

— А где я, собственно говоря, нахожусь? — спросил Костылев, выходя с Цумом из холла в коридор, точь-в-точь такой же, как предыдущий и как тысячи других в тысячах учреждений, даже устланный зеленой ковровой дорожкой.

— Где? — удивился Цум. — То есть как это «где»? Разумеется, здесь.

В приемной, напомнившей Костылеву директорскую приемную в институте и многие другие приемные в других местах, находились двое: длинный, какой-то смурной и вялый чёрт с забинтованным горлом и оживленный визгливый коротышка с громадной лысой головой, его Костылев только что видел в холле. Рогатая блестящая голова коротышки напоминала морскую мину с рогульками — взрывателями ударного действия.

Цум ушел в кабинет, Костылев опустился на стул у двери и приготовился ждать. Но счастливый обладатель морской мины тотчас слез с диванчика, на котором сидел, и приблизился к нему.

— Вы, простите, новый? — вежливо осведомился он писклявым голосом во все глаза глядя на Костылева.

— Да, — ответил тот.

— Фу-фу-фу! Тсс! — лысый стал ужасно похож на испуганного кота. — Здесь это строжайше... нельзя.

— Чего?

Коротышка указал на стену над головой Костылева, тот обернулся и увидел табличку, такую же, как в коридоре. Только слова на ней были другие: «ДА И НЕТ НЕ ГОВОРИТЕ!»

— Что за чушь? — удивился Костылев.

— Не беритесь судить о том, чего не понимаете. Понимаете? — напыщенно заверещал его собеседник, сделал надменное лицо. — Кстати, — он вдруг смягчился, — вы, надеюсь, отдаете себе отчет, с кем говорите?

— По-моему, мы видимся впервые.

— Это само собой... однако же странно... Мои портреты. Их ведь там передают из рук в руки, торгуют на черном рынке, буквально рвут друг у друга. Хоть это и небезопасно.

— Да где — там? И кто вырывает? Люди, что ли?

— Фу-фу-у! — лысый в панике посмотрел на дверь в кабинет. С вами, что, — не провели инструктаж? У нас этого слова не произносят. Что за мракобесие, они же не существуют! Только в сказках. Как интеллигент вы должны знать такие вещи.

— Ну хорошо, — не стал спорить Костылев. — Не существуют — не надо. А откуда же я, по-вашему, прибыл?

— Нарываетесь на обиду? Как угодно. Могу сделать вам больно, могу. Пожалуй, мне это даже доставит удовольствие, раз послужит к вашей пользе. Извольте: вы прибыли из сумасшедшего дома.

— Ах вот оно что. Ясно. Что ж... Скажите, а почему вас так интересуется ваша популярность среди душевнобольных?

— Факт моей всемирной известности среди кого бы то ни было не требует подтверждений, — обрезал его лысый. — Вы можете не знать моих портретов — с трудом, но допускаю. Вы, как я уже убедился, малообразованны. Но уж статью-то «Чего не знаешь, того нет», читали, надеюсь?

— А есть такая статья?

— Нет, с вами невозможно, вы, видимо, еще не поправились, набряк лысый и отошел. Мина мерно покачивалась, как по волнам.

— Занимаетесь бездельем? — раздался резкий разносный голос. На пороге кабинета, подняв обе брови, стоял референт Цум и пристально смотрел на лысого, сидящего на диванчике рядом со своим малахольным соседом.

— У него — горло, — пискнул лысый, ежась. Второй жалобно покивал.

— Здесь не лазарет, Будьте любезны работать! Работать, работать! — прикрикнул Цум и повернулся к Костылеву. — А вам придется еще подождать, менеджер занят.

Чтобы не тратить зря времени, побеседуйте пока... ну, хоть с ним. Олик, войди, что ты там прячешься?

— Я не прячусь, я сомневаюсь, — заявил Олик, входя. — Впрочем, двум, как говорится, смертям не бывать. Рискну. — Он взял стул и подсел к Костылеву.

— Присмотри за этими лодырями, сидят целый час — языки проглотили, — референт бросил брезгливый взгляд на коротышку и вышел.

— Вечно я виноват, — проворчал тот. — Ну ладно, начинай!

— Раз, два — кружева, — просипел длинный.

— Три, четыре — прицепили, — с отвращением откликнулся коротышка.

— Пять, шесть — кашу есть...

— Что они делают? — изумился Костылев.

— Работают, что ж еще! Будто вы не видите! — в голосе Олика звучала явная настороженность.

— ...Девять, десять — деньги весить...

— Убедили своего друга, что я не псих? — Костылев решил от греха переменить тему. Олик издал какой-то неопределенный звук.

— Одиннадцать, двенадцать — на улице бранятся! — вдруг закричал лысый после паузы, во время которой он изо всех сил прислушивался к Олику и Костылеву.

— Что это за тип? — спросил с опаской Костылев.

— А-а... собственно, зачем вам это знать?

— Да я его, вроде, обидел. Он мне — про какую-то статью, а я ее не читал.

— «Чего не знаешь, того нет»? Как же, как же! Его опус — Олик понизил голос до шепота. — Сплошные заимствования, компиляция, попросту плагиат. Бесстыжая рожа! У него, безусловно, мания величия, вообразил себя гением номер один. По ту сторону и по эту... — Он резко повернулся к диванчику, откуда не слышалось ни звука:

— Бьете баклуши? Все будет доложено, куда положено. Неплохо получилось, а? — подмигнул он Костылеву.

— Семнадцать, восемнадцать — мне девушки не снятся... — захрипел длинный надсадно.

— Кстати, — продолжал Олик, — вы мне так и не ответили, что там у вас вчера говорили про трактат «Я и бытие». Представляю, какой поднялся шум!

— Тоже труд этого... военно-морского психа? — спросил Костылев?

— Да уж куда ему! Не тот потенциал. А зачем вам знать, кто автор?

— Хочу попросить автограф, — угрюмо парировал Костылев.

Олик заерзал, покусал губу, посмотрел на приоткрытую в коридор дверь, наконец, полез в карман и вытащил небольшую книжечку в зеленом сафьяновом переплете. Книжка выглядела откровенно самодельной, даже сшита была с грехом пополам суровой ниткой.

— Старуха, перо! — капризно скомандовал Олик, протягивая руку к двери, откуда тотчас появился Люд и молча подал ему зеленый фломастер. Щекастое лицо Люда выражало отчаянный протест.

— Та-ак... — Олик любовно раскрыл книжку, подумал и решительно вывел на титульном листе: «Собрату».

— Советую, — торжественно заявил он, протягивая Костылеву книжку, которую тот с поклоном принял, — очень советую прочесть незамедлительно. Дело в том, — скромно добавил он, — что это — шедевр.

Шедевр шедевров, — запальчиво встрял Люд, брызнув слюной. — И я не понимаю, Олик, зачем тебе понадобилось дарить свой бестселлер... кому попало.

— Кыш! — устало цыкнул Олик, и Люд сразу юркнул в коридор. — Надоел, прилип как горчичник. Куда от них денешься — поклонники.

— Сорок девять, пятьдесят — нужно делать поросят, — неслось с дивана.

— Забавно, — Олик наклонился к Костылеву. — Между нами: Люд уверен, что вы шпик.

— В каком же смысле?

— Я, кстати, этого тоже не исключаю. Но в данном случае не имеет значения, поскольку вы шпик — оттуда. Может, даже и к лучшему.

— У вас тут не соскучишься! Этот, который «девять, десять — деньги весить» или как его там? — полагает, что я из дурдома, вы — что кто-то меня подослал, и это, мол, к лучшему.

— Из дурдома — это ясно, это само собой, откуда же еще? А к лучшему... Пусть изучают мой трактат, глядишь, и поумнеют, по крайней мере, осознают свое ничтожество и бездарность.

— Кто осознает? Кто?

— Люди, разумеется. Людишки.

— Ах вот как. Люди? А меня только что обругали за мракобесие, когда я произнес это слово. Ввиду того, что людей не существует в природе.

— Узколобость, догматизм. Невежество! Хреново обстоит с информацией. Им это, очевидно, выгодно — держать всех в темноте.

— Кому выгодно?

— Администрации. Менеджеру с прихлебателями. Мне еще повезло — работаю в отделе внешних сношений, а остальные... Серость, троглодиты. Путаница в головах. Каша! Выдумали, что чёрт произошёл от козы. Как вам это нравится? Впрочем, вы же матерый шпион, а я тут болтаю. А вы, гадьята, чего пришипилесь? Подслушиваете? — прикрикнул он на трудяг-собеседников.

— Сто три, сто четыре — не кури на бочке в тире, — подвидно пискнул коротышка.

— Корчат из себя интеллектуалов, творческих личностей, а сами — бездарное тупье. Да и этот, я вам скажу, так называемый «референт». Я бы вам не советовал при нем распускать язык... А-а, это ты, Цум, — вдруг с достоинством сказал он, вставая, — а мы тут... работали. Чего, к сожалению, нельзя сказать кое о ком.

— Сто одиннадцать, сто тринадцать, — из последних сил прокашлял длинный с забинтованной шеей.

— Двенадцать, двенадцать! — шепотом подсказал лысый.

— Пройдите к менеджеру, — бросил им референт. За-суетившись, оба вскочили с дивана; при этом длинного качнуло, и он крепко ухватился за рога стоявшего к нему спиной приятеля, точно это был велосипедный руль. Так они и двинулись — лысый впереди, длинный за ним, держась за взрыватели, которые, казалось, вот-вот сработают, и мина разнесет заведение в пыль.

— Пойти и мне, пожалуй, — сказал Олик. — Люд там, небось, уже весь извелся. — А вы ждите, желаю удачи.

— А долго ждать? — спросил Костылев. — Вообще, сколько сейчас времени? У меня часы испортились.

— Время? — поднял бровь референт. — Забудьте. Это миф, вредная выдумка, распространяемая отдельными лицами с целью введения в заблуждение... И советую снять этот — он кивнул на левую руку Костылева — прибор, вас могут неверно понять.

Время здесь действительно отсутствовало — вместо него приемную заполняла какая-то вязкая субстанция. От нечего делать Костылев открыл книжку, которую всучил ему Олик, и принялся разбирать подслеповатую машинопись<sup>31</sup>: «...таким образом, помещая понятийный ряд, принятый у людей, в реальную систему координат, мы получаем полное освобождение от чувства т. н. «вины» за счет переноса ответственности с субъекта насилия на его объект, ч. т. д. Короче (это уже было вписано от руки печатными буквами на полях) жертва сама виновата, что подставилась».

— М-да, — сказал себе Костылев, — симпатичные у меня собратья.

Длинный и лысый так и не вышли из кабинета, но в какой-то момент Цум приложил ухо к замочной скважине, послушал немного, наконец, выпрямился и нехотя открыл перед Костылевым дверь:

— Вас приглашают. Можете проходить.

И Костылев вошел.

Кабинет был пуст. «Куда подевались те двое? Видимо, тут есть еще один выход», — успел подумать Костылев, и тут же забыл про длинного и лысого, потому что увидел менеджера.

За большим столом — по площади он не уступал директорскому — сидел, приветливо улыбаясь, седовласый джентльмен — да, да, именно это слово первым пришло в голову Костылеву при взгляде на породистый серый костюм с белоснежной рубашкой и галстуком в тон, на ухоженные руки и безупречную — даже, вроде, напомаженную — прическу. Пробор, проведенный как по линейке, разделял аккуратные, с серебристым отливом, рога.

В кабинете витал тонкий аромат чего-то явно французского. Это было особенно удивительно, потому что лицо хозяина кабинета оказалось знакомым, и с этим лицом у Костылева ассоциировался отнюдь не заграничный парфюм, а вовсе даже отечественный одеколон «Кармен». Плюс, само собой, носки двухнедельной выдержки.

— Наконец-то, вот и вы, мон ами! — Велимир Иванович Погребняков встал из-за стола навстречу Костылеву. — Я счастлив видеть вас в стенах нашего филиала. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, здесь у нас — настоящая наука, в отличие от...

— Филиала, простите, чего? — замороженными губами произнес Костылев.

— ГНИУ. Главное научно-исследовательское учреждение. Здесь у нас, повторяю, филиал, но работа ведется серьезная, реализуются масштабные проекты, а сколько еще предстоит сделать! Я нынче же телеграфирую в Центр о том, что нам удалось привлечь столь ценного специалиста. Там будут довольны. Признаться, это было непросто, но я рад, что здравый смысл возобладавал в вас. Добро пожаловать домой, май дарлинг! Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет.

— Вот что, господин менеджер, — Костылев постепенно охухался и обдумывал теперь каждое слово, — объясните, наконец, почему именно я?

— Ну как же. Нам нужны умные, грамотные люди. Сами видели, какой у нас тут... основной контингент. Олик и его компания — это еще элита, а в основном шушера, мелкотравчатая плесень. Что они могут? Только болтать. А вы — талантливый ученый и, главное, — прекрасный популяризатор. Я ведь, не забывайте, читал все ваши отчеты. Какие способности вы зарываете в землю! С вашим чувством слова, с вашей парадоксальной логикой вы можете обосновать что угодно и убедить кого угодно в чем угодно. Это редкое умение, Алексей Петрович, редкое. Поэтому мы и выбрали вас, а не тусклую посредственность вроде Гурева. Ну и немаловажный фактор, разумеется, ваш характер.

— Что не так с моим характером?

— Наоборот, все так. Все в высшей степени так. Выражаясь профессиональным языком, который вам ближе: структура вашей личности, к счастью, далека от кристаллической. Аморфная структура, пластичная, открытая преобразованиям и развитию. Вы далеко пойдете, и я рад, что наши пути пересеклись.

— Пересеклись? — хмыкнул Костылев. — Ну-ну. Способ, которым вы загнали меня сюда, понятен: сперва рога и остальные причиндалы, потом...

— Верно, — подтвердил менеджер, перестав улыбаться. — Способ транспортировки наш. Но не следует преувеличивать заслуг моих сотрудников. Рога и копыта, действительно, разработка филиала, опытный, так сказать, проект, но это, должен вас уверить, труд небольшой. И затраты минимальные. Все же остальное — и главное! — сделали ваши. И вы сами. Создали, скажем так, оптимальные условия для вашего перемещения с того света на этот.

— Что значит «с того света»?

— Давайте без схоластики. Короче: вы были там, а теперь вы здесь. Мы хотели этого и добились, вопрос

решен. И только так — иметь должен тот, кто больше хочет. Кстати, именно поэтому мы в подавляющем большинстве случаев добиваемся всего, что нам нужно.

— У вас тут, я вижу, одни успехи. В наличии комплексов вас трудно упрекнуть. — Костылеву все труднее было сдерживаться, да и изжога подступала.

— Мы в самом деле успешны, — холодно подтвердил менеджер, — особенно, по сравнению... прошу прощения, — с вашим братом. А комплексы... Что ж? Они-то как раз и свидетельствуют о начавшемся вырождении или, как минимум, о психическом расстройстве. А мы — существа абсолютно здоровые и развивающиеся.

— В чем же это психическое расстройство состоит, по-вашему?

— Как положено: в навязчивом бреде. Бред жалости, бред вины, сверхценные идеи вроде вами же придуманных заповедей, которые почему-то (почему?) нельзя нарушать. Все эти химеры вы определили общим термином так называемой совести. Вы обожаете громкие слова. И при этом непрерывно судите других, и, что еще хуже, самих себя. Учтите: идея первородного греха вовсе не предусматривала, что человек возьмет на себя познание добра и зла. Не ваше это дело! Мозгам не под силу, отсюда и болезни, и страдания, и — да! — комплексы. Как вы не понимаете? Человек — ничтожен, а мир — огромен и многообразен, и при этом ежесекундно меняется, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Поэтому все ваши нравственные (и любые!) критерии — всегда вчерашние. И вообще — что за догматизм? — «Плохо», «хорошо». Одно и то же сегодня может быть плохо, а завтра — хорошо, сознаете вы хоть это? Ведь смешно: «Не укради». Что — «не укради»? Когда? Почему? У кого? Если ты, допустим, голоден, а соседи, прохиндеи и ворюги, нажарили целую сковороду котлет, которых им в три дня не сожрать, так что — большой грех взять одну котлету и съесть? Грех? Я вас спрашиваю!

Костылев пожал плечами.

— А допустим, это не вы хотите есть, а ваш ребенок умирает с голоду? Тут что? Повторяю — все эти правила и закорючелые притчи — для низкоорганизованных мозгов. Для дураков. Прямо детский сад: «Мойте руки перед едой!» А как поступить, если на руках экзема и мочить их смерти подобно?

Костылев старался не слушать. Он сидел, вцепившись в подлокотники, пальцы его онемели, на лбу выступил пот. Менеджер внезапно замолчал и внимательно взглянул на него.

— Понимаю,— с сочувствием сказал он,— сразу постичь все это трудно. Даже вам, с вашим хорошо организованным умом и научным подходом. Тем более, если уж речь зашла о науке, то она ведь, наука, всего-навсего свидетельство человеческой ничтожности.

— А это... почему? — Костылев сильнее сжал подлокотники.

— А это потому, что не в вашей компетенции познать мир, а потуги расчленять его на физики, химии и прочие астрономии выглядят весьма и весьма жалко. Как и детские суждения про добро и зло. Вижу, вы ознакомились с трактатом...

— Фундаментальный труд, что и говорить! Рассчитан, правда, на идиотов.

— Я вас не перебивал. Конечно, Олик у нас не слишком образован, но для среднего человека сойдет и так. А гибкость его ума заслуживает всяческих похвал. Во всяком случае трактат вполне пригоден для решения некоторых наших задач.

— Как сделать людей похожими на вас.

— Сделать их здоровыми и умеющими хотя бы элементарно мыслить,— согласился менеджер.— Судя по выражению вашего лица,— продолжал он,— вы со мной не вполне согласны. Предупреждаю: это не имеет никакого значения.— И так посмотрел на Костылева, что тот оледенел.

— В случае чего...— после длинной паузы задумчиво сообщил менеджер,— с вашим трупом затруднений у нас не будет.

Он надолго замолчал. Выдвинул ящик стола и принялся копаться в нем, вынимая и просматривая какие-то бумаги. Костылев, между тем, осторожно обвел глазами кабинет. Довольно странное это было помещение, без единого окна, стены облицованы серым кафелем, в четырех прямоугольных глиняных вазах, расставленных по углам,— уродливые искусственные цветы.

«Как в крематории»,— с отвращением подумал Костылев.

— Я вас слушаю,— угрюмо сказал он.

— Разумно поступаете,— холодно парировал менеджер,— если хотите уцелеть. Не наделаете глупостей, быстро все усвоите — прекрасно! Начнете осуществлять мероприятия, приносить пользу. Не нам — столь любезному вам человечеству. Поскольку, будучи избавленным от бредней, оно автоматически станет счастливым. От вас требуется одно, как и от всех нас...

— Выпустить зверя...— вслух подумал Костылев и сразу осекся.

Но странно: менеджер ничуть не разозлился, напротив — важно закивал, по-видимому, очень довольный.

— Именно задействовать зверя,— наконец-то вы поняли, а я уж, признаться, думал... заканчивать. Именно зверя! И не надо бояться этого слова. Судите сами — к чему стремится каждый человек? К счастью. А что такое счастье? Максимальное соответствие желаемого действительному, верно? А теперь посмотрим на зверей. Разве у них недостаточно предпосылок для того, чтобы быть счастливыми? А главное,— свободными? По-настоящему, а не этой вашей... осознанной необходимостью? Они живут естественно, функционируют, не стиснутые уродливыми, извращенными ограничениями. И единственный, кто вмешивается, кто портит их жизнь — наш царь природы, венец творенья, гомо сапиенс. Себя он уже искалечил, теперь

взялся за них. А у них, заметьте, все как раз хорошо и, если хотите, справедливо. Каждый имеет возможность добиться, чего хочет, на что имеет право. Никаких запретов! Сильный хочет отобрать добычу у слабого — и отбирает. Потому что сильный. Здоровый самец хочет прогнать хилого соперника — и прогоняет. А надо, так и убивает! И получает самку, а то и двух — сколько хочет. И самки рожают от него здоровых детенышей. Все естественно, все гармонично. Норма. А у вас вместо этого — слюнявый гуманизм, ублюдочная верность и выдуманная совесть. А в результате — вырождение... Ну как?

— Замечательно, — сказал Костылев. — Но, к моему большому сожалению, должен отметить: такие «теории» уже были. И не раз. Последняя, помнится, называлась фашизмом. Не слышали?

— У вас пагубная склонность к шуткам, — менеджер горестно покачал головой. — Это признак низкоорганизованной, больной натуры. Звери никогда не смеются, а они душевно здоровы и себя уважают. Смех — выражение слабости. Гитлер был довольно перспективный мыслитель, здесь его ценят. Хотя приоритет, конечно, принадлежит не ему, тут вы недопонимаете. Приоритет наш, поскольку мы как-никак существуем дольше, чем ваше хваленое человечество. И уничтожение Гитлера — тоже, имейте в виду, доказательство психической неполноценности. Вы же выродки! Вечно уничтожаете именно тех, кто может принести вам пользу... Кстати, как вы, вы лично, относитесь к феномену убийства?

— Разумеется, плохо. Хотя допускаю...

— ...самооборона, справедливая война, та-та-та... — скрипнувись, перебил Костылева менеджер. — Я не об этом. Я — об убийстве как таковом. As is. Придется вам, уважаемый, взгляды-то пе-ре-смот-реть! В корне. Потому что первым вашим заданием будет разработка универсальной методики оправдания любого убийства. Любого. Независимо от мотивов... Что такое, Цум? Ты же видишь — я занят!

Незаметно возникнув, Цум уже давно стоял в дверях, терпеливо дожидаясь паузы. Рукой он держался за щеку.

— Простите, господин менеджер, тысячу раз простите. Там эта девица... Не слабый, знаете ли, номер...— как-то нехотя выговорил он, отнял ладонь, и Костылев увидел большой темный синяк.

— Не успокоилась? — слегка удивился менеджер. — Даже после воздействия?

— Не то слово, — мрачно уронил референт.

— Ну так убейте ее. Не смогли обработать — ликвидируйте. — Последние слова его прозвучали, как выстрелы из малокалиберной винтовки. — На чем мы остановились? — он снова повернулся к Костылеву. — Да! На правомерности убийства. Здесь этот вопрос муссируется давно. Ваша задача — доказать, что в принципе убивать допустимо в любом случае. И даже желательно.

— Боюсь, что на это я не гожусь... хотя вообще... — бормотал Костылев что попало, чувствуя растущее беспокойство и судорожно думая, как задержать Цума, который шагнул было к двери, но вдруг остановился и принялся расчесывать лоб между рогами.

— А вот мы сейчас попробуем, — менеджер энергично поднялся из кресла и подошел к стене, отделяющей кабинет от приемной. Костылев обернулся. Эта стена в отличие от остальных вся была скрыта плотной занавеской; согласно кинофильмам, такими занавесками зачем-то задергивают географические карты в штабах военачальников. Однако за ней оказалась отнюдь не карта, а толстое стекло, за которым Костылев против ожидания увидел не приемную, а незнакомую полутемную комнату.

— Подойдите ближе, — приказал менеджер. — Еще ближе!

Костылев подошел к стеклу вплотную. И отпрянул.

Там, в шаге от него, наклонившись над широкой, покрытой ковром тахтой, квадратный короткошей человек душил мальчика. Костылев отчетливо видел налитый кровью складчатый затылок, короткопалые, покрытые ры-

жеватыми волосками, побелевшие от усилия руки, стиснувшие горло жертвы. Видел он и пальцы юноши, судорожно царапающие ковер, и почему-то — сережку в ухе, маленькое золотое колечко. На лицо его он старался не смотреть — мелькнуло что-то синее, с черным провалом рта, из которого рвался хрип.

Не владея собой, Костылев рванулся и ударился о стекло.

— Желаете спасти? — осведомился менеджер. — Не дергайтесь, без толку. Лучше досмотрите представление до конца.

Хрип оборвался, рука мальчика дрогнула, разжалась.

— Цум, штору! — распорядился менеджер. Референт задернул занавеску.

Костылева колотила дрожь, в глазах мелькали пятна.

— Успокойтесь, — сказал менеджер, — спасти вы никого не могли. Просто физически. Даже если бы я дал вам пистолет. Это убийство произошло только что, но в тысячах километров отсюда, в Америке. Штат Техас, название городка вам ничего не скажет... не суть. Мы имеем возможность наблюдать такие события и обязательно ею пользуемся. А показал я вам его не затем, чтобы пугать, а чтобы вы с пониманием уяснили стоящую перед вами задачу. Обратите внимание: перед вами человек, не чёрт. При этом убийство совершено не психически больным маляком и не с целью самообороны. Убийца — отец семейства, юноша — его сын. Папа только что узнал кое-что о своем отпрыске, некую, так скажем, пикантную особенность. Он небезосновательно считает сына неполноценным уродом, и не желает, чтобы тот опозорил семью. Как говорится, я тебя породил... Но — не знаю, заметили ли вы, я заметил, — убивая, этот субъект, этот человек получал удовольствие.

Костылев не мог выговорить ни слова.

— Наш Люд, — размеренно продолжал менеджер, — разработал кое-какие обоснования правомерности подобных убийств: активная, сильная личность (следовательно, особо

ценная!), убежденность в своей правоте, горячая, всепобеждающая ненависть, наслаждение от... процесса, наконец. Все это хорошо. Но вот доказать, что убийца действует на благо жертвы... тут пока... Цум! Ты еще здесь?

— Мне бы... с вашего позволения... в письменной форме... — проканючил референт, на всякий случай пятясь к двери. — Приказ или что. Сами учили — порядок есть порядок. Это же не героин варить, тут ликвидация... И денег. Эти... контрагенты говорят — кусок на брата.

— Разрешите мне! — твердо сказал Костылев.

— Что такое?

— В виде, так сказать, пристрелочного опыта.

— Нормально! — одобрил Цум с явным облегчением. — Пристрелочный — это хорошо, правда, господин менеджер?

— То есть? — менеджер, прищурившись, смотрел на Костылева. — Вы хотите... убить?

— Пока только поговорить, а там видно будет. Воздействовать.

— Вот как, — в голосе менеджера звучало недоверие. — Не надейтесь меня обмануть, сбежать. Друзей у вас, насколько мне известно, не имеется, никто не спасет, не спрячет. Да и выйти отсюда вряд ли получится.

— Раньше я, как будто, не производил на вас впечатления идиота, Велимир Иванович? Я ведь сюда сам пришел, не так ли? И идти мне, между прочим, некуда.

Менеджер не ответил. Он смотрел мимо Костылева, на занавеску.

— Ладно, идите. Попробуйте. Цум, проследишь! Строго! — это было похоже на пулеметную очередь.

Однообразный, залитый мертвым светом люминесцентных ламп коридор, повернув под прямым углом налево, уходил вдаль, точно такой же — с красным паркетным полом, унылыми урнами, одинаковыми застекленными дверьми, за которыми монотонно гудели нескончаемые разговоры — сотрудники филиала добросовестно трудились. Кончился и этот коридор, сломался возле таблички:

«ЧЕРНОГО И БЕЛОГО НЕ ПОКУПАТЬ», влево потянулся новый, и опять мелькали двери, дробно семеня рядом референт, обладающий при довольно высоком росте походкой недомерка; глуховато потрескивали, точно вот-вот погаснут, лиловато-серые трубки светильников.

Они шли уже не меньше часа, и, по соображениям Костылева, раз десять должны были обогнуть здание по периметру, но вот еще поворот налево, снова коридор той же длины, и снова...

Самое удивительное, что при всей одинаковости этих безликих переходящих один в другой коридоров Костылеву ни разу не попалось на глаза хоть что-нибудь, о чем он мог бы уверенно сказать: «Это я уже видел, здесь проходил, мимо этой именно урны, этой двери, этой таблички». Была табличка, знакомая, похожая, но — не та, встречалась урна, почти такая же, с отбитым краем, но у прежней, помнится, отколото было справа, а тут — слева. А может, он просто одурел от мелькания, голосов за дверьми, от трескотни Цума? Тот всю дорогу не закрывал рта — никуда не денешься, образцовый работник!

Цум уже успел сообщить Костылеву, что девица, о которой идет речь, явилась в филиал добровольно — уволили с прежнего места службы, и вот, представьте, у доски объявлений о найме совершенно посторонний случайный человек посоветовал обратиться сюда и дал адрес.

Глумливое выражение лица референта ясно давало понять, что все он врет, но Костылев, разумеется, смолчал. Референт же, мелко перебирая длинными ногами, продолжал излагать, как сперва «с этой девицей» все пошло очень удачно, как он сам лично провел с ней собеседование в комнате переговоров: «Есть у нас такое помещение, мы там принимаем наших контрагентов», как она сначала была весьма покладистой, соглашалась на любую работу, и «я уж было собрался идти с ней к референту подписывать контракт, я, знаете, решил рекомендовать эту особу в группу внедрения, при ее возрасте

и внешности это был наиболее удачный вариант, и работа хорошая — длительные командировки на тот свет, но тут...»

Тут, видимо, между ними произошло нечто, чего референт касаться не желал, поэтому скороговоркой пробормотал, что, мол, всего в двух словах обрисовал ей характер будущих обязанностей и ознакомил с некоторыми концепциями, сформулированными в трактате «Я и бытие», а хулиганка — вы подумайте! — обозвала меня нелюдем, все, что я ей изложил, — «ублюдочным дерьмом», заорала, что теперь ей ясно, куда ее заманили обманом, и она сейчас же пойдет и приведет милицию, чтобы немедленно уничтожить «бандитское гнездо». Так и сказала: «бандитское гнездо».

А потом бросилась бежать по коридору, пришлось ловить, применять... частичные санкции. — Цум поморщился и обиженно замолк.

— Не помогло? — спросил Костылев, изо всех сил стараясь, чтобы голос его звучал равнодушно.

Референт не успел ответить. Очередная дверь, мимо которой они в этот момент проходили, с грохотом распахнулась, и в коридор буквально вылетела растрепанная худая женщина. Вообще-то женщиной ее назвать было трудно, это была вылитая коза — с длинным острым подбородком и изогнутыми воинственными рогами. Голову она наклонила, из-под густых пегих бровей яростно сверкали круглые желтые глаза. Выбросившись в коридор, она сразу закричала, неведомо к кому адресуясь — то ли к Костылеву с Цумом, то ли к кому-то, оставшемуся за открытой дверью комнаты.

— Этот вопрос выше моей зарплаты! Не обязана! Не Савраска! Языком ботать — это вам не на машинке уродоваться, всякую вашу галиматью перепечатывать! А как подарки — так одним все, а другим — фига!

— Пойдемте быстрее, — перекосясь Цум, обходя ярящуюся мегеру. — Между нами: сто раз говорил менеджеру — женский персонал надо держать в отдельном помещении, со

звукоизоляции и под замком. Всё без толку, машинисток посадили здесь, — так, видите ли, удобнее! И — пожалуйста.

— Больше к машинке не притронусь, лучше сдохну! Не заставляйте! — неслось им вслед. — А то, как подарки...

— У нас премиальная система, — пояснил Цум, ускоряя шаг, — за хорошую работу время от времени выдают подарки. Кстати, имейте в виду: иногда бывают очень неплохие. Нам их поставляют наши контрагенты с того света, один служит на складе импортных товаров и, конечно, ворует...

Костылеву на их подарки было наплевать.

— А эта... девица... ну, которая пришла устраиваться, что с ней дальше-то было? — спросил он.

— Дальше? — картинным жестом референт указал на свой синяк, который начал уже наливаться зеленью. — Стерва и фанатичка! Что там... Вот! Смотрите сами!

Как раз в это мгновение, повернув в сотый раз налево, Костылев вместо обрыдлого коридора увидел перед собой лестницу — очень красивую старинную лестницу. Двумя пологими, плавно изогнутыми рукавами она поднималась к площадке второго этажа, где рукава сходились. На площадке вплотную к перилам, гордо откинув голову, в напряженной нелепой позе стояла Лена Клеменс. Вокруг нее на ступеньках и у подножья лестницы возбужденно толпились сотрудники учреждения.

— Этого только не хватало! — заволновался референт. — Готово дело, сбежались. Устроила, сука, демонстрацию! Представьте себе: ухитрилась привязать себя к перилам, стыд и срам! От собственного подола кусок оторвала, это надо же, никакой девичьей гордости!

— Отпусти Костылева, палач! Отпусти, кому говорю! — закричала Лена громким голосом. — Свободу Алексею Костылеву! Свободу — совести! — и уже тише, как-то буднично добавила:

— Не боюсь я вас, хоть разорвитесь. Никакие вы не черты, просто вонючки. Козлы. Тьфу!

— Слыхали? — с возмущением зашептал референт. — А вы что? — он повернулся к сотрудникам. — Развлеченные нашли в рабочее время? Что зенки вылупили? Живо по местам!

— Эй, ублюдок! — крикнула Лена, явно обращаясь к нему. — А ну, иди сюда, я тебе второй фингал поставлю! Алексей Петрович, не бойтесь вы их, они ничего не могут, только пакости говорить!

С изумлением Костылев заметил, что толпа сотрудников как-то заерзала и подалась назад. Послышались растерянные возгласы:

— Кто это? Почему такая?

— Их же не бывает!

— От нас скрывали!

— У-у, козлищи! — издевалась Лена. — И менеджер ваш — козел!

— Ну как она смеет? Ну ты... ты... — тонким плаксивым голосом закричали в толпе.

— Немедленно убрать посторонних, — быстро сказал Костылев. — Вы понимаете, что происходит? Здесь же десятки сотрудников и — брань в адрес руководства. А факт наличия человека? Натурального, наяву? Это же плевков в лицо всей вашей... пропаганде. Менеджер узнает — я вам не завидую. Имейте в виду: я работник новый, но обязан буду доложить.

Изменившись в лице и став абсолютно похожим на Гуреева, вызванного к директору на разнос, Цум хлопнул в ладоши и что есть силы заорал:

— Разой-дись! По ме-стам! Особа тяжело больна — потеря рогов плюс помутнение рассудка! Болезнь заразная! Всем сохранять спокойствие! Их не бывает! Работать! Работать!

Акустика на лестнице была могучая, услышали все и нехотя начали разбредаться. «Пять, шесть — кашу есть, семь, восемь — сено косим», — неслось из коридора, удаляясь.

— Живо, живо! — торопил Цум.

Когда лестница опустела, он, глядя в сторону и нервно переминаясь с ноги на ногу, сказал Костылеву, что ему срочно нужно вернуться к менеджеру:

— Неотложное дело... Вы уж тут пока без меня...

Костылев понял: боится, как бы кто из коллег не опередил с докладом.

— Где мне с ней работать? — спросил он деловым тоном.— Не на лестнице же?

— Конечно, конечно... Пройдите в комнату переговоров. Ваша подопечная знает, где это. Я бы проводил, но... Вот ключ от комнаты, а мне, к сожалению, пора бежать.

И скрылся в коридоре, напевно выкликая: «Раз, два — кружева»...

Когда первый шквал всхлипываний и стонов, наконец, отбушевал, а рубашка Костылева сделалась у плеча мокрой и горячей, Алексею Петровичу удалось усадить Лену на узкий кожаный диван. Сам он сел рядом и, поколебавшись, обнял ее, отчего рыдания повторились, но в ослабленном варианте. Костылеву уже было рассказано, как к Лене однажды вечером явился «тип с лицом вши, а в щеке дырка».

— Пришел, говорит, что от вас, вы теперь на новой работе, по специальности, мол. А сам... рога пальцами показывает... — Лена изобразила, как «тип с лицом вши» показывал рога, — и еще подмигивает. Мерзко так, вы бы видели! А еще сказал — вы меня зовете...

Всхлипнув в последний раз, она подняла голову и стала решительно приглаживать волосы. Костылев смотрел и вспоминал Гаврилу.

А Лена, облизав губы, вздохнула и бубнящим басом костылевского сына Петьки, которого отец заставляет съехать на ногах с ледяной горы, выговорила: «Боюсь».

— Боюсь... — повторила она. — Я уже думала — они вас тут... Ой, пропали мы с вами, Алексей Петро-о-о...

— Да подожди ты! — Костылев не заметил, как перешел на «ты». — Ну, тихо, тихо. Расскажи лучше, что они тут с тобой делали?

Лена шмыгнула носом.

— Запугивали, что! Этот-то, референт, — сперва, как кот. То, се: деньги, подарки. А потом как принялся... излагать. Чуть не вырвало! А вас нет нигде. А потом притащил какие-то фотокарточки. Все — убитых женщин: «Смотри, что с тобой будет». А потом... — Лена вздохнула, — Алексей Петрович, вы правду скажите. Где Гаврила? — Она прикусила губу.

— С Гаврилой все в порядке, я уверен. А фотографии... плюнь. Все липа. Фальсификация.

— Я... глаза закрыла, а он врубил какую-то машину, вроде радио, а там вопли, хрип, дети плачут... Он говорит: это Гаврила...

— Вранье!

— Потом... — помявшись, продолжала Лена, — он стал — про вас... И все хвалит, хвалит. Особенно, как вы и... Валентина Антоновна... Я не поверила! — голос вдруг зазвенел, она вскинула подбородок и стала той, прежней Еленой Клеменс, которая считала себя англичанкой и говорила поэтому наподобие робота. — И вообще. Меня не касается. Их — тем более.

— Так... Дальше.

— Вы имеете право. Встретаться, с кем хотите! — страстно выпалила Лена и отвернулась. — А вот, что вы, будто, специально с мужем ее подружились, чтобы в дом ходить обедать и... деньги одалживать... — сказала она уже тише и человеческим голосом. — Это... вы не могли! Я знаю!

— Во-первых, — сдержавшись, медленно произнес Костылев, — у Войк нет мужа. Это раз. Во-вторых, никогда в жизни я с ней не... не... в таких отношениях.

Лена все сидела, отвернувшись.

«Не верит». — Костылев начал злиться. — Почему, интересно знать, я перед ней оправдываюсь?» И добавил:

— Не было этого. Провокация. Ясно? Не было ничего. Он буквально остолбенел, увидев ее лицо.

— Я так и знала! Я же знала! Я не верила! — сияя, выкрикивала Лена. — Нет, главное — до чего врет, до чего врет! Вот сволочь. «Костылев, — говорит, — добрый, порядочный человек. Всех осчастливил: и свою жену, и чужую, и мужа. Особенно, — говорит, — мужа, потому что Войк от любви вся расцвела, сделалась духовно богаче и лучше, а это, говорит, так важно для семейной жизни!» Представляете? А дальше: «Костылев, когда брал у мужа взаймы, ел в его доме, пил и принимал подарки, он этому мужу, прежде всего, помогал творить добро. А человек, творящий добро, — счастлив». Тут я ему в рожу и вцепилась.

— Ладно. Все, — решил Костылев. — Давай-ка лучше думать, как... — и еле слышно произнес: — как будем выбираться.

— А-а, ерунда! — Лена весело махнула рукой, и он уставился на нее, не веря собственным глазам: не она ли только что, рыдая, повторяла: «Боюсь»?

— Знаете, — громко объясняла Лена, — я тут дольше вас, и все поняла. Думаете, они — что? Да они сами ничего не могут. Ничегошеньки! Правда, правда! Только рассуждать... свои гнусности. Они же все — чужими руками, у них эти... контрагенты.

— Стоп. Давай подробнее. И не кричи. Какие контрагенты? Где?

— Люди. Везде. И здесь, и в городе. И за границей. Людишки-то, в основном, — тоже... вроде этих.

— Не пори чушь! — оборвал ее Костылев. — Сравнила.

— Хорошо, — очень легко, как бы даже с удовольствием, согласилась Лена. — Пусть не такие. Но эта нечисть... они же в контрагенты не кого попало берут, а подлецов и гадов. А сами только подзуживают. Или деньги дают. Большие! А потом воры для них воруют, спекулянты барахло продают и наркотики, а хулиганы, убийцы разные...

— Ясно.

— Я знаете, что еще поняла? Они рога и хвосты за-чем, по-вашему, напялили? — Лена захихикала, — не только пугать. А, мол, ближе к природе, к зверю! Вот. Между прочим, звери их лучше во сто раз! Зверь никогда просто так не убьет. Вообще, они дураки, ну их к чёрту!

— Ясно,— еще раз сказал Костылев и подумал, что им с Леной будет не легче, если их прирежут не сами «дураки», а контрагенты.

Тем временем Лена совсем развеселилась.

— Давайте удерем,— предложила она.— Прямо сейчас. Из этой комнаты к выходу есть специальный коридор, меня по нему сюда привели. Там точно никого не встретим — гарантия. Простым чертям туда ходить запрещено. А знаете, почему? Чтобы не встречались с контргентами. С людьми. Они же, в большинстве, думают, что нас — нет. Представляете?

— Мы тоже думали: их нет,— угрюмо сказал Костылев.

— Не хотите через коридор, можно — в окно.

В самом деле: в комнате переговоров имелось небольшое окошко, единственное, которое Костылеву удалось увидеть во всем здании. Он встал с дивана, приблизился к окну и неожиданно легко распахнул раму. Там все еще была ночь, набрякшая луна еле держалась на черном небе, освещая просторный, голый асфальтовый двор. Вдали темнела высокая сплошная ограда. Подошла Лена и встала с Костылевым бок о бок.

— Отсюда вылезем запросто,— сказала она,— а через забор, если вы мне поможете...

— Ему не придется помогать, малютка,— раздался у них за спиной ласковый голос. В дверях, сложив на груди руки, стоял сам Велимир Иванович Погребняков, в своем элегантном здешнем наряде, но в неизменной тюбетейке, прикрывающей рога, и с прежним лицом скверного старика. В комнате сразу остро запахло какой-то гнилью, серой и одеколоном «Кармен».

— Это... что же? — Лена с ужасом смотрела на Погребнякова. — Почему вы... сюда?

— Это менеджер, Лена, менеджер. Ты не знала? А вы... — Костылев глянул прямо в слезящиеся глаза Погребнякова. — Подслушивали, значит?

— А как же! — удовлетворенно кивнул тот. — Не выходя из кабинета — у нас тут все радиофицировано. Но вопрос в другом. Возвращаясь к вашим дерзким планам, хочу уведомить: вам, девушка, окажут посильную техническую помощь мои ребята. — Он прошагал к окну. — Во-он те! Видите? Правее! Совершенно верно, это они. Все четверо. Помогут квалифицированно, в лучшем виде, можете не сомневаться.

Костылев пригляделся — под самой стеной здания виднелись четыре фигуры. Они сидели в кружок. Почему-то на корточках. Слабо тлели огоньки сигарет.

— Сообщаю конфиденциально, — продолжал менеджер. — Отличные работники. Вот уж у кого здоровая психика, никакой мути. Если бы вы только знали, чего мне стоило вытащить их из тюрьмы! Тяжкие преступления, рецидивы, большие сроки... Но зато теперь — преданы безраздельно. Готовы на все. Можете себе представить — восемь-десять лет за проволокой, без женщин? Так что, лезьте, барышня, лезьте... Пусть земля вам будет пухом. Ну, а вы, мой бывший руководитель? Полагаю, броситесь защищать девичью честь? Весьма достойно. Романтик! Как это я в вас ошибся? Переоценил... Недопонимал... Обидно! Столько времени зря затратили, средств. Придется списывать! Но ничего! Деловой риск. Мои мальчики обеспечат вам возможность умереть героем. А за труп не волнуйтесь, я вам уже докладывал, с этим вопросом здесь никаких проблем. Кислоты, знаете, щелочи — все, как полагается. Расчлененка. Но! Если, конечно, очень хотите — можно и закопать. Там, у забора. Хорошее, сухое место. А поверх, естественно, асфальт. Асфальт, асфальт, не спорьте — асфальт.

Костылев не отвечал, он упрямо смотрел в окно, крепко сжимая холодную руку стоящей рядом Лены. Рука

время от времени слабо вздрагивала. Реагировать на издевательства этого подлеца не имело смысла. Надо было быстро решать, что делать. Надо было думать. И Костылев думал.

А Погребняков наслаждался:

— Но есть и другой вариант, — заявил он добродушно. — Плюнуть и оставить девочку моим молодцам, и тогда... О, тогда это выйдет к вашей пользе! Это будет исключительно высокоэффективно, вернетесь к нам, в родную семью. Навсегда. А успокоить совесть мы вам поможем — культурные, как-никак, существа. Цивилизованные. Так. Кажется, все, ничего не забыл. Закругляюсь. Впрочем, и барышня, поди, беспокоится за свой труп. Клянусь — его зароят в указанном месте, и ни один волосок... Личико, конечно, придется несколько подпортить, чтобы, так сказать, брат родной не опознал в случае чего. Что подделаешь, — Погребняков тлетворно вздохнул. — И последнее: если в ваши головы придет гениальная идея воспользоваться входом, через который вы сюда пожаловали, прошу учесть — там вас встретит другой... персонал. Весьма способные экземпляры, особенно один. Кличка Чума. Полное отсутствие воображения, даже удивительно. Зато исполнительность... — менеджер причмокнул. — Мы его регулярно снабжаем наркотиками. Итак, запомните: силком вас тут не держат. Мой референт просил передать прощальный привет. Ну-с! Вам пора. Путь свободен, желаю успеха, дорогие друзья!

Путь к выходу, в самом деле, был свободен. Менеджер молча шел по пятам Костылева и Лены. Очень быстро они очутились в знакомом, гулком, как труба, полутемном коридоре — сейчас там горела единственная чахлая лампочка, низко висящая на длинном, покрытом пылью шнуре. В одном конце коридора остался у порога Погребняков, в другом чернела открытая дверь, за которой едва угадывались какие-то фигуры. Заметив их, Костылев остановился, и сзади тотчас раздался окрик:

— Смелее, вас ждут! Рекомендую: Чума! Дырявый! Боров! Темнота впереди зашевелилась.

— Чума! Вы там готовы? — вдруг завизжал менеджер.

— В натуре, начальник, не психуй, — голос у Чумы оказался хриплый и корявый, какой-то... необработанный. — Давай команду, сделаем в лучшем виде.

Костылев взял Лену за дрожащие пальцы.

— Алексей Петрович, — сказала она очень серьезно, — нас, наверное, сейчас убьют. Я бы хотела вам... чтобы вы... вы должны знать...

— Молодые люди! Может, передумаете, а? — елеёно осведомился Погребняков. — Может, вернетесь тихо-мирно, пока не поздно?

— Шиш тебе, — мрачно ответила Лена. — Алексей Петрович, я вас...

— Знаю, — быстро сказал Костылев и обернулся. Менеджер стоял в освещенном проеме, прислонясь к косяку и сложив на груди руки.

— Нет, — отчетливо произнес Костылев, глядя ему прямо в лицо. И повторил:

— Нет.

— Мол... Мол-чать! Я... — начал было Погребняков, но поперхнулся и сипло закашлялся. Глаза его моргали, рот скривился, острый кадык судорожно ходил вверх-вниз, точно менеджер непрерывно глотает крупные предметы.

— Нет! — повторил Костылев еще раз, громче. Тело Погребнякова беспорядочно задергалось, оседая и делаясь все более дряхлым. Он неуклюже взмахивал руками и перебирал ногами, будто под ним не пол, а раскаленная плита.

— Ой, чего это он? — Лена так и прыснула. — Ой, поглядите, Алексей Петрович, да поглядите же! — и она залилась смехом.

А Костылев и так глядел во все глаза: услышав хохот, менеджер тотчас закатился в новом приступе кашля. Тюбейка упала, шевелюра вместе с пробором сползла набок

и повисла, зацепившись за левый рог, как тряпка на гвозде. Правый рог несуразно торчал из голого черепа, точно штырь.

— Молчать...— из последних сил хрипел Погребняков, извиваясь.

— Нет! — перекрывая хохот Лены, закричал Костылев.— Нет! Нет!

От каждого «нет» тело Погребнякова вздрагивало, как от удара.

— Ой, умираю...— захлебывалась Лена.

— Эй, пахан! — встревоженно позвали от входной двери.— Чего заткнулся? Команду давай!

Менеджер только хрипел. И тогда Костылев решительно двинулся вперед по коридору, таща за собой Лену, которая продолжая хохотать, все норовила обернуться. Лицо ее покраснело, зрачки расширились, по щекам текли слезы.

«Истерика»,— со страхом подумал Костылев.

В эту секунду Лена замолчала и остановилась, судорожно хватая воздух полуоткрытым ртом. И сразу оборвался кашель Погребнякова. Мгновение в коридоре стояла полная тишина. Едва заметно покачивалась тусклая лампочка. По шнуру деловито спускался большой длинноногий паук. Где-то далеко глухо и безнадежно бубнили несколько голосов. «Девять, десять — деньги весить, одиннадцать, двенадцать — на улице бранятся...» — разобрал Костылев.

— Чума, вперед! — надсадным, свистящим голосом командовал Погребняков, и от двери тотчас отделилась громоздкая фигура. Вот он уже на свету: низкий вдавленный лоб, маленькие, близко посаженные глаза, приплюснутый нос. Лена, вздрогнув, попятилась.

— Чума! — рявкнул Погребняков. Бандит замер, держа наперевес короткий лом.— Бери...

— Нет! Нет! Нет! — перебил его Костылев.

Сухой трескучий кашель согнул менеджера пополам, свернул спиралью и кинул на пол, однако, падая, он успел еле слышно выдохнуть: «Вперед». Еле слышно, но Чума

понял и рванулся вдоль коридора. Он бежал, как слепой,— прижавшись к стене, Лена с Костылевым увидели рядом пустое, бессмысленное лицо, остановившийся взгляд, услышали тяжелое дыхание — и бандит протопал мимо.

— Впе... впе... ред...— как в бреду, бормотал Погребняков, борясь с кашлем.

Послышался грохот, треск, невнятный матерный рев, но Костылев с Леной уже мчались к выходу.

В дверях выросли двое. Лиц их было не видно.

Один, маленький и суетливый, торопливо шарил в карманах, другой — широкий, весь какой-то вздутый, поднял короткую палку.

«Обрез», — сообразил Костылев, сделал шаг назад, загораживая Лену, и оглянулся. Погребняков опять, как ни в чем не бывало, в тюбетейке, стоял в наполеоновской позе на пороге. За его спиной Чума, остервенело ругаясь, пытался выдрать лом, глубоко вошедший в стену.

Не выпуская Лениной руки, Костылев медленно пошел к выходу. Бандиты напряженно ждали. Когда между ними и Леной с Костылевым осталось не больше двух шагов, маленький вдруг шарахнулся и отскочил назад.

— Боров, рви когти! — раздался из темноты его панический крик.— Канай отсюда, понял? У него рога! Рога у него, у падлы, рога-а! — голос удалялся. Костылев стремительно нагнул голову и прыгнул вперед, на толстого, направив рога прямо тому в живот. Что-то сверкнуло, загрохотало, ветер пронесся над головой Костылева, и дверной проем опустел.

Но всего на мгновение... Не успели Лена и Костылев сделать и шага, как на пути у них вырос Погребняков. Костылев в растерянности посмотрел назад — Чума все возился с ломом, застрявшим в стене.

— Не озирайтесь, — Погребняков прищурился.— Был там, теперь здесь. Ерунда это. Мы же все-таки, хоть и нечистая, но сила. А сейчас, дети,— помолчав, сказал он очень ровным, слегка усталым голосом,— сейчас у нас

будет разговор всерьез. Хватит, поиграли. Вас, девушка, это, впрочем, мало касается, так что придется вам пока исчезнуть.

И Лена исчезла. Пропала — и все. Костылев рванулся было вперед, но не смог сдвинуться с места.

— Вот что, Алексей Петрович, — задумчиво произнес менеджер (сейчас это был не Велимир Иванович, а снова менеджер, в хорошем костюме, с гладким барственным лицом). — Вот что... Я вас поздравляю. Я вами доволен: собой — не ошибся, и вами — испытание, надо признать, выдержали. Серьезное испытание — одиночеством и страхом. Вы достаточно смелый человек, не слизняк какой-нибудь. И не предатель. Мне, учтите, предатели здесь не нужны. Приходится, конечно, иметь дело со всякой мразью — никуда не денешься, но для серьезных дел мусор не годится. А таких, как вы, — мало. Ох, как мало! Уж я-то знаю, не первую тысячу лет существую.

Костылев хотел возразить, дернулся, но почувствовал, что тело его точно парализовано и язык не слушается.

— Итак, — продолжал менеджер, принимаясь вдруг раскачиваться с носков на пятки, — итак, что же, собственно, я могу вам предложить? А знаете — практически все! Я имею в виду все, что вы в состоянии пожелать. Это нетрудно — человеческое воображение ограничено. Деньги, власть, женщины. О, понимаю, понимаю. И все же... Ну, первым делом — вы, конечно, мечтаете вернуть себе человеческий облик. Угадал? Жить и работать среди нас не хотите, это ясно. Вас тянет к людям, которые — поверьте мне — этого совершенно не стоят, особенно, если вспомнить поведение ваших близких и сослуживцев по отношению к вам же... Супругу свою не забыли? А Прибыткова? Или вот хоть Гуреева. Достойный представитель рода человеческого, не так ли? Но вам угодно жить среди них. Что ж? Договорились.

Он сокрушенно покачал головой, мигнула под потолком лампочка, а Костылеву вдруг стало холодно.

— Потрогайте-ка лоб, — приказал менеджер. Костылев, внезапно обретя способность двигаться, коснулся лба. Рогов не было. Еще не поверив, он дотронулся до шеи — шерсть тоже исчезла.

— Все остальное также ликвидировано, чувствуете? — менеджер привычным жестом сложил на груди руки, — а теперь... Предложить я вам хочу следующее. Как раз на ваш благородный вкус и с учетом светлого, оригинального ума и хорошей научной подготовки. Я предлагаю вам стать спасителем и благодетелем столь любимого вами человечества. Вы ведь химик? Прекрасно! Вот и сделайте великое открытие! Изобретите... средство от рака. Подходит? Представьте себе: мировая известность — куда там! — бессмертная слава. Ну и, соответственно — Нобелевская премия, поездки по всему миру, деньги. А главное — люди, тысячи людей, вчера еще обреченных, с ужасом ждущих смерти, — сегодня спасены, мучительный страх перед болезнью века навсегда уничтожен, всеобщее счастье, ликование, а вам ставят памятники на площадях всех столиц мира. Каково?

— Но вам-то... Зачем это вам? — с усилием выговорил Костылев, чувствуя, что в голове шумит, а перед глазами, фосфоресцируя, возникают из темноты какие-то формулы, схемы синтеза... Сердце его колотилось, на лбу выступил пот.

— Что? Уже началось? — заботливо поинтересовался менеджер. — Видите? А вы, небось, не верили. Еще немного — и озарение! А... зачем это нам? Тут очень просто: нам, как я уже, помнится, докладывал, нужно здоровое, полноценное человечество. Оно таким и было бы, кабы не страшное проклятие — чувство вины и муки совести. Вон где, пользуясь вашими терминами, настоящее-то зло! Так вот-с, раковые заболевания — от них. Именно! Уж я-то знаю, поскольку, — открою вам производственный секрет, — рак — тоже наша разработка. Вид наказания. За все эти ваши выверты и желание непременно отделять

«доброе» от «злого», а вся проблема в том, что ни того, ни другого в природе не бывает. Отсутствует! Это ваша самоубийственная мораль их породила. В вашем же обращении. И здесь ваша смерть.

Костылев почти не слушал. Пропади он пропадом, этот менеджер, со своей демагогией, пусть болтает, сколько хочет. Но если бы, правда, можно было... Формулыплыли одна за другой. И среди них...

— А что же... взамен? — шепотом спросил, наконец Костылев и облизал пересохшие губы.

— Взамен? О-о, сушная ерунда! — почти весело откликнулся менеджер. — Пустышная услуга. Нас вечно обвиняют, будто мы за всякую услугу душу требуем. Какой вздор! Клевета. Ну зачем, скажите пожалуйста, нам ваша душа, которая — научно доказано — не существует и существовать не должна? У человека есть мозги — и довольно с него. Может, вы думаете — заставим убить кого-нибудь? Не бойтесь, на это всегда работники найдутся, тут много ума не надо. А от вас я хочу одного: чтобы вы признали, искренне признали и добровольно, что мы правы. Что здоровье — главное, остальное — веники. Здоровье, только здоровье! У вас же и у самих полно изречений: мол, «главное — здоровье», «в здоровом теле — здоровый дух», «плюй на все и береги здоровье», и так далее. Здоровье и долгая, ничем не отягощенная жизнь — вот мечта человечества. Мы поможем вам осуществить эту мечту, изобрести лекарство. Для начала от рака и заодно... ну, скажем, от первопричин этого страшного заболевания.

Я только одного не поми... понимаю... — заикаясь, начал Костылев, — если вы такие могущественные, зачем вам я?

— А это вам понимать и не положено, примите на веру: все операции друг с другом люди должны делать сами. Своими руками. Так согласны вы?

В ушах Костылева звенели колокола. Формулы вспыхивали бенгальскими огнями. Особенно одна (бензольные кольца,

аминогруппы) — светилась, как новогодняя гирлянда. Костылев стоял на трибуне, дожидаясь, пока утихнут аплодисменты. Нет, это шумели волны, синие, ослепительно синие волны накатывались на песчаный берег...

— Ницца, — вкрадчиво пояснил менеджер, — там вы проведете следующий отпуск. Ну-с? Я жду.

...Мать Алексея умерла от рака, когда он был на последнем курсе. Ничего нельзя было сделать, это знали и врачи, и родные. И она сама. И все лгали. Костылев вдруг вспомнил, как зимой, в день рождения матери, ровно за неделю до ее смерти, купил ей на всю стипендию в подарок яркое летнее платье. Знал ведь — не понадобится, а все равно купил и принес в больницу. И говорил еще — мол, скоро поправишься, поедем летом в деревню... Кому говорил, ей или себе? А мать молча слушала. До сих пор он помнит ее глаза...

— Я... согласен, — сказал Костылев, опуская голову и чувствуя почему-то тоску и опустошенность.

— Вы не искренни, — менеджер вздохнул. — И очень глупо. Я же не собираюсь с помощью этого лекарства делать из людей специально дураков или подлецов. Просто — чуть меньше болезненных рефлексий, чуть больше логики и здравого смысла.

— Согласен, — повторил Костылев.

— Вот! Уже лучше! Почти совсем хорошо, — подбадривал менеджер. — Еще немного — и полный порядок! Ну, напрягитесь, сосредоточьтесь. Опять блеснула длинная, как рыба, формула (погоди, да ведь это же...) — и ушла куда-то в глубину. Вместо нее Костылев увидел перед собой толпу. Вернее, не толпу — колонну. Твердые, розовые, молодые лица, крепкие плечи, стройный шаг. Потом он отчетливо услышал грохот сапог по мостовой, до того нестерпимо громкий, что заломило в висках. Шеренга сменяла шеренгу, их были сотни, тысячи, этих одинаковых, здоровых, совершенно здоровых! парней с розовыми щеками и пустыми глазами, этих... белокурых бестий...

Костылев тряхнул головой. Топот стих. Теперь перед глазами была площадь, покрытая каким-то серым ковром. Ковер шевелился, по его поверхности то там, то здесь пробегали волны, в самом центре внезапно вспух пузырь, он увеличивался... Скопище крыс заполнило площадь, крупных серых крыс, энергичных, здоровых особей. Костылев видел вблизи их острые, хищные озабоченные морды, каждая что-то тащила: обгрызенные куски хлеба, мятые комки газет, книги, детские игрушки... мелькнула оскаленная пасть с мертвым воробьем... Внезапно образовался дерущийся клубок: здоровые, но более сильные, отбирали добычу у здоровых, но слабых... или старых?

Так вот кого он хочет сделать из людей, вот что ему нужно в обмен на лекарство...

— Нет, — неуверенно сказал Костылев. И еще раз, уже тверже, произнес: — Нет!

И поднял голову.

Перед ним зиял чернотой дверной проем.

— Ничтожество! — гулко раздалось за спиной. — Ты еще пожалеешь!

Костылев резко повернулся — никого. Пустой коридор. Вздрагивает на пыльном шнуре тусклая лампочка. Паук, пристроившись у самого цоколя, лениво сучит длинными ногами.

— Пожалеешь... леешь... еешь... — удаляющимся эхом звучал голос менеджера. И затих.

Костылев вышел на улицу, в темноту, миновал проход между особняком и ветлечебницей и оказался на Сосновой улице. И остолбенел, сразу ослепнув. Здесь был день.

Яркое солнце спокойно освещало безлюдную улицу. Со своей разбитой мостовой и облезлыми, поникшими домами выглядела она сейчас еще более убого и жалко, чем ночью. Костылев осмотрелся: у входа в лечебницу стояла Лена, уставившись на него широко раскрытыми глазами.

— Вот это да... — растерянно сказала она, наконец. — А как же?.. Где же?.. Это... рога?

Костылев не успел ответить. Позади раздался грохот, гул, втрое, вдесятеро мощнее того, что он слышал, когда бандит пальнул из обреза. Он обернулся: их не преследовали, проход между домами был пуст. Темнота, только что плотно заполнявшая его, рассеивалась — слоилась, рвалась на клочья, редела. Громко лаяли и выли собаки в лечебнице. Внезапно по стене филиала ГНИУ из угла в угол медленно прошла длинная ломаная трещина. На глазах она становилась все шире, шире, опять загремело, затрещало, и здание начало оседать.

## ГЛАВА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

— ...да просто бандиты меня испугались. Все-таки чёрт с рогами...

— Вы что, Алексей Петрович? Они же контрагенты. Да они чертей, небось, видали раз сто, а Погребнякова уж точно.

— Сомневаюсь, что к ним он выходил в таком виде. Надевал, старый гриб, тубетейку, как у нас в институте. И другие тоже. Да и не в рогах дело! У бандитов ведь как? Ты сильный — я слабый, я сильный — ты слабый. Мы их не испугались. Поэтому они испугались нас. Понятно?

— Ну, бандиты — ладно, а Погребняков? Не мог же он — только из-за того, что мы просто кричали «нет»?..

— Положим, не такие это простые слова, «да» и «нет». Иногда сказать «нет» — смертельный номер. Да что там! Сколько раз за эти слова жизнью платили! И стоило платить!

Этот разговор между Костылевым и Леной Клеменс происходил четыре месяца спустя после того, как исчез филиал ГНИУ. Обсуждали они (уже не впервые) все то же: как и почему им удалось уцелеть. У Костылева, конечно, имелись на этот счет кое-какие соображения, но с Леной он ими не делился. Историю с чертями и контрагентами

он для себя лично завершенной не считал, к чему были основания.

Но об этом позже. Сейчас он мирно сидел дома, принимал гостей и как придется отвечал на ее вопросы.

— Алексей Петрович, — спросила Лена, внимательно рассматривая какой-то журнал. — А вы помните, как там, в коридоре, ну, когда эти... Дырявый и... как его? Слон?

— Боров.

— Вот! Боров! Помните, я вам еще сказала, что... хочу сказать... а вы сказали, что знаете. Помните?

Костылев не ответил, встал и направился к окну. За окном падал частый, мокрый снег, и разглядеть за ним улицу было невозможно. Но, кажется, все-таки...

А теперь вернемся на четыре месяца назад. Что случилось с нашими героями сразу после того, как они, растерянные, но живые и свободные очутились среди бела дня на Сосновой улице возле ветеринарной клиники?

Опомнившись, они медленно пошли к площади. Солнце двигалось к закату, на мостовой лежала тень. Знакомый мерин по-прежнему громко жевал овес, погрузив морду в холщевый мешок. Витрина хозяйственного магазина светилась желтым, закатным огнем, и в этой витрине Костылев снова увидел шеренгу кастрюль во главе с лихим капралом — чайником. А еще в стекле он увидел свое отражение и впервые за много месяцев с облегчением улыбнулся.

Мы не будем подробно описывать, как Лена с Костылевым явились к Грише и обнаружили его и Аскольда ожесточенно (но безуспешно) роющимися в старинных книгах по демонологии в поисках способа спасения от чертей, как Лена встретила там с Гаврилой, который всего за два дня почему-то стал выше ростом, взрослее и так оброс, точно его месяц не водили в парикмахерскую. И вот тут-то в Гришиной комнате Костылев с изумлением увидел на стене отрывной календарь, а на нем листок — «31 августа. Вторник», а потом машинально посмотрел на

свои сломанные часы и убедился, что они благополучно идут и показывают половину седьмого.

До своего дома Алексей Петрович добрался только после полуночи. В квартире ждали его пыль, запустение и засохшие цветы в горшках. Зато в почтовом ящике он нашел две просроченные повестки в суд по делу о разводе и письмо от Сидорова, датированное пятнадцатым августа. Из этого письма он узнал, что с работы его не уволили.

Исчезновение Костылева Сидоров осуждал, называя страусиной политикой: «Ты, конечно, вообразил, что все кругом подлецы, и теперь прячешься, а, между прочим, на другой день после собрания у меня перебивала по очереди вся лаборатория. И все с подробностями. Оказывается, стоило нам с тобой покинуть зал заседаний, поднялся несусветный хай, чуть не драка. У тебя, представь, появились защитники! Угадай, кто? Митина! Громко рыдая, вопила, что, мол, так нельзя, и хотя в человеке все должно быть прекрасно, но и гнать на улицу — тоже не способ воспитания, от таких дел кто хочешь сопыется как, например, ее бывший муж, и пропадет на всю оставшуюся жизнь. И вообще перевоспитывать надо в коллективе, в крайнем случае, направить на принудление. Говорят, во время ее выступления, особенно, когда речь шла про несчастного алкоголика — бывшего мужа, многие женщины плакали, а Нина Кривошеина закричала, что у нее зять, муж сестры, имеет горб, и его за это с работы не гонят, а кто сказал, что горбатым быть можно, а рогатым — нет? Если за такие вещи увольнять, то будет геноцид и апартеид, а у нас не Америка<sup>32</sup>! Слово за слово, атмосфера накалилась до предела, а Митина как пошла честить Погребнякова, который по ее мнению жулик, аферист и надо разобраться, кто еще... Как ты, наверное, догадываешься, Митину пытался окоротить Прибытков, требовал голосования, напоминал, что рабочий день давно кончился и всех с нетерпением ждут дома. Дети протягивают худенькие ручки. Но на собрание, как ни странно, даже этот довод

не подействовал. Гвалт был невероятный. В конце концов Прибытков все же надавил, и стали голосовать. И что получилось? За увольнение — один Гуреев. Против — Митина и Кривошеина, оравшие хором, остальные воздержались.

Но на этом, Алеша, история не кончилась. Прибытков через три дня все равно подготовил проект приказа о твоём увольнении за прогул, теперь уже на вполне законном основании: в институте-то ты не появляешься! И опять Митина — вожжа под хвост (я всегда считал, что женщины — существа непредсказуемые). Подняла шум: «Может, человек в больницу попал, а вы — увольнять?» Не поленилась, съездила в твою районную поликлинику, нашла участкового врача и получила-таки справку, что ты по состоянию здоровья нуждаешься в отпуске за свой счет. Докторшу очень хвалила: «Отзывчивая. Я ей — так и так, а она сразу заперезживала, надо же, — говорит, — он ведь ко мне еще зимой обращался, а я проявила бездушие, больничного не дала».

Взял я справку и пошел оформлять тебе отпуск. Прибытков, ясное дело, на дыбы: «Это не документ!» и понес: «Укрывательство! Пособничество!» В общем, отказал в грубой форме. Не буду врать, кончилась бы эта история для тебя, скорей всего, плохо, тем более что я — боец, как ты знаешь, неважный. Но решил все директор. Появился в институте через неделю, и тут выяснилось, что ничем он, Алеша, не болел — Прибыткову сказал, что скверно себя чувствует, а сам — в министерство. Там добрался до самых верхов и такое раскрутил...

Наш-то Прибытков, оказывается, сволочь очень не простая, крупно играл. Четыре раза ездил к начальнику Технического управления, даже у замминистра был: «Обязан поставить в известность, директор прикрывает человека... неясного. Что означают его рога и куда они с директором собираются их направить — непонятно». Те и заколебались. Только директор тоже не лыком шит, сразу понял, что к чему и против кого рога на самом-то деле

хотят направить, — и за тебя грудью: «Специалист высокой квалификации, нужен институту, отрасли. Если таких разбазаривать, будет негосударственный подход. А что со странностями... Лишь бы работе не мешали».

Наши потом были в командировке в министерстве, им секретарша Татьяна рассказала, а это сто процентов. Короче говоря, Алеша, отстоял тебя наш директор...»

Костылев сел на диван. Ну и ну. Митина-то... А директор? Это... ничто без лица?

Алексей Петрович не знал еще, что скоро встретится с директором в его кабинете и убедится, что лицо у того появилось, вполне четкое, хорошо прорисованное лицо обиженного, но вздорного, упрямого ребенка — взгляд исподлобья, нижняя губа капризно торчит вперед...

«...А дальше — больше, — сообщал в письме Сидоров. — Прибытков ушел! Не из-за тебя, не гордись, тут прямо фантастика! Хватились: Погребнякова нет из командировки. Стали звонить в Воронеж, там отвечают: «Не видали такого. Не был». — «Как это не был? Он от вас в прошлом квартале акт внедрения привозил!» — «Ничего, — отвечают, — не знаем и знать не хотим!» Полезли в дело, где акты, приказы и прочее — все, что этот скорпион оформлял. Ведь оплачивали же потом эти акты, да еще как! Сколько мы премий по ним с предприятий взыскали! Значит, бросились искать, все папки перевернули — нигде ничего. Ни-че-го. Раскинул старый хрен чернуху. Теперь у нас, как ты понимаешь, паника — работают КРУ, ОБХСС и все, кому положено. Что еще будет дальше, неизвестно. А Прибытков, пока суд да дело, намылился. Не то в вуз, не то на пенсию, не то вообще в бега. Знает кошка... Велимир-то его был кадр, любимец, лучший сотрудник.

Ты, Алеша, давай возвращайся в институт. До сентября у тебя «свой счет», а дальше? Имей в виду, тебе здесь кое-кто будет рад, особенно... зажмурься и сосчитай до ста. Сосчитал? Валентина Антоновна! Вернулась из санатория, выглядит отлично, а о тебе вспоминает с нежностью.

Вчера сказала: «У Костылева я должна попросить прощения. И поблагодарить. Он видел меня в страшном припадке безумия, но не воспользовался этим, поступил, как порядочный человек». Кстати, ее заявление на тебя, про которое Прибытков вякал на собрании, тоже пропало. Спросили ее, — сразу в рев: «За кого вы меня принимаете? Ничего никогда не писала и писать не могла, это инсинуация!»

А вот кто при виде тебя, естественно, расстроится — это Гуреев. Он после собрания и без того чахнет — все, кому не лень, несут его по кочкам — якобы, он тебе всю дорогу завидовал, хотел подсидеть и чуть ли не история с рогами — его рук дело.

Кстати, тут ко мне приходили два странных «представителя общественности» — так они, во всяком случае, сами себя назвали. Симпатичные ребята, но слегка... того. То просили тебя не увольнять, поскольку ты скоро появишься на работе, они, мол, для этого принимают какие-то свои эффективные меры, то начали болтать про «однозначный детерминизм и экзистенциальную свободу», в соответствии с которой ты почему-то имеешь право прогуливать. А потом как рванули насчет метафизического зла, я и отключился! Зла я в жизни повидал достаточно, а вот метафизическое оно или еще какое, — не думал. Ну ладно, об этом после поговорим. И об этом, и о чем попроще, например, о твоей защите — не вздумай с первого же дня с ней лезть и выступать, сиди тихо!

Кажется, все рассказал. А, вот еще новость: на тебя в бухгалтерию пришел исполнительный лист. Ты дважды не являлся в суд, но Вера Павловна как-то оформила развод и требует алименты. Ничего, распогодится. Ну, будь здоров, появляйся.

*Валерий».*

Костылев медленно положил письмо на стол рядом с повестками. Думать сейчас обо всем этом он не мог. Сейчас надо переодеться и убраться в квартиру. Переодеться и убраться!

И тут, отчего-то с раздражением, он вспомнил про записку, до сих пор не прочитанную, засунутую в карман еще там, у Гриши. Записку дал Костылеву Аскольд.

— Теперь вам все это не нужно, и слава Богу, — с достоинством сказал он. — Но, как знать, как знать... Жизнь — штука загадочная, вдруг, да и пригодится. Кстати, мы перерыли горы книг, а нашли только это. И совсем не там, где думали найти... Да, и обо всем, что с вами случилось, — никому ни слова. Это крайне опасно. Как минимум, психиатрическая больница. Как минимум! Вот вы утверждаете, будто здание рухнуло. Но мы ведь были там с Григорием, на этой Сосновой. Елену ходили искать. Там всюду развалины, чуть не с войны. Так что убедительно советую...

Костылеву было не до непрошенных советов. Он кивнул, взял записку и невежливо сунул ее в карман, не читая. И вот теперь, развернув листок с недоумением смотрел на единственную фразу, написанную крупными, четкими буквами:

«Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого».

А вот сейчас пора вернуться к разговору, который случился ровно через четыре месяца, в семь часов вечера тридцать первого декабря тысяча девятьсот восемьдесят второго года.

Костылев ждет гостей: Сидорова с женой, Гришу, Аскольда и Валентину Антоновну. Лена с Гаврилой пришли раньше, чтобы помочь по хозяйству. Втроем они быстро справились и с салатами, и с пирогом, и с елкой. На елку, помимо конфет и игрушек, Гаврила повесил еще ключ от комнаты переговоров ГНИУ — помните, референт дал его Костылеву? Ровно в полночь, когда все будут пить шампанское, ключ исчезнет. Но пока, конечно, об этом никто не подозревает.

Сейчас, поставив в духовку рождественского гуся, все отдыхают. Гаврила спит в соседней (бывшей Петькиной) комнате, Костылев беседует с Леной.

— Помните,— спрашивает она,— я вам еще сказала, что хочу сказать, а вы сказали, что знаете? Помните?

Костылев встает и медленно идет к окну. Там со вчерашнего вечера все падает и падает густой мокрый снег. Надо что-то ответить Лене, и еще утром, он, возможно, сразу бы ответил. Но сейчас... Полтора часа назад Вера Павловна заявила по телефону, что навещать сына позволит не чаще раза в две недели, а брать к себе домой — только в особых случаях: нельзя травмировать ребенка и рвать ему сердце.

— Владимир,— сказала она твердо,— прекрасно занимается с мальчишкой. Ходит в бассейн, на музыку. А такое раздвоение личности может сделать Петра дерганым, и без того у ребенка неважная наследственность, не обижайся.

Хорошо, что Лена смотрит в журнал и не может разглядеть на лице Костылева следов этого разговора! Или разговора с разжалованным Гуреевым. Тот на днях появился после четырехмесячного отсутствия по болезни и сразу стал опять нонконформистом,— увидев Костылева без рогов и прочих сатанинских атрибутов, брезгливо произнес:

— Что ж... Этого следовало ожидать — человек слаб. Отказ от собственных убеждений под влиянием элементарной трусости — явление, увы, не редкое. Печально, джентльмены, печально. Не прими, конечно, за комплимент и позволь со всей прямоотой...

Что ответил на эту тираду Костылев, мы приводить здесь не станем.

В данный же момент он молчит, глядя в темноту за окном. А Лена ждет.

И тут в передней звенит звонок. Костылев идет открывать, слыша за спиной негромкое: «Явилась, Тетя Лошадь. Не терпится показать наряды». Это и впрямь Валентина Антоновна в заграничном платье, заграничной дубленке, заграничной шапке и заграничных же сапогах. Дело в том, что только вчера Войк вернулась из зарубежной поездки, где была с профсоюзной делегацией.

Не исключено, что и белье у нее в высшей степени заграничное, — чем, в конце концов, чёрт не шутит? В руках — огромная сумка, вся в разноцветных наклейках. В этой сумке, — загадочно сообщает Валентина Антоновна, — «всем сестрам по серьгам» и рассказывает, что даже соседской собаке Юмбе привезла подарок: искусственная долгоиграющая кость, можете себе представить<sup>33</sup>? Купила в Нью-Орлеане, во французском квартале. Очень, знаете, своеобразный город. Говорят, у них там, в Миссисипи, живут крокодилы. И подумайте! — эти твари в солнечные дни выползают прямо на набережную. Были случаи, когда крокодилов обнаруживали во дворах жилых домов. Ужас!»

Валентина Антоновна кокетливо засмеялась, Костылев засмеялся тоже, с беспокойством поглядывая на Лену, застывшую с поднятым подбородком. Шокированная англичанка.

— Кстати, — продолжала Войк, поправляя перед зеркалом прическу, — у меня в этом Нью-Орлеане была потрясающая встреча. Представьте, — иду вечером по Пайн Стрит<sup>34</sup>, навстречу — два джентльмена в ковбойских шляпах. Идут, разговаривают по-американски, само собой. На меня не смотрят, а я так и обмерла: наши! Погребняков с профессором Прибытковым. Нет, думаю, не может быть, обозналась. Погребнякова-то, тем более, через уголовный розыск, и то не нашли... Подхожу ближе — точно! Велимир в белом костюме, а морда лица — ни с кем не спутаешь. И одеколоном «Кармен» несет на все Соединенные Штаты. А Прибытков рядом, щеками машет. Я: «Велимир Иванович! Профессор! Какими судьбами? Вы что, с экскурсией?» А они мимо меня и — ходу. Ах вы, — думаю, — так? Ладно. Подождала, пока они подальше отойдут, и за ними. Следую, конечно, на почтительном расстоянии, прямо детектив. Смотрю: прошли какой-то дом, оглянулись туда-сюда и шмыг за угол! Я шагу прибавила, иду по следам — Погребняков-то своими лапами, как обычно, весь тротуар изгадил, добралась

до того дома, где они свернули, и выглядываю. А рядом, в доме-то, визг, вой, лай,— уши вянут. Видно, ихняя жи-водерня. Вижу: за углом — простенок, узкий, темный, самое подходящее место для гангстеров. Я чуть со страху не умерла! И в глубине — здание, такое неприятное, без окон, как склеп. Только дверца, едва заметная. Вот они в ту дверку, значит, шасть! Прямо не знаю, что и думать. Может, заявить куда? Надо было, наверно, прямо там, в Нью-Орлеане, обратиться в наше консульство...

— Прибытков-то... В контрагенты подался,— тихо, как бы про себя, произносит Лена.

— Я тоже сперва решила, что агенты! — оживленно откликается Войк.— Потом поняла: нет! В разведку такую мразь ни за что бы не взяли.

Она прядями разложила на лбу свою суперсовременную челку (прическу тоже, видно, привезла из Америки) и повернулась к Костылеву:

— Ну как? Фирма <sup>35</sup>?

— Очаровательно,— соглашается он и снова смотрит на Лену. Теперь уже строго. Но — поздно.

— Вы. Сегодня. Прекрасно. Даже замечательно. Выглядите, Валентина Антоновна. Поздравляю. Вас,— вещает Лена голосом неисправного работа из Бирмингема. И улыбается. Изо всех сил.

— Пойду будить Гаврилу,— бодро говорит Костылев.— Пора уже. Но поднять Гаврилу не так-то легко, он мычит и лягается. Костылев успеваает только стащить с него плед, как входит Лена. Лицо у нее упрямое и решительное.

— Валентина Антоновна на кухне гуся сторожит. Сверкая красотой! — сообщает она, плюхаясь брату в ноги.— А мне там делать нечего! И я... Все равно хочу. Чтобы вы мне ответили, раз и навсегда!

Костылев молчит. Он думает. Он думает, что Лена очень красивая и любит его. И что, кроме нее, у него, пожалуй, никого на свете. Но ей же только двадцать лет, только двадцать! А сегодня по дороге в институт он опять

встретил у своего парадного суетливого человечка с очень бледным лицом и впалыми щеками, в одной из которых имеется круглое, как от пули, сквозное отверстие. За последний месяц это уже четвертая встреча, многовато для случайности. Филиал-то они прикрыли, но от Костылева, похоже, так просто не отвяжутся. А ей всего двадцать лет...

— Алексей Петрович, — голос Лены звенит, — так вы, правда, знаете, что я вам хотела — тогда...

— Допустим.

— Ну... и... И что бы вы мне ответили?

Костылев опять идет к окну. Там все падает и падает тяжелый, мокрый снег. У дома напротив, рядом с фонарем, неподвижно стоит тщедушный человечек. Он весь засыпан снегом, на шапке сугроб. Задрал голову, он смотрит на окна Костылева. Лица, конечно, не разглядеть, но сомнений никаких нет: у этого человека впалые щеки, в одной из которых — дыра. Отсюда и кличка — Дырявый.

Лене, разумеется, надо ответить шуткой — мол, черного и белого покупать пока не стоит. Тем более, что ты еще не выросла, а когда вырастешь, все может измениться. Вот, скажем, Гриша, он... И вообще Войк наверняка сожгла гуся. Но — «да будет слово ваше «да, да», «нет, нет»...

И вздохнув, Костылев отвечает:

— Да.



# *Рассказы*



## ЗЕМЛЯ БЕДОВАННАЯ

Что бы там ни болтал Кепкер — кота звали Барбарисом, а вовсе не Васькой, и всякие Кепкерovy инсинуации, будто кот на Ваську сразу подбегал, а на Барбариса только щурился и дергал усами, все это чепуха и не его, Кепкера, дело. Потому что каждое существо, будь то кот или человек, или даже неодушевленная вещь, должно называться так, как зовет его хозяин, а хозяином Барбариса, безусловно, являлся Нил.

Что же касается самого Кепкера, то, как бы ни величал он сам себя, а рано или поздно хозяин позовет его и напoмнит, кто он и как должен называться. И станет тогда наш Кепкер из Бориса Михайловича — Борухом Мордуховичем, и никакие увертки ему не помогут, пусть обзывает, сколько хочет, чужого кота Васькой, чтобы лишний раз не произнести «Багбагис».

Вот и Нил, кстати сказать, стал же в конце концов ПЕТРОМ ГЕРАСИМОВИЧЕМ НИЛОВЫМ 1906—1973. То же ожидает и Кепкера, сколько бы ни крутился. А раньше, когда Петр Герасимович был еще Нилом, называли его также алкаголиком или алкашом, или, еще лучше, — пьяницей. Если же Кепкер, со свойственным ему самомнением и нахальством, говорил Нилу, будто тот нетрезв, Нил обижался и всегда поправлял, что не «нетрезв», а только выпивши, и, конечно, напоминал Кепкеру, что чья бы

корова мычала, а его бы, гражданина Кепкера, лучше помалкивала, потому что известно, кто он такой, этот Кепкер. Но Кепкера подобными словами тоже не возьмешь, и не это слыхивал.

Жил Петр Герасимович (тогда еще — Нил) в небольшом хилом доме красного кирпича в переулке неподалеку от чинной и строгой улицы Воинова и загадочной и опасной улицы Каляева<sup>1</sup>. Впрочем, насчет того, будто она опасная, факт тоже не вполне проверенный, и возможно, для Кепкера она и опасна, для нас же с вами — мать родная.

Нил ни ту, ни другую улицу не любил, и матью не считал, хоть водятся и там пивные ларьки<sup>2</sup>. У него был свой любимый магазин, где продавать начинают не в одиннадцать, а без десяти<sup>3</sup>. Адреса этого магазина мы называть здесь не будем, чтобы не наделать неприятностей хорошим людям — и тем, что за прилавком, и тем, кто ждет на улице.

Как, в сущности, мало знаем мы о тех, с кем много лет прожили бок о бок! Взять хоть Нила — почти три года прошло с того серенького осеннего дня, как стал он ПЕТРОМ ГЕРАСИМОВИЧЕМ НИЛОВЫМ 1906—1973, с каждым годом уходит он, проваливается в бездонное прошлое, как раскинувший крестом руки человек-парашютист, снятый кинокамерой с самолета во время затяжного прыжка. Летит, тает прямо на глазах темный крестик с раскинутыми руками без лица, и только туда, только в одну сторону может он лететь, а уж назад — ни за что.

И если сегодня попытаться представить себе, как выглядел Нил, то всего и вспомним неуклюжую, широкую и коротенькую фигуру, разлапистое лицо с толстым круглым носом и всегда красными щечками, волосы, торчащие так, будто кто-то долго и неумело кромсал их садовыми ножницами, и маленькие, глубоко сидящие медвежьи глазки. А вот какого они цвета были — уже не вспомнить. Кепкеру тут верить не стоит, он, хоть и был больше двадца-

ти лет соседом Нила по квартире, а все равно совет — недорого возьмет. Имеет же он наглость утверждать, что Нил похож был на татарина, в то время как Петр Герасимович не больше походил на татарина, чем сам Кепкер, а тот уж известно, на кого похож...

Итак, маленький, широкий, неуклюжий. А дальше что? Например, как одевался? Не запомнилось. Вроде было это что-то серое, неприметное, какие-то рубашки с глухо застегнутыми воротниками, выцветшие, непонятного цвета пиджаки, штаны без складок. Где он это все брал? Было ли оно когда-нибудь новым? Висел ли в шкафу, в его комнате, выходной костюм? Наверное, висел — ведь в чем-то похоронили его, не в грязных же обносках!

Работал Нил на разных работах — и слесарем, и грузчиком, и носильщиком на Витебском вокзале. Даже пенсию какую-то заработал, на нее и жил последние годы, и не такая уж маленькая была эта пенсия, вполне хватало выпить, на что бы там ни намекал этот Кепкер. Сам он, видимо, считает, что можно заработать все деньги на свете, а, заработав, взять с собой в гроб, о котором ему уже совсем не вредно иногда подумать, ввиду преклонного возраста.

А Петр Герасимович денег не копил, тратил в первые же дни после пенсии все до копейки, а потом уж существовал на то, что брал у Кепкера в долг. Мог бы, конечно, Нил и подработать, если бы захотел, соседи по лестнице вечно приглашали: то кран починить, то водогрей, то замок открыть, когда ключ в квартире захлопнут. Нил умел чинить краны и открывать замки не лучше нас с вами, однако почему-то считается, что, если человек ходит в старом пиджаке, небритый и к тому же в нетрезвом виде, так его сам бог велел приглашать для починки водопровода.

Денег за свою работу Нил никогда не брал. Из принципа. И поэтому никто его не ругал, если из крана после ремонта начинала фонтаном хлестать вода во все стороны,

а открытый с помощью топора замок приходилось назавтра менять на новый.

Кепкер Борис Михайлович эти принципы своего соседа по квартире, или, как он выражался, — жильца осуждал и называл Петра Герасимовича босяком, что так же не соответствовало действительности, как и хамские утверждения Нила насчет покойной матери Кепкера, с которой Нил не то что — чего, а никогда не был и не мог быть даже знаком, так как жила она и умерла в местечке Белыничи Могилевской области. Нил же провел свое детство и раннюю юность в Тверской области, а остальные годы прожил в Ленинграде. Встретиться с матерью Кепкера во время войны он также не мог никак: во-первых, не был никогда на Белорусском фронте, а во-вторых, если бы и был, то не застал бы старуху в местечке, да и самого местечка не застал бы, сожгли его немцы в сорок первом году и жителей всех расстреляли. А Нила призвали в армию в сорок втором.

Где был в это время сам Кепкер — неизвестно. Он-то, понятно, говорит, что служил в танковых войсках лейтенантом, и даже надевает девятого мая какие-то ленточки и ходит с ними на Марсово поле якобы на встречу с однополчанами<sup>4</sup>. Пусть себе ходит, не пойман — не вор.

Петр Герасимович, простая душа, всем этим рассказам Кепкера верил, покупал в День Победы на свои бутылку, и, когда под вечер Кепкер возвращался домой и кричал на всю кухню тонким голосом: «Сержант! Стаканы!» — Нил вытягивался перед ним, точно перед старшим по званию, и стаканы всегда приносил.

В обычные дни Кепкер не пил — берег свое драгоценное здоровье и деньги, которые собирался унести с собой в могилу.

Не станем утверждать, что Кепкер воевал обязательно в Ташкенте или Алма-Ате<sup>5</sup>, у него, будто, и справка о ранении есть, а вот насчет кота Барбариса — все вранье: и то, что Нил поймал его в чужом дворе с целью

сдать в контору, специальную для таких дел, как пушно-го зверя, а потом будто оставил — дешево платили, и то, что звали кота Васькой, и что кормил его Петр Герасимович плохо, и ему, Кепкеру, приходилось, дескать, покупать для кота мясо чуть ли не на рынке — из жалости. Нил кота Барбариса очень любил и уважал. Кот для него до последних дней оставался самым близким и родным другом, и последние мысли Петра Герасимовича были об этом коте, о чем вы еще догадаетесь.

Первая встреча Нила с котом Барбарисом произошла зимней ночью, когда Нил проснулся на своей раскладушке от холода. Холодно было потому, что пальто, которым накрывался Петр Герасимович вместо проданного вчера за трешку байкового одеяла, совсем не грело, форточку он закрыл неплотно, а теперь ее распахнуло ветром, и даже снежинки влетали в комнату и не сразу таяли. Петр Герасимович встал с раскладушки и босиком, с закрытыми глазами, на ощупь зашлепал к окну. Когда он дотронулся уже до форточки, там, на улице, кто-то вдруг зашипел. Квартира, где жил Петр Герасимович, была на первом этаже, который тщеславный Кепкер называл «бельэтажем». Окна этого «бельэтажа» — совсем невысоко, ниже человеческого роста, поэтому Кепкер настоял, чтобы приколотить к форточкам железную сетку — от воров. Так вот, за этой сеткой озябший Нил увидел на фоне метели вцепившегося в раму серого кота. Увидел и сразу заплакал, потому что вид у кота был озябший, как у самого Нила, а решетка, их разделявшая, показалась тюремной. Оба были в тюрьме — кот по ту сторону окна, а Нил — по эту.

И тогда Нил со всхлипом стал рвать окно на себя, отодрал бумагу, которой оно года два назад было заклеено на зиму, открыл, наконец, обе рамы и впустил кота в комнату вместе с морозом.

Потом они оба лежали на раскладушке под пальто, и сделалось гораздо теплее — кот терся лбом о Нилов живот.

А наутро Нил назвал кота Барбарисом и ни в какую не соглашался на другие имена, тем более на Василия, несмотря на угрозы Кепкера и крики, что держать животных в коммунальной квартире можно только с обоюдного согласия всех съемщиков. Петр Герасимович на это только напомнил Кепкеру, какой он ответственный съемщик, и предложил выехать на землю предков, но в тот же день они помирились, и кот остался Барбарисом, Кепкер же при Ниле звал его просто «Кыс-кыс-кыс», а с глазу на глаз — Васькой.

С появлением Барбариса у Нила завелись новые заботы, он даже приделал на свою лампочку бумажный абажур, а когда настало лето, наладился ходить на рыбалку. Он и раньше любил отдыхать у Петропавловки — там, на берегу реки Кронверки, как раз напротив зоопарка, есть поляна, где гуляют с собаками<sup>6</sup>. Растут на этой поляне старые тополя, а под ними, в тени, на мягкой, как в деревне, траве можно лежать и слушать, как воют на той стороне невидимые звери, кто-то рычит, кто-то даже хрюкает — наверное, бегемот, которого Нил никогда в жизни не видел. Хоть и прожил в Ленинграде чуть не полвека, а в зоопарке этом почему-то ни разу не был.

Нил приносил с собой на берег в кармане пиджака «маленькую», выпивал ее, не торопясь, на траве, лежал там, сколько хотел, глядя в небо и слушая звуки с того берега, а потом вставал и шел беседовать с владельцами собак.

Владельцы были люди гордые, но Нил уже знал, как с ними разговаривать.

— У меня точно такой был, — начинал он робко, подойдя к собаке. — Рексом звали. И тоже — волкодав, только хвост крючком. Медалист!

— Это — доберман-пинчер, — смягчался хозяин собаки, — не надо гладить, может покусать.

Но собаки никогда не кусали Нила.

Теперь, когда у него появился свой кот, Нил уже не заигрывал с чужими собаками. Выпив «маленькую»

и подремав минут сорок, шел он через мостик на набережную, устраивался у парапета, вынимал банку с червями, насаживал и ловко закидывал удочку. Он не старался забросить далеко, где плавали, наверное, большие рыбы. Ерши и мелкие окуни лучше всего ловились у берега, среди шевелящихся зеленых водорослей и ярких конфетных бумажек.

Нил был удачливым рыболовом — у него клевало в любое время дня и в любую погоду, вопреки всем правилам. И перед дождем, и в жаркий полдень, когда, всем известно, никакая рыба не ловится, он ухитрялся натаскать полный полиэтиленовый мешок разной мелочи, садился в автобус и ехал к себе домой, где ждал его голодный Барбарис.

— Шестьдесят лет прожил — ума не нажил, — каждый раз говорил Кепкер, завидя Нила с его мешком, — лучше бы делом занялся!

Каким таким делом должен был, по его мнению, заниматься Нил, Кепкер никогда не объяснял. А Нил не спрашивал. Не спрашивал он никогда, и чем занимается сам Кепкер, так что об этом до сих пор ничего не известно, а неплохо бы выяснить...

Бывает — вдруг сорвется с дерева до времени пожелтевший листок и, вздрагивая в воздухе, медленно начнет падать. От чего он засох и слетел в июне, от болезни, что ли, какой, — кто его знает, а только смотришь на него и думаешь: вот — лето на дворе, жара, ох, как далеко еще до осени, все листья на дереве еще здоровые, зеленые, но не успеешь оглянуться, — пожелтеют, посыплются друг за дружкой. Ни один листок не уцелеет, все упадут.

Так думал и Нил каждое лето, замечая первый желтый лист, летящий к земле.

А сейчас таких листьев было уже порядочно. Стайками плавали они в лужах, плоские, не успевшие засохнуть и свернуться, а лужи были еще по-летнему светлыми, голубоватое летнее небо отражалось в них.

Нил шел по улице, оставив за спиной нелюбимые Воинову и Каляеву. Был он в этот ранний час очень трезвым и тихим, вечером, как надумал пойти, рюмки не выпил, а сегодня побрился, для чего-то надел зимнюю шапку — другой не нашлось — и вот, отправился.

Непривычно хотелось есть — с утра всегда, наоборот, пить хотелось, а в голове было как-то странно: гулко, точно в пустом, высоком доме.

Редко Нил на улице смотрел по сторонам. Когда трусил в магазин, перебирая в кармане рубли и мусоля мелочь, бывал он деловитым и озабоченным, прикидывал, на что хватит — на большую, на маленькую или на красное, а бывало, только на пиво. Из людей всего и видел он — много ли народу у дверей, да есть ли кто знакомый.

Сегодня Нил глядел во все глаза. Приличные люди, одетые, как Кепкер в выходной, шли ему навстречу с большими портфелями, и Нил подумал, что, наверное, это все начальники, чистые такие, гордые, как владельцы собак. А многие, особенно женщины, вели за руки маленьких детей, и тогда Нил вспомнил, что — вот смех! — он-то за всю жизнь ни разу не ходил по улице с ребенком за руку. Подумал — и не то, что себя пожалел, а как-то удивился: надо же — старик ведь, сколько лет прожил, а смотрите, ни с портфелем походить не пришлось, ни детей заиметь.

Правда, у Кепкера вот тоже — никого, но Кепкер — другое дело, кто он такой — человек без роду и племени.

И еще внимательнее стал он глядеть по сторонам, на дома с красивыми балконами, на блестящую заграничную машину, на заспанную цыганку, ни свет ни заря уже продающую цветы.

Хоть и прожил Нил почти всю свою жизнь в городе, а привык почему-то считать себя человеком деревенским, даже часто спорил с Кепкером — что главное, город или деревня. И всегда говорил, что, конечно, деревня — она кормит.

Кепкер тут же начинал болтать про технику и промышленность, только кто будет слушать его трепотню — не кепкеры землю пашут, не они и на заводах у станков уродуются.

А сегодня утро было особенное, с этими голубыми лужами и листьями в них, сегодня и дома были особенные, нарядные, и почувствовал Нил, что любит этот город и почему-то жалеет его, и всех людей, даже тех, важных, с портфелями. И Кепкера жалеет за то, что не дано ему вот так, хозяином, смотреть на лужи и деревья и радоваться, потому что чужие они ему, горемыке. И еще Нил почувствовал, что, наверное, скоро умрет. Это не было страшно, а было, наоборот, как-то спокойно, будто так и надо. Пора. Только еще жальче сделалось, точно без него одни останутся без присмотра и пропадут все эти улицы и дома с балконами.

Нил еще быстрее пошел, пересек трамвайную линию, протопал по тихому переулочку, такому узкому, что хотелось боком идти, а на углу вдруг остановился. Шел от самого дома и не думал, как подойдет, как в дверь войдет, да зачем все это, шел себе — и только. А тут застеснялся и ни шагу. Постоял, постоял, посмотрел через улицу на зеленые купола, на кресты золотые<sup>7</sup>, стащил с головы шапку и волосы пригладил пятерней. Хотел было перекреститься, даже руку ко лбу поднес, да опять чего-то застеснялся и боком-боком назад в переулок — а вдруг там, сзади, где-нибудь в подворотне, стоит и ехидно ухмыляется Кепкер?

Если вы подумаете, что после этого прекрасного утра Нил бросил пить и занялся раздумьями, то сильно ошибетесь. Пил он по-прежнему, если не больше, и с Кепкером по-прежнему ругался, но только как пожалел тогда дома и улицы, так же, еще даже сильнее, жалел теперь своего кота Барбариса, все думал, что станет со зверем, когда его, Нила, зароят в землю. Пытался он заговорить на эту тему с Кепкером, но тот ничего умнее не придумал, как замахать руками и закричать:

— Болтает! Сам не знает, что болтает! Он, полюбуйтесь на него, собрался умирать! Меньше надо пить, вот что я вам скажу!

Ничего не понял Кепкер. И Нилу пришлось плюнуть на пол и помянуть опять недобрым словом кепкеровскую старуху-мать, отдавшую концы в местечке Бельнички.

Конечно же, эта история сентиментальная. Но читатель вовсе не обязан распускать нюни — ох, дескать, какая жалость: доживают свой век в каком-то паршивом домишке, наверное, без удобств, два одиноких, заброшенных старика. Мол, бедные, несчастные, добрые старики!

Нечего их жалеть, ничего в них нет хорошего. Что же до паршивого якобы домишки, то, если бы квартира, в которой проживали наши герои, признана была непригодной для жилья, их давно бы поставили на очередь, а раз не поставили, значит, жилось им не так уж и плохо.

А главное, посудите сами: один — алкоголик, подонок, валяющийся на голой раскладушке в обнимку с грязным котом, другой — неизвестно кто, может быть даже подпольный валютчик<sup>8</sup>, с отвратительным акцентом и вечной перхотью по плечам. Нашли, кого жалеть!

Если же вы вздумаете умилиться их дружбой — ох, хоть и повздорят старики иногда по пустякам, а живут все-таки почти душа в душу рядом уже двадцать лет, вот тогда вы опять попадете впросак.

Какое там «душа в душу»! Пожалуйста, вам пример: уже осенью, в довольно-таки скверную погоду, возвращаясь вечером с работы, Кепкер обнаружил Нила спящим около парадной — и что вы думаете? Поднял? Отвел домой? Или хотя бы попытался разбудить? Не знаете вы Кепкера! Он спокойненько вошел в квартиру, разогрел себе обед, а, пообедав, сел к телевизору — смотреть «Семнадцать мгновений весны»<sup>9</sup>. И только тут он подумал, что надо бы вынести мусор, отодрал себя от стула, взял в кухне помойное ведро, почти полное, и вышел на улицу.

Нила он застал на том же месте — у крыльца. Тот уже не спал, а сидел, прислонившись к стене, и внимательно всматривался в вечернее небо, робко выглядывающее из-за крыши высокого дома напротив.

Кепкер, поджав губы, прошел мимо, даже не взглянув на Нила, свернул под арку во двор, погромел там ведром и той же неторопливой походкой вернулся обратно.

— Слышь,— окликнул его Нил с земли,— я сон сейчас видел.

Кепкер не сказал ни слова, еще больше поджал губы, а уголки рта опустил вниз. Но все-таки он остановился, стал иронически смотреть вниз, на Нила, и даже приподнял одну бровь.

Тогда, держась за стенку, Нил поднялся и, оглянувшись по сторонам, сказал Кепкеру на ухо, что только что видел во сне самого Троцкого.

— Как живой,— возбужденно шептал Нил, дыша водкой,— речь говорит, весь трясется, как зараза, а тут...— Нил ткнул пальцем прямо в губы оторопевшему Кепкеру,— тут — слюна!

Кончилось «бабье лето», кругом почернело, деревья стояли голые, по ночам за окном Ниловой комнаты стучал и стучал настырный дождь, не было покоя ему ни на минуту, будто и его тоже мучила бессонница, и он не мог закрыть глаза до самого рассвета, когда окно становилось сперва серым, а потом белым, и делалось видно, какое оно грязное, все в потеках.

Нил не пытался больше разговаривать с соседом о смерти, Кепкер ничего не понимал и боялся, и правильно боялся — их нации предстояло после смерти гореть на вечном огне.

Утром, лежа с котом на раскладушке, Нил усмехался, слыша в коридоре мелкие шаги Кепкера, шум воды и позвякивание чайника на кухне. Жадному Кепкеру не лень было вставать ни свет ни заря и тащиться под дождем через весь город — зарабатывать деньги, которые

он и тратить-то как следует не умел. И только однажды Нил вдруг подумал: а что, если не за деньгами бега-ет на работу Кепкер, а — от смерти? Вот так — бега-ет, бега-ет мимо нее, как бы при деле, авось — и обманет. «Зачем, — скажет смерть, — такого брать, он занят. Дру-гое дело — Нил, у него для всего время найдется, а уж для смерти-то и подавно». И опять ни капельки Ни-лу не стало страшно — чего уж, человек он рабочий, простой, на фронтах воевал, не может быть, чтобы после смер-ти его как-нибудь обошли и обидели. Что именно там будет, он не думал, просто не боялся — и все. И даже с облегчением размышлял, что пальто драное, которым они с Барбарисом накрывались и в котором, останься Нил в живых, предстояло бы ходить еще зиму, что пальто это зимой ему уже не понадобится.

Вот только кот...

Как-то в конце октября дождь взял отгул. Целый день светило солнце, небо было, хоть и холодным, а синим, с утра подморозило, и под ногами похрустывали лужи. Нил вышел из дома, держа на груди, под пиджаком, ко-та Барбариса, кот спал. Он дрых, пока Нил поднимался с раскладушки, не просыпался и теперь, посапывал даже под пиджаком, тяжелый и горячий.

— Дрыхни, зараза, — сказал коту Нил, чтобы не дать себе расчувствоваться.

Эту столовую он приглядел и наметил давно. Окна ее были низко, форточки никогда не закрывались, и из нее на улицу шел вкусный пар. Было в столовой всегда чисто, на столиках — цветы в глиняных вазах, а у кассы сидела на табуретке толстенная бабища в белом колпаке. Лицо бабищи казалось грустным и не злым, и Нил, глядя на нее, поверил, что такая, наверное, никого не сможет обидеть.

Сейчас, дойдя до столовой и остановившись перед фор-точкой, он заглянул внутрь и увидел: бабища громоздилась на своем месте и зевала. Тогда Нил вытащил из-за пазу-хи спящего кота, встал на цыпочки и просунул Барбариса

в форточку. Очутившись за стеклом на подоконнике, кот ничуть не удивился и не испугался, начал потягиваться, Нил же немедленно повернулся к окну спиной и бегом заковылял обратно. Напился он в тот день так, что не появился дома до утра, приходил в себя в вытрезвителе. Вернувшись домой в дурном настроении, встретил он на пороге квартиры Кепкера.

— Ходит! — взвизгнул Кепкер. — Хазер<sup>10</sup> пьяный! По милициям его ищи!

Кто такой этот «хазер», Нил, конечно, не знал, наверное, сволочь какая-нибудь, но ругаться ему не хотелось, просто сил не было, чувствовал себя слабым и разбитым, будто не в вытрезвителе ночь провел, а на каменном тротуаре. Так что пожелал Нил Кепкеру валить к себе домой, на землю бедованную, где его ждут не дождутся такие же, как и он, умники, а не вязаться тут к рабочему человеку, хозяину своей страны.

Все это Нил сказал Кепкеру как-то вяло, без удовольствия, да и Кепкер ничего не стал орать насчет бедованной земли, ему было некогда: торопился на работу — обманывать свою смерть.

А за Нилом смерть явилась ночью, перед самыми Октябрьскими праздниками. С вечера хлопали на дожде мокрыми полотнищами темные от воды флаги, строго смотрели со стен огромного дома на Литейном большие начальники<sup>11</sup>. Кепкер, ворча, мыл на кухне газовую плиту, а Нил и выпил-то всего-ничего — бутылку бормотухи, — поллитру на завтра берег, не будут ведь продавать, гады. Выпил и сразу заснул, а утром его уже не было.

Похороны устраивал Кепкер. С листом бумаги ходил по квартирам, всех записывал и везде повторял одну и ту же фразу:

— Прошу посылить принять участие в погребении товарища Нилова. Кто чем может.

Кто давал двадцать, кто — тридцать копеек, а кто даже рубль. Денег набралось, прямо скажем, маловато, но, то ли

жилконтора помогла, то ли Кепкер свои доложил, а только похороны получились совсем как у людей. Даже венок был с лентой, от старушек из домового комитета, тех самых, что как раз год назад ходили в милицию с заявлением, чтобы выселить Нила в качестве алкоголика на сто первый километр<sup>12</sup>. На ленте золотыми буквами было написано:

«Петру Герасимовичу Нилову от группы товарищей».

Так вот и стал с этого дня Нил ПЕТРОМ ГЕРАСИМОВИЧЕМ НИЛОВЫМ 1906—1973 и останется им теперь надолго, до того самого дня, когда сроеет бульдозер на кладбище его могилу как непосещаемую. Но это случится еще не скоро, после смерти Кепкера, а тот живучий.

А кем они оба будут потом, когда исчезнет и холмик с надписью «Борух Мордухович Кепкер»?.. Как их будут называть, и нужны ли там вообще имена? Как встретятся и узнают ли они друг друга, когда тела обоих станут уже землей — одной землей и для Нила, и для Кепкера, общей их «бедованной землей»?

Вот какие странные вопросы приходят в голову иногда, но ответа на них искать не нужно. Пусть себе падают нам под ноги среди ясного лета неизвестно от какой горести засохшие листья, вовсе не обязательно видеть в этом нормальном явлении природы какие-то дурные, мистические знаки. Не нужно также попусту верить слухам, слухи распускают у нас не со зла, а от нечего делать, от скуки, чтобы было, что обсудить, сидя вечером у ворот. Особенно нельзя слушать старух, будь они даже членами домового комитета. У старух — жидкие мозги и слепые глаза, им всегда трезвый человек с перепугу видится пьяным. Так что все разговоры, что, мол, Кепкер стал выпивать, — чепуха и выдумки. Во-первых, известно, что они не пьют, а потом — как же может он выпивать, когда так следит за своим здоровьем и трясется, что попросят с работы на пенсию?

Поминки действительно были. И девять дней, и сорок. Все как полагается, тут Кепкер молодец, все организовал,

не посмотрел, что у них у самих этого не принято. А на поминках только дурак не пьет или скотина, которая не уважает покойника. Выпил с жильцами и Борис Михайлович, выпил и вел себя вполне прилично — не пел, не плясал и не дрался. По поводу того, что он будто бы плакал, можно смело утверждать, что это тоже вранье. Чего ему плакать, скажите, пожалуйста? Жалеть пьяницу, который за двадцать лет совместной жизни в коммунальной квартире ни разу не вымыл места общего пользования? Алкоголика, вечно выклянчивающего в долг? Нет, деньги Нил всегда возвращал аккуратно, в срок, тут ничего не скажешь, но разве это повод, чтобы плакать на его поминках?

Самое-то смешное, что кот Барбарис зимой вернулся. Шел как-то Кепкер из булочной и на лестничной площадке споткнулся о мягкое. Кот заорал, Кепкер выругался, а потом пригляделся в темноте и узнал Нилова любимца. Обрадовался Кепкер не слишком, но в квартиру кота пустил, и даже налил ему молока, правда, вчерашнего.

Хотелось бы тут написать, что Кепкер, ставший после смерти Нила чувствительным и добрым стариком, с радостью оставил у себя осиротевшего кота как память о покойном соседе и друге, но, увы, — это было бы неправдой. Кот, действительно, живет пока у Кепкера, живет уже третий год, с улицы видно, как лежит он, толстый, точно подушка, на подоконнике около горшка с кривым кактусом и дремлет. Но каждый раз, когда Кепкер несет в сетке рыбу и старухи, вечно торчащие на скамейке, ехидно спрашивают его: «Котику?» — Кепкер настаивательно им отвечает:

— Я животных не люблю. Обижать их и могить голодом не буду, а любить — тоже не за что. Животное — это животное, хотя бы и Багбагис. А человек — это человек.

Зануда он все-таки, этот Кепкер!

Еще говорят, что в новой пятилетке дом пойдет на снос. Жильцов всех выселят в новые районы, предоставят, кому

положено, отдельные квартиры, а дом сломают до основания. А затем выстроят на его месте новое, просторное здание из стекла и бетона, и придут в это здание новые хозяева, серьезные, строгие люди с портфелями, гораздо более подходящие, чтобы жить и работать в серьезном районе около улиц Воинова и Каляева.

Землю, где растут сейчас возле осевшей стены дома лопухи и одуванчики и другая сорная трава, всю перепашут, перелопатят и посадят там луковицы тюльпанов.

А может, и земли никакой не останется, всю ее загорит бетонное здание, до самого тротуара.

Впрочем, чего гадать и слушать бабы пересуды! Как будет — так и будет.

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— Мама! Да перестань, наконец, сосать воротник! И поднимись, я отодвину кресло!

Надежда Кирилловна начинает вставать. Она крепко упирается в подлокотники, и на руках сразу вспухают толстые синие вены. Теперь — ухватиться за край стола, выпрямить спину. Ну, вот и все. Дочь Наталья двигает кресло в угол, смахивает с него невидимые крошки, оправляет на старухе платье.

— Все уже измято! — ворчит она. — Ничего нельзя надеть!

Старуха топчется, держась за стол, и тяжело дышит. Дочь Наталья берет ее за плечи, ловко втискивает в кресло.

— Мне не нравится это платье! — вдруг громко произносит старуха. — Носить такое платье — дурной тон. Дай мне мой пеньюар!

— Мама! Прекрати свои капризы! Придут гости, нельзя тебе — в грязном халате.

Дочь ходит по комнате широкими шагами и все что-то стряхивает, передвигает, а Надежда Кирилловна водит за ней глазами.

«Какая она некрасивая. И... старая... — с удивлением думает Надежда Кирилловна. — Я не была такой в юности. Сколько ей лет? Я родила ее... в пятнадцатом году?»

— Сколько тебе лет? — спрашивает старуха.

— О господи! — Наталья ударяет тряпкой по блестящему боку ужасного нового буфета. — Хоть ради дня рождения — помолчи!

Старуха недовольно жуёт губами.

«Да-а... День рождения... Сегодня — мой день рождения. Из-за этого — все. Это дурно сшитое платье. Кухаркино платье! И уборка. И коробка на столе. Коробку принес утром сосед, а Наталья сразу отобрала».

Старуха опять пытается встать.

— Ну что еще?! Чего тебе не сидится? — кричит Наталья.

— Мой шоколад... — бормочет старуха, но тихо, чтобы дочь не услышала, и снова опускается в кресло. Она устала.

Наталья обводит глазами комнату, кладет тряпку и снимает передник.

— Ничего не трогай, — хмуро говорит она матери, — я за хлебом. Где моя сумка?

Сумка стоит за старухиным креслом. Старуха протягивает руку, нащупывает застежку-«молнию» и двигает ее взад-вперед. Потом смотрит на сумку и тихо смеется.

«Молния» похожа на Натальин рот — вот что! Если Наталья злится, она, когда говорит, так же не до конца разжимает губы, только сбоку. Старуха чуть-чуть приоткрывает застежку.

— Что же ты молчишь? Я ищу, а она молчит. Играет! О боже мой!

Старуха испуганно задерживает «молнию», складывает руки на животе и зажмуривает глаза, будто спит. Но на самом деле она видит из-под век, как дочь берет из ящика письменного стола кошелек, как шагает к двери своей некрасивой походкой.

«Совершенно не воспитана. Не умеет себя держать, оттого и женихов нет», — думает старуха.

— Натали! — зовет она, но дочь исчезает за дверью.

«Почему не взяли ей хорошую гувернантку? Какой она была маленькая? Не помню! Ничего не помню».

Память — как плотный, липкий ком: только ухватишь какую-то ниточку, потянешь, а та, точно резиновая, вырвется, и нет ее. Старухе кажется, что Наталья всегда была такой, как сегодня, — высокой, костистой, старой и злой. Многие годы исчезли там, внутри плотного серого кома. Там Натальино детство и юность, там — совсем недавнее, вчерашний день.

«Но ведь я — не такая? В этой комнате, среди уродливой мебели, которую так любит Наталья, я — не такая. Почему?»

Старуха морщит лоб, медленно думает, шевелит на коленях опухшими пальцами.

Петелино. Дом на холме. Два пруда — большой и маленький. В маленьком вода покрыта ряской, там живут головастики. Их можно ловить сачком. Вечером в саду очень темно и пахнет маттиолой. Она некрасивая — мелкие крестообразные лиловые цветочки. Рояль на террасе и мамин голос. И Муся, сестра, красавица. На гимназическом балу Муся всегда в первой паре...

Старуха опять начинает возиться в своем кресле, боком выползает из него и — от стола к книжной полке, от полки — к спинке стула, от стула... Вот он, шкаф. Висят друг за другом в затылок одинаковые безвкусные Натальины платья. Старуха сдвигает их в угол. Не здесь. На полках — стопки белья, какие-то свертки. Коробки нигде нет. Руки дрожат. Стопки клонятся набок, рушатся. Где же коробка?

— Выбросила. Она могла, — шепчет старуха и начинает вытаскивать вороха одежды. Обеими руками. С полки — на пол. И еще на пол! А нижнюю полку не достать. Она пытается опуститься на корточки, ноги не слушаются, и старуха грузно садится перед шкафом среди смятого белья. Коробка! Никуда она не делась! Письма лежат, аккуратно перевязанные ленточкой. Эти — от Сержа. Как

их много! Дерзкий мальчишка! Вообразил, будто... ну да Бог с ним... От Анастасии. Анастасия умерла. А это — от Муси, все остальные — от Муси.

Старуха разворачивает письмо и читает. Очки ей не нужны, она прекрасно видит до сих пор. Она читает внимательно, несколько раз возвращается к началу, смеется чему-то, потом становится грустной, опускает письмо и долго сидит неподвижно...

— Нет! Я с ума сойду! Это просто невыносимо! — в голосе Натальи слезы. — На двадцать минут вышла — и на тебе!

По полу в беспорядке раскиданы ее рубашки, кофточки, полотенца. Мебель сдвинута. Посреди комнаты опрокинутый стул. Матери в кресле нет. Она сидит, согнувшись, у письменного стола и что-то пишет, даже не обернувшись на Натальин крик. Наталья идет к столу.

«...Не печалься, родная моя Мусенька,— читает она,— все минует. Ведь ты еще так молода. В университет примут тебя непременно, верь мне. Желаю тебе, дружок, всего...» Карандаш падает и катится по столу. Старуха роняет голову на грудь.

Серый плотный ком вдруг начал пухнуть, раздулся и треснул посередине. И сразу в раскрывшуюся трещину хлынул день, синий и яркий, заблестели стекла террасы, полезли пахучие ветки, горько пахли и тыкались в лицо мокрые грозди черемухи, а щель делалась все шире, открыла дорогу к часовне и дальше, к лугу, за которым холмы, поросшие сизым лесом, а за холмами и вовсе неизвестно, что, и это прекрасно, потому что сегодня мне исполнилось семь лет, и все еще впереди будет — и за холмы пойдем с Мусей ягоды искать, и в Петербург зимой поедем, а там — елка.

Серого кома и вовсе не стало, не стало и комнаты, где съежился в углу безобразный Натальин шкаф, съежился и притих, потому что такой безобразный. А мамин голос все пел и пел, и рояль плескался, как море тогда

в Ялте, а потом и море тоже было здесь — шумело, дышало, поднималось и падало.

Наталья подхватывает мать под мышки и переваливает в кресло. Она бредет по комнате; тяжело дыша, поднимает раскиданные по полу вещи и кое-как запихивает в шкаф. Моря она не видит. Ни пруда, ни холмов — ничего. Зато она видит в зеркальной дверце шкафа свое отражение и усмехается, некрасиво кривя рот. Потом выходит из комнаты, но вскоре возвращается, неся перед собой вазу с цветами. Цветы невзрачные — мелкие лиловые крестики. Сейчас они свернулись и кажутся увядшими, но вечером раскроются, и тогда комната наполнится терпким горьковатым запахом.

Наталья ставит вазу на обеденный стол.

## ЫРВЩ

На кувалду Сергей Фомич не похож. Фигура у него шуплая, цвет лица довольно прозрачный, голову он все время норовит втянуть и спрятать. Улитин. Вот как бы ему называться, если бы в жизни все складывалось так, как нам хочется.

Какую жизнь хотел для себя Сергей Фомич Кувалдин, про это он никому не рассказывал, разве что одной вороне, но она улетела. Те же, кому пришла бы охота наблюдать за ним со стороны, увидели бы малопримечательную личность, в пятьдесят с лишним лет работающую делопроизводителем в ЖЭКе и одновременно там же — в должности дворника. Если охота разузнавать и тут бы не пропала, то можно было бы легко выяснить, что уборка снега и мусора во дворе — главное его занятие, а делопроизводство — так, полставки. Да, собственно, и делопроизводства-то никакого не было, было создание дыр с помощью дырокола. Дыры осуществлялись в важных бумагах и справках, которые необходимо было поскорее поместить в картонный скоросшиватель — для постоянного хранения на века.

Кувалдин, как непременно нужно написать в его характеристике, случись в ней надобность, был честен и добр, характер имел уживчивый, к обязанностям своим относился прилежно, в быту скромн, морально устойчив.

Однако всего должно быть в меру, а этот человек даже на улицу в будний день, не говоря о праздниках, выходил незаметно, бочком, спрятав лицо в воротник или шарф, смотрел безбилетником или как гость, которого силком затащили в час ночи без приглашения в совершенно чужую семью. По людным улицам Сергей Фомич вообще избегал ходить, всегда старался прошмыгнуть в первые попавшиеся ворота, чтобы как-нибудь проходными дворами, переулками да закоулками добраться до места, куда ему надо. А если уж закоулками никак, то с улицы не один раз забьется в темную парадную и стоит там, весь съезжившись, пока не прогорланит мимо какая-нибудь особенно победоносная компания.

Почему он выбрал малопrestiжную и довольно-таки тяжелую работу дворника? А потому, что на дворника редко когда обращают внимание, не всматриваются в него и не изучают, как не всматриваются в дождь и не изучают вывеску «изготовление замков». Какое нам дело до дворника, если лед во дворе добросовестно сколот и если мы не идем грабить квартиру профессора, коллекционирующего старинные монеты?

Как Сергей Фомич проводил свою юность, я не знаю. Знаю (случайно) немного о его детстве, об учении в начальной и средней школе. Рассказывать об этом подробно, поверьте, не стоит, но упомянуть все же придется, без этого не обойтись. Дело в том, что, сидя на уроках с совершенно отсутствующим, а как утверждала учительница Василиса Ефимовна, — тупым и наглым видом, Сережа Кувалдин, вместо того, чтобы овладевать знаниями, во всех своих тетрадях рисовал одну и ту же дурацкую картинку: никому не понятный город с дворцами и башнями, над которыми простиралось, сколько хватало бумаги, ясное голубое небо с мордастой — днем-то! — луной посередине. Выражением лица луна чем-то напоминала учительницу Василису Ефимовну.

Лоботрясное малевание города с башнями и разгильдяйские взгляды, время от времени бросаемые в окно, в конце концов привели к тому, что ученик Кувалдин, промаявшись в школе до шестого класса, кое-как научившись писать и считать (ворон?), — обращаю ваше внимание, это важно, — навыком чтения так и не овладел, так что не мог разобрать даже слов, написанных собственноручно на страницах собственной тетради.

Во время войны Сергей Фомич был призван в армию, служил он в пехоте, и каждый, кто увидел бы рядового Кувалдина, выглядывающего, точно из норы, в щель между краем каски и воротником шинели, сразу бы понял, что этого человека завтра же, а вернее, уже сегодня к вечеру обязательно убьют, потому что кого же, если не его, тогда убивать на полях сражений? Однако можете смеяться, сколько хотите, но его не убили, а всего-навсего слегка контузили, что он, кажется, не сразу и заметил, а окружающие и вовсе не заметили<sup>1</sup>.

Кувалдин и после контузии остался таким же, как был, разве что прекратил рисовать на чем попало свой город с нелепыми башнями. Да ведь и пора было прекратить, сколько можно!

В общем, ко времени, которого касается наш рассказ, Сергей Фомич был уже далеко не молод, ходил зимой в ватном пальто с воротником из кролика под котик, а во что одевался летом — не имеет значения, ибо речь пойдет о зиме. Семейное положение его было — холост, потому что — кто за такого пойдет? Да ему и самому никогда не пришлось бы в голову подобное нахальство; проживал с восьмидесятилетней матерью, пытался, как уже говорилось, передвигаться проходными дворами и еще любил ворон.

Можно удивляться: ворон? Почему именно ворон? Но согласитесь, даже такой незначительный работник, как Кувалдин, имел, в самом деле, право свободного выбора

причуды, пусть странности, словом, чего-то такого, что он не обязан никому на свете объяснять!

Вот и мы объяснять ничего не будем, а вспомним лучше один эпизод: стоит Сергей Фомич как-то раз на углу страшной, потому что — многолюдной улицы, возникшей посередине его пути. Миновать эту улицу дворами не получается, обойти переулками — далеко, и вот он стоит, точно одинокий путник на берегу быстрой реки в ледоход, не решаясь ступить на тротуар, по которому мчатся, извиваясь и закручиваясь, людские потоки. Он приник спиной к водосточной трубе и убито глядит на этот поток, в настоящий момент волокущий беспомощного южного человека в белой кепке, унося его в какие-то дали и незнакомые местности. Чувствуя ужас этого человека, соображая, чем бы ему помочь, и уже понимая, что помочь нечем, Кувалдин не сразу услышал шебуршанье, раздавшееся в водосточной трубе прямо над его головой.

Южный человек, вращаясь, исчез за поворотом, и только тогда Сергей Фомич осознал, что в трубе происходит нечто трагическое. Там скреблось, колотилось, трепыхалось и поскрежетывало; кто-то, выбиваясь из сил, пытался ползти вверх, но срывался, оскальзывался и опять начинал беспорядочно биться. Кувалдин, который самолично никогда бы не полез карабкаться вверх внутри трубы, даже приведи его судьба туда провалиться, никак не мог взять в толк, что тут делать. Робко оглянувшись по сторонам, он встряхнул загадочную трубу, сперва слабенько, потом сильнее, отчего скрежетание переместилось ниже. Теперь оно слышалось где-то между третьим и вторым этажами, а всего этажей было пять. Кувалдин, решившись, вцепился в трубу и трянул ее так, что внутри сперва стало совсем тихо, потом что-то бешено заколотилось и, скрежеща о железо, съехало вниз. И вот, царапая когтистыми лапами раструб, из него, как из удава, вывалилась жеваная ворона, пребывающая в полуобморочном состоянии.

Перья на ее спине стояли дыбом, левое крыло торчало, как парус, глаза были зверские. Летать эта ворона ни в коей мере не могла бы, так что Кувалдину пришлось спрятать ее под пальто и нести домой.

Потом целый месяц она приходила в себя, матушка же Сергея Фомича — совсем наоборот, и ежедневно не по одному разу повторяла, что уж если кто смолоду был дураком, не научившимся даже читать, тот и к старости работы хорошей ни за что не найдет, а будет сидеть на шее старухи-матери и не женится, потому что ему какая-то там птица дороже всех. Так что, только ворона снова смогла летать, Кувалдину пришлось ее выпустить, а ведь было жаль — за месяц это пернатое существо многое успело о нем узнать, столько выслушало, сколько ни один человек до него. И вот — улетело.

Улетело, но Кувалдин начал с тех пор уважать этих достойных, неторопливых птиц, несправедливо отвергаемых людьми и даже древними старушками. А ведь кого только ни жалеют и ни кормят старухи! Вот прошли годы, когда они кормили, жалели и нянчили внуков, теперь им эти самые внуки газ на кухне не доверяют зажигать и денег в руки не дают, а там уже и не пытаются скрыть нетерпение, когда бабушка открывает свой медленный рот, чтобы что-то такое прошамкать, никому из людей не интересное. И тогда старуха идет от греха в садик, а может, во двор или просто на площадь к какому-нибудь доброму памятнику, дающему приют на своей голове и плечах голубям и воробьям. Там она бросает им крошки, сырные палочки и, возможно, крупу, тайком отсыпанную из железной банки с надписью «Пшено». Одна знакомая старушка, светлая, будто ее насквозь промыли дожди, когда спросили, хочет ли она, чтобы приехал из деревни повидать ее племянник Егор, так прямо и сказала: «А зачем он, Егор-то? У меня голубов много». «Голубов»... А ворон даже старушки пренебрегают кормить, считая нахальными птицами, — дескать, эти и сами возьмут. А где им взять?

Кувалдин любил рано утром зимой, в необходимое птицам время, старательно искрошить на снег в безлюдном еще дворе кусок булки и наблюдать, как они ходят, переваливаясь и оставляя глубокие следы, большие тяжелые птицы, ходят вперевалку, а то вдруг суетливо побегут, метра, точно полами, распушенными крыльями.

Тихо в это раннее время во дворе, тихо и хорошо, как ни странно такое звучит применительно к тому двору, где находилась жилконтора и где Кувалдин кормил своих ворон.

Располагался этот двор в конце целой анфилады, состоящей из четырех каменных колодцев<sup>2</sup>, был он узкий, и длинный, и темный, — короче говоря, на редкость противный двор, куда просто так, погулять, не пойдет ни один человек. Но наш-то Кувалдин, он же только дворами и ходил, вот в чем дело! А теперь представьте себе, что он там видел: глухие стены с пятнами сырости, ржавеющую спинку выброшенной железной кровати, груды ящиков у двери в подвал овощного магазина, тупики под лестницами парадных, откуда низенькая дверь выводит опять в такой же двор, и дальше — тупики и дворы, целый город дворов, огромный, к вашему сведению, город, потому что согласно законам геометрии и еще какой-то науки изнанка и лицевая сторона всегда бывают равны по величине.

Итак, город дворов, и не где-нибудь, а в самом центре, — город, о котором большинство и понятия не имеет, а между тем в этом городе и воздух особенный, и погода своя, и небо всегда одинаковое, далекое и пропыленное. И люди другие. И времена. И законы.

Во дворе дозволено все: распивать на троих<sup>3</sup>, сушить на веревках исподнее, выколачивать палкой ковер. А еще через двор не зазорно ходить с каким угодно некрасивым и жалким, даже заплаканным, если хотите, лицом. В старом ватном пальто с воротником из искусственной дохлой собаки...

Однако мы отвлеклись. Итак, покормив рано утром ворон, Кувалдин спешил дворами к себе на работу. В последнем, четвертом, недалеко от входа в контору, он всегда видел глухонемую старуху с одним костылем, сидящую тут постоянно. Такие старухи, между прочим, встречаются в каждом дворе. Вот — обычное утро Сергея Фомича Кувалдина, ничем особенно не отличающееся от вечера или дня, от длинной вереницы дней, движущихся друг за другом по дворам.

Время шло. Дома, старея и впадая в полную немощь, злобно кряхтела всегда недовольная мать; в конторе — тоже, конечно, старея, — ставили печати, выписывали справки, заверяли доверенности и подсмеивались над Кувалдиным его сослуживцы: техник-смотритель Вострецов и паспортистка Двоглазова. И справки, и печати, и шутки их были из года в год одинаковые.

— Жених, а жених! — по пятницам каждый раз говорила Двоглазова. — Скоро на свадьбу позовешь? Плясать охота.

— У него женилка отсохла! <sup>4</sup> Гу-гу-гу! — смеялся остроумный Вострецов, не раскрывая рта, которого у него как бы и вовсе не было. Иногда на лицо его неведомо откуда выползала улыбка, но сейчас же и пряталась, оставив едва заметный след, будто по песку в ветреный день проползла змея. И песок заметал след мгновенно.

Кувалдин на шутки эти и улыбки внимания не обращал, было у него свое занятие, возникшее, может быть, из детской любви к рисованию глупых картинок. Он не умел читать, это верно, но писать он умел и даже любил. Выведение на белой бумаге синих или, это все равно, фиолетовых палочек и кружков было похоже на колдовство, потому что происходило всегда как бы само собой, помимо, а иногда и против воли Кувалдина. Вылезая из шариковой ручки, вивясь на листе, эти завитки и закорючки сразу наполнялись таинственным смыслом. Недоступные и самостоятельные, надменно смотрели они на Кувалдина.

И молчали. Иногда Сергею Фомичу казалось: вот сейчас он поймет, услышит, может быть, произнесет вслух слова, безмолвно притаившиеся за спинами закорючек. Он морщил лоб, в глазах начинало щипать, лицо краснело.

— Эй, жених! Тебя что, кондрашкахватила? — кричала Двоглазова.

— Он письмо невесте пишет. Которая во дворе с костылем сидит, без зубов. Гу-гу-гу, — откликнулся Вострецов, и оба они беззлобно покатывались со смеху, ибо знали: неграмотный и придурковатый дворник не то, что письмо написать, в ведомости на зарплату расписаться не умеет, царапает ручкой, что попало, точно слепой.

И, отвеселившись, Двоглазова уходила за покупками, Вострецов же принимался по третьему разу читать увлеченно газету.

За окном падал снег или дождь, во дворе было тихо, Кувалдин снова подносил ручку к листу, а дальше они уже все делали сами — эти маленькие синие палочки и завитки.

Это случилось в тот день, когда по городу неслась слепая, оголтелая, скандальная метель. Даже во дворах ее колючий снег вздыбливался поминутно столбами, кидался на стены и в окна. Сгребать этот снег было бессмысленно, и Кувалдин направился в контору, чтобы там переждать, пока стихнет. Но задержался в последнем дворе — расчистил сугроб на скамейке, откопал из него свою глухонемую приятельницу, так плотно заваленную снегом, что он набился ей даже за шиворот. Отряхнув старуху, которая после этого церемонно ему поклонилась, Сергей Фомич двинулся дальше.

В конторе он обнаружил огромное, даже, можно сказать, небывалое возбуждение. Суетливые возгласы и быстрый обмен зловещими подозрениями. Такое бывает только в разгар стихийных бедствий — метель и буря — это что! — но сегодня Вострецов от кого-то услышал и сейчас

сообщил, что на Мойке, снеся парапет, под лед провалилась машина. Потрясенные, внезапно ослепнув, они с Двоглазовой на ощупь надели пальто и, ударяясь боками о столы и другие предметы, двинулись к двери. При этом Двоглазова чуть не сбила с ног как раз в это время вошедшего Сергея Фомича. Наткнувшись на него, она вдруг прозрела и громко закричала, что сейчас они с Вострецовым пойдут смотреть — кто упал. Голос ее звучал возбужденно и празднично.

Кувалдин остался один. Метель за окном не утихала.

Он вынул из ящика блокнот, где спокойно сидели и ждали его закорючки и палочки, достал ручку и поднес к листу. Нет, сегодня определенно был необыкновенный день, — видно, непогода и вся эта катавасия с провалившейся в воду машиной сделали свое дело, — и Кувалдин это почувствовал сразу: значки нетерпеливо бросились из-под пера на бумагу. Рука его дрожала, в голове скреблось и царапалось, как ворона тогда в водосточной трубе, какие-то слова вспыхивали в мозгу, и конечно в таком состоянии он не услышал, не заметил, как вернулись его сослуживцы. А они вернулись, вошли в контору, молча сняли пальто и сели за свои столы.

Возбуждение, поначалу легкое и радостное, по прошествии некоторого времени наливается вязкой тяжестью, от которой больно вискам. Румянец на щеках Вострецова и Двоглазовой сменился апоплексической багровостью, глаза их потускнели, добытая информация не давала дышать, распирала и жгла. А Кувалдин ни о чем не спрашивал, не поднимал головы, не проявлял никакого интереса, сидел и, как дурак, карябал, скотина безмозглая, в своем блокноте. Будто дело делает, будто он один работает, болеет за все, а другим наплевать, другие вместо того дурью маются, ходят взад-назад в такую погоду!

— Да что же он там пишет все время? — в сердцах закричал Вострецов. — Как по работе, — не может, не-

грамотный! А тут... Желательно знать, и очень! Следует выяснить!

— На нас докладную в обеаэс<sup>5</sup>, — обмерла Двоглазова. — Ясное дело — на нас! Сидит тут, подслушивает, сам помалкивает!

— А ну, покажи, что сочиняешь? — велел Вострецов.

— Я не сочиняю, — испугался Кувалдин, закрывая блокнот. — Я так... просто так... для себя самого...

— Покажи, если «так», чего прячешь! — моментально блокнот оказался в хватких руках Двоглазовой, которая тут же подала его Вострецову.

Вострецов старательно натянул очки, хмыкнул и со свистом всосал не к месту высунувшуюся тощую улыбку. Он всосал ее, как макаронину, разом, и теперь ее не было и быть не могло.

Отодвигая блокнот все дальше и дальше от своих дальнорюких глаз, Вострецов разглядывал его долго и подозрительно, а Кувалдин издали видел, как съеживаются, жмутся друг к другу, сгибают спину и цепенеют под взглядом безротого человека беззащитные палочки и завитки. Они сделались теперь похожими на уныло сколоченный забор. Техник-смотритель ежил свой бывалый лоб, Двоглазова сопела ему в ухо, потом они одновременно подняли вспотевшие лица от блокнота, и Вострецов слегка растерянно, но достаточно строго спросил:

— Это — что?

— Ты... это... зачем... это? — с изумлением поддержала его Двоглазова.

Разлилась и набрякла тишина.

— Шифр! — вдруг догадался Вострецов и просиял. — Товарищ Двоглазова, тебе ясно? Ах ты, Кувалдин, ах ты, гриб мореный! Двоглазова, звони участковому товарищу Козлову.

В голосе Вострецова звучало что-то похожее на восторг, и это больше всего напугало Кувалдина.

— Что вы? За что?

— Смотри ты — «за что»! — ласково сказала Двоглагова, вся засветившись. — За то, миленький, что ты аферист и шпион<sup>6</sup>. Правильно я, Виктор Иванович?

— Точно. А тебя, Кувалдин, мы сейчас сдадим, куда надо.

— Что я сделал? — совсем уже тихо спросил Сергей Фомич. — Объясните, пожалуйста.

— Нет уж, здесь объяснять будешь ты! — рубанул Вострецов, распаяясь. — А ну-ка, скажи-ка, что все это значит? Пароль?

И он начал читать:

— «Впоуд па олквд атполифе итанк алв дапролд апрлды еzs рoду совплд вдайд лд иoакд ьрвщ...»

Правильно я читаю, Зинаида? Отвечай, хорошенько подумав, я тебя назначаю в качестве понятой.

— «Ьрвщ»! — громко и радостно прочла Двоглазова. — Все точно! «Ьрвщ»!

— Ну, Кувалдин... А может, ты и не Кувалдин? Может, ты какой-нибудь мистер Смит? А? Или этот... дядя Том?<sup>7</sup> Объясните-ка, задержанный, объясните при понятой, что такое означает «лд иoакд» и все прочее? В особенности «ьрвщ»? Ох, не нравится мне этот «ьрвщ»...

Вострецов снова читал, теперь вроде как бы и с уважением. Что же, в конце концов, шпион — это шпион, специалист, может, даже полковник, счет имеет в Швейцарском банке, и зарплату в долларах ему переводят туда. А что? Тут ему — командировочные, а там зарплата идет себе и идет. Так думал про себя техник Вострецов, а сам читал<sup>8</sup> вслух, но Кувалдин не слышал его и не видел. Не заметил он даже и того, что у техника внезапно прорезался рот и теперь из него, а не откуда-нибудь выходили все эти звуки, которые все равно не могли заглушить голоса синих значков. И голос этих значков звучал все громче и отчетливее, все сильнее, оглушительно, как большой симфонический оркестр, которого Кувалдин никогда в жизни не слышал, а теперь вот услышал, и от

этого по щекам его потекли настоящие слезы, соленый привкус которых он давно позабыл, а ведь это был вкус его детства.

Вострецов читал, а Двоглазова в такт ему согласно кивала, Кувалдин всхлипывал и слизывал слезы с губ, и никто не заметил, как открылась дверь и в контору вползла глухонемая старуха следом за своим костылем.

— А ну! — велела она Вострецову. — Дай сюда!

Потрясенный такой наглостью никому не нужной калеки с одним, последним, зубом, выбить который не составляло труда, Вострецов в растерянности протянул ей блокнот.

— Шифр, — доложил он старухе, будто она и представляла здесь власти. — Задержан агент<sup>9</sup>.

Старуха поднесла блокнот к глазу, а Кувалдин придвинулся к ней, словно она или кто-нибудь вообще мог защитить его от Закона, который он каким-то образом нарушил. Он знал теперь, что нарушил, знал и боялся, но ни о чем не жалел, он все еще слышал голос своих закорючек и наверное понял бы, что был счастлив, если бы мог догадаться, что это такое — быть счастливым.

Старуха изучала блокнот, и значки на листе распрямлялись, вытягивались, оживали, голос их гремел уже на всю контору. Закивав головой и построив на лице некую фигуру, гораздо больше похожую на улыбку, чем все червяки, ползающие в настоящий момент по физиономии Вострецова (один из них как раз сидел у него между щекой и подбородком, выглядывая из края трещины, которую мы с вами так сумасбродно приняли за рот), старуха уселась за паспортный стол Двоглазовой и громко сказала:

— Ну, кто здесь придумал про шифр и шпионов<sup>10</sup>? Где тут шифр? Покажите. Может быть, я не заметила, я — пожилой человек. Кроме того, я глухонемая.

— Показать? Сию минуту с большим удовольствием! — угодливо откликнулся Вострецов, тотчас прогнав червяка. — Пожалуйста, — он ткнул пальцем в блокнот, —

«совплд вдайд». Понимаете? И еще «езс роду». И дальше вот — «ырвщ». Это что, по-вашему, — «ырвщ»?

— Врешь! — заявила старуха. — Все врешь! Нету «ырвща»!

— А что же по-вашему тут, гражданочка, есть? — тихоньким голоском спросила Двоглазова. — Товарищ Вострецов, давайте лучше позвоним, ей-богу, они сообщники!

— Да! Так что же там есть? Ну-ка! — рявкнул Вострецов. — Отвечай, инвалидка!

Сперва они слушали старуху молча. Но недолго. У них что-то случилось с лицами. Лицо Двоглазовой, например, на словах «дворцов и башен» начало как будто распадаться — отвис подбородок, брови испуганно уползли вверх, щеки затряслись. А Вострецов принялся багроветь и успешно достиг черно-лилового оттенка с переливом. Сделавшись в конце этого процесса неожиданно серым, он прыгнул к старухе и закричал:

— Ты — что? Нету там этого! Не было! Не могло быть!!! А ты — глухонемая, все знают! Не смеешь! Там написано: «Впоуд па атпloffс»! Там — «иаокд ырвщ»!

— Я вам дам «иаокд», — уперлась старуха. — Ишь ты!

— Ах вот что?! — заревел Вострецов. — Слышь, понятая? А ну-ка, возьми-ка у пособницы документ. Подтверди при всех, что там значит.

Бывшая паспортистка, ныне понятая Двоглазова медленно и почему-то на цыпочках приблизилась к старухе, заглянула в блокнот, ахнула, опять заглянула и испуганно промолвила:

— Я не знаю... там чего-то... не то, вроде... Я не виновата! Чего вы уставились, товарищ Вострецов? Сами поглядите, если не верите!

— ...Твоих оград узор чугунный, — неумолимо и внятно читала глухонемая, — твоих задумчивых ночей... пишу, читаю без лампы... и ясны спящие громады...

— Все,— сказала она и закрыла блокнот.— Больше ничего нет.

— Та-ак,— протянул Вострецов, с ненавистью разглядывая потрясенного Сергея Фомича,— значит, так, зараза... Еще не легче! Ах ты... Бей его, Зинаида!

— Гад! — очнувшись, взвизгнула Двоглазова.— Мы-то думали... Делал вид, что неграмотный! Издевался!

— Сволочь,— подытожил Вострецов.— Это наши стихи и поэмы. Не твои. Не позволим!

— Не дадим! — ни с того ни с сего завопила вдруг Двоглазова истошным кликушечьим голосом. Она чувствовала себя обманутой, оскорбленной и несчастной. Этот придурок, этот чокнутый, которого по-серьезному и за человека-то нельзя было считать... Да какое он право?..

Она подскочила к Кувалдину, вцепилась ему в волосы. Длинная синяя судорога прошла по ее лицу. Задохнувшись, она изо всех сил ударила его. И еще раз! И еще! Она была права! Она защищала сейчас всех — и себя, и товарища своего, и детей, которых у нее никогда не было, наверняка из-за таких вот и не было, как он, подлюка эта! Будь она проклята, эта чертова жизнь! И жалкие копейки зарплаты! И повышение цен! И еще комнатенка восемь метров в коммуналке! И то, что она никому на свете! Не! Нуж! На! На! На тебе! На! А он и не чувствует! Как будто и не его бьют! Как будто его здесь нету! Скотина деревянная! Ах, ты...

— А-а-а! — взревел, подымаясь, Вострецов<sup>11</sup>.

...А Кувалдин уже шагал по улице.

Светлая луна внимательно смотрела на него, и так же внимательно и тихо смотрели дома, прильнувшие друг к другу по обеим сторонам мостовой. Не было никого на улице в этот час, когда ночь никак не решается перейти в утро,— только воздух и звуки, та самая музыка, что давным-давно, еще в жилконторе, заставила Сергея Фомича плакать. Кувалдин шел, ничего не боясь, никого не стесняясь. Он был здесь хозяином. Он был таким же,

как все они: темный сад за решетчатой оградой, влажный запах листьев, пристальные дома и добрые люди, спящие в них, и легкое ясное облако, неожиданно доверчиво возникшее над крышами. Как те звуки, что жили повсюду, теперь он это знал точно, повсюду—на земле, на небе, в камнях и в траве. И в душах всех людей, которые спали сейчас, ни о чем не подозревая.

Полуразрушенная, со снятым крестом, церквушка обиженно хохлилась на углу узенького переулка. Видно, готовилась на слом. Пыльные стекла окон наполовину были выбиты, дверь криво заколочена доской. Кувалдин подошел ближе.

И тут непонятно откуда взявшийся преждевременный луч солнца, выбившись из-за плеча дома, ударил в пыльные окна, осветил фигуру Спасителя, кое-как замазанную известкой<sup>12</sup>, зажег остатки позолоты на куполе. И, будто только того и ждала, будто сигнал какой раздался, взвилась над церковью, тяжело хлопая крыльями, большая и темная стая ворон. Радостно крича, поднялась она высоко в яркое, сразу ставшее утренним небо.

И только одна ворона, покружив, решительно отделилась от стаи, опустилась на асфальт, подняла свою черную голову и сказала Кувалдину: «Здравствуй!»

## «СТАРУШКА, НЕ СПЕША...»

Сегодня Лидия Матвеевна встает по радио<sup>1</sup>, ровно в шесть, как вставала всю жизнь, пока работала в своей бухгалтерии. От дома больше часа автобусом и трамваем, а ведь надо было еще поднять Гришу, накормить, проследить, чтобы собрал портфель. Как там? — «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно...»<sup>2</sup> Да... Это было ответственное время.

Спустив худые ноги с постели на коврик, Лидия Матвеевна долго смотрит на портрет сына, висящий в простенке между окнами. Тут Гришеньке уже семнадцать, десятый класс! Ничего не скажешь, красивый мальчик: кудри, высокий лоб, твердые губы. Немножечко — нос, ну и что же? Зато глаза — все обращали внимание, прямо две черносливины... Но была плохая привычка — сутулился, так и не сумела отучить. Без конца повторяла: «Гриша, осанка, выправка!» И на лечебную физкультуру водила, а потом записались в кружок гимнастики... Бедный... Как-то он сейчас, что?

Лидия Матвеевна медленно натягивает чулки, надевает платье. Торопиться? Ни в коем случае! Врач предупредил: для сердца спешка — самое страшное. День предстоит нелегкий, вот и по радио только что передали: резко упало атмосферное давление воздуха, а нужно успеть все купить, потому что на три часа номер к невропатологу.

Вот уж завтра придется сидеть дома, пенсионный день, а у них такие порядки — никогда не узнаешь, в котором часу принесут. Ведь и в газетах писали, а им хоть бы хны!

Да. Завтра Лидия Матвеевна получит свои ежемесячные шестьдесят пять рублей<sup>3</sup>. Сорок лет стажа, это вам не шуточки! Не очень-то густо, но кто жалуется? Жить вполне можно, надо только по одежке протягивать ножки. Первое — это, конечно, квартплата и коммунальные услуги. Если не жечь, как некоторые, стосвечовые лампочки, тут хватит за все про все пяти рублей. Значит, остается шестьдесят. Дальше — питание. Сколько, вы думаете, требуется пожилому человеку на питание? Полутора рублей вполне достаточно, к вашему сведению! Если опять-таки иметь голову на плечах и не устраивать обжорства. Лишняя еда в нашем возрасте — это, между прочим, лишние болезни. Самое основное — витамины, углеводы — умеренно. Утром всегда хорошо поесть творогу или каши, в обед на первое — постный суп, ну, а раз в неделю можно отварить и нежирного цыпленка — нельзя уж совсем так! Теперь на второе: тушеные овощи, блинчики (жарить только на подсолнечном масле, сливочное теперь одна вода — достижение науки и техники, да и цена — не разбежишься<sup>4</sup>). Ну, а если повезло достать какой-нибудь съедобной рыбы, разве это плохо? Совсем не плохо! Рыба организму необходима, в ней фосфор и другие минералы, они питают мозг, спасают от склероза, а склерозы Лидии Матвеевне пока ни к чему. Болеть ей категорически нельзя — узнать Гриша, у мальчика сердце разорвется от боли за мать.

В письмах Лидия Матвеевна всегда сообщает сыну, что чувствует себя вполне прилично и ни в чем не нуждается. Так что пускай Гришенька будет спокоен и знает: в случае, не дай Бог, чего, мир не без добрых людей, а у нее очень отзывчивые соседи, всегда помогут... Ха! Эти «помогут». Догонят и еще раз... помогут. Только зачем зря расстраивать? Гриша соседей, слава Богу, не знает — вехали только в прошлом году. Или нет, в позапрошлом?

Сегодня у нас что? Семьдесят восьмой? Да. Значит, в позапрошлом. Слева Шурка — нацменка<sup>5</sup> из Ташкента, справа, в маленькой комнате, Лена и Сергей, молодожены. Оба низенькие, кругленькие, все время готовят себе еду и непрерывно ее едят, и всегда одно и то же — яичницу. Про себя Лидия Матвеевна зовет их «упитанные, но невоспитанные». Воспитания, конечно, тут ох, как не хватает! А ведь оба со средним образованием. Сейчас многие с образованием, но культуры никакой! Правда, они, как и Шурка, оба иногородние, но в конце-то концов — ведь не из леса! С периферии у нас теперь больше, чем коренных ленинградцев. Лидия Матвеевна, между прочим, в Ленинграде с тридцатого года, скоро полвека, это вам не игрушки! Приехала девчонкой из Белоруссии поступать в домработницы, а тут отговорили, вместо домработниц оказалась в техникуме. Вот какое время было! Простая провинциальная девочка, а получила специальность, стала финансовым работником. Сестры и брат, те так и прожили век в сельской местности, только Лидия Матвеевна выбилась в люди. Теперь-то уже никого из семьи не осталось, будь он тысячу раз проклят, этот Гитлер! Тридцать семь лет прошло... Были бы живы родные, особенно Борис, может — кто знает? — тогда и с Гришей бы обошлось?. А каким талантливым всегда был Гриша! Рос без отца, а, смотрите, окончил Технологический институт! Кстати, с отличием. Что ж — для него жила, что могла, делала. О себе не думала, зато ребенок ни в чем не знал отказа... Только, видно, и тут нужна мера: умела бы вовремя твердо сказать «нет», не случилось бы этого кошмара.

А все же Гриша, как бы там ни было, порядочный человек. Никогда не боялся работы, умел ценить добро. Теперешние ничего не ценят, считают: им все всё обязаны, а они — ничего. Лена с Сергеем, те даже поздороваться не умеют. Или не желают. А чтоб поговорить, не может быть и речи. «Здрасс!» — и мимо.

Шурка, наоборот, болтает и болтает, а о чем болтает — сама не знает! Где что дают, что «выбросили», что достала. Газет она не читает, радио не слушает, по телевизору только всякую глупость: кинокомедии да концерты эстрады. Конечно, иногда можно, но все хорошо в меру! Говорила ей не раз: «Шура, почему вы не включаете трансляцию? Ведь можно шить и убирать, даже книжку почитать можно под радио. Я, например, без радио не могу, встаю — сразу включаю и уж до ночи. Очень, знаете, много интересного и полезного для развития. Например, «Университет миллионов», «Международный дневник»... Или вот еще — «Взрослым о детях»<sup>6</sup>, вам это просто необходимо, у вас сын!» Отмахивается: «На фиг мне трепотня ихняя! За день на работе без радио такого наслушаешься... Хоть стой, хоть падай».

Работает Шурка в психбольнице, с ненормальными. Санитаркой или кем — устроилась ради лимитной прописки<sup>7</sup>. Никто не будет спорить — тяжело, но ведь надо же кому-то и там работать, не захотел учиться и получить образование, иди туда, где государству требуются руки. А такого, чтобы хотеть учиться и не смочь, этого у нас не бывает, у нас без образования только лодыри или совсем глупые люди... И зачем было рваться в Ленинград, сидела бы в своем Ташкенте! Шурка все утверждает, будто она русская, но это смешно — типичная узбечка, стоит один раз взглянуть. Скулы широкие, глаза косые. И мальчишка у нее, Виталик, безотцовщина. Настоящий дикарь! Конечно, у нас в стране все равны, любой нации предоставлено равноправие, но если ты некультурная неряха, так уж ничего тут не поделаешь. Лидия Матвеевна сто раз делала замечания: «Шура, ванну после себя необходимо мыть тщательно, мылом и порошком, а не кое-как. И перестаньте оставлять на ночь в раковине свои невымытые кастрюли, это негигиенично!» У той ответ один: «Моя кастрюлька, вас спросить забыла, когда мне ее мыть!» Вот вам — провинция! Вынуждена объяснять:

«Когда живешь в коллективе, про «мое» и «хочу» приходится забыть. Между прочим, никому не интересно, чтобы из-за вашей грязи в коммунальной кухне разводились мухи! Тут и другие готовят, не только вы!» Махнет рукой и пошла. Нет, с ними — терпение и терпение! И парень растет разболтанный, нетактичный, невыдержанный. Когда старшие говорят, демонстративно убегает. А последнее время — полное безобразие — купил себе радиолу<sup>8</sup> и заводит с утра до вечера. Была бы еще музыка! Вопли и крик, ни мотива, ни содержания. А потом удивляются, что преступления и хулиганство на улицах!

Лидия Матвеевна берет эмалированную кружку с зубной щеткой, пасту, мыло и полотенце и бредет в ванную умываться. Умывшись — в кухню. Ставит на газ чайник и возвращается к себе. В комнате между оконными рамами стоит мисочка со вчерашней молочной лапшой. Нет, не подумайте, холодильник у Лидии Матвеевны есть, прекрасный холодильник «Саратов», но ведь сколько надо платить за счет<sup>9</sup> с этим холодильником! Лидия Матвеевна и летом включает его от случая к случаю, а уж сейчас, в январе месяце, просто смешно!

Когда с миской в руках она появляется на кухне, у плиты уже хозяйничает Лена. Жарит с утра пораньше яичницу. Разве это питательно — каждый день яйца? И сколько ей ни говори, только пожимает плечами. На вежливое «с добрым утром» хмыкает что-то невразумительное. Культура! Халат засален, еле сходится на животе, волосы растрепаны. И это молодая женщина, будущая мать! Какой пример она подаст потом ребенку? А муж? От такой «красоты» недолго запить и загулять.

— Хотите добрый совет, Леночка? — мягко интересуется Лидия Матвеевна.

— Не-а! — Лена трясет взлохмаченной головой. И пожалуйста: уткнулась в свою сковородку. Между прочим, волосы над едой — антисанитария. И Лидия Матвеевна

прямо говорит Лене об этом, пусть знает. И еще добавляет, что, если молодой человек не хочет прислушиваться к мнению старших, это к добру никогда не приводит.

— Вам будет трудно в жизни, Леночка,— ласково заканчивает она, зажигая горелку.

Лена хватается голыми пальцами сковородку, обжигается, отдергивает руку и подносит ко рту.

— И зачем так нервничать? В положении это вредно. Вот, возьмите мою тряпочку,— Лидия Матвеевна протягивает тряпку, которой всегда берет горячее. Но Лена уже взяла жирную сковородку чистым полотенцем и бежит из кухни. Хоть бы спасибо сказала. Невоспитанная грубиянка, другого слова тут не подберешь!

...Нет, Гриша в ее возрасте был не такой, надо отдать справедливость. Он и теперь, несмотря ни на что, прекрасный мальчик. А какой внимательный сын, ну что вы! И, между прочим, всегда был родственным. Вот уже два года регулярно, раз в месяц — подробное письмо матери. И это при его трудностях! К прошлому дню рождения как-то умудрился передать посылку. Лидия Матвеевна просто устала писать: «Не отрывай от себя, у меня и так душа изболелась! Вот ты пишешь, что теперь все хорошо, но я же понимаю, как тебе тяжело. Если бы я могла хоть чем-то помочь...»

Веселый тон Гришиных писем не обманывает Лидию Матвеевну. Несчастный, глупый мальчик! Запутался, обвели... Это все она, Наталья, невестка. Из-за нее. Вбивала ему в голову свои глупости, а он мягкий, добрый, никому не может отказать. И до сих пор в нее влюблен. Смешно! Главное, где его глаза: ведь было бы за что! Ни ума у женщины, ни красоты никакой, одно самомнение. Маленькая, тощая, как обезьяна-макака. Ну ладно, это его дело, хуже другое: злая. Вот уж кому ни слова нельзя сказать! А попробуй дать совет... Сразу: «Большое спасибо, Лидия Матвеевна, но мы решим сами». Проявляет свою самостоятельность.

Два года назад, в последнее Гришенькино рождение, которое они провели вместе, Наталья просто всем испортила праздник. Первое: купила зачем-то жирный кремовый торт, а Грише это смертельно, у него — печень. Лидия Матвеевна промолчала, сдержалась, только деликатно намекнула, что Григорий очень похудел, плохо выглядит, надо все-таки как-то усилить ему питание. Ну что особенного, скажите на милость? Разве мать не имеет права заботиться о здоровье своего сына? Что вы! Как можно? Сразу надулась и весь обед просидела мороженой куклой. И Гриша, конечно, расстроился... Не надо было при ней, правильно говорят: язык мой — враг мой...

Лапша кипит, пузырится, вот-вот начнет гореть. Лидия Матвеевна гасит огонь. А времени-то уже восьмой час, Шурке давно пора вставать, проспала! Все они ленивые, не хотят работать, им бы только спать.

Проходя мимо по коридору, Лидия Матвеевна, так и быть, стучит в Шуркину дверь. Тихо. Стучит еще. Слава Богу, услышала, проснулась.

— Ну, кто там? Чего надо?

— Не «чего», Шура, а «что», — поправляет из коридора Лидия Матвеевна. — И вам давно пора вставать, опоздаете.

— Гос-споди... — ворчит Шурка, — поспать не дает. Ну вам-то какое дело? Выходная я сегодня, поняли? До чего шепутная бабка, прямо спасу нет!

Лидия Матвеевна поджимает губы: ну вы подумайте! «Какое дело?» И хоть бы спасибо, ведь о ней же заботятся, хотят, как лучше, и — пожалуйста... «Какое дело»... Это равнодушным ни до кого нет дела, им все пара пустяков, а мы — люди другого поколения, нас всегда все касалось, потому и построили для таких, как ты, счастливую жизнь!

Во время завтрака Лидия Матвеевна внимательно слушает «Последние известия». Волнуется, качает головой. Надо что-то предпринимать, какие-то меры: этот империализм что хочет, то и делает. Эти вообще: придумали ставить

свои ракеты<sup>10!</sup> И хоть бы хны на то, что все человечество гневно возмущается... О! Пожалуйста вам еще: опять израильские бандиты. Что они делают? Что им надо?! Что они хотят доказать? Всем, всем от них горе! И несчастным этим арабам (разве человек виноват, что он — черный?<sup>11)</sup>, и тем безголовым, кого они сбили с толку своей пропагандой... Да. И... И нам. Боже мой! Хоть бы не было войны, хоть бы чистое небо! Ведь только-только стало налаживаться: у всех телевизоры, холодильники, все прилично одеты в импортное. А ведь много еще у нас несознательных, кому, что ни сделай, все мало — того им нет, этого не хватает. Что значит? Работайте как следует, и будет хватать! Шурка — уж на что из Ташкента, а туда же... Мало, мало мы еще проводим с ними воспитательной работы! Вот и пэтэушник<sup>12</sup> у нее растет хулиганом! Раньше, еще пару лет назад, когда Лидия Матвеевна работала на общественных началах в ЖЭКе с подростками<sup>13</sup>, она живо нашла бы управу на этого Виталика. Не таких случалось исправлять! Почему же теперь ее больше не загружают? Считают немощной старухой? Или... Нет! Никаких вам «или»!

Однако пора уже собираться за покупками. До завтрашней пенсии осталось полтора рубля, вот что значит уметь жить и все рассчитать. Кстати, можно еще сдать кефирную бутылку и баночку из-под майонеза. Сегодня Лидия Матвеевна решила себя побаловать (премия за бережливость) — купить яблок, сейчас в продаже очень неплохие яблоки... Нет, что ни говорите, а экономия дает плоды. На квартиру и питание уходит пятьдесят рублей, и пожалуйста: каждый месяц Лидия Матвеевна имеет возможность что-то откладывать. За два года на книжке накопилось триста шестьдесят, не считая процентов. Для Гриши. На первое время, когда мальчик вернется домой. Надо будет устраиваться, могут возникнуть трудности. Но все-таки Лидия Матвеевна уверена, тут к Григорию будет проявлено гуманное отношение. А вот соседи, знакомые — уже

другой коленкор, всем рты не заткнешь, найдутся и такие, что станут злорадствовать, попрекать: преступник... Ох, если бы не Наташка!

Лидия Матвеевна складывает в хозяйственную сумку кошелек, футляр с очками, пустые бутылку и банку. Надевает шапку, боты, пальто. Пальто уже, конечно, не новое, но кому нужны наряды в этом возрасте? Было бы чистое и крепкое! Нитроглицерин, как всегда, в кармане, можно идти.

Началось с неудачи. Продавщица в молочном, видите ли, не в духе, бутылку приняла, а банку они не желают<sup>14</sup>.

— У нас майонезу этого уже месяц как нету, несите вашу тару в пункт.

— Интересно, и что с того, что не продавали? Порядок есть порядок, вы обязаны принять, потому что это ваш долг.

«В пункт!» Хорошенькое дело! Две остановки трамваем, туда и обратно шесть копеек, да еще настоишься во дворе на холоде среди пьяниц.

— Не задерживайте! — уже напирают сзади. — Вам же сказано: не принимают.

...Ну, это нам хорошо известно: очередь всегда на стороне продавца: заискивают, боятся, что их не обслужат.

— Вы, гражданочка, пожалуйста, не толкайтесь, — поворачивается Лидия Матвеевна к женщине, стоящей за ее спиной. — Я, между прочим, не с вами разговариваю. И вот что вам скажу: дело совсем не в банке. А в принципе. Это злоупотребление! Пусть мне покажут, где записано, чтобы принимать только стеклотару из-под продуктов, которые в данный момент есть в продаже. Пусть покажут! У нас идет борьба с беззаконием в торговле, надо больше читать газеты!

— Тыфу на тебя! — вдруг, вся побагровев, орет продавщица. — На тебе твой гривенник, только уйди отсюда Христа ради! И банку забирай! — Она вытаскивает из

кармана своего (довольно, между прочим, грязного) халата десять копеек и швыряет на прилавок.

— А мне ваших денег не нужно! — тотчас вскидывается Лидия Матвеевна. — Мне нужны мои деньги за мою банку! А десять копеек я вам и сама могу подарить. Попрошу дать книгу жалоб и вызвать заведующего!

И продавщица не выдерживает, мерзавка! Хватает банку, сует под прилавок и молча протягивает Лидии Матвеевне треугольный жетончик — в кассу. Лидия Матвеевна скромно, но гордо идет получать свой законный гривенник. А сзади гомон и выкрики — очередь скопилась изрядная, и всем, конечно, некогда. Громче всех разорется продавщица.

— У-у, старая занудина! Ходит тут... Каждый день у нее чего-нибудь. Все они такие, за копейку рады удавиться...

— А вот насчет «всех», моя милая, это можно и милиционера пригласить, — тотчас откликается Лидия Матвеевна, — тут вам не Америка, не Ку-Клус-Клан<sup>15</sup>!

— Да ладно, бабуля, не заводись! — успокаивает ее толстяк в дубленке. — Береги нервы, не восстановишь!

Вот здесь он абсолютно прав. И решив пока не связываться с нахалкой, Лидия Матвеевна покидает поле боя. А там еще посмотрим...

Осторожно ступая по бугристому ледяному тротуару (до войны были прекрасные дворники, а сейчас — днем с огнем...), она медленно приближается к палатке «Фрукты-овощи». Настроение бодрое, так бывает всегда, когда совершишь правильный поступок. Да — скандалить в очереди это вам не сахар, да, но спускать такие вопиющие факты — ни в коем случае! От всеобщего попустительства наши беды. А выходки разной там серости насчет того, что, мол, «они все такие», нужно стараться игнорировать... Есть еще пережитки, есть, кто спорит? — есть и отдельные перегибы на местах, но государство же борется! И, кстати, никто не сидит без работы, многие с высшим образованием. Нет, здесь Гриша был полностью неправ, он в таких вопросах вообще вел себя, как

сумасшедший или дурак: чуть что — с кулаками. А кулаками, как известно, дело не решишь, и можно нажать неприятности, людей нужно воспитывать без рук. И ведь сколько говорила... Но это ведь Гриша! Он всегда знает лучше других!.. И все его несчастья начались отсюда. Нет, у Гриши, это уж приходится признать, и язык нехороший, злой. Просто на стену лезет из-за каких-то, видите ли, «несправедливостей», ищет их, где они есть, и где их нет... «Эти нас любят, эти нас не любят». Что значит? Нету никаких «нас» и «вас» — все одинаковы, живем в одной стране, говорим на одном языке!

Лидия Матвеевна качает головой: что ж! Правды никто не любит, а у нее — что поделаешь? — такой характер: правду только в глаза. Если надо сказать, если это полезно, педагогично — значит, молчать — преступление. Не о себе следует думать, не о том, чтобы для всех быть хорошей, а о людях, которые часто неверно поступают и совершают грубые ошибки только потому, что никто их вовремя не научил.

У овощной палатки человек пять. Лидия Матвеевна, вздохнув, становится в хвост.

— Бабушка, вам тяжело, проходите без очереди.

Кто это? Очень славная женщина, совсем молодая, с ребенком. Что там ни говорите, есть у нас и сознательная молодежь!

В груди тяжесть, пальцы онемели, так что хорошо бы и без очереди, тем более, в жизни настоялась, пускай теперь другие... И все же Лидия Матвеевна отказывается:

— Ничего, большое спасибо, я постою. Это я, слава Богу, еще пока умею — стоять. Постою, у нас, стариков, свободного времени много.

Даже слишком много... Знать бы, сколько его осталось вообще, этого времени. Год? Два? А если — месяц?. Ну что ж... Все-таки семьдесят семь — солидный возраст, грех жаловаться. Только вот Гриша... Надо непременно сделать в сберкассе распоряжение.

Лидия Матвеевна думает об этом спокойно, как о зав-трашной пенсии. А сама бдительно следит за очередью. И замечает: возле прилавка трется нахальная девчонка в лохматой шапке. Неужели влезет? Нет, не посмела, отошла и встала как раз за Лидией Матвеевной.

Яблоки не дешевые, рубль пятьдесят, а все берут по два-три кило. Есть у людей деньги, ничего тут не скажешь, хорошо живем! Но Лидии Матвеевне килограммы ни к чему. Когда, наконец, подходит ее очередь, она просит продавца взвесить три штуки:

— Вот то, красненькое, и два, которые слева. Нет, не это, это не кладите, вы же видите, битое! Лучше то, с краю... Нет, не то, следующее, будьте так любезны... Вы сами не пробовали, они как, с кислинкой?

— Не пробовал,— грубит продавец,— с вас восемьдесят семь копеек.

...Рубль пятьдесят килограмм, семьдесят пять копеек — полкило, на весах пятьсот восемьдесят граммов... нет, как будто бы не обсчитал...

Это мне, пожалуй, будет дороговато, молодой человек, уберите то, большое, положите поменьше,— приказывает Лидия Матвеевна и поворачивается к очереди:

— Восемьдесят семь копеек накануне пенсии — целый, знаете ли, капитал.

Это шутка, но очередь шуток не понимает, очередь уже раскалилась.

— Хватит задерживать. Берите ваши яблоки и освободите место,— пытается хамить та самая, в лохматой шапке,— вы сюда за яблоками пришли или беседы беседовать? Людям некогда, а она языком треплет, каждое яблоко разглядывает, будто жениха выбирает!

— Шестьдесят копеек. Устроит? — осознал продавец.

— Конечно, устроит! И большое вам спасибо, молодой человек, желаю всего самого наилучшего и крепких нервов — с такими покупателями недолго подорвать здоровье.

На хамку Лидия Матвеевна не смотрит, но та, конечно, поняла, чья кошка мясо съела, и помалкивает.

Дальше все идет как по маслу. На углу, в низке, удастся купить полкилограмма хека. Это вам не судак<sup>16</sup>, но вполне, между прочим, приличная рыба, если уметь приготовить. Хватит и на первое, и на второе.

В рыбном с утра пусто, продавщица там пожилая женщина из простых, но симпатичная, и Лидия Матвеевна сообщает ей, что, вот, завтра пенсия, придется весь день сидеть без воздуха, так что надо запастись продуктами впрок, а что делать?

— Вам хорошо, — с завистью откликается продавщица, — можно дома сидеть. Наверное, дети есть, внуки. А я одна, как шишка, и пенсия маленькая, тут не посидишь.

— Да, у меня внучка, годик. Красавица, о чем вы говорите? — расплывается Лидия Матвеевна. Из бокового кармана сумки она достает завернутую в полиэтилен последнюю фотографию Оленьки и показывает продавщице. В руки, конечно, не дает — не хватало еще перепачкать ребенка рыбой!

— Хорошая девочка, — вздыхает продавщица. — Сразу видно, что здоровенькая, щечки, точно яблоки красные. С вами, наверное, вместе живут? Любит, небось, бабушку?

Лидия Матвеевна пожимает плечами.

— Думать надо не о себе и своих интересах, а о ребенке, — назидательно заявляет она, убирая карточку назад в сумку. — Что значит — «любит, не любит»? Главное, чтобы ребенку было хорошо, чтобы он рос и своевременно развивался.

Она величественно кивает продавщице и поворачивается к ней спиной. Что с таких взять — не удосужилась завести детей, а рассуждает!

Теперь домой, передохнуть, просмотреть газеты, а там — в поликлинику. Номер к невропатологу — это большая удача. Целую неделю Лидия Матвеевна за ним ходила. Ходила, ходила и выходила. Невропатолог очень хорошая,

молодая, но, видно, опытная. Вдумчивая. Не то что эти терапевты, у них на весь осмотр две минуты, просто какое-то бедствие! И начнешь рассказывать, сразу перебьют, хоть у вас грипп, хоть холера. Как говорят: «Чем бы ни болела, лишь бы померла...» Правда, надо отдать им должное, нас много, а их пока не хватает. Но ведь невропатолог на каждого находит время, значит, можно, если только захотеть. Конечно, иногда часами ждешь приема, но и в очереди всегда найдется, с кем сказать слово, поделиться опытом. А когда попал в кабинет, тут уж тебя обо всем спросят и выслушают с полным вниманием. И про сжатие в груди, и вообще про плохое самочувствие, и что сон неважный, а от сына уже месяц и десять дней нет писем. Это, чтоб вы знали, почта барахлит, надо бы написать куда следует а все равно волнуешься, сын есть сын, и жизнь у него там — каждому понятно, какая... А теперь еще и внучка появилась, тоже душа болит. Бедная девочка...

Ну наконец-то! Вот и дом, а то на этом льду сломать ноги — пара пустяков, просто какое-то вредительство<sup>17</sup>! Лидия Матвеевна медленно пересекает двор. Двор тесный, и всегда запах от мусорных бачков... А Гриша, когда был маленький, любил тут играть. Бывало, вечером просто не докричишься домой. Все говорила: «Гриша, почему не пойти в садик? Там зелень, воздух. Все хорошие дети играют в саду, а ты — по дворам, будто какой-нибудь беспризорник!» Нет, в сад не хочет, а с этим двором сплошные нервы: и компания подобралась — одна шпана, то — драка, то разобьют стекло, а мама плати, можно с ума сойти — стекло после войны! Счастье — в седьмом классе увлекся химией, потому что учительница была хорошая, умела заинтересовать. Увлёкся, записался в кружок при Доме пионеров, меньше стало времени хулиганить. Это очень важно, очень! — занять ребенка, чтобы не было времени хулиганить... Наталья не понимает, испортит Оленьку, ох, горе, горе...

В подъезде полутемно. Лидия Матвеевна сразу подходит к почтовому ящику. Опять пусто, ну что за наказание такое! Ноги сразу слабеют, на лбу выступает пот. Она останавливается, достает из кармана трубочку с нитроглицерином, вынимает таблетку, кладет под язык. Через минуту делается легче, можно не спеша подняться на третий этаж, открыть ключом дверь, зажечь в передней свет. И тут... Ну, слава Богу! Вот оно, на столике, вместе с газетой. Значит, Шура вынула. Сейчас скорее в свою комнату, раздеться, надеть очки и медленно, смакуя каждое слово, читать. Но сперва бегло просмотреть, не стряслась ли какая беда.

Все хорошо, жив и здоров! Главное — здоров! Уж тут-то Гриша обманывать не станет. А вот работает мальчик у них на износ. Но, с другой стороны, там попробуй не поработай... «Мать, прости, Бога ради, что так давно не писал, вкалывал последнее время как сумасшедший, зато теперь никаких долгов...» Это же просто безобразия! Долги! Как будто никто не понимает, откуда взялись эти долги! Погубил себя, угробил здоровье — и ради чего! Тут она, только она, Наталья! Алчная. Не ему это все было нужно — машина, барахло... И вот теперь он вынужден... Разве в юности Гриша был таким? Еле сводили концы с концами, от алиментов Лидия Матвеевна, разумеется, отказалась (не захотел быть отцом, деньгами не откупишься!) — мальчик ходил в чиненых-перечиненых шароварах, в самодельной «москвичке»<sup>18</sup>. Правда, всегда чистенькое, глаженое. И никаких долгов... А разве он жаловался? Посещал кружки, занимался физкультурой. Сколько книжек читал! Приходилось даже останавливать: «Испортить зрение»... Теперь никто не позаботится... Нет, надо немедленно написать Григорию большое, строгое письмо, пусть хотя бы сейчас задумается, что здоровье прежде всего!

А за стеной опять рев и совершенно кошачье мяуканье. Этот дефективный Виталик завел свою «музыку». Лидия Матвеевна кладет письмо на стол, поднимается

и решительно идет в Шурину комнату. Вот, пожалуй-ста, вяжет, сидя с ногами на незастеленной кровати. Ноги некрасивые, толстые, на пальцах нестриженные ногти, никакой культуры! А ее Виталик развалился на тахте — слушает джаз<sup>19</sup>.

Не говоря ни слова, Лидия Матвеевна пересекает комнату и выключает проигрыватель. Рев обрывается. Виталик садится и возмущенно таращит свои глаза — нет, чтобы поздороваться с пожилым человеком.

— Вы... вы чего? — спрашивает он, наконец. — Вы... зачем?..

— Во-первых, здравствуйте! — заявляет Лидия Матвеевна, обращаясь сразу и к нему, и к Шурке. — Хочу сказать вам вот что: хулиганства в квартире я не потерплю, просто не имею права терпеть! Это не музыка, а развращение малолетних, и вам, Шура, неплохо бы тут призадуматься! За такие штучки раньше можно было занять очень и очень крупные неприятности, это я вам говорю! Потому что — идео... идеологическая диверсия! И с ногами на диване! Советский учащийся не должен подражать пошлым образцам Запада! Это никогда не доводит до добра, уж я-то знаю, можете мне поверить.

— А чего? Чем вам музыка плохая? — тупо бубнит Виталик. Вид у него глупый, как у дурака (он вообще глупый, а сейчас уж совсем). — Если эта музыка плохая, какая тогда хорошая?

— Какая?! Ты не знаешь какая? — Лидия Матвеевна вскидывает голову. — Разве мало у нас своих хороших песен? «Не слышны в саду даже шорохи», «Этот День Победы...»...

— Ну вы даете! — Виталик стал окончательно похож на идиота. И у Шурки рот приоткрыт и глаза выпучены.

— «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек!»<sup>20</sup> — торжественно заключает Лидия Матвеевна. И замолкает. Она задыхается, надо бы опять принять нитроглицерин, да он остался в комнате.

— Во дает, труха! — как бы даже с восхищением произносит Виталик. И вдруг орет хамским голосом:

— А шли бы вы отсюда подальше! Тоже воспитательница выискалась! «Старушка-не-спеша-дорожку-перешла!»<sup>21</sup> «Широка страна!» Патриотка! А от самой сын в Америку сбежал!

— Заткнись, сучонок! — Шура вихрем срывается с кровати.— Заткнись, гад, убью! Не слушайте его, Лидия Матвеевна! Вот я ему сейчас, подлецу...

— Шура... Не смейте... бить... ребенка...— еле слышно выговаривает Лидия Матвеевна и берется за грудь.— А мой Гриша... Он вернется... Вот увидите... Он осознал... Его запутали, обманули... Он непременно вернется, у меня — письмо...

Глаза Лидии Матвеевны закатываются, и, коротко всхрапнув, она кулем валится на пол.

Лидия Матвеевна не слышит причитаний Шурки и басовитого хныканья Виталика, которому мать успела-таки врезать по роже. Не слышит она, и как на крики прибегает беременная Лена. Не чувствует, как Лена с Шуркой поднимают и осторожно укладывают ее на тахту.

Она приходит в себя только тогда, когда врач вызванной перетрусившим Виталиком Скорой помощи уже сделал ей укол. Врач молодой, интересный, чем-то похож на Гришеньку и одновременно на фотокарточку Оли.

— Коронарный спазм,— сидя за столом, важно объясняет он Шуре и Лене,— нужен покой и уход. Я ввел ей сосудорасширяющее.

Шурка кивает, будто поняла.

— Она ведь одинокая? — спрашивает врач.— Хорошо бы, конечно, госпитализировать... Да только, сами понимаете, возраст. Больницы таких брать не любят. Вот, если бы вынести на улицу, посадить где-нибудь и вызвать Скорую из автомата... Понимаете? Тогда они обязаны взять.

— Господи! — ужасается Лена. — На улицу?

— Это чтоб человека под стенкой кидать, все одно, как собаку?! — вторит дикая Шурка.

Лидия Матвеевна хочет их одернуть, сказать, что это злопыхательство, больницы — для всех, и нельзя забывать: медицинская помощь у нас бесплатная. Не то, что в капиталистических странах, где один поправляет здоровье в отдельной палате с цветным телевизором за счет других, которые умирают с голоду под мостами! А доктору этого не знать стыдно, его учили в советском институте... Бескультурье... Вот и Наталья — подумать: носила на шее крест... Кончила университет, а ведет себя, как неграмотная деревенщина!.. Но почему, откуда такой яркий свет? Ведь за окном ночь. А-а... это же свечи! Много свечей, потому что сегодня праздник. На белой скатерти — продолговатое блюдо с фаршированной щукой, всем дадут по кусочку, а голову обязательно — дедушке Гиршу. А как блестят разноцветные графинчики с виноградной водкой! Борису, старшему брату, тоже нальют немножко водки, а девочкам — Лийке, Бейле и Симе — наливки из смородины. И все станут поздравлять друг друга, кричать «Лэхаим!»<sup>22</sup>... Что он там еще говорит? Ага, выписывает рецепты... Опять про больницу... А ей уже легче, какая может быть больница! О-о, ей еще стоит позавидовать: у нее есть прекрасная комната, удобная постель. И свой нитроглицерин. И необходимые продукты... Не забыть убрать рыбу за окно... Завтра принесут пенсию, нужно сразу положить пятнадцать рублей на сберкнижку, для Гриши... А уход? Что ж... Кругом люди, у нас человек человеку друг и товарищ. И кто еще? И брат... «Чем отличается эта ночь от других ночей?» — спрашивает брат у дедушки. — «Каждую ночь мы едим и мацу, и хлеб, а в эту ночь — только мацу», — отвечает дедушка Гирш.

...Шурка с Леной наперебой благодарят врача и выходят за ним в переднюю. Дверь они оставляют открытой. До Лидии Матвеевны долетает шум шагов, щелканье замка, голоса.

— Жалко Матвеевну, — громко вздыхает Шурка. — Все же справедливая старушка. И грамотная, в политике разбирается. А сын подлецом вырос, это надо же...

Лена отвечает, но тихо, не разобрать.

— Если что, — снова доносится Шуркин голос, — если Матвеевна... В общем, вы с Серегой тогда ушами не хлопайте, ясно? Сразу же занимайте ее комнату, в тот же день. Внесите вещи, пускай потом доказывают. Тут уж дело такое: у нее пятнадцать метров, все равно государству пойдет, а у вас на двоих — девять, теперь уж, почитай, на троих...

Нет, она совсем не глупая женщина, эта Шурка, хоть и темная нацменка... А обижаться тут не приходится, жизнь есть жизнь... Да и зачем обижаться? Самый большой праздник сегодня, и дедушка Гирш, сидя во главе стола, рассказывает о том, как Моисей вывел в этот день евреев из Египетского плена<sup>23</sup>. Лия слушает, замерев от страха: царь Фарон со своим войском кинулся вдогонку, но не сумел их догнать, не сумел! Так и утонул в Черном море<sup>24</sup> вместе с лошадьми, солдатами и телегами...

Лийка смеется и хлопает в ладоши. Каждый год в первый Сейдер дедушка Гирш рассказывает эту историю, и всегда ей сначала страшно. А дедушка медленно поднимается над столом. Он очень большой и грозный, борода у него белая и волосы белые. А глаза черные. Как у Гриши.

Свет становится ослепительным и звенящим. Пора! Холодными пальцами Лия царапает обивку Шуркиной тахты. И пристально глядя прямо в эти вдруг надвинувшиеся глаза, синими, неподвижными губами произносит:

— Шма, Исроэл! Аденой элойгейну, Аденой эход<sup>25</sup>!

— Ма! — кричит Виталик. — Ма, быстрее! Быстрее! Иди сюда! Тут эта... твоя бабка обделалась!

## СОЛНЦЕ ЗА СТЕКЛОМ

*Федору Чирскову<sup>1</sup>*

Наверняка имеются в специальных конторах и учреждениях соответствующие бумаги и списки с цифрами, но разве может быть точной хоть одна цифра, когда дело касается такого смутного и непрочного предмета, как старухи?

Старуха — существо зыбкое, С утра она еще здесь, мерзнет в темноте среди терпеливой очереди к зеленому ларьку или же, командированная по неотложному делу детьми и внуками, продирается сквозь набитый до хруста автобус, дружно всеми ненавидимая — ясно, почему... А потом озабоченно снует по городу с кошелкой запредельного веса. Вон, любуйтесь: собралась перейти улицу, топчется у перекрестка и, не дождавшись зеленого света, вдруг устремляется на мостовую, опасливо выставив руки со скрюченными пальцами. И мечется среди машин, приводя шоферов в законную ярость.

Это — с утра. А к вечеру, глядишь, ее уже и нет нигде, и след на глазах остывает, затапывается прохожими. Все. Тут бы и исправить сразу ставшую неверной цифру в списке, но погодите! На том самом месте, с которого только что навсегда исчезла знакомая наша старуха, уже вырисовывается новая. Возникает из женщины, утром еще будто и не старой, бойкой, с разными там надежда-

ми. Она и сама еще не поняла, что случилось, а уж из подведенных глаз, из-под покрашенных ресниц выглянула и спряталась, выглянула... и осталась повадливая, хитрющая старуха.

Рядком у дощатого забора, обклеенного бумажками объявлений, они и стоят. Впереди теснится тротуар, дальше громыхает проезжая часть, на другой стороне улицы — девятиэтажный новый дом, а перед ним — широкий, засыпанный снегом газон, где сейчас по колено в сугробе возится тети-Олин Павлик.

— Выди, говорю! Выди со снега, стрикулист! Ноги перемочишь! Ой, гляди, выжгу, ой, стебану! — надсаживается тетя Оля, но тонкий, визгливый крик ее не достает до Павлика, намертво вязнет посередине мостовой между машинами.

Тетя Оля худая и маленькая, скособоченная и до невозможности курносая. Елизавета Григорьевна как-то объясняла, будто тетя Оля похожа на знаменитого царя Павла Первого, но никто, конечно, внимания на эти ее ученые слова не обратил, а может, и не расслышали. А может, наплевать...

Одета тетя Оля в потертое черное пальтишко, в валенки с галошами, голова обмотана сиреневым, как рожа алкоголика, платком.

— Ой, паразит, гли, что делаеть! Ну погоди, доберусь! — кричит тетя Оля, потому что так надо, так полагается. И тут же, повернувшись к стоящей в шаге от нее толстой, дряблой женщине, продолжает крик:

— Сахару купила, меришели купила, сарделек свиных полкила — во как! И деньги вси<sup>2!</sup> Вси, как есть! Слышь, нет, Павловна? Сахару, говорю...

Вера Павловна нетерпеливо встряхивает грузным лицом. Она, если взглядеться, совсем и не старая — от силы шестьдесят, ну шестьдесят два. Еще кокетничает: на губах помада, волосы кудряшками падают на лоб из-под

меховой шапки. Шапка, конечно же, не новая, и мех, само собой, искусственный, синего цвета. Вера Павловна переступает тучными ногами в белых сапогах, куда кое-как заправлены рейтузы, — ждет, чтобы всунуться со своим. Не дождавшись, перебивает:

— Это сколько же неприятностей, вся разнервничалась, мой-то придурок опять: «Будем разводиться!», ушел, денег ни копейки не оставил, сам выкаблучивает: ты, говорит, неряха, раковину плохо моешь! Ну просто не телефонный разговор! Это ему соседка напела, нахал такой, придурок...

И нате вам: Вера Павловна уже плачет.

— Утром встала, помыла его, покушать дала, — верещит тетя Оля. На что Вера Павловна:

— Главное, я такая хозяйственная женщина, все соображу, что и как, руки золотые, аккуратная... «Плохо мо-о-ою!» Вот, завтра пойду к Васе участковому, пусть разберется, заявление напишет в прокуратуру и в суд, посажу его, придурка, я порядки знаю, и он узнает, я, слава Богу, женщина умная, толковая...

— Па-а-авлик! — залиvisto вопит тетя Оля и срывает с места. Но застывает, не успев шагнуть на мостовую, от негромкого, но очень строгого «Стоять!»

— Стоять. Не двигаться до полной остановки транспорта, — диктует третья старуха, очень худая, высокая с горделивым верблюжьим профилем. Голову, небрежно повязанную ветхим, полупрозрачным пуховым платком, держит она, слегка запрокинув, спину прямо, ноги в фетровых ботах — пятками вместе, носками врозь. В руках у этой старухи кружевная салфетка, связанная крючком из белых бумажных ниток. Это она, Елизавета Григорьевна, придумала, будто тетя Оля напоминает какого-то там императора Павла.

Елизавете Григорьевне восемьдесят два. Лучшие ее дни пришлись на те славные времена, когда каждый знал наизусть, что такое «наробраз», «женотдел», «избач» и «шкраб»<sup>3</sup>.

А сейчас? Скоро не то, что «шкраб», скоро никто не будет помнить, что такое «молокосоюз»<sup>4</sup>, «тэжэ»<sup>5</sup> или «жировка»<sup>6</sup>. Красивый парень физкультурник превратился у них в английского сноба — «спортсмена», старый добрый вагоновожатый — в безликого «водителя», пожилые люди — в пенсионеров. А сколько появилось за последнее время совсем новых уродливых слов, таких, что интеллигентному человеку и не выговорить! Все эти «блейзеры», «батнички», «такешники»<sup>7</sup>... А как вам нравятся «шузы» вместо ботинок? Или еще: «трузера на зиппере»? Это, как объяснил вчера внук, означает штаны на молнии! Мерзость, мерзость! Не угнаться за современным жаргоном, скоро на собственной улице будешь чувствовать себя, как за границей.

Елизавета Григорьевна до семидесяти лет безупречно прослужила в школе преподавателем истории, заработала вполне приличную пенсию и могла бы теперь находиться в кресле у телевизора с чашечкой чаю. Или с книгой — в кресле под торшером. Могла бы, но не желает! Ей сладко стоять вот так с рукоделием на продажу в виду всего района, где значительная часть населения — бывшие ее ученики и ученицы. Стоять и с праведным удовлетворением чувствовать, как стынут на морозе ноги, совсем еще немного — и воспаление легких, больничная койка (самое лучшее, если бы чужие люди подобрали без памяти прямо на улице), вот тогда она, так называемая «дочь», наконец-то поймет, тогда опомнится, волосы на себе станет рвать, проклиная день и час, когда променяла единственную мать на рыжего, невоспитанного, похотливого, морально нечистоплотного павиана! Ничего, настанет время, настанет... Но будет поздно. Да! Именно!

Редкий день проходит, чтобы около Елизаветы Григорьевны не остановился кто-нибудь из ее стареющих школьников. Постоят, повздыхают, всей душой посочувствуют. Ибо давно известно: единственную дочь она растила одна (муж погиб в блокаду), теперь эта дочь — кандидат

химических наук. Как же так? Почему? Чудовищно! Может, надо что-то сделать, куда-то сходить, написать? В газету? Или лучше в парторганизацию<sup>8</sup>? Ведь нельзя же вот так пройти мимо...

— Не нужно, Машенька (или Сашенька, или Валечка — всех своих учеников Елизавета Григорьевна прекрасно помнит и узнает), — прошу, не нужно. Насилие еще ничего не решало, а ей я хочу только добра! У каждого своя судьба. Мне — так легче. Пусть, пусть!

...Они стоят изо дня в день у забора, за которым клокочет рынок, каждая что-нибудь продает. Тетя Оля — шерстяные носки и варежки, Елизавета Григорьевна — салфетки и кружевные воротнички, изготовленные сугубо собственноручно. А вот Вера Павловна, та торгует, чем придется, каким-то подозрительным хламом. Сегодня это сильно поношенная велюровая мужская шляпа, завтра — полуботинки, послезавтра — старый портфель с железными углами (одного угла нет). Елизавета Григорьевна брезгливо ее осуждает: безнравственно и непристойно. Торговля продуктами чужого труда — хотя бы и найденными на помойке — есть не что иное, как спекуляция<sup>9</sup>. Вера Павловна клянется: да нет же! Почему чужого, когда и башмаки, и портфель, и шляпа, и узел старых галстуков, который она на днях безуспешно пыталась всучить какому-то колхознику, — все эти вышедшие из употребления вещи — ее мужа (придурка). Никто ей не верит.

— Да пускай ее, дурочку бестолковую, — великодушно говорит тетя Оля, — все одно у ей никто ниче не беретъ.

— Сколько ни вейся, сколько ни вейся, а концу быть, — непонятно и жутко вещает Елизавета Григорьевна, грозя пространству длинным, плохо гнущимся от холода пальцем (поблажек в виде рукавиц она не признает). Нет доброты и милосердия! А ты, Ольга, не права вдвойне. Во-первых, эти сливки... Магазины без продавца организованы в расчете на честных людей<sup>10</sup>...

— Да ладно! — отмахивается тетя Оля. — Ну взяла и взяла. А если у меня деньги все, а мальчишке надо?

— Воровство есть воровство. Вещь безнравственная, не спорь!

— Вот прицепилась, репей! — кричит тетя Оля. — Да отдам я им за сливки, отдам! Вот купят носки, снесу тридцать семь копеек, пускай подавятся, сами больше украдут!

— Посажу придурка, на сто первый километр поедет без прописки, — бубнит Вера Павловна, уже ни к кому не обращаясь. — «Разводи-иться!» Хрен ему, а не развод. Свидетелей найду, что хочешь, подтвердят, я женщина солидная, человек — ума палата, знаю, что как делается, не в первый раз...

Стоят они со своим товаром у ворот рынка, толпы людей проходят мимо, идут и идут, редко, кто остановится хотя бы прицениться. Ну что проку в такой торговле?

Так думает, глядя на старух из окна пятого этажа нового дома напротив, Наталья Петровна Сорокина. Она только что натерла до блеска мягкой сухой тряпкой и без того чистое оконное стекло в кухне, стоит теперь и смотрит на улицу. Там — конец февраля.

Сразу после ноябрьских праздников Наталья Петровна сказала мужу, что ей до смерти хочется пойти в ресторан. Ага. В ресторан!

Наталья Петровна была совершенно уверена, что муж ей откажет, да не просто так, а влепит что-нибудь короткое, но, как всегда, обидное, вроде: «дурь». Наталья Петровна, конечно, боялась своего Николая Ивановича, но уж на этот раз решила настоять на своем: ни в каком ресторане она не была за всю жизнь, а жизни той осталось теперь всего ничего. Он-то сам, небось, когда был помоложе, не раз ходил! Не один, это верно, и не с друзьями или, там, с бабами, Боже упаси, а с коллективом, но ведь ходил! А Наталье Петровне до

шестидесяти четырех лет не пришлось, и если сейчас не пойти, то уж, значит, и никогда. Почему никогда? Потому что — годы. К тому же сын Миша, когда приходил вчера взять у родителей ежемесячные тридцать рублей, вдруг говорит, что скоро попросит больше, у них, Бог даст, будет, наконец, ребенок — не зря Людмила Сергеевна столько лечилась у профессоров.

Как откажешь? В двух комнатах станет им тесно, понадобятся деньги на новый обмен — это раз, а второе — пойдут расходы, только дай-дай. Первая беременность в тридцать семь лет — не шутка, да если учесть, что Людмила Сергеевна слабенькая...

Ну, обещали платить шестьдесят, надо так надо. Для родного сына деньги всегда найдутся, лишь бы все ладно. Как-никак две пенсии, да не маленькие: у Николая Ивановича сто двадцать и у Натальи Петровны чуть не столько<sup>11</sup>, не зря, считай, всю жизнь отработала в цехе штамповщицей.

Правда, сейчас с расходами стало труднее — год назад Михаил устроил обмен, на две родительские комнаты и квартиру Людмилиных родителей удалось как-то получить две двухкомнатные и однокомнатную — это для Николая Ивановича с Натальей Петровной. Сорокиным квартира досталась хорошая, но кооператив, пришлось платить взнос, и на это ушли все сбережения. Кроме того, Мише плати, а вчера еще выяснилось про Людмилы Сергеевны беременность.

Михаил сказал насчет шестидесяти рублей и губу закусил, боялся, видно, что отец — на дыбы. Но как прекнешь? Теперь все кругом, кто в состоянии, помогают детям, пусть и сорокалетним. Тем более, получает Михаил в своем конструкторском бюро не так уж больше отцовской пенсии, а у Людмилы Сергеевны и оклад выше, и положение на работе. Ну разве дело, чтобы мужчина приносил в дом меньше, чем жена? Михаил — инженер какой-то категории, а Людмила Сергеевна занимает пост

в райисполкоме<sup>12</sup>. Была Наталья Петровна раз по делу у невестки на службе, да так оробела от приемной, от секретарши маникюрной, что с тех пор и звала Людмилу не иначе как с отчеством. В крайнем случае скажет: «Людмилочка Сергеевна». Если к слову, то и мужа своего она редко, когда звала по имени, привыкла уже: Николай Иванович, да Николай Иванович, «Коля» сказать язык не повернется. Да он и удивился бы. Вот так. А вчера все прошло спокойно, прибавить денег Николай Иванович сразу согласился — кивнул молча, как всегда.

С невесткой про эти деньги Сорокины никогда не разговаривали, дурак поймет, что ей ничего не известно.

Наталья Петровна так уж была довольна, что сын хорошо женился! Людмила Сергеевна развитая, воспитанная и как женщина очень интересная. И на работе ценят. А теперь, слава Богу, и ребенок. Однако в гости к сыну она ходить избегала, зато Миша у родителей бывал не реже двух раз в месяц, сын заботливый, ничего. И всегда радовался: хорошая квартира, главное — наконец, отдельная. Мать каждый раз говорила: квартира хорошая, спасибо, сынок, про себя же думала: «А что? — своя кухня семь метров, рядом базар, а за ним большой парк, куда Николай Иванович ходит гулять для здоровья и играть в домино... Конечно — отдельная квартира, кто спорит... Но когда неделями не с кем слова сказать...»

С мужем Наталья Петровна разговаривала редко, потому что пустой брехни Николай Иванович резко не признавал. Давал, конечно, указания: что готовить на обед, когда заклеивать на зиму окна, или что лампочка в передней чересчур яркая, ни к чему, надо купить двадцатипяти-свечовую и быстро поменять. Себе самому он, как только вышел на пенсию, тоже назначил домашние обязанности: получать свою и женину пенсию, платить за коммунальные услуги и вести всю домашнюю бухгалтерию, рассчитывать на жизнь. И вообще все определять.

Не был Николай Иванович ни скупым, ни придирчивым, а только каждый раз, если надо обратиться к мужу за деньгами, Наталья Петровна до того расстраивалась, что даже слабела. Боялась его, как всю жизнь боялась на заводе начальника цеха, а о директоре и говорить нечего. Как-то однажды набралась храбрости: уж очень стало обидно — два дня ходила простуженная, тридцать семь и семь, а он — никакого внимания. Сказала: у тебя, мол, на глазах когда-нибудь и помру, хоть бы для вежливости спросил, как сама себя чувствую. Сказала, ну и сразу, конечно, испугалась — рассердится. А Николай Иванович не рассердился, рассудительно ответил, что заболевание он видит, не слепой, а спрашивать зря нечего, от вопроса легче ей не станет. Прав был, между прочим, — не станет.

Наталья Петровна все думала: вот интересно, разговаривает он со своими стариками в парке? Ну хотя бы, что происходит, про политику. Ведь каждое утро прочитывал две газеты — Центральную и «Известия»<sup>13</sup>. Как-то спросила, что пишут, он сразу: «Возьми да прочитай, грамотная». Поговорили.

Вечером у телевизора тоже молчал, не делился. А если и заговорит, то опять не с женой, с диктором. Все спорил. Про урожай, про стройки разные, положение в странах. Особенно когда обещали хорошую погоду — дескать, ну сколько можно? Если передача не нравилась, сплунет и выключит, Наталью Петровну даже не спросит — может, той хочется дальше смотреть. Но она ничего, терпела, ему видней. Взбунтовалась только раз — уж больно интересное кино показывали, Наталья Петровна даже плакала, а он, паразит, взял и выключил! Главное, перед самым концом, когда непонятно, убьют парня или живой останется, а мать-то ждет. Наталья Петровна, глядя кинофильм, вытирала тогда тарелку, то и дело промокая краем полотенца глаза. Николай Иванович со словами «чушь дурацкая» выключил телевизор. Она сперва тихо попр-

сила «не надо!» Он, то ли правда не расслышал, то ли прикинулся, она повторила громче, а он: «Нечего. Глупости всякие». Тут у Натальи Петровны все лицо будто кипятком обожгло, и стало нечем дышать. Она и подумать ни о чем не успела, а сама что есть силы швырнула тарелку прямо в потемневший экран. Слава Богу, не попала, а ведь метила попасть!

— Очумела? — только и спросил Николай Иванович, но жена не ответила, убежала в ванную и заперлась.

Впрочем, такие взрывы случались у Натальи Петровны за всю-то их с мужем длинную жизнь раз пять, не больше. Обычно соглашалась со всем, что делал Николай Иванович. А молчание... Муж и должен быть спокойным и самостоятельным.

Только за едой он иногда произносил несколько слов. Сядет, обведет глазами стол:

— Так. Творог. Поглядим... Яички. Ладно. Почему не сварила «Геркулес»? ...Ага. Молоко. Не скисло? А «Геркулес» завтра же сварить.

От вечной молчанки Наталья Петровна потихоньку стала разговаривать сама с собой. И — смешно, сказала бы хоть что путное, а то, ну прямо как Николай Иванович: «Так. Посуда. Помыть. Картошка, отварить. Царапина на полу — чего делать, и не знаю...»

А вообще-то жаловаться на жизнь было грешно. Здоровье пока — тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, не голые, не босые, не голодные. И отдельная, как ни говори, квартира с удобствами. И сын — тоже. Как и отец, работающий, не пьет, не курит и без баловства. А что мало денег приносит, так не его вина, все по справедливости: плата за высшее образование да за чистую работу.

Живут с Людмилой своей Сергеевной дружно, весело — вчера как раз говорил: в праздники ходили вдвоем в ресторан. Вчера Наталья Петровна на эти слова и внимания не обратила, а ночью проснулась, лежала, думала о разном и додумалась: вдруг чего-то обидно стало:

кончается жизнь, можно считать и кончилась, теперь уже не жизнь — доживание, и все, вроде, было. А вот ресторана — никогда! Может (даже наверняка) ничего в этих ресторанах особенного нет... только зачем столько народу туда рвется? Все: ресторан! ресторан! Жили в центре, идешь вечером по проспекту, так ведь у каждого-то ресторана очередь. И не то, чтобы одна молодежь, разного возраста люди, есть и пожилые. Значит, стоит зачем-то мерзнуть под дверью?

Все это Наталья Петровна и приготовилась высказать мужу, когда тот начнет над ней насмехаться.

Николай Иванович выслушал жену молча, взглянул с любопытством, пожевал губами, оделся и ушел в парк играть в свое домино — только коробка с костяшками брякнула, он ее постоянно держал в кармане пальто. Муж ушел, а Наталья Петровна стала мыть в кухне пол и, пока мыла, решила на этот раз ни за что не уступать, всю жизнь уступала. Хватит, ишь ты! У него удовольствие — домино, а и она заслужила, всю жизнь отработала и теперь крутится полный день.

Наталья Петровна выпрямилась, отжала тряпку в ведро, посмотрела в окно — как погода. Ведь простудится в этом пальто, говорила: надо зимнее, не послушал, упрямый баран!

Напротив, у рынка, как всегда стояли старушки, торговали, кто чем. Этим, видно, никогда не холодно, как ни глянешь — всегда тут... А небо-то ясное, к морозу. И дерево, вон, качается, ветер, значит... А ресторан?.. Что ж... Эка невидаль — ресторан! Размечталась. Деньги пушить на старости лет, из ума начала выживать. Дура, ох, дура! Ну и согласится муж, в чем, скажи, пойдешь? Ведь как вышла на пенсию, ничего себе не сшила, не купила. Дома всегда найдется, что трепать, по гостям не больно ходим, а тут надумала: по ресторанам! Вот и правильно, что отругает, нам, бабам, только дай волю. В ресторан ей, артистке республики!

А Николай Иванович взял и согласился!

Как пришел к обеду, сразу:

— Готовься, делай шестимесячную<sup>14</sup>, завтра — в ресторан. В «Весну». Пойдем, посидим, как люди. Не хуже других, заслужили отдых.

За столом — чудеса, да и только — сидел веселый, рассказывал:

— Ребята (старики его, доминошники) говорят: а чего? Посоветовали идти в «Весну», это у нас в районе сразу же за парком новый ресторан, летом открыли. Летом был наплыв — не протолкнешься, иностранцев привозили кормить на автобусах, а сейчас народу мало. Я ходил, смотрел — ничего... Говорят, и кормят прилично, и все прочее. Платить — так уж чтоб было, за что! Мне Фокин... ну тот, что с палкой ходит, бывший музыкант, в театре работал... хотя ты не знаешь... так он сказал: «Весна» — ресторан «люкс», высшего разряда.

Весь вечер Николай Иванович был разговорчивый, вспоминал чего-то, как провожали на пенсию Васильева, его друга по работе. Тоже был старшим мастером, только на другом участке. Решили отметить в ресторане, собрали денег, заказали банкет. На банкете том Васильев, вообще-то человек спокойный, вдруг полез драться к Филиппычу, к начальнику цеха. «Ты, — кричит, — жмот, жмотяра! Я молчал, права не имел, а теперь все скажу!» Еле их растащили.

Жалко Васильева — вдруг погрустнел Николай Иванович, — хороший был мужик, справедливый, правду тогда Филиппычу сказал... Я вот не сказал... Филиппыч-то настоящее говно, пускай молодой и с дипломом. Для него рабочий — не человек, а вроде бобика. И меня сто раз дураком выставлял. Надо, скажем, человека оставить на вторую смену, или еще что. Попрошу. Конечно, обещаю заплатить. А Филиппыч потом мне козью рожу: «Не буду платить, меня не спросил, плати из своих».

Васильева Наталья Петровна знала. Пока был здоров, чуть не каждый день заходил к Николаю Ивановичу — жил рядом. И всегда приносил шашки. Войдет, разденется, разуется и прямо в носках — в комнату. И всегда так застенчиво: «В шашульки, как, будем? Ага?» И сразу расставляет, а сам приговаривает: «Шашечки, шашульки, шашулечки».

— Николай Иванович, научи меня в шашки играть, — сказала Наталья Петровна.

Он и не услышал, давал распоряжение:

— Надо в срочном порядке купить новое платье. Выходное, чтоб не стыдно. Раз в жизни ездили к Михаилу, была, как чучело. Кофта какая-то, рейтузы...

Ох. В ресторан, так в ресторан. На следующее утро Наталья Петровна купила себе в универмаге новое платье. Хотела поискать что-нибудь недорогое в комиссионном, Николай Иванович запретил:

— Только новое. В скупку сдают одежду исключительно с покойников.

Шестимесячной завивки Наталья Петровна делать, понятно, не стала, нечего смешить людей. Причесалась, как всегда, гладко, а сзади пучок. Николай Иванович надел черный костюм, накрахмаленную белую рубашку с галстуком. И отправились.

Пустой парк. Красные и голубые флаги шеренгами по обеим сторонам центральной аллеи. Твердый зимний ветер, а с утра было тепло и моросил дождь. Жестяной стук и скрип схваченных внезапным морозом полотнищ. Заиндевший, похожий на оцинкованное железо асфальт. Громкая музыка из репродукторов — праздничная музыка — медь духовых инструментов. Голые и черные, точно отлиты из чугуна, стволы деревьев, а над ними — синее металлическое небо.

— Вон там, если налево к пруду, наша площадка. Где собираемся, — пояснил Николай Иванович. Жена согласно кивнула. Потом спросила:

— А «Весна эта»? Далеко еще?

— Минут пять, не больше.

...Бойтся. Николай Иванович видел: бойтся. Как из деревни... А ведь одно удовольствие так идти, точно на демонстрации — флаги, музыка и ветер. Он посмотрел на жену. Семенит рядом, лицо озабоченное. Обдумывает, как бы отказаться теперь. Вот бабы!

— Николай Иванович, — робко начала Наталья Петровна, — а может, это... Все же дорого. Погуляем здесь, в саду, и ладно?

— Платье купила? — Николай Иванович строго взглянул на жену. — Купила. И все.

Вообще-то в ресторане оказалось хорошо. Красиво. Сверкают люстры (из чистого хрусталя), занавески голубые, плюшевые, и на креслах такая же обивка. Вдоль стен большие столы, человек на шесть, а посерединке маленькие, на четверых. Вот к такому столику Сорокин и привел жену, велел садиться и сам сел напротив.

Наталья Петровна потихоньку приходила в себя. Пока раздевались в вестибюле, ей было стыдно швейцара и гардеробщика, зато Николай Иванович — хоть бы что. (Храбрый какой!) Вошел, со всеми поздоровался, разделся. Потом — к зеркалу. Постоял, вынул расческу, провел по волосам, еще поглядел, посуrowел. Вошли в зал и сели.

— Салфетки-то из настоящего полотна, — шепнула Наталья Петровна.

— Это ресторан «люкс», не закусочная, — громко откликнулся муж. Голос был обстоятельный.

В большом зале было тихо и малоллюдно, занято всего несколько столов, за одним компания, остальные — парочки. Вон мужчина — на вид шестьдесят, не меньше, голова лысая с белым. А тоже с дамой. И дамочка, похоже, не в годах, все крутится да вертится, к Наталье Петровне сидит спиной.

Появился официант, молодой, сытый, в голубом костюме. Сказал: «Добрый вечер», положил меню и ушел.

Наталья Петровна посмотрела вслед — смешно: идет и задом вертит, будто девка.

Выбирал Николай Иванович долго и степенно. Сперва, надев очки, внимательно прочитал меню от начала до конца. Отметил про себя, что цены — будь здоров (надо бы куда сообщить, чтоб проверили), но решил не жаться, не для того выбрался с женой в ресторан, не копейки считать. Сказал:

— Значит так. Возьмем салат «Столичный», шпроты, две порции. Теперь — селедка. Закуска. Так. Суп — борщ «Московский». На второе бифштекс натуральный с яйцом. Осилим?

Тут как раз подоспел официант, достал какую-то книжечку, карандаш. Стоит, молчит, ничего не спрашивает. Ждет и глядит вдаль. А Николай Иванович, как нарочно, тоже молчит. Наталье Петровне опять стало стыдно, вдруг подумалось: плохо одета. И ногти страшные, а у этого, у официанта, вроде, маникюр. И вообще чуть не духами пахнет. Сжала руки, подобрав пальцы.

Николай Иванович смотрит в меню, официант смотрит по сторонам. И нехорошо как-то смотрит, будто помирает с тоски или живот у него заболел.

Наконец Николай Иванович поднял голову, продиктовал, что принести, добавил еще сладкое — компот из слив. Официант ножками лакированными переступил, пошевелил губой:

— Что пить будем?

— Ага! — согласился Николай Иванович. — Это я, значит, про самое главное забыл. Упущение в работе...

— Водка? Коньяк? — перебил официант и вздохнул. Да так жалобно, с надрывом.

— Пива пару бутылок. «Жигулевское» есть?

— Пиво, прошу прощения, не у нас. Тут неподалеку. В бане.

Официант сказал это очень вежливо и негромко, но Наталье Петровне сразу стало жарко.

— Тогда лимонад,— отрывисто произнес Николай Иванович.

Официант пожал толстыми плечами, однако записал. Живот у него, видно, с каждой секундой болел сильнее.

— Что для... дамы? — спросил с запинкой.

Николай Иванович не понял, молчал, и он повторил громче, обращаясь на этот раз к Наталье Петровне:

— Тоже... воду пить будете? Или как?

— Я... мне... — смешалась Наталья Петровна.

— Ладно,— буркнул муж,— красного тогда дайте. По бокалу. «Три семерки»<sup>15</sup>.

Официант медленно потащил вверх тонкие (никак, выщипанные?) брови и горестно сказал, что бокалами подается только шампанское, что же касается этих... семерок, шестерок или как там, то он, конечно, извиняется, но не имеет понятия, о чем речь.

— Пускай шампанское,— кивнул Николай Иванович,— без разницы.

Официант трухляво так хмыкнул, пошел. Остановился возле двух других парней в таких же голубых костюмах, что-то им начал говорить, те заржали и уставились на Николая Ивановича.

Наталья Петровна чуть не плакала. Как он с мужем разговаривал, паршивец, сопляк пакостный?! Наел тут ряху, вертит задом вокруг столов, а человек — постарше его, полвека отработал на производстве, отвоевал. На заслуженном отдыхе! Он-то, щенок, ясное дело, все рассмотрел, и что костюм не модный, и галстук, поди, не поихнему завязан.

Николай Иванович молчал, и Наталья Петровна сильно забеспокоилась:

— Ну и черт с ним! Не мы для них, они для нас,— зашептала она, наклоняясь над столом и вытянув шею,— ты погляди лучше,— вон, эти. Он старик, а она молодая. Сразу видно, не жена. Смотри, смотри, кольцо на руке! Никакой совести у людей...

Он даже головы не повернул в ту сторону. Взял крахмальную салфетку и положил себе на колени.

Приплыл официант, принес закуски, вино, лимонад. Пока расставлял, шевелясь возле них, Наталья Петровна вся съежилась.

Николай Иванович выпил без слова, не закусил даже. Наталья Петровна тоже отхлебнула шампанского. Холодное и какое-то... кислое — не кислое, а горло дерет.

— Разбавляют,— сказала.— Воруят, паразиты.

И посмотрела мужу прямо в глаза. А он на ее взгляд не ответил. Взял шпротину и стал жевать.

Когда человек нам безразличен, заботы его, обиды и даже несчастья всегда кажутся пустяком, ерундой, а переживания — глупой паникой.

«Из мухи — слона», — бодренько успокоим мы себя, выслушав его скрипучие жалобы и рассеянно покивав в ответ. А еще добавим: «Ничего, переживет» (или на возмутительном воляпюке<sup>16</sup>, так ненавидимом нашей Елизаветой Григорьевной: «перетопчется»). В общем, чужую беду руками разведу...

Но Николай-то Иванович жене своей был не чужой, вот в чем штука, и ей от него жалоб не требовалось, достаточно посмотреть в лицо, и как дрожит рука, когда он тянется вилкой за шпротами.

Боже ты мой! А как радовался, когда собирались, готовились, да шли сюда! Теперь молчит, брови сдвинул, глаза в скатерть.

В безмолвии съели они закуски и остывший борщ. Наталья Петровна сама не заметила, а допила шампанское. Вкуса сейчас уже не было никакого, но голова сделалась тяжелой. Колю, Колю-то до чего жалко, прямо душа надывается!

Мрачно было кругом. Откуда-то дуло по ногам, а баба за соседним столом пересела к хахалю, и стало видно, что она совсем молодая, моложе Миши. Придвинулась к старику бок о бок, и он безо всякого стыда гладил ее по ляжке.

Николай Иванович замер над пустой тарелкой.

«Хоть бы скорее второе, и конец, — почти молилась Наталья Петровна. — Только скорей бы».

А свиненок этот ходил мимо, таскал подносы, будто не видит, что люди час битый ждут.

Зал тем временем пошел заполняться, свободных мест уж и не осталось, официанты забегали резвей.

— Простите, сигаретки не найдется?

Тот лысый козел, что тискался за соседним столом, был теперь рядом, обращался к Николаю Ивановичу. Вежливый такой, голову наклонил, улыбается.

Знала Наталья Петровна, ночью разбуди, как всегда ведет себя муж в подобных случаях: отвечает солидно, с прищуром: мол, сам не курю и вам не советую. А тут... Что такое? Вскочил, сияет, суетится:

— У меня, извиняюсь, курица нету, не употребляю, к большому сожалению, хотя сейчас с удовольствием за компанию бы, вот ведь, а? А может, попросить, они и принесут? А? Да вы присаживайтесь... — и уж стул пододвигает, точно другу-приятелю. А тот не дослушал, поглядел, как на ненормального, повернулся и отошел.

Николай Иванович покраснел, постоял-постоял и сел на место. А официант побежал, вроде, к ним, да вдруг — шась мимо. Морду отвернул и ни грязную посуду со стола не собирает, ни второе не подает. Брезгует. Для него, сопляка, людей, которые ему в родители годятся, и нету вовсе.

Хватит! Наталья Петровна встала.

По ковровой дорожке ступала она неверным шагом, внимательно глядела вниз, чтобы не споткнуться. Шла к двери, где за письменным столом важно, точно в конторе, сидела женщина в коричневом костюме, здешняя, видать, начальница — лицо полное, белое. И телефон рядом. Возле женщины, сложив на груди руки, стоял этот самый подлец — официант. Стоял и ничего не делал, так бы и убила!

— Молодой человек,— позвала его Наталья Петровна. Голос у нее задрезжал, она откашлялась и ясно повторила:— Молодой человек, иди-ка сюда!

Он обернулся, по-давешнему стал поднимать свои бровки, на Наталью Петровну глядит, будто она ему мышь или какой паук. От этого взгляда в груди у нее задрожал холодок, а потом сразу разлился жар, стало печь, словно натерли «тигровой» мазью от радикулита.

— Ну,— спросил официант.

— Не нукай, не запрягал! — громко оборвала его Наталья Петровна, смутно вспомнив мальчишек из детства.

Придвинувшись к столу вплотную и обращаясь только к начальнице, сказала, что она — советский человек и безобразий тут не потерпит, они с мужем — рабочие люди, не хуже кого, чтобы всякий молокосос изгилялся, ведет себя, как фашист, рожу кривит на людей, второго два часа не дождешься, а для других — и уважение, и обслуживание, только пришли, а уже все на столе, им — что угодно, а этот водку навязывает, давайте сейчас жалобную книгу!

— Что, бабуся, перепила? — лениво заквакал официант.— Не можешь пить, сиди дома. Мы ведь, чуть чего, и милицию...

— Ты, Вова, тихо, — цыкнула на него начальница, — иди, работай. А вы... — тут она на секунду запнулась, — вы, дама, не нервничайте, зачем, миленький, здоровье — одно. И зачем сразу — жалобы? На Володю обижаться не надо, его сегодня тут расстроили...

— А мне какое дело? — разозлилась Наталья Петровна.— Его расстроили, так он будет на людей плевать? Я его так расстрою! Я все вижу. И напишу! Другим — что хочешь, обслуживание. А простому человеку, раз в жизни пришел... Хамит безо всякого уважения. Ему — кто водку не заказал, тому в лицо можно плевать?

— Дама, дама, не переживайте! — начальница встала и проворно выбралась из-за стола, оказавшись низенькой

и толстой. Смотрела она ласково, улыбалась большими яркими губами.— Вы только скажите, чего желаете, мы сейчас обслужим. Моментально, я сама прослежу. Ладненько? И — какая водка, что вы?

— А такая! Сами знаете, какая! Чтобы денег побольше взять! Я в газету... — Наталья Петровна уже не могла остановиться.— Ресторан называется. Чего смотрите? Я все знаю. Главное дело, простому человеку с тоски помереть можно, все сидят по углам и шу-шу-шу, всем на всех наплевать, как в Америке. Ни культурника... ничего <sup>17</sup>...

— Гражданочка, вы о чем? Дама! Какие..— совсем уже опешила начальница.— У нас ведь... это... Вот погодите, придет оркестр...

— Сдался мне ваш оркестр! — врезала ей Наталья Петровна,— Обеспечьте, чтобы все, как другим, и без хамства, и борщ у вас хуже помоев!

Она повернулась и, гневно ступая, зашагала к своему столу. Все смотрели — ну и пусть смотрят! За спиной остался полуоткрытый рот начальницы, три золотых коронки и крашенные губы, которые, сморщившись, стали похожи на двух жирных гусениц.

Когда Наталья Петровна вернулась к мужу, тот встретил ее тусклым взглядом, пробормотал сквозь стиснутый рот: «Позоришь, деревенщина», и опять замолчал. Это было злое, яростное молчание, и она сразу вся вспотела, особенно ладони, а носовой платок остался в кармане пальто. У Николая Ивановича не попросишь, салфетку взять постеснялась, вытерла руки незаметно о край скатерти. Истратив на скандал и без того небольшой запас сил, Наталья Петровна сидела теперь без мыслей, хотела только одного: оказаться дома. По телу липко растекалась холодная, тоскливая слабость, в голове гудело. Все, что было дальше, она потом и вспомнить не могла по порядку, были в памяти проломы, куда ухнули без остатка целые куски времени, события и даже лица. Ни за что, например,

не могла бы она рассказать, что за физиономия была у нового официанта,— Вова больше не показывался, а от новенького в памяти остался только белый пробор, ловкие руки (на одном пальце толстый перстень с буквами), да еще усики. Усики эти похожи на галстук-бабочку... — но возможно, что никаких усиков не было и в помине, а вот галстук-бабочка, действительно, был, но не у него, а на белой груди невесть когда и невесть откуда взявшегося музыканта в конце зала.

Официант разом смел грязную посуду и крошки, стремительно принес второе.

Наталья Петровна заторопилась было со «спасибо», но муж коротко на нее взглянув, велел:

— Двести «Московской». И закусить. Рыба есть?

Рыба? Наталья Петровна так и обомлела, однако голоса не подала и, кажется, за весь вечер больше рта не раскрыла, хотя рыбу он и дома-то не ел, боялся костей. Да что рыба! Но — водка?!

Ну, официант, ясно: «бу сделано». И сразу (или раньше? Нет, с ним вместе) подошла к столику длинная, вихлястая девица. Волосы белые от химии, глаза накрашены, а возле глаз — блестящая какая-то чешуя, вроде нафталина. Или будто она личиком своим чистила рыбу.

Показав ей свободное место за столом, официант что-то, вроде, произнес, не то «скоро заканчивают», а может, и не так, но когда девица уже взялась за спинку стула, Николай Иванович четко и громко заявил: да, свободно, но зря не рассчитывайте, я скоро уходить не собираюсь, еще посидим, вот так вот! После чего опять круто посмотрел на жену, и Наталья Петровна почувствовала, что руки снова мокрые, да уж Бог с ними, с руками, а и лоб, и шея, и даже спина. В глазах залетала белая мошкара, и, не глядя на мужа, она с трудом поднялась и мелко зашпешила к выходу в вестибюль.

...Дальше в памяти идет пропуск, глухая чернота, и прямо из нее всплыла она в светлую, благоуханную тишину

с уютным плеском воды. Вода падает из серебряного крана в голубую чашу, мягко светятся драгоценным светом розовые плиты стен, мерцают зеркала, а Наталья Петровна сидит, сладко расслабившись, одна на узком диванчике. Она только что с удовольствием вдоволь напилась из-под крана и теперь глубоко вдыхает этот душистый покой...

Минут через двадцать, вернувшись к столу, она увидела Николая Ивановича — глаза соловые, пиджак нараспашку, галстук сбоку, сам веселый, смеется, что-то рассказывает, и эта, чешуйчатая, тоже хохочет.

На жену Николай Иванович сперва посмотрел с интересом, точно не признал. Потом уж пробурчал: «Явилась, не запылилась». Но без злости сказал, слава Богу. И отвернулся, дальше говорит:

— Ну, значит, пошли они, ясно куда — к соседке. И, понятное дело... это самое... отомстили.

Девка так залилась, что чуть не сбила со стола тарелку, и Наталья Петровна подумала: вот ведь, расколотит, а кому платить?

— Отомстили, значит. Потом, через час, она, соседка, опять к нему: «А давай еще раз... отомстим!» — Николай Иванович опять засмеялся, девица — само собой. Откинула голову, рот разинула, как петух. Или как давеча здешняя начальница. Разинула, а сбоку одного зуба нету, щербатая.

— А он... он... — закончил Николай Иванович, крикнув, — он ей: «А я не злопамятный». Вот так.

Николай Иванович налил, расплескивая, девице, себе, а потом (вспомнил) и Наталье Петровне. Спросил:

— Выпьешь с нами? Вот и Наташа приглашает.

Она не ответила, только головой покачала... А ведь саму-то ее он только в первый год, когда познакомились, называл Наташей... Потом, как поженились, сразу стала Натальей, родился Миша — «мать», ну, вроде шутки — молодая еще была. А в последние годы? Нет, никак не звал, как-то обходился.

Наташечка хватъ рюмку — и нету. Не поморщилась, будто ей вода. Сказала: «За все хорошее!» и дальше давай болтать. Все про какого-то профессора иностранных языков, как она с ним познакомилась у гастронома:

— Я сразу, на улице еще, внимание обратила: мужик с бабками — дубленка, шапка из соболей, кейс — «дипломат»... нет, я не почему-либо, не подумай. Ну, зашли в магазин, я сперва всегда через гастроном пропускаю... нет, Коля, я не алчная, но для меня, если мужчина жадный — все! А здесь я приятеля жду, а ты на дядьку моего похож, на дядю Леву, он в Москве живет, академик...

Голос у Наташечки был хриплый, говорила она скоро, так что разобрать можно было не все. Тем более, заиграл оркестр.

...Стало тепло и спокойно. Сквозь музыку монотонно доносилось: «Пришли к нему... Куртка замшевая... шампанское три бутылки ... конфеты ассорти<sup>18</sup>, нет, ты представляешь, Коля?. Ну, упакованный мужик, я тебе сразу скажу... Упакованный! В ванной одной косметики рублей на пятьсот...

Хорошо-то как, господи! И голова совсем прошла...

Наталья Петровна открыла глаза. Она была одна за столиком, музыка играла что-то грустное, задумчивое. Медленно двигались пары, а среди них ее Николай Иванович. Спина прямая, лицо молодое, гордое. Наташу держит культурно, выше талии.

Музыка затихла. Подошли Николай Иванович с Наташей. Муж аккуратно спросил Наталью Петровну, не скучала ли одна. И пошутил:

— А то можешь меня пригласить. На «дамское танго». А надоел за сорок лет, так вон хоть его. — И показывает на старого козла, что обнимается с чужой женой за соседним столиком. Наталья Петровна заулыбалась, опять головой помотала, а Наташечка ей рыбы накладывает. Говорит:

— За ваше доброе здоровье, бабуля. Хотите, я вам сейчас одно стихотворение расскажу? Мне знакомый артист читал, мой друг, из Большого театра, я попросила слова записать.

Стихотворение было хорошее. И печальное такое: как одна женщина сочиняет письмо, что никак не может забыть про свою любовь, и что отдаст все, чтоб только быть его рабой или верной собакой, Дианкой зовут, говорит, «которую ласкаешь ты и бьешь»<sup>19</sup>.

Наталья Петровна вытерла слезы.

Оркестр отдохнул, опять заиграл. Танец был веселый, парочки задергались, как клоуны, а Николай Иванович прямо из-за стола пошел вприсядку. Потом их с Наташкой совсем не видно стало в толкотне, зато Наталья Петровна долго смотрела, как пляшет греховодник с соседнего стола. Вот уж верно, что козел: скакал на одном месте, а в зубах — столовый ножик.

Музыка все играла и играла без перерыва. А Наталья Петровна устала очень, веки стали тяжелые. И все пропало.

Сон был глубоким и легким. И прервался так же внезапно, как наступил.

Посуда со стола вся была уже убрана, а в зале тихо — музыканты ушли. Наталья Петровна огляделась: мужа нигде не видно.

Народу в зале поубавилось. Между столами двигались официанты — меняли скатерти, уносили тарелки. Наталье Петровне вдруг сделалось страшно, так и увидела, что Николай Иванович не придет, а она все будет сидеть и сидеть одна, а потом та, коричневая начальница потребует расплатиться, а у нее ни рубля, только в пальто, в кармане, мелочь. И номерок — у Николая Ивановича.

Наталья Петровна побрела в вестибюль. Хотелось опять укрыться в туалете, где так тепло, красиво, и нет никого.

В вестибюле было темновато и холодно. Наталья Петровна чуть не ткнулась в большое зеркало, спутав его

с дверью. Из зеркала на нее глянула страшенькая старуха в мятом платье. Вся седая, волосы редкие, одна прядь выбилась и чудно торчит вбок.

Наталья Петровна пугливо покосилась на гардеробщика, на двух молодых парней, что курили у будки телефона-автомата, но никто из них в ее сторону не смотрел.

И тут она увидала мужа. Николай Иванович быстро вошел с улицы. Без пальто, пиджак накинут на плечи, лицо бледное все в каплях воды, а на волосах, на плечах — снег. Наталья Петровна шагнула навстречу, он стал обходить ее, как чужую, двинулся мимо, но она схватила его за рукав.

— А?! — Николай Иванович вздрогнул, остановился. — Чего тебе? — Глаза были совсем красные, и дышал, точно температура, часто и с хрипом.

Домой добирались больше часа. Муж еле переставлял ноги, все останавливался, чтобы отдышаться. Ветра не было, шел снег, крупный и редкий. Под ногами чавкало. У выхода из парка Николая Ивановича стало рвать, он согнулся, держа рукой за дерево.

Дома Наталья Петровна раздела его, уложила, принесла в бокале воды. Он попил, ничего не сказал, только по руке ее погладил. Ласково так.

Ночью она никак не могла заснуть, Николай Иванович сильно храпел на своей кровати. А когда открыла глаза, было уже совсем утро. И очень тихо...

В комнату всю светило солнце, потому что с вечера Наталья Петровна забыла задернуть занавески. Ярко освещенный, Николай Иванович лежал на спине. Он уже успел остыть.

Молчание в доме без Николая Ивановича стало другим — пустым и гулким. Сама с собой Наталья Петровна теперь не разговаривала. Зато часто говорила с мужем, когда про себя, а бывало, что и вслух. И с мертвым

Николаем Ивановичем говорить ей было легче, чем с живым, он в ответ не хмурился, не обрывал, не уходил, не дослушав, в парк играть в свое домино.

— Что ж Коля... — рассуждала Наталья Петровна, сидя напротив включенного телевизора. — Жил ты по-хорошему, вот и помер легко, легче не бывает.

Николай Иванович соглашался. — Легко, потому что во сне. Прямо сказать, повезло, главное — испугаться не успел.

— Повезло, — вздыхала Наталья Петровна. У нее-то все это было еще впереди, кто знает, как там получится, может, и с муками... — Тебе хорошо, ты уже, как сам — помнишь? — говорил про Васильева, — «отстрелялся»...

Не раз Наталья Петровна вспоминала тот последний вечер. Не будь его, не пойдя они тогда в ресторан, верно, и пожил бы Николай Иванович еще не один год...

...А может, и не пожил бы, это уж — как судьба... И тогда не пришлось бы ему посидеть в красивом зале, потанцевать напоследок с молоденькой. Теперь Наталье Петровне казалось: все было хорошо в ресторане. Сиди себе, а тебе еду на подносе подают. И музыка. А в туалете, как в царском дворце. Помнила она это. Это, а не хама-официанта, не скандал, что сама и устроила, не то, как сидела одна за столом, ждала и боялась, что муж не придет. Вот сейчас он и вправду уже не придет...

Девку ту, Наташечку с рыбьей чешуей, она тоже вспоминала. Несчастливая, видать. И на внешность... Ничего особенного, если взглядеться, ты, Коля, как считаешь?

Николай Иванович и тут был согласен, и тогда Наталья Петровна справедливо замечала, что стихи Наташечка рассказывала тогда очень душевные. Как там? «Верным псом твоим, Дианкой...» — «...Которую ласкаешь ты и бьешь», — с улыбкой подхватывал Николай Иванович. И лицо у него делалось такое, как сорок лет назад, когда только познакомились на танцах в госпитале, он там лежал после ранения, а она работала санитаркой.

По субботам приходил сын. Наталья Петровна готовилась заранее, жарила котлеты, пекла его любимый пирог с капустой. Этот пирог и Коля любил, покойник.

Михаил садился к столу, медленно кивал головой:

— Та-ак. Пирог. Это хорошо. Котлеты. Будем пробовать.

Спросишь, что на работе, или про здоровье Людмилы Сергеевны, он: «Нормально». Последний раз, правда, сообщил: приехала теща, будет теперь с ними жить.

В конце февраля Наталья Петровна выкрасила в комнате паркет масляной краской<sup>20</sup> — красиво. Давно мечтала, да муж не разрешал: «Паркет положено мазать исключительно мастикой».

На краску ушли последние деньги. И войти в комнату нельзя было двое суток, пришлось даже спать на кухне. Когда пол высох, Наталья Петровна расставила вещи. Все по-новому, а кровать Николая Ивановича разобрала и по частям вынесла во двор. Старая была кровать. На ее место Наталья Петровна передвинула свой диван. Потом постелила на стол чистую скатерть, в общем, навела красоту.

И тут выяснилось, что денег просто ни копейки, а есть нечего.

И делать тоже нечего.

В комнату светило солнце, совсем уже весеннее. Но оно было там, за стеклом, а Наталья Петровна — здесь, в своей отдельной квартире со всеми удобствами...

Она упрямо протирала и без того чистое окно, а сама глядела на всегдашних старух, собравшихся на другой стороне улицы. Все, как одна, — высокая, толстая и маленькая, сгрудившись, что-то обсуждали, длинная аж руками взмахивала. Потом толстая заковыляла белыми сапогами и скрылась в воротах рынка. Вернулась через минуту с каким-то кульком, и они опять собрались все вместе. Наталья Петровна пригляделась: так и есть, едят! И ей вдруг до смерти захотелось жареных пирожков с мясом, горячих, тех, что продают на улице с лотка. Она вышла в переднюю. В пальто завалилось тридцать копеек медью.

Наталья Петровна задумчиво открыла стенной шкаф. Там висело осеннее пальто Николая Ивановича, совсем уже старое, но теплое, в нем муж обычно ходил в парк. Она сунула руку в карман.

Когда она подошла и встала сбоку, старухи смолкли и переглянулись. Маленькая, курносая, все тянула шею, любопытствовала, что за коробка в руках. Потом, шмыгнув носом, отошла, и они, все трое, принялись шептаться, хмуро косясь на Наталью Петровну — точь-в-точь девчонки, не желающие водиться.

Появились две женщины, стали рассматривать кружевные салфетки, и старухи тотчас разошлись, каждая заняла свое место. А маленькая все поглядывала, наконец, не выдержала, придвинулась, и тут же Наталье Петровне стало известно, что Вера Павловна «вон эта, толстая дурочка, коврик вязаный подобрала гдей-то на помойке, намыла и продает, а сама — ну ниче не умеет, ми-ила моя, только ныть да хвалиться, какая она умная да толковая, все мужика своего посадить грозитя, мне говорила — пойдди свидетелем, да пойдди, деньги заплачу, скажешь — сама видала, как он на стенке хулиганское слово мелом писал, и-и, что ты, мила моя, я утром встала, Павлика умыла, побрила, кушать дала... Па-авлик! Выди, говорю, со снегу, нечистая сила!»

Старуха срывается с места и, ловко шмыгая между машинами, бежит через улицу. И вот она уже там, напротив, — тащит за руку из сугроба громоздкого, рыхлого мужчину лет тридцати в черном пальто и шапке с опущенными и завязанными под подбородком ушами.

— Чеканутая, никаких нервов не хватит, — тотчас слышится сбоку. К Наталье Петровне подступает толстая Вера Павловна. И Наталья Петровна соглашается с готовностью — да, мол, конечно, при таком движении попасть под машину ничего не стоит, и скользко к тому же, просто ужас какой!

— Гос-споди! Домой поволокла, ноги сушить, — всплещивается Вера Павловна. — Сколько раз я ей: сдай ты его в дом хроников, сдай, ведь ненормальный же, психованный, обуза какая, не телефонный разговор! Врет, будто места нету, я узнавала — есть!

— Оставьте Ольгу в покое! — строго обрывает Веру Павловну высокая в пуховом платке. — Для вас он «психованный», а для нее — ребенок. Не та мать, которая родила. Ольга нянчит Павлика со дня его рождения, в нем — ее жизнь. Не станет Павлика, умрет и она. — Высокая с негодованием поводит горбатым носом и отворачивается.

— А Павлик, он — разве... — Наталья Петровна в ужасе.

— Ага! Идиотик! — радостно подтверждает Вера Павловна. — Сроду такой уродился. Отца нету, мать, говорили, в сорок лет померла от сердца. И помрешь с таким. Их бы сразу... усыплять, или как, а Ольга, дура-то, и кормит, и водит, а ведь никто она ему, нянька! У самой пенсия — смех один, жрать нечего... А Лизавете только бы всех учить, училка-змеюга, — шепчет Вера Павловна, — других учит, а с родной дочкой ужиться не может. Ну пря-а-мо! Всю пенсию, сто рублей, внуку отдает дочке назло. Не страх? Портит парня, дочка стервеет, ругается... А и то сказать — «дочка»! Другая дочка хуже любой сучки — не телефонный разговор! Мой-то придурок — тоже... Вот посажу его, я уж знаю, как, продумала, я — такой человек, ума палата... Вся заболела на нервную систему из-за этого сволоча. А хочешь, бери мой коврик? Бери, мне не надо! Ты вот стоишь, а как не продашь свою вещь? Бери, я женщина практичная, у меня еще есть!

Наталья Петровна слушает вполуха, ей хочется рассказать о своем — что жили хорошо, а сын не забывает, приходит каждую неделю... Но подумают: нахалка, не успела прийти, познакомиться... Вот если завтра... А вя-

занные коврики... Вязать их, скорее всего, дело совсем не сложное. Надо бы попросить Ольгу, пусть покажет, она умеет, наверное. Или Елизавету Григорьевну. И крючок дома есть, в шкафу, в коробке.

...Сейчас бы купить пирожков, да неудобно — на всех денег не хватит, а одна не станешь есть. Домино, конечно, никто не возьмет. Что ж... Надо Ольге его отдать для Павлика, пусть играет.

А солнце здесь, хоть и холодное, но веселое, живое.



## *Примечания*



## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Уважаемые товарищи потомки! Перед вами — попытка того, что ученые называют «реальным комментарием» к прозе моей матери Нины Катерли, то есть справка о реалиях семидесятых — восьмидесятых годов прошлого века.

Зачем разъяснять то, что, казалось бы, и так всем известно? Для нас, современников автора, действие повестей и рассказов Катерли разворачивается в хорошо знакомом культурном, политическом и бытовом контексте. Однако уже нынешним тридцати- и, тем более, — двадцатилетним некоторые приметы советской жизни могут оказаться непонятны. Что уж говорить о будущих поколениях читателей и исследователей!

Я всегда сочувствовала литературоведам, которым приходится перерывать источники в поисках информации, когда ни автора, ни его современников уже нет на свете. Хорошо бы каждый писатель, уважающий труд филолога, снабжал свои тексты таким комментарием сам. Какое увлекательное это могло бы быть чтение!

В свои примечания я постаралась включить не столько информацию, которую всякий может найти в Википедии, сколько то, что сама видела, слышала и помню.

Спасибо Дине Махмудовне Магомедовой за бесценную помощь и поддержку в этой работе.

Елена Эфрос



### ТРЕУГОЛЬНИК БАРСУКОВА (СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ)

Повесть написана в 1978 году, впервые опубликована в США, в альманахе «Глагол» № 3. Анн-Арбор: Ардис, 1981.

«Было это в конце лета 1981 года. В городе стояла страшная жара, и мы с Мишей радовались, что скоро у него отпуск и мы уедем в круиз по Черному морю, уже и путевки куплены.

Как-то ночью мы оба долго не могли уснуть из-за духоты. Я читала, Миша, борясь с глушилками, слушал «Голос Америки». Наконец меня сморило, и я объявила, что буду спать.

— Нет, не будешь, — сказал Миша злорадно, — не будешь, потому что по «Голосу» через пять минут — передача, посвященная твоему «Треугольнику». Он вышел в «Глаголе». Только что объявили. Поздравляю.

Я припала к приемнику и замерла, различая сквозь треск голос Льва Лосева, который хвалил мою повесть и говорил что-то в том духе, что она, мол, правдивая и, значит, антисоветская. Впрочем, может, он использовал и другие выражения, от волнения я вообще плохо понимала, что он говорит. Потом читали отрывки из повести, надо сказать, как раз такие, которые по тем временам вполне могли считаться антисоветскими. Сегодня, когда повесть давно напечатана здесь, я не могу понять, что в ней было криминального, но тогда были другие времена.

Я слушала передачу и чувствовала невероятную гордость. О грядущих неприятностях я не думала, вернее, мне было на них наплевать. Публикация *там* была «знаком качества». А бояться мне, я считала, нечего. В тюрьму за это вроде уже не сажают, а то, что могут не принять в Союз... Ну и черт с ним!

Следующим же утром посыпались телефонные звонки. От друзей — с поздравлениями. От людей, хлопотавших о моем приеме в Союз писателей, — с советами. Я не называю здесь имен. Потому что большинства этих людей уже нет на свете. Да и вправе ли я осуждать кого-то, не хотевшего неприятностей из-за моего, как они считали, легкомыслия и тщеславия. Вскоре выяснилось, что рецензию К. Ф. Куликовой, конечно, вынули из почти готового номера «Звезды», а меня пригласили в Союз писателей, где лежало мое заявление о приеме.

В секретариате мне вполне доброжелательно посоветовали написать письмо в «Литературную газету», где я бы заклеимила издателей «Глагола», напечатавших мою повесть без моего ведома и согласия.

Я писать такое письмо отказалась, объяснив это тем, что у меня еще нет литературного имени, и объявлять таким странным образом о своем вступлении в ряды советских литераторов — смешно и недостойно. После этого вопрос о моем приеме в Союз писателей отпал сам собой, печатать меня прекратили, только в Москве, в «Юности» через некоторое время появился мой рассказ «Прощальный свет».

*Здесь и далее: Нина Катерли. «Сквозь сумрак бытия»,  
в книге «Чему свидетели мы были».  
СПб.: издательство журнала «Звезда», 2007.*

<sup>1</sup> *Посвящается М. Эфросу* — Михаил Григорьевич Эфрос (1933—2000), муж Нины Катерли и мой отец.

<sup>2</sup> *Это ведь родина. Что же ты плачешь, дурак!* — из стихотворения Дмитрия Бобышева «Любой предлог (Венера в луже)». Дмитрий Бобышев — русский поэт, родился в 1936 году. В начале шестидесятих годов вместе с Иосифом Бродским, Анатолием Найманом и Евгением Рейном входил в ближайший круг Анны Ахматовой.

<sup>3</sup> *...обещали с утра давать тресковое филе.* — Дефицит — это когда чего-то не хватает. Советский дефицит — это когда не хватает всего, но иногда в продаже что-нибудь появляется, и тут главное — узнать об этом раньше других и успеть занять очередь, а то не достанется. Дефицитный товар, в отличие от обычного рыночного, не продается, а дается свыше. Что советский человек сегодня будет есть на обед, что наденет, обует, что будет читать или посмотрит на сцене, решал не сам человек, а таинственные и всеильные «они», которые «завезли» и «выбросили» (или не завезли и соответственно не выбросили). Самым большим дефицитом при советской власти была возможность выбирать. То есть, выбор, конечно, оставался, но примерно такой же, как в школьной столовой или в детском саду: ешь, что дают, или сиди голодным.

<sup>4</sup> *...заняла очередь, чтобы сперва взвесить.* — Продукты, которые надо было сперва взвесить, продавались так: продавец взвешивал товар, записывал вес и цену на упаковке, листе толстой серой оберточной бумаги, и на клочке, с которым покупатель становился в очередь в кассу. Оплатив товар, покупатель шел с чеком обратно в отдел и, если повезет, получал покупку без очереди, если же очередь оказывалась принципиальной, снова становился в хвост.

<sup>5</sup> *...член партийного бюро ЖЭКа.* — При советской власти партийные бюро, бюро первичной партийной организации КПСС, создавались не только на предприятиях и в организациях, но и при жилищно-эксплуатационных конторах (ЖЭКах) — для пенсионеров и неработающих домохозяйек.

Члены партийного бюро ЖЭКа были важными персонами. Они, например, решали, можно ли позволить неработающему советскому гражданину съездить за границу по туристической путевке, если ему вдруг придет в голову такая фантазия. Именно на заседаниях партбюро

обсуждались характеристики желающих получить выездную визу — разрешение на временный выезд за пределы СССР.

Характеристику советский гражданин писал на себя сам. Он должен был рассказать о своих производственных достижениях, общественно-политической работе и семейном положении (если в разводе, то почему развелись), был ли за границей раньше (если да, то где, когда и с какой целью) и обязательно добавить: «морально устойчив, политически грамотен, в быту скромен, пользуется уважением в коллективе». Характеристику подписывал «треугольник»: директор или начальник ЖЭКа по месту жительства, секретарь партбюро и председатель профкома.

Затем ее утверждал или не утверждал райком КПСС. И не просто так, а после собеседования: знаете ли вы страну, в которую зачем-то собрались? У вас могли спросить, например, фамилии партийных начальников этой страны, подробности последнего съезда тамошней компартии, какая это партия — коммунистическая или рабочая, и почему, или как должен себя вести советский человек, оказавшийся во враждебном окружении, в случаях неизбежных провокаций.

Еще вы заполняли огромную анкету на себя и всех своих родственников, живых и мертвых (когда умер и где похоронен). Анкету проверяли в органах госбезопасности, и, если все в порядке, то вам в обмен на советский паспорт выдавали заграничный с заветным штампом «Разрешен выезд в Народную Республику Болгария с 01 по 18 октября 1977 года».

<sup>6</sup> *...мелкие деньги ... для покупки «Недели» и «Крокодила»...* — Газета «Неделя», еженедельное иллюстрированное приложение к «Известиям», и сатирический журнал «Крокодил» стоили по 15 копеек, значит, на их покупку требовалось 30 копеек. Эти издания были любимы народом, за ними всегда стояла очередь.

Отличие от породивших ее «Известий», «Неделя» писала не столько про политику и пятилетку, сколько про жизнь. Она публиковала интервью со знаменитостями — артистами кино и эстрады, спортсменами и даже космонавтами, злободневные статьи о дефиците и качестве товаров, полезные советы хозяйкам и рассказы о простых людях, в которых читатели еженедельника узнавали себя. Подписки на «Неделю» не было, ее можно было только купить в киоске.

«Крокодил» — тот и вовсе был единственным общесоюзным (сейчас сказали бы «федеральным») сатирическим журналом. Ему дозволялось критиковать временные недостатки, которые кое-где на местах у нас порой еще встречались. Например, отдельный чиновник-бюрократ, нетипичный рабочий-пьяница, стилияга, заразившийся тлетворным влиянием Запада. Советский «Крокодил» не отступал от генеральной линии Партии и Правительства, в конце сороковых — начале пятидесятых он помещал злобные антисемитские карикатуры на «безродных космополитов» и «врачей-убийц», а в семидесятые гневно бичевал агрессивные происки «дяди Сэма», израильскую военщину, а заодно — антисоветчиков Сахарова и Солженицына. Зато в рубрике «Улыбки разных широт» можно было прочесть анекдоты и переводные юморески, которые не печатались больше нигде.

<sup>7</sup> *...бросил в щель таксофона вместо двух копеек гривенник.* — Телефона у Тютиных не было. Звонок из уличного автомата стоил две копейки. Медная двухкопеечная монета была такого же размера, как и никелевая десятикопеечная, поэтому гривенник вместо душки использовали не только по рассеянности, но и вполне сознательно: двухкопеечные монеты были дефицитом. В конце семидесятых появились таксофоны, которые принимали две монеты по одной копейке.

<sup>8</sup> *...с волосатым Андреем ... еще через четыре года...* — Два года учебы в техникуме, плюс пять лет института, плюс четыре года аспирантуры, действие повести приходится на конец семидесятых — значит, продвинутый профессорский сынок носил длинные волосы еще в конце шестидесятых, когда мода на прически в стиле хиппи только-только дорвалась до СССР.

<sup>9</sup> *блат* — протекция, связи. Незаменим при поступлении в вуз, устройстве на службу или приобретении дефицитных товаров.

<sup>10</sup> *...обратиться к руководству, чтобы сохранить семью...* — то есть, пожаловаться в администрацию института, где работал изменщик, чем основательно попортить ему карьеру.

<sup>11</sup> *...хорошую специальность шофера такси.* — Профессия шофера такси была весьма прибыльной, и не только благодаря высокой зарплате и чаевым. У таксиста можно было днем и ночью, и даже во время горбачевского сухого закона, купить водку, а некоторые, самые ушлые, доставляли также и девочек.

<sup>12</sup> *Одевался ... во все импортное...* — Одежду и обувь иностранных фирм («фирменную») в Советском Союзе не покупали, а доставали разными способами — законными и не очень: у знакомых иностранцев, продавщиц, моряков дальнего плавания, корабельных буфетчиц, дипломатов и фарцовщиков, а также в магазинах «Березка» и «Альбатрос», которые торговали за валюту — с иностранцами и за сертификаты (боны, чеки) Внешпосылторга — с советскими гражданами, имевшими на это право. В свободной продаже были, в основном, страшные костюмы фабрики «Большевичка» и ботинки «Скорород». Иногда, правда, в магазинах «выбрасывали» товары из братских стран народной демократии, например, туфли чехословацкой фирмы «Цебо», или какой-нибудь польский пиджак, но по-настоящему фирменными были вещи, привезенные из капиталистических стран.

<sup>13</sup> *...кота ... заставляли глотать золотые царские монеты...* — Антонина это не сама придумала — ходил в те годы городской фольклор о хитрых еврейях, которые, уезжая в Израиль, будто бы умудрялись вывозить золото и драгоценности в живых котях, попугаях, и даже в урне с прахом любимого дедушки.

<sup>14</sup> *...ездит ... на черной машине...* — Черный служебный автомобиль с шофером — одна из привилегий советского чиновника. Согласно социалистической таблицы о рангах, в семидесятые годы функционерам среднего уровня полагалась черная «Волга» (ГАЗ-24), деятелям ступенькой выше — «Чайка» (ГАЗ-13 или 14), а самая верхушка ездила на машине ЗИЛ-117, он же «членовоз». Заметьте, все — отечественные марки.

<sup>15</sup> *...шофер носит за ним ... большую картонную коробку.*—

В коробке — «паек», набор дефицитных продуктов из закрытого распределителя — специального магазина для начальства: на этой ступеньке социальной лестницы товары не «давали» и не «выбрасывали», а «распределяли» по чинам. Слуги народа невысокого пошиба, вроде профсоюзной шихи Александра Николаевича Петухова, кормились получше, чем их хозяин — народ, но выбора особого не было и у них. Да, эти товарищи пили растворимый кофе, но тоже только одного сорта — в серебристой жестяной банке за шесть рублей.

<sup>16</sup> *Как там у вас с квартирой? — Завком решает.*— Завком — заводской комитет профсоюзной организации. Занимался распределением разных благ, в том числе, путевок и квартир для членов профсоюза, а в профсоюзе тогда состояли все работники, это было обязательной формальностью при поступлении на службу. В Советском Союзе житель комнаты в коммуналке в принципе мог бесплатно получить отдельную квартиру, записавшись в общегородскую очередь, но ждать приходилось до десяти лет, а то и дольше. На производстве этот вопрос решался быстрее, особенно если ты, как Семенов, с директором на дружеской ноге, да еще и депутат.

<sup>17</sup> *...в макулатуру ... за талоны...*— Талоны на дефицитные книги за макулатуру появились в 1974 году. За 20 кг сданной макулатуры давали один талончик, на который, если повезет, можно было купить «Королеву Марго» или «Женщину в белом», за 60 кг — три талончика на всех трех мушкетеров, десять и двадцать лет спустя. По талонам продавались пользовавшиеся большой народной любовью исторические романы Мориса Дрюона и Валентина Пикуля. При этом обычный школьный сбор макулатуры, не за книги, а потому что партия велела, тоже никто не отменял. Думаю, что не ошибусь, предположив, что у директоров школ, завучей и особо доверенных учителей домашние библиотеки были укомплектованы пикулями, дрюонами и прочим книжным дефицитом.

<sup>18</sup> *«Рубин-205»* — отечественный ламповый черно-белый телевизор. Но по тем временам — ценная вещь.

<sup>19</sup> *...еще пять лет не собраться менять сукно, а тут вдруг раз — и реформа ... этого быть не могло.*— До ближайшей — павловской, в честь тогдашнего премьер-министра, — реформы, когда у советских граждан под видом обмена банкнот конфискуют изрядную часть сбережений, — еще почти три пятилетки. 22 января 1991 года в вечерней программе «Время» неожиданно объявят, что ровно в полночь купюры достоинством 100 и 50 рублей утратят свое достоинство. Сберкассы и магазины уже закрыты. Люди бросятся в кассы метро — успеть обменять купюры на мелкие, на почту и телеграф — отправлять денежные переводы самим себе, в кассы вокзалов и аэропортов — покупать билеты куда попало, чтобы потом сдать. Под утро к сберкассам и почтовым отделениям выстроятся огромные очереди. Выдачу наличности в сберкассах ограничат 500 рублями, обмен — 1000 рублями.

Дуся Семенова об этом знает, конечно, не может — она вспоминает хрущевскую денежную реформу 1961 года, а особенно сталинскую 1947 года, которая сопровождалась паникой и очередями.

Вот реальный эпизод из жизни моего отца — Нина Катерли вставила его в повесть «Курзал»:

«...Накануне денежной реформы в сорок седьмом году я приобрел шприц, йод, бинты, клюшку для хромых, а также эластичный пояс от грыжи... Слухи о реформе, везде очереди, скупают всё подряд. А моя огромная сумма, лежа без движения, должна завтра ... уменьшиться ровно в десять раз. Из-за очередей войти ни в один магазин было невозможно, а в аптеке — ни души. И вот я пошел туда и накупил всякой всячины».

Нина Катерли. «Курзал»,  
в книге «Курзал». Л.: Советский писатель, 1990.

<sup>20</sup> *...после товарищеского суда...* — Сейчас даже трудно объяснить, что это такое. В положении о товарищеских судах, утвержденном Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1961 году, написано:

«Товарищеские суды — это выборные общественные органы, призванные активно содействовать воспитанию граждан в духе коммунистического отношения к труду, бережного отношения к социалистической собственности, соблюдения правил социалистического общежития, развития у них чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, уважения достоинства и чести советских людей. Главное в работе товарищеских судов — предупреждение правонарушений, воспитание людей путем убеждения и общественного воздействия, создания обстановки нетерпимости к любым антиобщественным поступкам. Товарищеские суды облечены доверием коллектива, выражают его волю и ответственны перед ним».

В общем, как гласила пословица тех лет, «если ты плюнешь на коллектив, он утрется, а если коллектив плюнет на тебя, ты утонешь».

Товарищеский суд рассматривал дела о прогулах, пьянстве, драках, мелкой спекуляции, порче зеленых насаждений и, в том числе, «о недостойном поведении в семье и нетоварищеском отношении к женщине», за что виновный мог заработать предупреждение, общественное порицание или даже выговор. Есть от чего завербоваться на Север.

<sup>21</sup> *...гостит в далекой дружественной Болгарии...* — Лишнее подтверждение того, что товарищ Петухов — мелкая сошка: он гостит в Болгарии, а не в Италии или Франции, среди загнывающего капитализма. Выездную визу в капиталистическое государство давали только после посещения братской страны социалистического лагеря, из которых Болгария — наиболее братская, и попасть туда было проще всего: «Курица не птица — Болгария не заграница».

<sup>22</sup> *...эвакуированной с ребенком и без аттестата.* — Аттестат — денежное пособие семьям офицеров — Розе Львовне с ее неясным семейным статусом не полагался. Если бы Моисей Кац и впрямь погиб или пропал без вести, она получила бы пенсию, а так — ничего.

<sup>23</sup> *магазин «Океан»* — один из самых больших в Ленинграде рыбных магазинов, куда ездили за дефицитом со всего города. Находился он в старинном доме купцов Терешинных, он же дом Денежкина, построенном в начале XIX века на площади Мира (Сенной) между Садовой улицей и каналом Грибоедова (Екатерининским). Просуществовал до 1999 года.

<sup>24</sup> *...метро, воздвигнутое на месте упраздненной ... церкви Успения Пресвятой Богородицы...*— Церковь взорвали в 1961 году, с тех пор это место считается «нехорошим». Например, 10 июня 1999 года тут обвалился пятиметровый козырек станции метро, убив семь человек.

<sup>25</sup> *...автобусный вокзал...*— Автовокзал, откуда в семидесятые годы отправлялись, в основном, пригородные автобусы, располагался в здании бывшего Караульного дома (гауптвахты) между Садовой улицей и Спасским переулком.

<sup>26</sup> *...космические пришельцы...*— 20 сентября 1977 года общество было взбодорожено новостью о «Петрозаводском диве» — неопознанном летающем объекте, который на десять минут завис над Онежским озером, испуская лучи золотистого цвета, после которых в окнах окрестных домов образовались дырки. Народ был уверен, что это летающая тарелка с инопланетянами — нашлись даже люди, вполне трезвые, которые своими глазами видели зеленых человечков с Марса или Сириуса. Интеллигенция передавала из рук в руки тетрадь с письмом о проблеме НЛО, которое профессор Ажажа написал председателю Совета Министров СССР Косыгину, а другой профессор, Китайгородский, разоблачал коллегу, публично заявляя о том, что никакой проблемы нет, и никаких НЛО нету тоже, потому что не может быть никогда. ...Истина, как всегда, где-то рядом.

<sup>27</sup> *...есть чего бояться: войны с Китаем...*— Войны с Китаем советские люди боялись ужасно, особенно после вооруженного пограничного конфликта, случившегося в 1969 году на острове Даманский. В 1975 году в народе прошел слух, что китайский лидер Мао Цзэдун собирается осенью объявить Советам войну и пообещал: «Русские будут есть крысы!» Ходила легенда, будто бы рассказанная одним таксистом. Однажды он вез старика, который предсказал: «Лето будет жарким, а осенью случится война с Китаем. И еще ты сегодня повезешь мертвеца!» Таксист, ясное дело, не поверил, но потом его вызвали отвезти в больницу человека с инфарктом, и тот по дороге скончался... «Я все это сам слышал, сослуживец брата рассказывал!» Войны не случилось, а еще через год помер председатель Мао.

<sup>28</sup> *...денно и ночью дежурит у нашего телефонного провода...*— Считалось, что избежать прослушки телефона Большим Братом, он же Товарищ Майор КГБ, можно, только выдернув аппарат из розетки, да и то — без гарантии.

<sup>29</sup> *...не войдет ли Павлов, руководитель их группы.*— В каждой делегации или туристической группе, отправлявшейся за границу, обязательно был сотрудник КГБ, товарищ в штатском, обычно руководитель группы или референт, на случай, если кто-нибудь, не дай Бог, задумает остаться в чужой стране насовсем. Он же бдительно следил за «руссо туристо облик морале», то есть за поведением туристов из СССР, которые должны были служить образцом моральной устойчивости и не поддаваться на соблазны загнивающего Запада. («Руссо туристо облик морале» — крылатая фраза из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», вышедшей на экраны в 1968 году).

В характеристике на получение выездной визы, если ты раньше выезжал за рубеж, надо было писать: «Замечаний по поездке не имел». Не понравился руководителю Павлову — замечания будут, и больше ты никуда не поедешь, придется отдыхать в Ялте, Анапе или на своих шести сотках в поселке Агалатово.

<sup>30</sup> **«Подмосковные вечера»** — песня на музыку Василия Соловьева-Седого и стихи Михаила Матусовского, без которой не обходилось никакое застолье, одна из самых любимых советским народом. Песня написана в 1953—1956 годах и в черновом варианте называлась «Ленинградские вечера». Затем ее решили вставить в документальный фильм «В дни спартакиады», где песня должна была звучать на фоне кадров Подмосковья, и авторы быстренько заменили место действия. Исполнил «Подмосковные вечера» знаменитый певец, актер МХАТ Владимир Трошин, потом фонограмму прокрутили по радио, и песня стала самым знаменитым советским шлягером на несколько десятилетий. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая исполняемая, благодаря радиостанции «Маяк», которая использует «Подмосковные вечера» в своих позывных.

<sup>31</sup> **...хороша ... страна Болгария, а Россия лучше всех.** — «Под звездами Балканскими», песня 1944 года на музыку Матвея Блантера и слова Михаила Исаковского. Ее исполнял Леонид Утесов.

<sup>32</sup> **...в «Север» пообедать...** — знаменитое кафе-кондитерская «Север» на Невском проспекте, 44. За пирожными и тортами от «Севера» приезжали со всего города, к кондитерскому магазину всегда стояла очередь, а перед праздниками — иногда и всю ночь. До 1951 года кафе называлось «Норд», во время борьбы с космополитизмом название перевели на русский.

<sup>33</sup> **...ни одного ночного бара. Только на валюту...** — Валютные бары — по определению только для иностранцев. Нелегальная купля-продажа долларов и других иностранных денег (а легальной — не было) каралась тюрьмой по статье 88 УК РСФСР: «Валютные операции». Статью отменили в 1994 году, а в 1990 году — сильно смягчили: фактически с этого времени валюту стало можно покупать и продавать свободно.

<sup>34</sup> **...чаем «Краснодарским» сорт второй.** — Петухов сгустил краски: в семидесятые годы в Ленинграде был вполне доступен грузинский чай первого сорта, популярный чай № 36, смесь грузинского и индийского, и даже, если повезет, знаменитый индийский чай в желтых пачках со слонем.

<sup>35</sup> **...и городской колбасой!** — Городская — это не сорт. Это изготовленная на городском мясокомбинате простая колбаса для простых смертных, дешевая и соответствующего качества. Фольклорный образ «колбасы с туалетной бумагой» — вряд ли правда: туалетная бумага была дефицитом не меньшим, чем мясо. Но другая фольклорная история — о человеке, который побывал с экскурсией на мясокомбинате и после этого навсегда перестал есть колбасу, — кажется мне более достоверной. Непростые смертные, вроде товарища Петухова А. Н., кушали колбасу из мяса и другие продукты качеством повыше «городских». Еду для

элиты готовили в специальных цехах и продавали через спецстоловые и спецраспределители.

<sup>36</sup> *...на всю квартиру включил «Голос Америки».* — Представляю, какой в комнате раздался вой и свист: на дворе восемь вечера, а проваться сквозь глушилки — мощные генераторы электронных шумов — слушателям «вражеских голосов» удавалось лишь далеко за полночь. Впрочем, новоиспеченный диссидент Петухов хотел не радио послушать, а выразить протест, для каковой цели вой и свист тоже годились.

<sup>37</sup> *...не приняли на филфак с золотой медалью?* — Сказать, что евреев никогда не принимали в советские вузы, будет преувеличением — иначе откуда бы в нашей стране взялись еврей-инженеры, преподаватели и ученые? Другое дело, что, так же как в Российской империи, в Советском Союзе существовала процентная норма. Была она, в отличие от царской России, негласной и менялась в зависимости от института, факультета и политической ситуации.

В 1952 году, в разгар борьбы с космополитизмом, мой отец Михаил Эфрос пытался поступить в театральный институт на режиссерское отделение.

«...Ему, прекрасно знавшему, что такое антисемитизм бытовой, о государственной национальной политике известно было недостаточно...

Несмотря на прекрасно сданные экзамены, он не нашел себя в списке поступивших, а в приемной комиссии объяснили, что, к сожалению, в последний момент количество абитуриентов, которое предполагалось зачислить на первый курс, было сокращено: «А вы, Эфрос, по алфавиту последний в списке, так что — к сожалению...» После выяснилось, что не приняли еще одного человека — с фамилией не то Кац, не то Абрамович...

Он принес документы в политехнический институт. И наткнулся там в приемной комиссии на честного человека, который прямо сказал: «Не пытайтесь. Сюда вас не примут»... Как и я, окончил технологический...»

*Нина Катерли. «Сквозь сумрак бытия».*

<sup>38</sup> *...твой доклад читает ... в Лондоне ариец с партийным билетом?* — При прочих равных условиях, добиться командировки в капиталистическую страну члену КПСС было намного легче, чем беспартийному. Еврей, да еще и не состоявший в партии, таких шансов практически не имел — особенно после Шестидневной арабо-израильской войны 1967 года, когда Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем, и эта страна считалась потенциальным противником СССР.

<sup>39</sup> *...подам заявление, с работы выгонят, а разрешения не дадут.* — действительно, разрешение на эмиграцию могли дать, а могли и отказать. Тех, кто подал заявление и не получил визу на выезд, называли «отказниками».

Не выпускали чаще всего людей, которые по работе имели доступ к секретным сведениям, — причем, иногда засекречен был сам факт секретности: человек мог и не знать, что допущен к государственной тайне, пока не отнесет заявление в ОВИР. С этого момента до получения визы порой проходили годы. Все это время «отказник» сидел без нормальной

работы: специалиста, причастного к военным тайнам, сразу увольняли как агента международного сионизма, и устроиться он мог, разве что, грузчиком, ночным сторожем или кочегаром в котельную.

<sup>40</sup> **«городская» булка** — бывшая «французская», стоила 7 копеек.

<sup>41</sup> **...чаю, бомбина!** — Народный каламбур на тему популярной песни Мирей Матье «Ciao Bambino, Sory». Песня 1976 года из альбома «Et tu seras poète», композитор — Тото Кутуньо, тоже очень популярный в конце семидесятых, когда в СССР вспыхнула мода на итальянскую эстраду. В октябре 1976 года Мирей Матье побывала в Москве и выступила на концерте в Большом театре. В те же дни был снят телевизионный фильм «Мирей Матье в Москве», где среди других песен она исполнила и «Чаю бамбино». Запись с этой песней впервые показали в новогоднем «Голубом огоньке» 1 января 1977 года. Она произвела фурор.

С сайта поклонников певицы: <http://www.mireillemathieu.ru>

<sup>42</sup> **...Майя Кристалинская ... «Я давно уж не катаюсь, только саночки возжу»...** — Майя Владимировна Кристалинская (1932—1985) — знаменитая советская эстрадная певица. Песня «За окошком свету мало», музыка Эдуарда Колмановского, слова Константина Ваншенкина.

<sup>43</sup> **рахмонес** — (*идиш*) милосердие. Но в белорусском местечке, откуда родом Роза Львовна, это слово — вероятно, по созвучию с русским «рохля» — также означало «размазня, недотепа».

<sup>44</sup> **...анкетные данные. На случай заграничной командировки.** — см. примечания 5 и 38 к этой повести.

<sup>45</sup> **...содержать семью и при этом работать честно.** — Роза Львовна осуждает бывшего мужа: в стране, где свободного предпринимательства не было, а товарный дефицит, наоборот, был, работник торговли имел репутацию человека зажиточного, но нечистого на руку.

<sup>46</sup> **БАМ, КамАЗ** — всесоюзные ударные комсомольские стройки семидесятых — восьмидесятых годов: строительство Байкало-Амурской магистрали и автомобильного завода в Набережных Челнах. Кроме комсомольцев-добровольцев, роль которых была сильно преувеличена официальной пропагандой, там работали заключенные (на БАМе, в основном, они и работали). Про БАМ ходило много анекдотов, например, что эта аббревиатура расшифровывается как «Брежнев Абманул Молодежь». В нашей семье, если хотели сказать, что у кого-то не все дома, вспоминали патристическую песню Александра Морозова и Виктора Гина «Большой привет с большого БАМа!»

<sup>47</sup> **председатель совета отряда** — пионерского.

<sup>48</sup> **А если не дубленка, а Коммунизм?** — Дубленки вошли в моду в середине семидесятых годов — советский человек в дубленке и джинсах считался шикарно одетым. А в коммунизм к тому времени мало кто верил. В 1961 году на XXII съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущев пообещал наступление коммунизма к 1980 году, а полтора десятка лет спустя его слова «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» уже воспринимались как анекдот.

<sup>49</sup> **...цель — ничто, а движение — все ... теоретик перманентной революции.** — На самом деле это сказал не Троцкий, как думает рас-

сказчик, а Эдуард Бернштейн, лидер II Интернационала и правого крыла немецкой социал-демократии. Был он, наоборот, против всяческих революций, за что Ленин в своих статьях ругал его «ревизионистом», «оппортунистом» и «реформистом».

<sup>50</sup> **...лежа бесплатно в больнице «25 Октября»...**— Городская больница № 17 «В память 25 октября» в семидесятые годы располагалась на Фонтанке у Калинкина моста и считалась одним из самых ужасных ленинградских медучреждений, где больные заживо гнили в коридорах, дожидаясь хоть какой-нибудь помощи. Теперь это Александровская больница на проспекте Солидарности. Врачи там, говорят, хорошие, а вот условия недалеко ушли от тех, советских.

<sup>51</sup> **...в школе ... сбор металлолома...**— Это сегодня у нас сбор металлолома, особенно цветного,— бизнес, а при советской власти... См. примечание 17 про школьный сбор макулатуры.

<sup>52</sup> **...у ихнего председателя дома религиозная пропаганда.**— Религиозная пропаганда в 1978 году для законопослушного обывателя была столь же недопустима, как, например, в 2013 году — публичное оскорбление чувств верующих.

<sup>53</sup> **...обернутые красными полотнищами фонари...**— Так в семидесятые — восьмидесятые годы украшали Марсово поле к праздникам: красная ткань, натянутая на металлический каркас, закрывала весь фонарь сверху донизу. Злые языки называли такие фонари фаллическими символами.

<sup>54</sup> **Прохода нет, нельзя здесь...**— Во время демонстраций 7 ноября и 1 мая улицы перегораживали не только от машин, но и от пешеходов — чтобы ликующие праздничные колонны шли в строгом порядке, и никто не смылся раньше времени. Сцена со Скорой помощью, которую не пропустили к больному,— реальная, автор наблюдала ее у своего дома на Марсовом поле.

<sup>55</sup> **...за знамя два отгула обещали.**— За отгулы на что только ни соглашался советский рабочий и служащий — и знамя нести, и кровь сдавать, и вечером патрулировать улицы с красной повязкой дружинника. Лишнее свободное время тогда ценилось больше, чем дополнительные деньги, на которые мало что можно было купить.

<sup>56</sup> **...Саяно-Шушенскую, вон, сдаем...**— Первый агрегат Саяно-Шушенской ГЭС был с большой газетной помпой пущен в декабре 1977 года. Значит, действие повести точно приходится на ноябрь 1977 — май 1978 года.

<sup>57</sup> **...Косой пробор ... темный пиджак, звездочка на груди.**— На портрете, судя по всему, Григорий Васильевич Романов, с 1970 по 1983 год — первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. Антисемит, люто ненавидел интеллигенцию, особенно творческую, и почему-то — собак. Видимо, боялся и тех, и других.

<sup>58</sup> **Плечи вниз, дугою ноги и как будто стоя спит...**— Библиотекарь Роза Львовна немного неточно цитирует классику — стихотворение Аполлона Майкова «Сенокос»:

В ожиданьи конь убогий,  
Точно вкопанный, стоит...

Уши врозь, дугою ноги  
И как будто стоя спит...

<sup>59</sup> *...возьму развод, отмечу заразу на хрен...*— Когда Анатолия оудят, Полина собирается выписать его со своей жилплощади.

<sup>60</sup> *«Землянка»* — другие названия: «В землянке», «Бьется в тесной печурке огонь...» — песня на музыку Константина Листова и слова Алексея Суркова. Песня появилась в 1942 году и сразу стала очень популярной среди солдат, но летом того же года фронтовая цензура потребовала убрать «упаднические» слова о смерти:

Ты сейчас далеко-далеко,  
Между нами снега и снега —  
До тебя мне дойти нелегко,  
А до смерти — четыре шага.

Сурков отказался переписывать текст. «О том, что с песней «мудрят», дознались воюющие люди,— вспоминал поэт.— В моем беспорядочном армейском архиве есть письмо, подписанное шестью гвардейцами-танкистами. Сказав доброе слово по адресу песни и ее авторов, танкисты пишут, что слышали, будто кому-то не нравится строчка «до смерти — четыре шага». Гвардейцы высказали такое едкое пожелание: «Напишите вы для этих людей, что до смерти четыре тысячи английских миль, а нам оставьте так, как есть,— мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти».

Поэтесса Ольга Берггольц рассказала мне еще во время войны такой случай. Пришла она в Ленинграде на крейсер «Киров». В кают-компании собрались офицеры крейсера и слушали радиопередачу. Когда по радио была исполнена песня «В землянке» с «улучшенным» вариантом текста, раздались возгласы гневного протеста, и люди, выключив репродукторы, демонстративно спели трижды песню в ее подлинном тексте».

*Алексей Сурков. «Как сложилась песня»,  
в сборнике «Истра, 1941». М.: Московский рабочий, 1975.*

<sup>61</sup> *«Через две зимы»* — песня на музыку Владимира Шаинского и слова Михаила Пляцковского. В исполнении Юрия Богатикова она была признана победителем самого престижного конкурса советской песни — телевизионного фестиваля «Песня-76». Финальный концерт передавали в январе 1977 года, а в мае 1978 года она оставалась на пике популярности. Семенов смотрит телевизор и всегда в курсе событий. Интересно, слово «нежные» на «добрые» в первой строке он заменил случайно или сознательно?

#### ЧЕРВЕЦ

Повесть написана в 1979 году, впервые опубликована в сборнике «Курзал» (Л.: Советский писатель, 1990), а до тех пор распространялась в самиздате, что послужило поводом для «приятного» знакомства

автора с сотрудником КГБ, куратором ленинградских творческих союзов Павлом Константиновичем Кошелевым. Однажды летом 1982 года Кошелев вдруг позвонил Нине Катерли домой и пригласил на свидание.

«...откуда-то из-за моего плеча раздалось: «Здравствуйте, Нина Соломоновна!» Я обернулась и увидела молодого человека с усами и в белом костюме.

Тут же вспомнив все застольные инструкции поведения при общении с ними, я вежливо, но твердо попросила его показать мне документы. Что и было сделано — мне предъявили какой-то пропуск, где было написано: «Коршунов Павел Николаевич». Не помню, указано ли было его звание, во всяком случае, я его спросила об этом. Он представился старшим, кажется, лейтенантом и съязвил, сказав, что мне, видно, необходимо беседовать только с высокими чинами.

Мы минут сорок гуляли по Летнему саду, и вскоре я поняла, зачем ему понадобилась, — мои друзья, которым я как-то давала своего «Червеца», дали его, не сказав мне ни слова, «на одну ночь» своей приятельнице, а та притащила рукопись к себе на работу, где ее читали все кому не лень. И кто-то, конечно, настучал. А работала эта их приятельница в Морском училище им. Макарова, где строго следили за идеологией. Ее вызвали в Первый отдел и допросили. Помимо чтения «Червеца» в вину ей было вменено еще и прослушивание вместе с курсантами песен Окуджавы. Про «Червеца» она страстно заявила, что там нет никакой антисоветчины. Ну, совсем, совсем никакой! Ей не поверили — видно, информатор дал другие сведения. Не поверили и попросили принести рукопись. А рукопись давно уже была возвращена мне. Все это я выстроила в уме по ходу задаваемых вопросов, одним из которых был: «А как ваша повесть попала к NN? Вы ведь, кажется, не близкие подруги, она — светская львица, а вы — писатель».

Я согласилась, что действительно не львица. Дальше пошли комплименты — мол, я такой уж замечательный писатель, что обо мне знает вся заграница. К этому я была готова, подумала: вот — хвалит, а потом начнет пугать. И на вопрос ответила, что рукопись NN дала потому, что мне интересно мнение о ней самых разных людей. На самом деле, судорожно роясь в памяти, я вспомнила, что эта дама не так давно звонила мне и просила дать рукопись — ее, мол, все очень хвалят, а она не читала. А на самом деле ее уже, видимо, прижали к стене, требовали текст, сказать мне обо всем она боялась, вот и позвонила. Я тогда рукопись ей не дала, уж не помню, почему. А сейчас упорно твердила, что не считаю криминалом показывать то, что пишу, знакомым. «А что? Я должна, как напишу что-то, сразу нести к вам?» — спросила я, нагляя и думая о том, как вечером буду всем рассказывать, что поставила гэбэшника на место.

Тут он, как я и ожидала, попытался меня слегка припугнуть, заявив, что все зависит от содержания, нет ли там... клубнички. А то можно и... под суд.

...Позднее, когда мы встретились еще раз — я дала ему обещанную рукопись «Червеца», приведя ее для этого в подходящий вид, то есть, убрав отсюда все, что могло быть сочтено антисоветчиной, — я все-таки попросила его показать мне настоящие документы. И он показал

красную книжечку, где стояла фамилия «Кошелев», а в ответ на мое заявление — мол, у него таких книжек может быть еще сто штук, молча вынул паспорт с теми же данными.

Рукопись он мне через некоторое время вернул, держал долго — может, и начальство читало. Возвращая, сказал, что он лично не видит в повести ничего криминального, но печатать ее, конечно, побоятся — в издательствах сидят трусы и перестраховщики, а у меня там слишком уж много про еврейский вопрос».

*Нина Катерли. «Сквозь сумрак бытия».*

<sup>1</sup> **Анна Ахматова.** — Из стихотворения 1961 года «Родная земля».

<sup>2</sup> **...научно-исследовательский институт ... в соседнем здании.** — Институт, где служил Максим Лихтенштейн, во многом списан с ЦНИИ Технологии судостроения, где Нина Катерли работала инженером с 1962 по 1976 год. В ее мемуарах есть яркие страницы, посвященные этому институту. Например:

«...наш катализатор, металлический натрий, полагалось хранить под слоем керосина — иначе он возгорался, особенно при соприкосновении с водой или ее парами. Это известно любому студенту-химику. Мы и хранили. А когда видели, что слой керосина недостаточно велик, наш рабочий отправлялся с ведром на склад и приносил новую порцию керосина, чтобы добавить в бочку.

В тот роковой день за керосином пошел, как сейчас помню, Петя Гончаров, большой любитель гидролизного спирта. По-видимому, он заглянул по дороге на склад к своим друзьям в механический цех. Боюсь, что перед тем, как налить в ведро керосин, чистоплотный Петя ополоснул ведро в луже. Во всяком случае, когда содержимое ведра, считающееся керосином, было выплеснуто в бочку с металлическим натрием, оттуда повалил зловещий газ. Мы заметались в поисках песка, чтобы засыпать им очаг возгорания. Но тут в дверях мастерской появилась наша начальница — ведущий инженер Сорокина. Бросив на нас с Петей уничтожающий взгляд, она обхватила бочку обеими руками и, поднатужившись, вытолкнула из мастерской. Во дворе к ней присоединился Петя. Я, разинув рот от ужаса, осталась в дверях, наблюдая, куда они тащат бочку. А тащили они ее не куда-нибудь, а к котловану, вырытому у нас во дворе под фундамент для нового корпуса.

Котлован был полон... воды.

— Что же вы... — прошептала я в ужасе.

Но в то же мгновение бочка была сброшена в воду.

Раздался глухой хлопок, из котлована повалил белый газ, огромная бочка взлетела над поверхностью воды, упала снова, опять взлетела... В соседнем корпусе вылетали стекла. Люди выбегали во двор, решив, очевидно, что враг сбросил бомбу на наш секретный институт...»

*Нина Катерли. «Сквозь сумрак бытия».*

Рабочий Петя Гончаров и другой рабочий — Толик Денисов, также воспитанный в мемуарах, послужили прототипами слесаря Анатолия Денисюка в «Червце».

<sup>3</sup> *...дворников в городе пока еще недостаточно.* — Работать дворником в большом городе при советской власти было выгодно: им давали временную (лимитную) прописку и служебную жилплощадь. Тем не менее, дворников не хватало, и уборка снега была такой же повинностью рабочих и служащих, как субботники на стройке, поездки на овощную базу — перебирать гнилые овощи и фрукты и в подшефный колхоз — на прополку и уборку урожая картофеля, капусты и корнеплодов в порядке шефской помощи.

<sup>4</sup> *...другие ездят по заграницам, а он — нет.* — см. примечание 38 к повести «Треугольник Барсукова (Сенная площадь)».

<sup>5</sup> *...совершить заграничную поездку ... только в один конец.* — Советский человек, решившийся на эмиграцию, знал, что отныне пересечь границу в обратном направлении он не сможет ни туристом, ни иностранным специалистом, ни по приглашению родственников. Расставаясь в международном аэропорту, прощались навсегда.

<sup>6</sup> *...замдиректора по кадрам Пузырева...* — Заместитель директора по кадрам — должность ответственная и требующая высокой бдительности, поэтому, как правило, ее занимал человек в штатском костюме, плохо скрывающем погони сотрудника органов госбезопасности.

<sup>7</sup> *...Максиму Ильичу ...— тридцать семь.* — Максим Лихтенштейн родился перед войной в ноябре 1940 года. Действие повести «Червец» происходит в 1978 году.

<sup>8</sup> *...пообещав им по сто граммов спирта.* — Технический спирт, в лучшем случае ректификат, в худшем — гидролизный, был универсальной валютой при расчетах инженеров с рабочим классом. У домохозяйек той же цели служила «маленькая» водки, заначенная на случай прихода сантехника или электрика.

<sup>9</sup> *...возросшее значение проблемы охраны окружающей среды...* — Профессор, как всегда, держит нос по ветру: государственная кампания по охране окружающей среды была объявлена на XXV съезде КПСС, который проходил за два года до описываемых событий, с 24 февраля по 5 марта 1976 года.

<sup>10</sup> *...поставленные соответствующими Решениями...* — решениями Партии и Правительства, провозглашенными на съезде и поднятыми, — как обязательно сказал бы профессор Кашуба, — на уровень первоочередных народнохозяйственных задач.

<sup>11</sup> *...из-за пятого пункта...* — Заметка для будущих поколений на случай, если к тому времени графу «национальность» не восстановят: в советском паспорте она шла под пунктом пять, так же, как и в личном листке учета кадров, который заполняли при устройстве на службу (сегодня пятый пункт — «гражданство»). Впрочем, словосочетание «пятый пункт» или «пятая графа» тогда употреблялось по отношению только к одной известной национальности. Советский кинодраматург, сценарист и поэт Евгений Агранович в 1962 году сочинил стихотворение «Еврей-священник», где были строки:

...Он был еврей, мишень для шутки грубой,  
Ходившей в те недобрые года,

Считался инвалидом пятой группы,  
Писал в графе «Национальность»: «да».

<sup>12</sup> *...чистая вул.* — wool (англ.) шерсть. Смесь английского с нижегородским, отдававшая легкой фрондой, была в моде у советских ИТР (инженерно-технических работников).

<sup>13</sup> *Надо брать.* — цитата из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», который вышел в 1977 году и в 1978 году был признан лидером кинопроката.

<sup>14</sup> *...«азохэвням» ... «вейзира»...* — Восклицания на идиш. Аз ох н вэй: «Когда [только и остается сказать] ох и вэй». Вейзир: «Боже мой», буквально: «Больно мне».

<sup>15</sup> *...«шиксой» ... ни боже мой!* — На самом деле «шиксе» на идиш — это просто девица любой другой национальности, кроме еврейской. Но в устах правоверных евреев и примкнувших к ним Гольдиных это определенно не тот случай, чтобы жениться.

<sup>16</sup> *лэка* — медовый пирог, блюдо еврейской кухни.

<sup>17</sup> *«Астория» — для гешефтмахеров...* — Честному человеку в этом шикарном, дорогом ресторане делать нечего, да и не по карману, — считает Гольдин, — только гешефтмахерам, то есть дельцам теневой экономики. Другого бизнеса в СССР семидесятых годов не было.

<sup>18</sup> *...пренебрежение к физическому труду? Вот и «Литературка» пишет...* — В «Литературной газете», как и вообще во всех советских газетах, публиковались и широко обсуждались материалы съездов партии, а XXV съезд КПСС призывал «больше внимания уделять трудовому воспитанию учащихся, профессиональной ориентации молодежи...»

<sup>19</sup> *...мастеров из «Невских зорь»...* — При советской власти это была единственная в Ленинграде, разумеется, государственная фирмачья монополия, которая занималась уборкой, ремонтом квартир и разными другими услугами населению — отсюда можно было, например, вызвать тамаду на свадьбу.

<sup>20</sup> *...«бомбами» с «бормотухой» ... «фаустпатронами»...* — большие, 0,75 литра, бутылки дешевого крепленого вина. Как все алкогольные напитки, они продавались с 11.00 до 19.00.

<sup>21</sup> *...престижный «ящик» ... заказа.* — Заводы и институты, работавшие на оборону, назвались «почтовыми ящиками номер...», а то, что там строили или проектировали, — «заказом номер...» или «заказом товарища Такого-то». Продукция этих контор была тщательно засекречена.

В некоторых «ящиках» выходили многотиражные газеты, чьи сигнальные экземпляры поступали в газетный отдел Публичной библиотеки, где автор этих строк в ту пору трудилась, заочно обучаясь на филфаке Петрозаводского университета. В многотиражках писали то, что обычно там пишут: выполнение плана, передовики и отстающие цеха, итоги социалистического соревнования, и т. п. — характер продукции конечно не афишировали, но кодовые названия заказов — были. Однокурсница, работавшая на заводе атомных подводных лодок в закрытом Северодвинске, очень испугалась, когда я однажды спросила, будет ли к кон-

цу 1981 года выполнен заказ товарища Белопольского. Вероятно, она решила, что я — шпион.

<sup>22</sup> *...единица — ноль...* — Цитата из поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин»:

...Партия —  
рука миллионопалая,  
сжатая  
в один  
громающий кулак.  
Единица — вздор,  
единица — ноль,  
один —  
даже если  
очень важный —  
не подымет  
простое  
пятивершковое бревно,  
тем более  
дом пятиэтажный.

<sup>23</sup> *...«Психиатрическая больница».* — Это городская психиатрическая больница имени Кашенко, расположенная в поселке Никольское Гатчинского района, в бывшей усадьбе Сиворицы, принадлежавшей семье промышленников Демидовых. Барский дом был построен в конце XVIII века по проекту архитектора Старова. Примерно через сто лет усадьба за долги перешла к Петербургскому земству, и в 1905—1909 годах здесь была создана психоневрологическая лечебница. Ее основателем стал врач-психиатр Петр Петрович Кашенко.

<sup>24</sup> *...в лаковых сапогах-чулках...* — мода середины семидесятых: высокие, почти до колена, блестящие сапоги, часто на толстой «платформе»; мягкое голенище обтягивало ногу, как чулок или перчатка.

<sup>25</sup> *...писал в анкете, что был на оккупированной территории...* — «Находились ли вы, ваши родственники на оккупированной территории, были ли в плену или интернированы?» — обязательные вопросы анкеты, которую советский человек заполнял при поступлении в вуз и устройстве на работу. Введенная в 1947 году, графа об оккупированных территориях чаще всего была формальностью, но учитывалась при оформлении допуска к секретным сведениям. Отменили ее в конце пятидесятых годов, но в отделах кадров «почтовых ящиков» (см. примечание 21) этот вопрос задавали вплоть до начала девяностых.

<sup>26</sup> *...по итогам соцсоревнования...* — Социалистическое соревнование между цехами, отделами или предприятиями — наш ответ капиталистической конкуренции. Когда соревноваться было не с кем, этим словом называлась увеличенная норма выработки. Например, в упомянутом газетном отделе (см. примечание 21) норма обработки новых поступлений составляла 82 газеты в час, а с учетом соцсоревнования — 90. За те же, разумеется, деньги.

27 *...в науке не существует широкой столбовой дороги...* — Подкованный Кашуба цитирует Маркса: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам» (Карл Маркс. Предисловие к французскому изданию «Капитала», 18 марта 1872 года).

28 *...Каркнул ворон: «Не верю в морг...»* — Максим мрачно глумится над «Вороном» Эдгара По в переводе Михаила Зенкевича:

...Я сказал: «Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен,  
О зловещий древний Ворон, там, где мрак Плутон простер,  
Как ты гордо назывался там, где мрак Плутон простер?»  
Каркнул Ворон: «Nevermore».

29 *«...Кто стучится под окном с длинным черным бородом?»* — из старого театрального анекдота про то, как в еврейском местечке решили в целях экономии поставить «Фауста» и «Бориса Годунова» одновременно на одной сцене (все произносится с соответствующим акцентом):

Калитка пипскнула и тихо отворнулась.

— Кто стучится под окном с длинным черным бородом?

Мепистопис, это ви?

— Ми.

— Сколько вас?

— Раз.

— Что ви делаете тут?

— Маргаритке совратут!

— Зачем я Шмуйского не вижу среди здесь? — и т. д.

30 *«Экономика должна быть экономной»* — анахронизм, видимо, добавленный в более поздней редакции: лозунг про экономику впервые прозвучал на XXVI съезде КПСС в 1981 году.

31 *...с чувством глубокого удовлетворения...* — пропагандистское клише, которое любил употреблять Леонид Ильич Брежнев (или его спичрайтеры). Уже в семидесятых годах это словосочетание вошло в анекдоты, например: «В состав Политбюро ЦК КПСС с чувством глубокого удовлетворения вводится новый член».

32 *Развалится наша контора.* — Автор с Максимом Лихтенштейном имеют в виду не институт, а советскую «контору» в широком смысле. Чтобы окончательно развалиться, ей понадобилось еще тринадцать лет.

33 *...сын, женатый ... на еврейке, собирается уезжать ... попрут с работы.* — Человек, задумавший эмигрировать, должен был сперва получить письменное согласие всех ближайших родственников. Знаю случаи, когда родители, чтобы избежать неприятностей на службе, такого разрешения не давали. Например, по этой причине долго не мог уехать фотограф Марк Серман: его тесть, большой армейский чин, отказывался подписывать бумагу.

34 *«Угнетенная невинность, или поросенок в мешке»* — Поговорка восходит к названию книги русского писателя Андрея Фроловича

Кропотова (1780—1821) «Чрезвычайные происшествия: угнетенная добродетель, или поросенок в мешке» (1809). Когда и почему «добродетель» превратилась в «невинность»? Возможно, к этому приложил руку Александр Бестужев-Марлинский: «Здесь простосердечный баран — эта четвероногая идиллия — выражает жалобным бляньем тоску по родине. Там визжит угнетенная невинность, или поросенок в мешке. Далее эгоисты телята...» («Испытание», 1830).

<sup>35</sup> **В интересах разрядки** — Разрядка международной напряженности — временное примирение между социалистическим лагерем во главе с Советским Союзом и капиталистическим во главе с США. Пик разрядки пришелся на середину семидесятых. У рядовых советских людей это время ассоциируется с космическим полетом «Союз — Аполлон» (в июле 1975 года советский «Союз-19» и американский «Аполлон» произвели стыковку в космосе) и одноименными сигаретами, первым появлением в магазинах пепси-колы и советско-американским фильмом «Синяя птица», где снялись звезды обеих стран: Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Маргарита Терехова и Георгий Вицин. Для нашей семьи — это еще и первые гости из США, которые приезжали в Союз по научному обмену.

«В 1976 году Федор Чирсков познакомил нас с американцами, Энтони и Мартой Олкоттами... Тони был славистом, изучал русскую литературу, написал диссертацию по Платонову. По-русски он говорил прекрасно. Марта, политолог, говорила хуже и очень этого стеснялась. Они были симпатичной парой — огромный рыжий лохматый Тони и маленькая круглолицая Марта. С ними было удивительно легко. Им тоже, по-видимому, нравилось у нас. Во всяком случае, бывали они в нашем доме часто, мы вместе гуляли по городу. Потом обедали, пили французские вина, которых раньше не пробовали — Тони покупал их за валюту в «Березке», куда нам ходу не было. Из «Березки» Олкотты часто приносили разные деликатесы, они же подарили нашей дочери первые в ее жизни джинсы Levi's.

Как сейчас вижу: мы сидим за бутылкой Божоле, Тони поднимает бокал и произносит: «Боже, лей Божоле, не желей».

*Нина Катерли. «Сквозь сумрак бытия».*

Во время действия повести «Червец» разрядка была уже на излете. Через два года потепление в международных отношениях сменится очередным заморозком: 25 декабря 1979 года советские войска войдут в Афганистан, весной 1980 года США и другие западные страны объявят о бойкоте московской Олимпиады.

<sup>36</sup> **...завтра будет конец. — Или начало конца...** — Фразу про начало конца автор добавила позднее — видимо, после визита в Большой Дом на Литейном. Ее вызвали в КГБ повесткой: поводом послужило дело филолога Михаила Мейлаха, нашего соседа по дому на Марсовом поле. Мейлах был арестован в 1983 году, осужден по семидесятой статье — распространение антисоветской литературы, получил семь лет лагерей, освобожден в 1987 году, в перестройку.

«Я, в самом деле, ничего не знала про это дело, но придумала фразу, которую все четыре часа допроса твердила, как попугай: «С Михаилом

Мейлахом меня не связывают ни деловые, ни дружеские отношения, поэтому я ничего о нем не знаю и не могу ответить на ваш вопрос...»

Нина Катерли. «Сквозь сумрак бытия».

— Наконец, — рассказывала потом Катерли, — гэбэшник устал спрашивать меня об одном и том же, получая один и тот же ответ, и сказал: «Еще один, последний, вопрос, и будет конец... Или, — он прищурился и пристально взглянул на меня, — начало конца...»

<sup>37</sup> *...три негромких хлопка профессора Лукницкого.* — Этот сюжет отсылает к реальной истории, которую Нина Катерли знала из первых рук — от своей матери, писательницы Елены Иосифовны Катерли.

В июне 1954 года в ленинградском Союзе Писателей проходило собрание, на котором в очередной раз травили Ахматову и Зощенко. Отвечая на обвинения партийных функционеров от литературы, Михаил Зощенко сказал: «...Моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения — ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею».

В ответ на это выступление в зале раздались одинокие аплодисменты. Человеком, который решился, подвергая себя реальной опасности, заплодировать Зощенко, был писатель Израиль Моисеевич Меттер, близкий друг семьи Катерли.

<sup>38</sup> *Руки прочь от... от этой, на хрен... охраны природы!* — «Руки прочь» — типичная формула советских плакатов и газетных заголовков, обличающих американский империализм или израильскую военщину, например: «Руки прочь от Вьетнама!» А впервые в истории эти слова произнес английский премьер-министр Гладстон, выступая в парламенте в 1878 году: «Руки прочь от Боснии и Герцеговины!». Однако рабочий Денисюк продолжает традиции отнюдь не сэра Гладстона, а скорее Клима Петровича Коломийцева из песни Александра Галича 1968 года «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира»:

...Израильская, — говорю, — военщина  
Известна всему свету!  
Как мать, — говорю, — и как женщина  
Требую их к ответу!

Который год я вдовая,  
Все счастье — мимо,  
Но я стоять готовая  
За дело мира!  
Как мать вам заявляю и как женщина!..

Тут отвисла у меня, прямо, челюсть,  
Ведь бывают же такие промашки! —

Этот сучий сын, пижон-порученец  
Перепутал в суматохе бумажки!..

<sup>39</sup> *...различные неопознанные объекты...* — см. примечание 26 к повести «Треугольник Барсукова (Сенная площадь)».

<sup>40</sup> *...шло совещание «тройки».* — Классическая «тройка» — это директор, председатель партийного бюро и председатель профсоюзной организации.

<sup>41</sup> *мишугинер* — (*идиши*) сумасшедший.

<sup>42</sup> *...вызов ... заготовленный Осей.* — Вызов, он же приглашение от родственников, часто фиктивных, был необходимой бумажкой, чтобы получить разрешение на эмиграцию «для воссоединения семьи» (формально такое право было у советских евреев, немцев и некоторых других народов). Считалось, что добровольно уехать из СССР психически здоровому человеку в голову не придет, разве только, если за границей его с нетерпением ждет родня. Когда родни не было, ее следовало выдумать; почему-то никто не проверял, существуют ли эти дяди и тети на самом деле.

<sup>43</sup> *...коллекции дефицитных новейших изданий...* — см. примечание 17 к повести «Треугольник Барсукова (Сенная площадь)».

<sup>44</sup> *«Сайгон»* — так в народе называли знаменитый кафетерий при ресторане Москва, где собиралась ленинградская богема. Вот что рассказывает о «Сайгоне» Санкт-петербургский историк Лев Лурье:

«1 сентября 1964 года на углу Невского и Владимирского проспектов в первом этаже ресторана «Москва» открылся самый большой и важный ленинградский кафетерий. Официально новая точка общепита так и называлась «Кафетерий от ресторана «Москва». Первое народное название — «Подмосковье». Вход с угла Владимирского и Невского.

По мере того как новое заведение набирало в городе все большую популярность, появилось окончательное название «Сайгон». Оно было связано с главной международной новостью тех лет — войной во Вьетнаме — и несло в себе несколько смыслов.

В тогдашней советской публицистике вьетнамский Сайгон, столица Южного Вьетнама, предстал вместилищем пороков, прифронтовым городом, наполненным барами, проститутками, наркотиками, гангстерами. В этом была макаберная юношеская романтика. Да и заведение было грязное, неухоженное. Один мой тогдашний американский приятель назвал его «самым грязным местечком Восточной Европы».

Помещение кафетерия было вытянуто вдоль Владимирского проспекта. Несколько ступенек вниз вели в основное помещение — к буфетной стойке, на которой размещалось пять кофеварок. Пять дам, из которых наибольшей популярностью пользовались Стелла и Люся, непрерывно заправляли кофе в рожки (по две в каждую машину). И на эту каторжную работу существовал умопомрачительный конкурс: было за что биться...

Кофе пили исключительно стоя, за высокими столиками с круглой, искусственного мрамора, столешницей. Мест в «час пик» не хватало,

поэтому столики занимали заранее, посылая в очередь делегата. Те же, кто приходил без компании и дожидался своего «маленького двойного», оказывался в прогаре: кофе есть, а места — нет.

Вначале «Сайгон» был для изгоев — «семидесятников» неким аналогом современного молодежного клуба, точкой, где можно было встретиться с приятелем, познакомиться с девушкой, выпить без строгого мамашинного надзора. Из места социализации он превратился в единственно возможное место реализации.

Здесь читали друг другу стихи, планировали воображаемые выставки, делились запрещенным чтивом, пересказывали потаенное. «Сайгон» возродил эпическую традицию, когда тексты не читались, а передавались из уст в уста. Наконец, кафетерий стал кладбищем надежд. Здесь спивались, сходили с ума, садились на иглу. Ноев ковчег позднего Ленинграда, вместители пороков и вдохновений, в узком зале которого соседствовали художники и воры, диссиденты и опера КГБ, мелкие фарцовщики и фанатики моржевания.

Хмурых, пьющих «семидесятников» сменили хиппи из «системы», на смену им выдвинулись музыканты и их последователи... В перестройку на месте «Сайгона» появился магазин итальянской сантехники, сейчас это дорогуший бар при гостинице».

*Лев Лурье. Маленький двойной переворот  
// Огонек. — 2013. — № 32.*

**45 ...молочные бутылки сданы, а винные сегодня не принимают...** — Молочные бутылки, баночки из-под сметаны и иногда — майонеза можно было сдать не только в пунктах приема стеклотары, но и в молочных магазинах, при условии наличия тары, т. е. ящиков, и подходящего настроения у продавщицы. А с винными и водочными приходилось идти в «подвальчик», который мог быть закрыт, или отсутствовать пресловутая тара.

Да и не каждую бутылку возьмет приемщик: сперва придиричиво проведет пальцем по горлышку, нет ли сколов или других изъянов, заглянет внутрь — хорошо ли отмыта посуда, не болтается ли там продавленная внутрь пробка... Пивные бутылки стоили 12 копеек, винные 0,7 л — 17 копеек, водочные и молочные — 15, баночка из-под сметаны — 10, из-под майонеза — 3, позднее — 10 копеек. Некондиционные бутылки иногда можно было сдать по дешевке как бой. Приемщик, разумеется, продавал их на завод по полной стоимости — на то и жил.

**46 ...наклепали журналисты, дело... не в барахле.** — Борьба с «вещизмом», мещанством и накопительством — модная тема в семидесятые годы. Любимая профессором Кашубой «Литературная газета» напечатала серию статей под рубрикой «Люди и вещи», ей вторили «Комсомолка» и «Смена»; учителя литературы проводили в классах дискуссии по пьесам Виктора Розова и повести Юрия Трифонова «Обмен». И что толку? Борьба с «вещизмом» в условиях тотального дефицита — все равно, что пропагандировать диеты среди голодающих центральной Африки.

<sup>47</sup> *...дефицитного Булгакова...* — Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» впервые был напечатан в 1966 году в журнале «Москва». Первое издание трех романов Булгакова («Белая гвардия», «Театральный роман», «Мастер и Маргарита») вышло в 1973 году в Москве, второе — в 1978 году в Ленинграде. Это был дефицит на уровне югославского шкафа-«стенки», джинсов Levi's или билетов в БДТ на спектакль «История лошади».

<sup>48</sup> *Смердовцы* — усадьба баронессы Тизенгаузен (сейчас находится на территории Волосовского района Ленинградской области). В 1896 году усадьбу арендовал композитор Римский-Корсаков, он писал здесь оперу «Садко». Господский дом был разрушен во время войны.

<sup>49</sup> *«отдельная» колбаса* — одна из самых дешевых вареных колбас, с жиром, в целлофановой оболочке, стоила 2,20 руб. за килограмм и свободно продавалась в Москве и Ленинграде (в советской глубинке она была дефицитом, в народе ходила поговорка по то, что «в отдельных магазинах нет отдельной колбасы»). Сегодня «колбаса за два двадцать» — символ ностальгии по советским временам, а в те годы — неплохая закуска под водку за три шестьдесят две.

<sup>50</sup> *...батю убили, мне восьми лет не было...* — Денисюк «полвека отжил», весной отметил юбилей — значит, он родился в 1928, а батю убили в 1935 году. Кто, почему убил — неизвестно, а теперь и спросить не у кого. Очень может быть, что расстреляли батю как кулака и врага народа. Хотя, конечно, могли и просто в пьяной драке зарезать.

<sup>51</sup> *Гудит, как улей, родной завод, а мне-то...* — матерная поговорка из похабной народной песенки про шофера, откуда я рискну процитировать только последний куплет:

...Гудит как улей родной завод,  
А нам-то ..., ... он в рот.  
И прямо с разворота ... мы в ворота,  
На этом наш закончился поход.

<sup>52</sup> *...бдительные пенсионеры...* — Помню, как в 1977 году бдительный пенсионер вызвал милицию к экскурсии по Петербургу Достоевского, которую проводил сотрудник музея-квартиры писателя для нас и американских ученых-славистов. Мы как раз выходили из двора старухи-процентщицы на набережной канала Грибоедова (Екатерининского), дом 104, когда к нам подошел милиционер в сопровождении деда, который кричал: «Там иностранцы! Они фотографируют наши помойки! Хотят опорочить советский строй!» Надо отдать должное стражу порядка, он быстро разобрался, кто тут на самом деле порочит советский строй, взял деда под руку и куда-то увел. Экскурсоводом был Федор Чирсков, которому посвящен рассказ «Солнце за стеклом».

<sup>53</sup> *...ценности, принадлежащие народу?* — см. примечание 13 к повести «Треугольник Барсукова (Сенная площадь)»

<sup>54</sup> *...в справочном бюро на Невском.* — В киосках Ленгорсправки можно было узнать адрес, номер телефона, как доехать, и т. д. В семидесятые годы это стоило, кажется, 30 копеек.

<sup>55</sup> *Завтра будет голубой Дунай ... Потом — Средиземное море...* — Основных маршрутов массовой эмиграции советских евреев было два. Первый: СССР—Вена—Тель-Авив. Второй: СССР—Вена—Рим—Нью-Йорк. В 1990 году к ним добавился третий популярный маршрут — в Германию.

## КОСТЫЛЕВ

Повесть написана в 1983 году и сначала называлась «Черное и белое покупать». В 2013 году мы с автором поменяли название на «Костылев» и внесли небольшие правки в «Главу последнюю». Никогда нигде не публиковалась.

<sup>1</sup> *...в ночь на второе января восемьдесят второго года...* — Длинные новогодние каникулы у нас введены только в 2005 году. При советской власти выходной день был один — первого января. Никогда не забуду, как 2 января 1978 года с группой работников газетного отдела Публичной библиотеки ездила на овощную базу фасовать квашеную капусту, и как похмельные библиотекари дружно пили рассол.

<sup>2</sup> *...раскинув голые синеватые ноги.* — Люди моего поколения и старше помнят этих «синих птиц» — худых, плохо ошипанных кур с головами и когтистыми лапами. Стоили они 1,75 руб. за килограмм.

<sup>3</sup> *...дефицитный бестселлер...* — Не исключено, что Гуреев читает «Альтиста Данилова». Вышедший в 1980 году роман Владимира Орлова, где главный герой — демон и творится разная чертовщина, был чрезвычайно популярен, особенно в среде научно-технической интеллигенции, сравнительно недавно открывшей для себя «Мастера и Маргариту».

<sup>4</sup> *...два фарфоровых ролика...* — Имеются в виду изоляторы, сначала фарфоровые, позже — керамические, к которым крепилась «открытая», то есть проложенная поверх стен электропроводка. Провода скручивали в жгут или сплетали в «косичку» и закрепляли на роликах.

<sup>5</sup> *Человек Евтихийев* — Хвостатый мальчик и волосатый человек были изображены в школьном учебнике анатомии в главе «Рудименты и атавизмы». Волосатый человек на картинке в учебнике — костромской крестьянин Андриан Евтищев (Евтихийев), который жил в XIX веке и страдал редким генетическим заболеванием — гипертрихозом. Эту болезнь унаследовал и его сын Федор Андрианович Евтихийев (1864—1904), более известный под прозвищем Жо-Жо или «мальчик с песьей мордой» — российский шоумен, достигший известности в Европе и в Америке.

<sup>6</sup> *Убедительное ... объяснение. Четкое и аргументированное.* — Одним из толчков к созданию сюжета, в котором главный герой неожиданно для себя превращается в черта, из-за чего имеет служебные неприятности, стали события в жизни автора, последовавшие за публикацией повести «Треугольник Барсукова» в альманахе «Глагол» — см. комментарий к «Треугольнику».

«Один из моих доброжелателей, — вспоминает Катерли, — сразу после радиопередачи про «Треугольник Барсукова» (а ее повторяли несколько раз) из лучших побуждений советовал мне пойти в «Большой

дом» и покаяться — мол, не знаю, как рукопись попала на проклятый Запад, очень сожалею и раскаиваюсь, что не доглядела. В ответ я заявила, что в «Большой дом» просто так не ходят — туда вызывают. А меня никто не звал. Ясно?».

*Нина Катерли. «Сквозь сумрак бытия».*

<sup>7</sup> **«Сквозной проезд запрещен».** — теперь этот знак называется «Движение запрещено».

<sup>8</sup> **...с участием Жванецкого!** — Михаил Жванецкий — знаменитый советский и российский писатель-сатирик, родился в 1934 году. Советская интеллигенция восхищалась Жванецким за смелость: в некоторых своих монологах, таких как «Дефицит», «Тщательнее» или «XX век», он балансировал на грани дозволенного цензурой, а то и выходил за грань. Поэтому концерт с участием Жванецкого был Событием с большой буквы «С».

<sup>9</sup> **...Велимиром Ивановичем Погребняковым...** — несмотря на сходство имен, Велимир Хлебников тут вообще ни при чем. Автор клянется, что это чистое совпадение.

<sup>10</sup> **ОБХСС** — Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Собственник поменялся, но воруют, как и прежде, а отдел этот теперь называется ОБЭП.

<sup>11</sup> **...надо дать заявку в светокопию, пусть отсинят...** — Светокopia (синька) — примитивная множительная технология, применявшаяся в доксероксную и допринтерную эпоху. Бумагу покрывали раствором феррицитрата аммония и феррицианида калия, подкладывали под стекло, на котором лежала копия чертежа на кальке, и выдерживали в ярком свете. Проявляли светокopia, погружая в воду.

<sup>12</sup> **...сорочка с кружевами, новая, но не импортная...** — Импортная нижняя рубашка, комбинация или «комбинэ» — мечта любой советской женщины. Большинству наших дам приходилось носить исподнее советского производства, чаще всего грубое и безобразное.

Рассказывают, что французский актер Ив Монтан, посетивший СССР в 1963 году, побывал на выставке легкой промышленности в Москве, где его так потрясли модели советского нижнего белья, что он скупил наиболее впечатляющие образцы и устроил в Париже выставку. По легенде, это вызвало такой международный скандал, что Ив Монтан надолго стал «запрещенным» актером в СССР — на самом деле это случилось только в 1968 году, когда Ив Монтан осудил ввод советских войск в Чехословакию.

И еще одна байка про импортные сорочки — из истории нашей семьи. В конце восьмидесятых годов мой отец поехал в командировку в Нью-Йорк. От нас, женщин, он получил заказ на эти самые предметы дамского туалета, за которыми и зашел в небольшой магазинчик на Брайтон-Бич. Не зная подходящего слова, папа долго пытался по-английски объяснить владельцу, что ему нужно. Наконец, тот понял и, обернувшись, крикнул куда-то в недра магазина: «Роза! Принеси ему комбинэ!»

<sup>13</sup> **«А ну-ка, девушки»** — популярное телевизионное шоу — конкурс среди девушек на звание лучшей по профессии. Шло по первой программе Центрального телевидения ежемесячно с 1970 по 1987 год.

<sup>14</sup> *...бездушные месткома...* — Местком — комитет профсоюзной организации, занимался тем же, чем завком на заводе. См. примечание 16 к повести «Треугольник Барсукова (Сенная площадь)».

<sup>15</sup> *Автомат с газированной водой* — Такие автоматы были широко распространены. Сперва в стакан лился сироп, потом вода, и если, налив до половины, отодвинуть стакан, дать вылиться оставшейся воде, поставить стакан обратно и опустить вторую трехкопеечную монету, получится вода с двойным сиропом.

Стаканы стояли прямо в автоматах, если их не воровали местные пьяницы, желающие распить на троих культурно, а не из горла. Для мытья стаканов был предусмотрен фонтанчик, сомнительный в смысле гигиены и санитарии, но люди верили и ничем не заражались, несмотря на городской фольклор о том, как кто-то через такой стакан подцепил бытовой сифилис.

У Нины Катерли есть ранний рассказ «Не подходи к роботу», где фигурирует некий агрегат, который героиня принимает за автомат с газировкой:

«Мой первый фантастический рассказ — две страницы о том, как некая дама безуспешно пытается «выдоить» стакан газированной воды из автомата, невесть для чего предназначенного, изредка используемого уборщицей для того, чтобы выколачивать ковровые дорожки, но внешне похожего на автомат для газированной воды. Тогда такие автоматы стояли везде: на улице, в метро, в учреждениях. И вот моя героиня опускает в щель автомата монету, подставляет чашку, автомат же со всего маху вклепывает ей пощечину. Тут, казалось бы, и бежать от него прочь, ан — нет. Новая монета опущена в щель, в результате — новая пощечина. Уже и чашка разбита, и щека пылает, а «эта чокнутая» — так выражаются обступившие поле боя сослуживцы — все сыплет и сыплет свои монеты...»

*Нина Катерли. Почему я больше не пишу фантастику?*

*// Нева. — 2003. — № 8.*

<sup>16</sup> *Закрытый просмотр! Фильм иностранный, нерезанный.* — Иностранные фильмы в советском прокате резали по двум причинам: во-первых, убрали «клубничку» и эпизоды с чуждым идейным содержанием, а во-вторых — подгоняли ленту по продолжительности к советскому стандарту. Могли вырезать и вовсе невинный эпизод, чтобы картина уложилась в положенный метраж. На закрытых просмотрах для избранной публики фильмы показывали без купюр.

Пожалуй, самый яркий пример киноклассики, изуродованной в советском прокате, — «Конформист» Бернардо Бертолуччи. Его показали в черно-белом варианте, сократили больше, чем на полчаса, полностью перемонтировали, переставив сцены в хронологическом порядке, и вырезали финал, а перевод некоторых сцен не соответствовал оригиналу. Например, в предпоследней сцене (которая в советской версии стала последней) гей, снимающий главного героя на ночь, превращается в коммуниста-подпольщика. Бертолуччи устроил страшный скандал и пригрозил, что больше не позволит показывать свои фильмы в СССР.

«Конформиста» в советском прокате порезали до полной неузнаваемости, — сказал он десять лет спустя в интервью газете «Коммерсантъ». — Деятели культуры (кажется, это был Сергей Герасимов) заверяли, что «Последнее танго» никогда не будет показано в Советском Союзе, поскольку там не существует сексуальных проблем. Они подошли к искусству с позиций деревенского священника».

*Бернардо Бертолуччи: только после девяти «Оскаров»  
я почувствовал себя итальянцем  
// Коммерсантъ. — 1998. — № 201.*

<sup>17</sup> *...музыка, музыка, волны, садится солнце...* — Такого фильма не существует, это набор киноштампов из разных мелодрам.

<sup>18</sup> *Помнишь Высоцкого в Гамлете?* — знаменитая постановка Юрия Любимова в московском театре на Таганке (премьера состоялась 29 ноября 1971 года). Спектакль обошелся практически без декораций, кроме занавеса, сделанного из рыболовной сети, а Гамлет — Владимир Высоцкий был одет в джинсы и свитер.

<sup>19</sup> *...актера Любшина.* — Станислав Любшин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, родился в 1933 году.

<sup>20</sup> *Диван лез анфан!* — devant les enfants (*фр.*) — не при детях.

<sup>21</sup> *«Полюстрово»* — распространенная в Советском Союзе минералка с высоким содержанием железа, которое оседало на дне бутылки в виде слоя ржавчины.

<sup>22</sup> *«Щит и меч»* — За роль советского разведчика Иоганна Вайса в этом фильме журнал «Советский экран» признал Станислава Любшина лучшим актером 1968 года.

<sup>23</sup> *Quique suum.* — «Каждому — свое». Это латинское изречение, переведенное на немецкий язык („Jedem das Seine“), было написано на воротах концлагеря Бухенвальд.

<sup>24</sup> *«Вихорные» какие-то, «пожилы»...* — Теща совершает обряд изгнания беса. Откуда в советской России брались эти языческие заговоры: против болезни, против тоски, против порчи, наводящие порчу, приворотные, отворотные и прочие? В газетах и журналах их, ясное дело, не печатали, интернета не было, но откуда-то они брались и распространялись в народе, переписанные химическим (чернильным, если послушать) карандашом на засаленных листочках из тетради в линейку.

<sup>25</sup> *«Ну зпт готовься тчк Погребняков».* — Знаки препинания в телеграммах не ставились. У телеграфного аппарата, устроенного наподобие пишущей машинки, были специальные литеры: «зпт» вместо запятой и «тчк» вместо точки. Придумали это для того, чтобы как можно более точно передать текст, поскольку телеграфные аппараты обычно печатали очень грязно, и на фоне этой грязи точку или запятую можно было пропустить.

<sup>26</sup> *плавленый сырок «Дружба»* — Этой знаменитой закуске даже поставили памятник — в 2005 году к сорокалетию сырка. Он стоит возле завода плавленых сыров «Карат» в Москве и также известен как памятник «Ворона и Лисица».

<sup>27</sup> *...футболку с захолустной надписью «Монтана».*— Футболки и холщевые сумки с «фирменным» орлом — логотипом джинсов Montana были популярны в семидесятые — восьмидесятые годы среди невзыскательной советской публики.

Настоящие джинсы Montana шили в Западной Германии и поставляли, в основном, к нам в СССР, но на всех желающих, разумеется, не хватало. А фальшивые джинсы, майки и сумки шили в подпольных цехах где-нибудь в Сухуми, Рязани или Одессе (на Малой Арнаутской). Такие подделки назывались «самострок» или «самопал». В наше время примерно так же воспринимаются рыночные футболки и сумки «DG» (Dolce & Gabbana) со «стразиками».

<sup>28</sup> *...запустил на всю катушку программу «Время».*— Сидоров боится прослушки КГБ. Не через телефонную розетку (телефона у Костылевых нет: помните, Верочка в поликлинику звонила от соседей, а позже Костылев предлагал вызывать его из отпуска телеграммой), но, например, через электрическую сеть. По мнению опытного начальника, Костылев вполне мог быть «под колпаком» у спецслужб.

<sup>29</sup> *...фильм по Чехову, где тот исполнял главную роль.*— Любшин, за которого принимают Костылева, сыграл главную роль в трехсерийном фильме 1972 года по рассказу Чехова «Моя жизнь».

<sup>30</sup> *Большой красный «Икарус»...*— В больших городах (а Костылев живет в большом городе, раз тут аэропорт есть) венгерский Icarus был основной маркой автобусов — как рейсовых, так и экскурсионных. По городским маршрутам ходили длинные, желтые сочлененные «гармошки». По междугородным и пригородным — большие красные «Икарусы-250».

<sup>31</sup> *...разбирать подслеповатую машинопись.*— Олик считает себя большой руки нонконформистом, практически диссидентом среди чертей.

В советское время пишущая машинка была единственной доступной копировальной техникой, причем, в магазинах продавались только портативные, способные сделать не больше пяти копий на тонкой, полупрозрачной бумаге. С больших конторских машинок, которые могли напечатать больше экземпляров и лучшего качества, брался образец шрифта — видимо, для КГБ, на случай, если спецслужбам потребуется идентифицировать автора антисоветской листовки или особенно зловредного самиздата.

Самиздат — независимую неподцензурную литературу и публицистику — размножали на портативных машинках под синюю, черную или фиолетовую копиру, то есть, копировальную бумагу.

Представьте себе человека, которому на один день или на одну ночь дали книгу Набокова или Солженицына, парижский журнал «Континент» или израильский «Время и мы», правозащитный бюллетень «Хроника текущих событий» или «Москву—Петушки» Венички Ерофеева. За хранение, если найдут при обыске, и тем более — за распространение такой литературы можно было заработать срок по семидесятой статье Уголовного кодекса РСФСР. Но человек садится за пишущую машинку

и печатает — весь день и всю ночь. Об этих людях — песня Александра Галича 1966 года «Мы не хуже Горация»:

«Эрика» берет четыре копии,  
Вот и все!

...А этого достаточно!

<sup>32</sup> *...геноцид и апартеид, а у нас не Америка!* — В Советском Союзе, — считает Нина Кривошеина, начитавшаяся советских газет и насмотревшаяся телевизора, — никакой ксенофобии и дискриминации по национальному признаку нет и быть не может, сплошная дружба народов, в отличие от прогнившего Запада. Вспомним популярный советский анекдот. «Голос Америки» спрашивает у Армянского радио: «Какая зарплата у советского инженера?» После трехдневной паузы Армянское радио дает ответ: «А у вас негров линчуют!»

<sup>33</sup> *...искусственная долгоиграющая кость...* — игрушечная косточка из прессованных жил и кожи. Это сейчас ее можно купить в любом зоомагазине, а советский человек такого баловства даже вообразить не мог.

<sup>34</sup> *Пайн Стрит* — Pine Street (англ.) та же Сосновая улица, только в Америке.

<sup>35</sup> *...Фирма?* — Слово «фирма́» в смысле «последний писк заграничной моды» произносилось с ударением на последний слог.

## ЗЕМЛЯ БЕДОВАННАЯ

Рассказ написан в 1976 году и в том же году опубликован в самиздате (Часы. — № 4). Толстый машинописный альманах «Часы», вскоре сделавшийся толстым машинописным журналом, выходил с 1976 по 1990 год в Ленинграде. В журнале печаталась независимая «вторая» литература — то, что официальные издательства никогда бы не взяли по политическим и эстетическим причинам: не только у неконформистов были, по словам писателя Андрея Синявского, стилистические расхождения с советской властью, но и у власти — с ними. Бесменный редактор и издатель «Часов» — Борис Иванович Иванов.

Подробнее о журнале можно прочесть в книге «Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е — 1980-е». Это солидное издание в трех томах и четырех книгах было выпущено Международным институтом гуманитарно-политических исследований в 2005 году.

*Антология есть в Интернете:* <http://antology.iggunov.ru>

Официальной публикации рассказ «Земля бедованная» дождался только в перестройку (Искусство Ленинграда. — 1989. — № 3).

<sup>1</sup> *Улицы Воинова и Каляева.* — Между этими улицами на Литейном проспекте, 4, стоял, стоит и стоять будет, потому что возведен на века, Большой дом — здание КГБ-ФСБ.

<sup>2</sup> **пивные ларьки** — Пивной ларек для советских граждан был чем-то большим, нежели просто торговая точка, где можно выпить кружку разведенного «Жигулевского», унести домой этот напиток в бидоне или трехлитровой банке. Это были клубы, объединенные главной национальной идеей, к тому же открывались они задолго до гастрономов: некоторые — в семь или даже в шесть утра.

<sup>3</sup> **...продавать начинают не в одиннадцать, а без десяти.** — Горбачевский сухой закон, антиалкогольная кампания 1985—1987 годов, — история хорошо известная. Но сейчас уже мало кто вспомнит о предыдущей кампании под лозунгом «Пьянству-бой!». 16 мая 1972 года вышло Постановление Совмина СССР № 361 «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма», после которого крепкие напитки стали продавать только с 11 часов утра до 7 часов вечера, а в выходные дни и в праздники перестали продавать вовсе.

<sup>4</sup> **...на Марсово поле ... на встречу с однополчанами.** — Когда писался этот рассказ, на Марсовом поле, традиционном месте встречи однополчан, в день Победы собирались сотни фронтовиков — еще не старых мужчин и женщин с орденами и медалями. Сейчас, в 2014 году, хорошо, если придет человек пять-десять, а еще через несколько лет не останется никого...

<sup>5</sup> **...воевал ... в Ташкенте или Алма-Ате...** — Рассказчик намекает на антисемитский миф — будто бы в Великую отечественную войну евреи избегали отправки на фронт и все поголовно отсиживались в глухом тылу в эвакуации.

<sup>6</sup> **...поляна, где гуляют с собаками.** — Давно уже с собаками там гулять запрещено, а тополя вырубил.

<sup>7</sup> **...на зеленые купола, на кресты золотые...** — Автор соединил две церкви. С одной стороны, дорога к храму от дома Нила и Кепкера подразумевает Спасо-Преображенский собор на улице Пестеля (Пантелеймоновской), который и в те годы был действующим. Но его купола — бронзового цвета. Зато зеленые купола, без крестов (храм не действовал) тогда были у Пантелеймоновской церкви на углу Соляного переулка. Церковь открыли для прихожан только в 1994 году, а в начале XXI века отреставрировали, перекрасив купола в их нынешний фисташковый цвет (зеленые купола, как правило, бывают у церквей, посвященных Святой Троице).

<sup>8</sup> **...подпольный валютчик...** — см. примечание 33 к повести «Треугольник Барсукова (Сенная площадь)».

<sup>9</sup> **«Семнадцать мгновений весны»** — знаменитый двенадцатисерийный фильм про Штирлица, вышел на телеэкраны как раз в августе 1973 года.

<sup>10</sup> **хазер** — (идиш) свинья.

<sup>11</sup> **...смотрели со стен огромного дома на Литейном большие начальники.** — К праздникам 7 ноября и 1 мая все главные здания города, и уж конечно, Большой дом украшали портретами членов Политбюро ЦК КПСС. В 1973 году это были: Брежнев, Косыгин, Подгорный, Сулов, Воронов, Гришин, Кириленко, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельше, Полянский, Шелепин, Шелест и Щербицкий. В народе эту группу

товарищей, когда они все вместе стояли на Мавзолее Ленина, встречая праздничный парад или демонстрацию, называли: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца».

<sup>12</sup> *...в качестве алкоголика на сто первый километр.* — Вряд ли бы у них что-нибудь из этого вышло. Высылка с запретом жить в 100-километровой зоне вокруг Москвы, Ленинграда, Киева и других крупных городов СССР применялась к освободившимся зэкам — и то не ко всем, а только к осужденным по особо тяжким статьям, например, за убийство или хранение антисоветской литературы, вроде книг эмигранта Набокова, а также к неработающим гражданам — «тунеядцам». Нил, как мы знаем, работал, а потом получал трудовую пенсию, не был он и диссидентом, а что пил... так ведь — на свои.

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Рассказ написан в 1975 году, впервые опубликован в сборнике «Окно» (Л.: Советский писатель, 1981).

## ЫРВЦ

Это вторая редакция рассказа. Первый вариант относится к 1978 году, второй, с авторскими правками, — к 1983 году. Первая редакция не сохранилась. Единственная публикация — в сборнике «Цветные открытки» (Л.: Советский писатель, 1986), где рассказ содержит сокращения цензурного характера.

Главным редактором ленинградского отделения «Советского писателя» в те годы был Роальд Викторович Назаров, который в одном лице совмещал обязанности редактора и цензора. О его методах работы с рукописями рассказывает Елена Андреевна Кумпан (1938—2013), вдова и биограф поэта Глеба Семенова.

«Глеб Семенов умер в январе 1982 года...

Вскоре встал вопрос об издании его книги, причем предполагалось издать то, что не входило в предыдущие сборники. Начальство «Советского писателя» (ЛО) относилось к памяти Глеба с большим пиететом («Они любить умеют только мертвых...»), это декларировалось всячески, но мы с Фридой Германовной Кацас, которая по старой дружбе согласилась взять на себя редактуру, не обольщались надеждами на легкое прохождение рукописи. Тактика, отработанная нами, сводилась к следующему: я отдаю рукопись, Фрида ее регистрирует и... прячет. «Рукопись никто не увидит до того момента, пока ее не придется положить на стол Назарову»...

...Из посмертной книги Г. С. было снято 27 стихотворений, а в оставшиеся стихи внесено 18 поправок, в том числе — изъятые четверостишия, снятые названия, замена строчек, не говоря уже о такой мелочи, как изменения в порядке следования стихов. Это был конец 1986 года. Можно сказать — и это не будет преувеличением — на следующий день

после выхода книги началась Перестройка. Как всегда, не подвело Глеба его вечное невезенье.

Но — поразительна была работа Р. Назарова с рукописью книги. Я убеждена, что так же, как ранее А. Чепуров, новый главный редактор не собирался делать гадость Глебу, тем более — посмертно. Но, прочтя рукопись, был вынужден, был поставлен в безвыходное положение. Назаров сделал пять заходов: читал, вынимал, возвращал рукопись Ф. Кацас, снова забирал, снова читал, снова делал поправки, снова возвращал на доработку и т. д. Он разгадывал рукопись, как ребус. Скажем, стихотворение, написанное на смерть Пастернака, называлось у Глеба «30 мая 1960». Назаров долго искал, видимо по справочникам или методом опроса, кто умер 30 мая 1960, а когда нашел, категорически потребовал снять стихотворение. На лукавое предложение Фриды — не поставить ли дату в конце стиха — заявил: «Или снять название, или стихи целиком». Снял название. Другое стихотворение у Глеба так и было названо: «Смерть Ходасевича». Но я понимала, что имя Ходасевича вообще запрещено и непроизносимо. В черновиках Глеба эти стихи шли под названием «Орфей», и я его вставила в книгу именно под этим названием. Тут Назаров размышлял гораздо дольше, чем над «30 мая 1960», и долго держал паузу. Наконец отдал распоряжение: снять название и изжить строчку «Россию загнать на парижский чердак». Я заменила Россию Эвтерпой — на том и сошлись. Цикл стихов «Последним друзьям», обращенный к уехавшим, был не только рассыпан, но еще и укорочен: из пяти стихотворений было выкинуто 2,5, а последнему стихотворению было навязано название «Петербургские отражения».

*Елена Кумпан. Поговорим о странностях цензуры  
// Звезда. — 2001. — №4.*

Фрида Германовна Кацас была редактором книги Нины Катерли «Цветные открытки» (так же, как и первой книги «Окно»). Она, как могла, пыталась спасти рукопись от назаровской правки, но без редакторских «ножниц» книга могла и вовсе не увидеть света...

<sup>1</sup> *...и каждый, кто увидел бы рядового Кувалдина ... и вовсе не заметили.* — В книге 1986 года этот фрагмент отсутствует: цензура не одобрила бы легкомысленного отношения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

<sup>2</sup> *...целой анфилады, состоящей из четырех каменных колодезцев.* — Действие рассказа происходит во дворах дома № 7 по набережной Мойки, доходного дома Глинки-Маврина. Вход туда был перекрыт железными воротами и заперт на замок еще в восьмидесятые годы, а в 2012 году дом реконструировали, и трудно сказать, что осталось от тех дворов. Но где-то они определенно есть, и еще покажут себя, ведь изнанка, равная лицевой стороне, как ни перешивай, ни перелицовывай вещь, никогда не исчезает бесследно.

<sup>3</sup> *...распивать на троих...* — в книге 1986 года отсутствует: в стране бушевала горбачевская антиалкогольная кампания, и сцены распития изымались из книг, кинофильмов и театральных постановок.

В повести «Полина», вошедшей в тот же сборник «Цветные открытки», есть эпизод, где героиня, вернувшись из командировки, обнаруживает, что ее квартиру обокрали. На последние деньги она покупает бутылку и выпивает сама с собой. В таком виде повесть вышла в журнале «Нева» в 1984 году, но при подготовке книги «...главный редактор «Советского писателя» строго потребовал пьянство убрать... Каюсь, я сделала это, — вспоминает автор. — Если бы я вынула «Полину» из сборника, от него вообще остались бы рожки да ножки, и я, ненавидя себя, заменила в тексте водку водопроводной водой — точно моя героиня страдает диабетом и ее мучит постоянная жажда».

Нина Катерли. «Сквозь сумрак бытия».

<sup>4</sup> *У него женилка отсохла!* — в книге 1986 года заменено более приличным: «От невест, поди, отбою нету!»

<sup>5</sup> *...в обегаэс...* — в ОБХСС — см. примечание 10 к повести «Костылев».

<sup>6</sup> *...ты аферист и шпион.* — в книге 1986 года просто: «...ты аферист». Шпионскую тему пришлось полностью изъять.

<sup>7</sup> *...Может, ты какой-нибудь мистер Смит? А? Или этот... дядя Том?* — в книге 1986 года отсутствует.

<sup>8</sup> *...теперь вроде как бы и с уважением ... а сам читал...* — в книге 1986 года отсутствует.

<sup>9</sup> *Задержан агент.* — в книге 1986 года: «Задержан бандит».

<sup>10</sup> *...про шифр и шпионов?* — в книге 1986 года: «...про шифр и бандитов?»

<sup>11</sup> *...истощным кликушечьим голосом ... взревел, подымаясь, Вострецов.* — В книге 1986 года сцена избияния Кувалдина полностью вырезана:

— Не дадим! — ни с того ни с сего завопила вдруг Двоглазова, хватаясь за спинку стула. Длинная синяя судорога прошла по ее лицу. Она чувствовала себя обманутой, оскорбленной и несчастной. Этот придурок, этот чокнутый, которого по-серьезному и за человека-то нельзя было считать...

...А Кувалдин уже шагал по улице.

<sup>12</sup> *...осветил фигуру Спасителя, кое-как замазанную известкой...* — в книге 1986 года отсутствует: религиозная тема тоже не приветствовалась цензурой. См. примечание 52 к повести «Треугольник Барсукова».

#### «СТАРУШКА, НЕ СПЕША...»

Рассказ написан в начале восьмидесятых годов, впервые опубликован в перестройку в сборнике «Весть» (М.: Книжная палата, 1989). Действие происходит в 1978 году.

<sup>1</sup> *...встает по радио...* — Будильника у Лидии Матвеевны не было — его заменяла включенная радиоточка, которая транслировала только одну программу — Всесоюзное радио. Радио начало работать в 6.00, звучали сигналы точного времени, а затем — гимн Советского Союза,

так же, как сейчас — Гимн России, на ту же самую музыку Александра Глинки, исполнявшаяся без слов.

<sup>2</sup> *Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно...* — из стихотворения выдающегося русского педагога Льва Николаевича Модзалевского (1837—1896) «Приглашение в школу». Впервые опубликовано в 1864 году в учебнике «Родное слово» еще более выдающегося русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского, а затем печаталось в дореволюционных школьных хрестоматиях для начального чтения:

Дети! В школу собирайтесь,  
Петушок пропел давно!  
Попроворней одевайтесь —  
Смотрит солнышко в окно!..

<sup>3</sup> *...ежемесячные шестьдесят пять рублей.* — Средний размер пенсии по старости составлял, по официальной статистике на 1980 год, 63,8 рублей в месяц.

<sup>4</sup> *...и цена — не разбежишься.* — Сливочное масло в Ленинграде стоило 3,60 рублей за килограмм. Подсолнечное нерафинированное (рафинированного тогда не было) — 99 копеек за бутылку.

<sup>5</sup> *нацменка* — сокращение от «национального меньшинства». Так в больших городах называли людей неславянской внешности — выходцев из Средней Азии, с Кавказа и Крайнего севера. Слово вошло в обиход в начале двадцатых годов. Автор впервые услышала его во время войны в госпитале, где работали дед и тетка Катерли и куда привозили раненых советских бойцов всех национальностей.

<sup>6</sup> *«Университет миллионов», «Международный дневник», «Взрослым о детях»* — советские радиопередачи. «Ленинский университет миллионов» — цикл лекций о теории марксизма-ленинизма, выходил на Всесоюзном радио с октября 1963 года. «Международный дневник» — программа о внешней политике СССР — с 1976 года. «Взрослым о детях» — передача для родителей о воспитании, выходила с сентября 1953 года. Мы, дети, любили ее слушать, пожалуй, даже больше, чем родители — нам казалось, что так мы сможем выведать все их педагогические приемы и секреты.

<sup>7</sup> *...устроилась ради лимитной прописки.* — Прописаться в крупных городах вроде Москвы и Ленинграда было очень трудно. Приезжие получали право на лимитную прописку и временное жилье в обмен на тяжелый, неквалифицированный труд: рабочими на заводах, санитарями в больницах, дворниками. «Лимитчики», «лимита» — нечто вроде нынешних гастарбайтеров. И отношение в обществе к ним было примерно таким же: «понаехали тут!»

<sup>8</sup> *радиола* — гибрид радиоприемника с проигрывателем. Первая радиола советского производства была выпущена в 1938 году. В «Песенке о Леньке Королеве» Булата Окуджавы (1957 год) речь идет о довоенной и послевоенной поре:

Во дворе, где каждый вечер все играла радиоло,  
Где пары танцевали, пыля,  
Ребята уважали очень Леньку Королева,  
И присвоили ему званье Короля...

Пик популярности радиол пришелся на пятидесятые — шестидесятые годы, а к концу семидесятых они уступили место проигрывателям и магнитофонам.

<sup>9</sup> *...но ведь сколько надо платить за свет...* — Это не опечатка: Лидия Матвеевна соединила понятия «платить за свет» и «платить по счету».

<sup>10</sup> *...придумали ставить свои ракеты!* — Советское радио и газеты, как обычно, валят с больной головы на здоровую. На самом деле «ставить свои ракеты» первым придумал Советский Союз: в 1977 году у западных границ СССР началась установка ракет средней дальности. НАТО ответило тем же только в начале восьмидесятых годов.

<sup>11</sup> *...арабам (разве человек виноват, что он — черный?)...* — Лидия Матвеевна путает араба с арапом.

<sup>12</sup> *пэтэушник* — учащийся ПТУ, профессионально-технического училища. Мы не знаем, где на самом деле учится Виталик, может и в университете. Лидия Матвеевна, возможно, тоже этого не знает, а называет парня «пэтэушником», намекая на его низкий культурный уровень.

<sup>13</sup> *...на общественных началах в ЖЭКе с подростками...* — Пенсионеры без специального образования работали педагогами-организаторами при жилконторах на общественных началах, то есть бесплатно. Главным образом, они проводили воспитательные беседы с трудными подростками и их родителями.

<sup>14</sup> *...бутылку приняла, а банку они не желают.* — см. примечание 45 к повести «Червец».

<sup>15</sup> *...тут вам не Америка, не Ку-Клукс-Клан!* — так Лидия Матвеевна называет Ку-Клукс-Клан, расистскую организацию в США. См. примечание 32 к повести «Костылев».

<sup>16</sup> *Хек* — одна из самых распространенных рыб в советской торговле. Хек серебристый стоил 70 копеек за килограмм, а если без головы, то рубль. В рыбных магазинах висела реклама:

Стать здоровым, сильным, смелым хочет каждый человек,  
И ему поможет в этом рыба серебристый хек!

<sup>17</sup> *...какое-то вредительство!* — Обвинения во вредительстве были широко распространены в СССР в годы сталинских репрессий.

<sup>18</sup> *...в самодельной «москвичке».* — «Москвичка» (или «хулиганка») — куртка на молнии, модная в послевоенные годы: короткая, до талии, с широким поясом, большими накладными карманами и вставкой из другого материала. Шили ее обычно из чего придется и носили вместо пиджака.

<sup>19</sup> *...джаз ... идеологическая диверсия!* — Сознание Лидии Матвеевны осталось в сороковых — пятидесятых годах, когда всем было известно,

что «сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». Виталик мог и не джаз слушать, а рок или диско, но Лидия Матвеевна даже слов таких не знала.

<sup>20</sup> «*Не слышны в саду даже шорохи*», «*Этот День Победы...*» ... «*Широка страна моя родная...*» — популярные советские песни разных лет.

«Подмосковные вечера». См. примечание 30 к повести «Треугольник Барсукова (Сенная площадь)».

«День победы». Песня 1975 года на музыку Давида Тухманова, слова Владимира Харитоновна. Написана к 30-летию Победы. Сегодня эта песня — неперемный атрибут праздничных торжеств 9 мая, но сразу после написания песня была фактически запрещена цензурой: по мнению руководства Союза композиторов и Гостелерадио, молодой композитор Тухманов не соответствовал статусу автора песни государственного масштаба. К тому же кто-то из начальников услышал там синкопы и элементы не то танго, не то фокстрота. Только в ноябре 1975 года в концерте, посвященном Дню милиции, Лев Лещенко исполнил «День Победы» в прямом телевизионном эфире. И только тогда эту песню стала петь вся страна.

С официального сайта Давида Тухманова: <http://www.tuxmanov.ru>

«Песня о Родине». Знаменитая патриотическая песня Исаака Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача, написана для фильма 1936 года «Цирк». Песня прославляет советский строй — в том числе, что особенно важно для Лидии Матвеевны, — пролетарский интернационализм:

...Наше слово гордое «товарищ»  
Нам дороже всех красивых слов.

С этим словом мы повсюду дома,  
Нет для нас ни черных, ни цветных,  
Это слово каждому знакомо,  
С ним везде находим мы родных.

<sup>21</sup> «*Старушка-не-спеша-дорожку-перешла!*» — из одноименной народной песни. У песни множество вариантов, приводим тот, который известен в исполнении Утесова.

Старушка не спеша  
Дорожку перешла,  
Ее остановил милиционер:  
«Товарищ бабушка, меня не слушали,  
Закон нарушили, платите штраф!»

— Ах, что вы, милый мой!  
Я так спешу домой,  
Сегодня у Абраши выходной!

Несу я в сумочке  
Кусочек булочки,  
Кусочек курочки,  
И пирожок!

Я никому не дам,  
Все скушает Абрам,  
И станет, как надутый барабан!

Эта мелодия родилась в 1932 году в Соединенных Штатах, автор — еврейский композитор Шолом Секунда. Песня на слова Джейкоба Джейкобса называлась «Бай мир бисту шейн» (в переводе с идиш: «Для меня ты красива») и исполнялась в мюзикле «Можно было бы жить, да не дают». Вскоре из Нью-Йорка мелодия проникла в СССР, в 1940 году под названием «Моя красавица» ее записал ленинградский джаз-оркестр под управлением Якова Скоморовского, после чего народ быстренко сочинил на этот мотив несколько песен: «В Кейптаунском порту» (у нее есть автор — ленинградский школьник Павел Гандельман), сатирическую песню про войну «Барон фон дер Пшик», «Старушка не спеша» и «Красавица моя красива, как свинья». Три из них — последние — пел Леонид Утесов.

<sup>22</sup> **Лэхаим!** — традиционный еврейский тост, в переводе с иврита: «За жизнь!»

<sup>23</sup> **...Моисей вывел ... из Египетского плена ... первый Сейдер...** — Семья празднует Песах — главный иудейский праздник, посвященный памяти исхода евреев из Египта. Вечерние трапезы двух первых дней Песаха называются Сейдер («порядок»).

<sup>24</sup> **...царь Фарон со своим войском ... утонул в Черном море...** — То ли дедушка Гирш, то ли Лийка путают: войско царя Фарона, то есть фараона, утонуло, конечно же, не в Черном море, а в Чермном — так в русском Синодальном переводе Библии называется море, расступившееся перед Моисеем; принято считать, что это было Красное море. Интересно, что традиционный пасхальный рассказ велся не на идиш, как обычно бывало в местечках черты оседлости, а по-русски — значит, это была достаточно просвещенная семья.

<sup>25</sup> **...Шма, Исроэл! Аденой элойгейну, Аденой эход!** — иудейская молитва: «Слушай, Израиль! Наш Бог — Бог единый!»

## СОЛНЦЕ ЗА СТЕКЛОМ

Рассказ написан в первой половине 1980-х годов, единственная публикация: Звезда. — 1989. — № 4

<sup>1</sup> **Федору Чирскову** — Федор Борисович Чирсков (1941—1995) — русский писатель, прозаик, близкий друг Нины Катерли. Принадлежал ко «второй», неподцензурной литературе, до начала перестройки печатался только в самиздате, первая публикация в советском

издательстве — в сборнике «Круг». Этот сборник, куда вошли произведения неофициальных прозаиков и поэтов, был выпущен в 1985 году с высочайшего соизволения КГБ и лично куратора ленинградских творческих объединений Павла Константиновича Кошелева — см. комментариев к повести «Червец».

Федор Чирсков страдал душевным заболеванием, которое в 1995 году привело к его самоубийству. В 2007 году в издательстве журнала «Звезда» вышла первая и пока единственная книга Федора Чирскова «Маленький городок на окраине вселенной».

<sup>2</sup> **Сахару купила, меришели купила, сарделек свиневых полкила ... И деньги вси!** — Сахарный песок в начале восьмидесятых в Ленинграде стоил 90 копеек, вермишель — 32 копейки, свиные сардельки — 2,40 руб. за килограмм.

<sup>3</sup> **«наробраз», «женотдел», «избач», «шкраб»** — Для нас важно, что Елизавета Григорьевна — ровесница века и пришла работать в школу в начале или середине двадцатых годов, когда в русском языке царили аббревиатуры.

Наробраз — районный, городской, губернский и прочие отделы народного образования. Женотдел — отдел по работе среди женщин при ЦК и местных комитетах коммунистической партии. Шкраб — школьный работник. Избач — работник избы-читальни, прародительницы советских библиотек и домов культуры.

<sup>4</sup> **«молокосоюз»** — Ленинградский областной союз молочно-животноводческой кооперации. Молокосоюзами ленинградские старожилы долго, наверное, до конца восьмидесятых годов именовали специализированные молочные магазины.

<sup>5</sup> **ТЭЖЭ, трест Жиркость** — государственный трест высшей парфюмерии, жировой и костеобрабатывающей промышленности. Создан в двадцатых годах. Помните как в стихотворении «Юбилейное» Маяковский предлагает Александру Сергеевичу Пушкину:

Я дал бы вам  
жиркость  
и сукна,  
в рекламу-б  
выдал  
гумских дам...

В 1932—1936 годах трестом ТЭЖЭ заведовала жена председателя Совнаркома СССР Вячеслава Молотова — Полина Жемчужина.

В Ленинграде за этим ужасным тяжеловесным сокращением скрывался модный парфюмерный магазин на углу Невского и Литейного. В семидесятых — восьмидесятых он назывался просто «Духи».

<sup>6</sup> **«жировка»** — квитанция на оплату квартиры и коммунальных услуг. Лингвисты до сих пор спорят об этимологии этого слова. Наибольшее доверие вызывает версия, по которой «жировка» происходит от финансового термина *жиро* (*gigo*) — вид безналичных банковских расчетов. Но что не от слова «жир» — это точно.

<sup>7</sup> «блейзеры», «батнички», «такешники» — Судя по жаргону, внук Елизаветы Григорьевны тусуется в околофарцовочной среде. Если «блейзер» и «батник» — слова из повседневной речи, означающие двубортный пиджак и рубашку с застежкой на планке, то «такешник», то есть плащ, — определенно из лексики ленинградских фарцовщиков. «Шузы» и «трузера на зиппере» — слова оттуда же, с «галеры» (знаменитая ленинградская толкучка на галерее универмага «Гостиный двор», где фарцовщики совершали свои сделки).

Фарцовщики — скромные работники малого теневого бизнеса в СССР. Они торговали дефицитными фирменными вещами, которые покупали или выменивали у приезжих иностранцев. Есть обстоятельнейшая книжка Дмитрия Васильева «Фарцовщики. Как делались состояния. Исповедь людей „из тени”» (СПб.: Вектор, 2007), где эта тема раскрыта полностью. Вот что там написано про жаргон:

«Чтобы больше не возвращаться к вопросу сленга, приведу несколько «выдержек из текста», то есть фраз, типичных для повседневного обихода фарцовщиков.

Монинг бомбил дойча. Наченчил воч, но фирма не вери супер — «Сейко». Слил фуфло, а дойч хеппи. Сдал на хазу, поднял на ченче маней солидно.

Перевод: Утром состоялась сделка с западным немцем. Выменял часы, но не очень хорошей фирмы — «Сейко». Отдал за товар сущие пустяки, но немец остался доволен. Часы отнес на квартиру, где живет перекупщик, на сделке заработал приличное количество денег».

<sup>8</sup> **В газету? Или лучше в парторганизацию?** — Популярной мерой воздействия на обидчика в разных щепетильных делах, в том числе и в семейных, было обращение в партийное бюро по месту работы. Результатом жалобы мог стать вызов «на ковер» к начальству, а то и в товарищеский суд — см. примечание 20 к повести «Треугольник Барсукова (Сенная площадь)».

Написать в газету — значит, обратиться в ту же парторганизацию, только на бумаге. Каждая газета, от центральной «Правды» до колхозной многотиражки, была не просто средством массовой информации, но «органом» серьезной власти: КПСС, комсомола, советов народных депутатов, совета профсоюзов. К восьмидесятым годам власть печатного слова ослабла, но ученики Елизаветы Григорьевны еще помнят времена, когда разгромная статья в газете означала вполне реальные репрессии. С чего началась травля Иосифа Бродского? С фельетона «Окололитературный трутень», опубликованного 29 ноября 1963 года в органе Ленинградского горкома КПСС — газете «Вечерний Ленинград».

<sup>9</sup> **спекуляция** — Спекуляция, то есть скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы, — наказывается лишением свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до трехсот рублей». (статья 154 УК РСФСР). Под статью советского уголовного кодекса попадали любые частные торгово-посреднические операции — кроме, разве что, продажи барахла, действительно найденного на помойке. Так что Вера Павловна как раз перед законом чиста.

<sup>10</sup> **Магазины без продавца...** — «Без продавца» — устаревший синоним магазина самообслуживания. Иногда на выходе из такого магазина, за кассой, стояла специальная тетка-контролер и проверяла сумки покупателей: видеонаблюдения не было, а расчет на честных людей оправдывался далеко не всегда.

Первый в СССР магазин самообслуживания открылся 1 декабря 1954 года в Ленинграде, в Столярном переулке (тогда — улица Пржевальского), дом 10. Массовым явлением такая форма торговли стала при Хрущеве, а в 1970 году тоже в Ленинграде, на Бухарестской улице, открылся первый в стране супермаркет — универсам Фрунзенский.

<sup>11</sup> **...у Николая Ивановича сто двадцать и у Натальи Петровны чуть не столько...** — Это действительно большие пенсии, практически «потолок».

<sup>12</sup> **...занимает пост в райисполкоме.** — в районной администрации. Кроме высокой зарплаты, Людмила Сергеевна имеет множество льгот, в том числе возможность доставать дефицитные продукты в закрытом распределителе — см. примечание 15 к повести «Треугольник Барсукова (Сенная площадь)».

<sup>13</sup> **...две газеты — Центральную и «Известия».** — Центральная «Правда» — орган ЦК КПСС — главная газета Советского Союза; «Известия» — орган Советов народных депутатов СССР — вторая по значимости. Писали в них примерно одно и то же. Все советские рабочие и служащие были обязаны повышать свою политическую грамотность, для чего — подписываться на газеты и журналы. Причем, беспартийным разрешалось выписывать любые общественно-политические издания, а вот для членов КПСС был установленный перечень, куда входила газета «Правда» и журнал «Коммунист» или «Агитатор», в крайнем случае — «Блокнот агитатора», который особенно хорошо заменял дефицитную туалетную бумагу.

<sup>14</sup> **Готовься, делай шестимесячную...** — Шестимесячная завивка или перманент могла делаться по-разному: в семидесятых — восьмидесятых годах она была, в основном, химическая, а в шестидесятых — электрозавивка на крупные бигуди, к которым подключались электроды с током невысокого напряжения. На поход в салон модница тратила целый день, зато потом долго щеголяла объемными локонами в стиле Татьяны Дорониной (популярная советская актриса, «советская Мэрилин Монро»). Подозреваю, что основательный Николай Иванович думал именно о таком серьезном парикмахерском мероприятии.

<sup>15</sup> **Три семерки** — Портвейн 777 — дешевое крепленое вино, «бормотуха». В народе такие вина, даже белые и розовые, называли одним словом «красное» — в отличие от «беленькой», то есть водки.

<sup>16</sup> **...на возмутительном воляпюке...** — Воляпюк — первый в мире международный искусственный язык (эсперанто придумали немного позже), созданный в 1879 году немецким католическим священником Иоганном Мартином Шлейером. Сейчас это слово чаще употребляют в значении «уродливый новояз».

<sup>17</sup> **Ни культуристка... ничего...** — Наталья Петровна возмущается, почему посетителей ресторана не развлекает массовик-затейник — как

туристов на прогулочном теплоходе или отдыхающих в пансионате. Культурный отдых в ее понимании, видимо, должен включать в себя хоровое пение, викторины и бег в мешках.

<sup>18</sup> *конфеты ассорти* — дефицитные шоколадные конфеты в коробках.

<sup>19</sup> *...которую ласкаешь ты и бьешь.* — Наташечка читает «Письмо» Алексея Апухтина:

...Что женщина, которую случайно  
Любил ты хоть на миг один,  
Уж никогда тебя забыть не может,  
Что день и ночь ее воспоминанье гложет,  
Как злой палач, как милый властелин.  
Она не задрожит пред светским приговором:  
По первому движенью твоему  
Покинет свет, семью, как душную тюрьму,  
И будет счастлива одним своим позором!  
Она отдаст последний грош,  
Чтоб быть твоей рабой, служанкой,  
Иль верным псом твоим — Дианкой,  
Которую ласкаешь ты и бьешь!

<sup>20</sup> *...выкрасила ... паркет масляной краской...* — Крашеный дощатый пол уже тогда, в конце двадцатого века, выглядел уместнее в деревенской избе, чем в городской квартире. Сегодня такие полы можно найти, разве что, в старых петербургских коммуналках, да и то не в комнатах, а где-нибудь в общем коридоре или на кухне. А крашеный паркет — и вовсе ни на что не похоже: уже не деревня, еще не город.



## СОДЕРЖАНИЕ

Я. Гордин. О прозе Нины Катерли . . . . .	7
Треугольник Барсукова (Сенная площадь)	
Часть первая. Ужасные новости . . . . .	11
Часть вторая. Треугольник Барсукова . . . . .	26
Часть третья. Праздник . . . . .	61
Эпилог . . . . .	72
Червец	
Глава первая . . . . .	81
Глава вторая . . . . .	108
Глава третья . . . . .	137
Глава четвертая . . . . .	159
Глава пятая . . . . .	179
Глава шестая . . . . .	189
Глава седьмая . . . . .	215
Глава восьмая . . . . .	236
Эпилог . . . . .	252
Костылев	
Глава первая . . . . .	261
Глава вторая . . . . .	281
Глава третья . . . . .	329
Глава последняя . . . . .	352
Глава дополнительная . . . . .	397
Рассказы	
Земля бедованная . . . . .	411
День рождения . . . . .	427
Ырвц . . . . .	432
«Старушка, не спеша» . . . . .	447
Солнце за стеклом . . . . .	466
Примечания . . . . .	497

Нина Семеновна Катерли  
**Земля бедованная**

Повести, рассказы

Корректор Е. М. Эфрос  
Верстка и дизайн обложки А. В. Опритов



Изд. лицензия ЛР № 065684 от 19.02.98  
Подписано в печать 14.04.2014. Заказ 11-05.  
Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура Литературная. Печ. л. 17

Отпечатано издательством «Геликон Плюс»  
Санкт-Петербург, В. О., 1-я линия, дом 28

<http://www.heliconplus.ru>



Нина Катерли (Эфрос) родилась 30 июня 1934 года в Ленинграде. Окончила Технологический институт и до 1976 года служила инженером в НИИ.

По словам автора, свои ранние рассказы она написала в рабочее время в Первом отделе института, якобы изучая секретные документы.

Одной из первых, наряду с Александром Житинским, выступила в жанре фантастического реализма.

Автор 14 книг. Член Русского ПЕН-центра. Живёт в Санкт-Петербурге.

*Советский мир, в котором сформировалась Нина Катерли, будучи многообразно абсурдным, давал талантливому человеку заманчивые возможности — воспроизводить те аспекты этого гигантского сюжета, которые видел и осознавал только он.*

*«Треугольник Барсукова» и «Червеца» с их безумной, но абсолютно соответствующей советской жизни логикой могла написать только Нина Катерли.*

*Советский мир с его брезгливой жестокостью к людям давал талантливому человеку благородную возможность противопоставить ему горькое сострадание.*

*Читая Нину Катерли, мы получаем урок высокой значимости: да, мир бывает жесток и абсурден, но жить надо так, как будто он разумен и добр.*

*Яков Гордин*

